
Николай Горулев Прощайте, любимые



«Прощайте любимые»: Мастацкая літэратура; Мінск; 1979

Аннотация

Книга посвящена незабываемым событиям Великой Отечественной войны. Автора волнуют судьбы людей, которым выпало защищать родную землю от лютого врага. Парни и девчата, наивные, мечтательные, любящие, с первого дня войны становятся защитниками города на Днепре, родного Могилева, живут, сражаются, радуются, погибают и побеждают.

Николай Горулев Прощайте, любимые

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



Глава первая ВСТРЕЧИ

Списки принятых в институт были вывешены на доске объявлений в длинном, пахнущем свежей побелкой коридоре. Сергей с трудом протиснулся сквозь возбужденную пеструю толпу парней и девчат и, пробежав глазами список, не нашел своей фамилии. Он почувствовал на лбу капельки пота, полез в карман пиджака за платочком и толкнул кого-то локтем.

— Осторожно, — услышал он сбоку мягкий девичий голос. Так можно и человека убить. Сергей отметил про себя, что голос этот ему понравился, но не оглянулся. Он протянул руку к стеклу, под которым висел список, и, проводя ладонью сверху вниз, начал проверять еще раз.

— Вы же все закрыли рукой... — произнес знакомый девичий голос.

Сергей опустил руку, и в этот момент взгляд его задержался где-то в середине списка. «Петрович Сергей Александрович» — прочитал он раз, потом еще раз и, успокоившись, повернулся, чтобы отойти и уступить место другим абитуриентам.

— Повезло?

— Повезло... — ответил, улыбаясь, Сергей,

Он стоял лицом к лицу с обладательницей приятного голоса и, пораженный улыбчивым взглядом ее огромных серых глаз, не мог сдвинуться с места.

— Проходите, проходите... — легко подтолкнула его девушка и улыбнулась.

— Прочитал и дай место другим! — бросил кто-то из парней.

— Тише!

— От этого фамилия в списке не появится...

— Осторожно, не толкайтесь...

Сергей закурил и медленно пошел по длинному коридору. Он поймал себя на том, что вместе с радостью появилась вдруг непонятная тревога за девушку с огромными серыми глазами. Что-то больно долго разыскивает она себя в списках. Жаль, если они больше никогда не встретятся.

Он дошел до конца коридора, посмотрел на пустующую рамку стенной газеты «Историк», датированную 1938 годом, прочитал пожелтевшее приглашение писать в следующий номер, улыбнулся и пошел обратно.

Толпа у доски объявлений поредела. Сергей подошел поближе, надеясь увидеть сероглазую незнакомку, но ее среди абитуриентов не было...

Сергей вышел на Ленинскую улицу. От самого днепровского берега тянулась она через весь город параллельно центральной улице — Первомайской. Первомайская, начинавшаяся у парка имени Горького и Советской площади, доходила почти до железнодорожного вокзала и — со своим драматическим театром, кинотеатром «Чырвоная зорка», рестораном, столовыми и магазинами — была самой многолюдной и шумной, а Ленинская, зеленая и уютная, принадлежала студентам. Политпросветтехникум, педагогический институт, зооветеринарный рабфак, педагогический рабфак, музыкальная школа.

Дорога домой была далекой. У Комсомольского сквера Сергей поворачивал на

Первомайскую, которая за виадуком через железную дорогу переходила в Ульяновскую улицу.

Сергей не торопился. По бульжнику стучали повозки ломовиков, гремели кузовами автомашины, но этот шум не мешал ему думать. Наконец сбывается его давнишняя мечта. Он станет учителем, как и отец, который вот уже сорок пять лет работает в школе.

Сергей наблюдал за отцом давно. Изо дня в день тетради, конспекты, учебники. Будничная, ничем не примечательная работа. Но каким восторгом горели отцовские глаза из-под густых седеющих бровей, когда он говорил о своих учениках. Да, они, конечно, шумят иногда, а то и подерутся на перемене, кое-кто не подготовит урока, надеясь, что его сегодня не вызовут. Но зато как они на контрольной решали задачи с простыми дробями!

Сергей, кажется, был уже в восьмом классе, когда однажды вечером к ним постучался незнакомый мужчина в темно-синем костюме, рубашке-косоворотке, чисто выбритый, подтянутый.

— Вам кого? — спросил Сергей,

— Александра Степановича.

— Отец, к тебе! — позвал Сергей и хотел идти в свою комнату, но тут же остановился. Незнакомец, увидев на пороге отца, бросился к нему, долго пожимал руку.

— Вы мой ученик?

— Помните, я уходил из школы, но вы вернули меня. Я еще долго не соглашался,

— Бекаревич?

— Он самый.

— Где же ты сейчас? Пойдем, поговорим... — Глаза у отца сразу потеплели. Он положил руку на плечо Бекаревичу и увел в свою комнату.

А за вечерним чаем отец рассказал Сергею:

— Совсем свихнулся мальчишка после смерти родителя. Мать начала в бутылку заглядывать, и он бросил школу, стал воровать в поездах... А вот теперь прораб на большой стройке.

— Ты доволен? — спросил Сергей.

— Я счастлив... — глухо сказал отец, и голос его дрогнул. — Счастлив, что работаю не вхолостую, что есть и у меня маленькие победы...

Тогда, за вечерним чаем, Сергей откровенно позавидовал отцу, его трудной, но благодарной работе. Может быть, тогда, еще в восьмом классе, пришло к нему это решение — стать учителем...

Интересно, приняли ли эту большеглазую?

Первый день занятий в институте Сергею показался неорганизованным. По крайней мере не таким, каким он запомнился в школьную пору. Там ты приходил в свой класс, знал свою парту, свое место. А тут студенты толпились у расписания, затем бродили по коридорам и этажам в поисках нужной аудитории.

Филологи собирались в актовом зале. Сергей открыл высокую тяжелую дверь старинной работы и увидел массивные балконы, огромную люстру, спускавшуюся с потолка, многочисленные ряды стульев, паркетный, от времени истертый пол.

Половина мест была занята. Сергей опустился на стул в последних рядах. Аудитория гудела, как перрон перед отходом поезда. Сергей положил на колени общую тетрадь, открыл ее и в углу первой страницы нарисовал хвостатого чертика. Потом он увидел объемистую сумку которую поставили на стул рядом с ним.

Сергей поднял глаза и замер с карандашом в руке — рядом сидела большеглазая незнакомка.

— Вам тоже повезло? — спросил, улыбаясь, Сергей.

— Вы о чем? — Девушка узнала Сергея и тоже улыбнулась. — Первый раз в жизни.

— Поздравляю!

— Спасибо, — равнодушно ответила девушка и достала из сумки тетрадь. — Что у нас сегодня?

— Всеобщая история.

Разговаривать больше не пришлось, так как в это время на сцену поднялся среднего роста

мужчина с аккуратной, очевидно, крашеной, черной бородкой и бритой головой.

Мужчина громко поздоровался, потом взял из-за стола президиума стул, приставил к кафедре, сел, согнулся, очевидно, поправляя обувь, и вдруг все увидели рядом с кафедрой пару его черных, начищенных до блеска туфель.

Легкий шумок пошел по залу, но в этот момент снова раздался громкий и властный голос преподавателя;

— Зовут меня Милявский Ростислав Иванович. Я кандидат наук. Буду читать у вас курс всеобщей истории. Дабы облегчить работу в поисках литературы, разрешаю вести самый подробный конспект моих лекций. Больше того, буду читать так, чтобы вы успевали записывать...

Сергей, как загипнотизированный, смотрел на начищенные до блеска туфли, стоящие рядом с кафедрой. Что это — чудачество или хронические мозоли?

Лекция, на удивление, была интересной. Человек с аккуратно подстриженной бородкой увлек студентов знанием предмета. Он помнил не только год далекого исторического события, но и день и час, рассказывая так, словно он лично при этом присутствовал.

Сергей забыл, что сидит рядом с большеглазой незнакомкой.

— Феномен... — громко прошептал он.

— Подумаешь, невидаль. Читали бы вы этот курс лет десять подряд... — негромко сказала она, глянула на Сергея и снисходительно улыбнулась.

И действительно, подумал Сергей, как это мне сразу не пришло в голову. Конечно, за десять лет курс можно заучить наизусть. И разувается на виду у всех. Бравата...

Прозвенел звонок, но первокурсники не шелохнулись. Милявский чуть заметно улыбнулся, легким движением надел туфли и сошел со сцены в зал.

Встал и Сергей. Он смотрел вслед крепко сбитому немолодому человеку, удивляясь его почти военной выправке, и не восхищался. Ирония, проскользнувшая в словах большеглазой соседки, сразу заразила его. Рисуетя, продолжал он думать о Милявском. Знает ведь, что провожают двести пар глаз.

Он положил на стул общую тетрадь и тут только заметил, что его соседка исчезла. Однако на стуле стояла ее объемистая сумка, и Сергей успокоился.

Курить разрешалось на лестничной площадке. Желающих было так много, что Сергей с трудом нашел свободное место у перил, достал пачку папирос и услышал сбоку знакомый хрипловатый голос:

— Одолжи папироску.

Сергей повернулся и увидел Эдика, высокого, скромно одетого парня с густыми темными бровями. Брови эти делали его старше своих лет.

Эдик учился в соседней школе, и Сергей встречался с ним на спортивных состязаниях. Молчаливый и на вид угрюмый, Эдик на волейбольной площадке преображался. Это был живой, подвижный, веселый парень с завидной выдержкой и энергией.

— Если в долг, можно... — улыбнулся Сергей, но Эдик не ответил на улыбку, протянул руку, молча взял папиросу, прикурил.

— Верну после первой стипендии, — сказал он, и Сергей не понял — было это сказано всерьез или в шутку.

— А где тебя найти?

— В седьмой группе, — ответил Эдик. Он протянул Сергею широкую крепкую ладонь, и Сергей с удовольствием пожал ее.

— Силен... — сказал, затянувшись, Эдик и впервые улыбнулся, открыв белые, но довольно мелкие передние зубы. — А ты в какой?

— В пятой.

— Слухай, переходи к нам! — предложил Эдик, и брови его прыгнули вверх, отчего лицо сразу стало озорным и веселым. — Вместе ходить на занятия будем.

— А что? И перейду. Еще не поздно, — бросил Сергей, но тут прозвенел звонок, и Эдик ничего не ответил. Ребята дружно повалили в дверь, на ходу бросая окурки в урну.

Большеглазая соседка уже была на месте, раскрыв на круглых коленях общую тетрадь.

— Травились?

— Принимали стимулятор, — ответил Сергей на шпильку.

— Грамм никотина убивает лошадь... — полупшепотом произнесла она, потому что на кафедре уже поднимался Милявский.

— Нас не убьешь, мы человеки. А человек — это... Сзади зашипели, и Сергей не закончил фразы. Девушка посмотрела на него и улыбнулась:

— Вы не умрете от скромности,

— Это точно... — шепнул Сергей и развернул тетрадь. В аудитории зазвучал баритон Милявского...

После лекций Сергей долго толкался в вестибюле, ожидая свою соседку, с которой так еще и не познакомился. Однако она не появлялась. Сергей поднимался вверх, обходил одну аудиторию за другой, но девушки нигде не было. Сергей даже разозлился — что она, нарочно пряталась, что ли?

Он махнул своим ученическим портфелем и направился к выходу.

У двери кто-то хлопнул его по плечу.

— Могу возратить долг, не ожидая стипендии! — Эдик протягивал Сергею папиросу. Рядом с ним стоял улыбающийся широкоскулый парень. — Знакомся, — сказал Эдик. — Наш попутчик. Закадычный друг детства.

— Иван? — удивился Сергей появлению своего одноклассника.

— Как видишь...

— Ты ведь уехал в военно-морское.

— Вернули, черти.

— Только они и могли.

— Доктора, чтоб им ни дна ни крышишки.

— Ты ж здоров как бык. Да и комиссия в военкомате была...

— А в училище обнаружили какое-то плоскостопие. Всю мою сознательную жизнь оно мне не мешало, а тут...

— Дрался?

— Еще бы... До начальника военных учебных заведений дошел...

— Шут с ними, — сказал Сергей и положил руку на плечо Ивана. — Шагай со своим плоскостопием в педагоги. А в море и утонуть можно... Союз? — Сергей протянул руку Ивану.

На руки Ивана и Сергея Эдик положил свою. Так в детстве клялись в дружбе ребята на Ульяновской улице.

— Союз, — твердо повторил Иван.

— Союз, — сказал Эдик.

И они зашагали втроем по Ленинской, самой тихой и уютной улице города.

Глава вторая БОЛЬШЕГЛАЗАЯ

На лекции Милявского продолжали собираться в актовом зале. Студенты, пришедшие пораньше, занимали места впереди. Сергей, Иван и Эдик держались вместе, где-то в середине.

Сергей потерял из виду большеглазую. В тот первый день, когда он напрасно искал ее в кабинете, она как сквозь землю провалилась. Спрашивать о ней было не у кого, да и невозможно — Сергей не знал ни имени ее, ни фамилии. В перерывах он даже не выходил покурить — все слонялся по залу да по коридору — может, пропустил ее, может, не заметил.

Поведение Сергея не осталось незамеченным, и он вынужден был все рассказать друзьям. Ребята молча выслушали его исповедь и несколько дней не вспоминали об этом. Иногда только Сергей ловил на себе иронический взгляд Ивана.

На Ульяновскую надо было идти почти через весь город. Шли молча, будто не замечая друг друга. В привокзальном скверике Иван предложил присесть на скамью. Конечно, не потому, что они устали в дороге. Сергей почувствовал, что это молчание не может долго продолжаться, что Ивану и Эдику противна его меланхолия и они, может быть, даже расторгнут мужской союз, заключенный в первые дни учебы.

— Ну, вот что, — глухо кашлянул Иван. — Я думаю, нам пора поговорить серьезно.

— Что случилось, хлопцы? — притворился Сергей.

— Нам надо поговорить об этой твоей незнакомке, — спокойно продолжал Иван, — из-за которой ты потерял обыкновенный человеческий облик.

— Это точно... — подтвердил Эдик.

— Ты что? — спокойно, но твердо говорил Иван. — Хочешь вцепиться в юбку с первого же курса? А ты знаешь, что не сегодня-завтра нам придется стать солдатами, а там через каких-нибудь полгода будем преподавать русский язык, может, и в Сорбонне...

— Сдурел... — тихо выдавил Сергей. — Во-первых, где война, а где мы., Во-вторых, ты что, тоже метишь в завоеватели?

— Это ты сдурел, — не унимался Иван. — Во-первых, война не так уж далека, во-вторых, к нам, после того как мы победим фашизм, будет в мире большой интерес, вот и придется преподавать русский язык и там, а в-третьих — противно смотреть: забросил учебу, забросил дружбу, слоняешься, как потерянный, по институту.

Сергей не хотел касаться личного. Его больше устраивал разговор на международную тему.

— Дуришь голову этой войной, — сказал он Ивану.

— Только слепые не видят, что она нам уже свой привет посылает. Гитлер ведь всю Европу сожрал,

— Ну, пожалуй, не всю Европу...

— Так почти всю.

— Нас побоится, — бросил Сергей. — Воевать будем на чужой территории.

— С тобой повоюешь... — перебил Иван. — Спрячешься за широкую юбку благоверной.

— Да ну вас! — отмахнулся Сергей.

— И вот что... — продолжал Иван. — Отныне ходить будем вместе.

— Как это — ходить? — не понял Сергей.

— Ну, в кино там или в театр — одной компанией, без всяких девчонок.

— Правильно, — поддержал Эдик Ивана. — Ты не знаешь, брат Сережа, что, как поется в одной опере, сердце красавицы склонно к измене и к перемене, а мы не подведем. В качестве эксперимента завтра же коллективный поход в «Чырвоную зорку».

— Добро, — согласился Сергей. — Проклятые женоненавистники! Забыли, что была еще и Жанна д'Арк.

— Одна на весь земной шарик, — улыбнулся, выпуская облако табачного дыма, Эдик. — А теперь больше увлекаются собственным семейным гнездышком.

— Об этом мы еще поспорим, — не сдавался Сергей, — а насчет кино правильно. На какой сеанс?

— Последний, — предложил Иван. — Дети не шумят, и не храпят старики.

В кино чуть не опоздали. Сперва где-то задерживался Эдик и не являлся в условленное место, потом, когда все собрались, заупрямился Иван, предложив явиться за пять минут до начала. Он считал, что ожидать в фойе — глупо, потому что там дифелируют одни девчонки, на которых ему, Ивану, по меньшей мере, начихать, а поскольку Эдик и Сергей его друзья, то они должны разделять его точку зрения.

Долго ли, коротко ли решали они эту проблему, но, когда пришлось идти, — едва успели схватить билеты. Контролер — полная, видать, добродушная, женщина, втолкнула их в полуосвещенный проектором зал — занимайте, мол, свободные места и больше не опаздывайте.

Шел фильм «Если завтра война». Все было понятно, знакомо, все соответствовало их мечтам и понятиям. Иван прямо врос в кресло, не спуская глаз с экрана. Эдик смотрел и делал иногда какие-то замечания. С Сергеем происходило что-то совершенно непонятное.

Как только они втроем побежали по главному проходу зала на свободные места, Сергей почувствовал, что она здесь, в зале, что он даже заметил ее не то в пятнадцатом, не то в двадцатом ряду. Она была не одна.

Сергей не смотрел на светящийся экран. Он не слышал замечаний Эдика, не видел насторожившегося, сосредоточенного Ивана. Он шарил глазами по рядам, стараясь угадать, где

именно сидит она. Когда, устав от этих поисков, он начинал смотреть на экран, то и там ничего не видел.

Что же все-таки произошло? Так давно она не была в институте, а потом вдруг пошла в кино, как будто это самое главное, что надо делать после такого долгого отсутствия? А может, она уже бросила институт и, как говорит Эдик, увлеклась собственным семейным гнездышком... Ну и пусть. По крайней мере, ясно, с кем ты встретился... А может, ему показалось — и ее нет в этом душном темном зале с красными огоньками запасных выходов... И он снова начинал искать ее то в пятнадцатом, то в двадцатом ряду.

Когда в зале зажегся свет, Сергей почувствовал, как краска бросилась ему в лицо. Да, он не ошибся, она была на этом же сеансе, не одна. Рядом с ней был спортивного вида парень, стриженный под выходящий из моды «бокс», с небольшой светлой челочкой на лбу.

Парень то и дело поправлял челочку ладонью, встряхивая при этом головой, словно забрасывал на затылок пышную прическу. Это движение головой просто выводило Сергея из себя. Пижон, — заключил Сергей и перевел взгляд на девушку. Она похудела, отчего Глаза ее стали еще более выразительными, На ухаживания парня, как показалось Сергею, она отвечала сдержанно и как будто не придавала им значения. Правда, на какое-то замечание его у выхода она весело улыбнулась, и эта улыбка, словно электрический ток, пронзила Сергея. Он машинально, ничего не видя и не слыша, шел за девушкой.

— Ты что, очумел? — услышал он наконец слова Ивана. — Куда прешь? Не видишь — люди впереди.

— Вижу, — повернувшись к друзьям, сказал Сергей. — Вся беда в том, что вижу. Она пошла с каким-то пижоном...

— Кто? — не понял Эдик.

— Да она, понимаете, о-на!...

— Оставь! — отрезал Иван.

— Не могу.

— Хочешь от пижона в морду схлопотать?

— Да нет, мне просто интересно. Понимаете, она с ним вроде чужая...

— А с тобой? — съязвил Эдик.

— Слушайте, ребята, я пойду за ней, а вы — домой. Иван взял Сергея за руку.

— Сережа, — каким-то глухим дрожащим голосом сказал он. — Я тебя очень прошу. Не затевай.

— Пошли домой, — позвал Эдик. Сергей вырвал руку:

— Да отстаньте вы от меня, что я вам, в конце концов, пацан из детского сада?

Он резко повернулся и ушел. Ушел торопливо, потому что незнакомка с парнем исчезли за углом дома на Первомайской.

Сергей шел за незнакомкой. Она о чем-то негромко говорила с парнем. Он не мог разобрать слов, но слышал ее спокойный приятный голос и шел, как заколдованный.

Вот они свернули с Первомайской и пошли вниз по Виленской, едва освещенной редкими фонарями. Здесь было не так многолюдно, и Сергей начал опасаться, что его преследование будет замечено. Однако ни девушка, ни парень не обращали никакого внимания на встречных и на тех, кто шел позади.

Сергей остановился, закурил и неторопливо пошел дальше. В какой-то момент, на мостике через Дубровенку, он почувствовал острый прилив стыда и остановился. Куда он идет, зачем, собственно, следит за девушкой, которая даже намеком не дала ему права на какие-то отношения, на то, чтобы ревновать, чтобы лютой, ненавистью ненавидеть этого стриженного под «бокс» парня, который идет сейчас рядом с ней.

Правда, Сергей заметил, что парень, попытавшийся было взять ее под руку, оставил это намерение. Она оттолкнула руку и продолжала идти рядом, свободно размахивая сумочкой. Была она в светлом платье, облежавшем ее стройную фигуру, и Сергею легко было на улице видеть ее впереди.

Наконец девушка с парнем остановились, и Сергей услышал ее голос:

— Ну, пока. Дальше провожать не надо. Парень что-то глухо проговорил в ответ.

— Нет, спасибо. Здесь я уже сама.

Парень снова что-то сказал, и вот они нырнули в переулок, утонувший в темноте.

Сергей поначалу растерялся. Он знал хорошо свой город, но здесь бывать никогда не приходилось, и, пока глаза привыкли к темноте, продвигался почти ошупью вдоль заборов, тянувшихся на холмах вдоль маленькой, но беспокойной Дубровенки. Говорят, эта река некогда была большой и бурной. Несла свои воды в Днепр, а теперь превратилась в капризный мелководный ручей. А берега так и остались высокими и крутыми, и на них лепились небольшие деревянные дома с обязательным садом и огородом.

На вершине одного из холмов Сергей услышал голоса — ее и его. Он подошел поближе и, опершись о забор спиной, остановился. Он стоял так, что мог разобрать, о чем они говорили, но он был в тени, а они в блеклом свете далекого фонаря, и он видел ее и его — они стояли друг против друга. Она держалась за калитку — наверное, здесь был ее дом.

Снова Сергей ощутил чувство неловкости за сегодняшнюю выходку. Он хотел было повернуться и уйти, но вдруг отчетливо услышал ее громкий возглас:

— Не тронь!

Сергей увидел, что парень хочет обнять незнакомку. Прозвучала звонкая пощечина.

— Уходи!

— За что? — погладив щеку, недовольно спросил парень.

— За нахальство, — твердо ответила она.

— Спасибо. До свидания, — сказал парень и протянул руку.

Девушка молча повернулась и открыла калитку. В это время парень обнял ее, пытаясь поцеловать. Девушка начала отчаянно отбиваться.

Сергей не помнит, как это случилось. Неведомая сила отбросила его от забора, у которого он стоял. Сергей ударил парня в стриженный затылок.

Девушка отскочила. Ни она, ни парень некоторое время не понимали, что произошло. Вдруг парень склонил голову, как молодой бычок перед боем, и бросился в ноги Сергею. Они упали на землю и сцепились в ожесточенном клубке. Потом Сергей оттолкнул парня, вскочил на ноги.

Они молча смотрели друг на друга, готовясь к очередной схватке, и вдруг слышали голое девушки:

— Ребята, разойдитесь по-хорошему. Не надо, ребята... Уходите, не то я кого-нибудь позову...

Парень даже не повернулся на этот голос.

— Хулиганов надо учить, — твердо сказал он и пошел на Сергея.

Сергей шагнул навстречу и вдруг почувствовал страшный удар в живот. Он наклонился от боли до самой земли, и в этот момент его ударили по голове...

Он очнулся от яркого солнечного света. Над ним сверкал высокий белый потолок, под которым светился на солнце белый плафон люстры. Стены тоже были белыми, кровати тоже, и лишь люди были в серых больничных халатах. Одни лежали, другие читали, третьи играли в шахматы.

Палата была коек на десять.

Сергей хотел повернуться и вдруг ощутил резкую боль в голове. Он не выдержал и застонал. Люди в палате повернулись в его сторону. От шахматной доски оторвался полный мужчина и подошел к Сергею. Халат на его животе не застегивался, широкое добродушное лицо с мясистым ноздреватым носом улыбалось.

— Жив? Значит, погуляем на твоей свадьбе.

Сергей ничего не ответил толстяку. Он смотрел на этого подвижного веселого человека и тоже улыбался. Очень уж он смахивал на бравого солдата Швейка, знакомого всем по иллюстрациям Йозефа Лады.

— А ты, брат, не улыбайся, — продолжал толстяк, — упустишь эту — другую такую не найдешь.

Сергей продолжал улыбаться, с недоумением поглядывая на толстяка. Тот уловил реакцию Сергея, с трудом запахнул полы больничного халата и присел на табурет у койки.

— Я, брат, серьезно... — сказал толстяк, — две ночи она вот тут просидела, а маму твою

отправила отдыхать...

Сергей почувствовал, как под повязкой, закрывавшей голову и половину лица, стало жарко. Сердце застучало часто и гулко. «Неужели? — Сергей даже подумать боялся. — Неужели приходила?...»

— Да и друзья у тебя что надо, — сказал толстяк. — Так что не горюй! Все обойдется... — Он отошел от койки, наклонился над шахматами, иногда поднимая голову, чтобы подмигнуть Сергею и улыбнуться такой веселой швейковской улыбкой...

Пришла мама. Была она какая-то незнакомая в белом халате, растерянная и жалкая. Увидев, что Сергей очнулся, она подбежала, села на койку и расплакалась. Худенькие плечи ее по-детски вздрагивали, по щекам, маленьким и морщинистым, стекали слезы и падали Сергею на руки.

— Ну, чего ты... не надо... люди ведь... — неумело успокаивал Сергей маму, и жар, который собрался под повязкой, подступил к глазам. — Ну, чего ты... все ведь в порядке...

— Господи, какой порядок, когда тебя почти убили... Хорошо, что «скорая» забрала, а так бы и умер на улице... — Мать замолчала, и Сергей видел, что ей хочется спросить о чем-то, может быть, самом главном, но она почему-то не решается. Он не хотел, чтобы она спрашивала, и повторял:

— Ну, чего ты... все в порядке...

Мать открыла сумочку, достала вчетверо сложенный листок и положила его на тумбочку у кровати:

— Тут вот Эдик с Иваном пишут тебе... уехали на работу в подшефный колхоз.

Сергею хотелось узнать, уехала ли вместе со всеми большеглазая, но он промолчал, только как-то сник и загрустил.

— Ничего, ребята скоро возвратятся, вот только ты встанешь на ноги, и они будут тут как тут... — не поняла мать перемены в настроении сына.

Потом она хотела его покормить. Как маленького, с ложечки. Он смутился и отказался наотрез.

— Так ты никогда не поправишься, — уговаривала его мать, держа на коленях кастрюльку, завернутую в чистые тряпочки, чтобы бульон не остыл. Так она всегда оставляла обед отцу, который задерживался в школе. Помнится, накрывала она эти кастрюльки еще старым ватным одеялом,

Сергею было неловко перед соседями по палате за эту кастрюльку, за эти тряпочки, за то, что мать считает его беспомощным ребенком. И, когда она ушла, оставив на тумбочке два бутерброда с колбасой, он отвернулся к стене, чтобы уединиться и подумать о незнакомке.

Толстяк со швейковской физиономией не дал Сергею уединиться. Не отрываясь от шахмат, он громко, на всю палату, сказал:

— Да я б на твоём месте проглотил все разом с кастрюлькой, только чтоб она довольна была. Это же мать, понял?...

Сергей не откликнулся. Ему было стыдно, но он думал о той, о которой почему-то умолчала мать, думал, и сладкая радость росла у него в груди, и он улыбался краешком губ, глядя на белый потолок, на сверкающий белизной плафон люстры.

— Ничего ты не понял, — глухо проговорил полный шахматист. — Ничего. Лежишь себе и молчишь в тряпочку. А мать пошла обиженная. Эх ты...

Сергей снова ничего не ответил толстяку. Да и отвечать, собственно, было нечего, потому что толстяк, наверное, был прав.

Он взял с тумбочки вчетверо сложенный листок и прочитал бисерный почерк Ивана: «Жаль, конечно, тебя, поделом... Едем недели на три. Думаю, что к этому времени ты придешь в себя. Обнимаем тебя. Иван. Эдик».

Сергей прочитал, улыбнулся, положил записку на тумбочку и впервые подумал о том, что категоричность по поводу отношения к девушкам исходила всегда только от Ивана. Эдик или отмалчивался или поддакивал, когда Иван нажимал на него. Значит, «союз» в каких-то пунктах начинал давать трещину. Сергей опять улыбнулся и стал изучать белизну палатных стен. Боли не было. Спокойная усталость опускалась на его руки, голову, веки... Он закрыл глаза и задремал.

Каким-то десятым чувством он угадал, что она в палате, что она совсем рядом. Стоит только раскрыть глаза, и взгляды их встретятся.

Сергей повернулся, открыл глаза и увидел, что она сидит на табурете у койки и держит в руках большое розовое с желтым отливом яблоко, кажется, малиновку.

Он порывисто приподнялся, застонал, перед глазами поплыли темно-красные круги, и он в холодном поту упал на подушку.

Он слышал, как звенели стаканом, как подносили ко рту воду. Сергей очнулся и сказал:

— Не надо воды. Садись...

Она села на табурет, и большие глаза ее с привычной иронической смешинкой на этот раз грустно глянули на него.

Некоторое время длилось молчание.

— До сих пор ума не приложу, — тихим голосом сказала она, — как ты очутился возле моего дома.

Это «ты», произнесенное ею запросто, как старым другом, сразу придало разговору задушевный тон, когда хочется говорить открыто, не стесняясь.

— Почему ты так долго не была в институте? — вместо ответа спросил Сергей. — Так долго, что... тебя даже могли при желании исключить.

— Чудак ты, — улыбнулась девушка. — Это тебе показалось, что долго. Просто я хворала недельку...

Сергей слегка смутился. Ему не хотелось, чтобы она поняла, что он тосковал, искал ее повсюду и ждал.

— Не нашла ничего лучшего, как после болезни пойти в кино... — упрекнул Сергей.

— А почему бы и не пойти?

Они снова замолчали, потому что упрек Сергея в какой-то степени задел ее. Она считала, что он не имел на это никакого права, и считала правильно.

— Покурить, что ли? — громко, на всю палату, сказал толстяк и первым поднялся с табурета.

— А ты, кажись, не куришь? — заметил кто-то из больных. — Или решил, потому что проигрался?

— Курю, когда надо для дела, — отрезал толстяк. — А потом я такую историю вспомнил, пальчики облизать. Могу только в мужской компании...

Толстяк вышел, Сергей видел, что он уводит за собой больных из палаты, и был бесконечно ему благодарен.

В палате никого не осталось. Девушка положила малиновку рядом с бутербродами, оставленными матерью, как будто собираясь уйти.

— Посиди еще... — попросил Сергей.

— А я и сажу... вот, возьми яблоко.

— Слушай, — улыбнулся Сергей, — вот глупейшая ситуация — я ведь даже твоего имени не знаю...

— Как в знаменитом романсе, — улыбкой на улыбку ответила девушка. — Давай познакомимся. Меня зовут Вера.

— А меня...

— Я знаю — Сергей, — не дала ему договорить Вера и протянула руку.

Сергей взял ее. Ладонь была маленькая, но сильная, — Вера, наверное, была не из белоручек. И первый раз Сергей почувствовал, как от прикосновения к этой маленькой ладони ему стало тепло и весело. Он не выпускал ее руку, смотрел на Веру и улыбался.

— Так вот, — снова заговорила Вера, — ума не приложу, почему ты в тот вечер оказался возле моего дома.

— Откровенно?

— Ну, безусловно.

— Из любопытства.

— И только?

— А разве этого недостаточно для начала? — Какого начала?

Сергей замялся:

- Ну... наших дипломатических отношений.
- А зачем же драться?
- Я думал... он тебя оскорбляет. Вера задумалась.
- А если бы я его любила?
- Как... любила?
- А вот так... только не позволяла вольностей с самой первой встречи...
- Выходит, я помешал?
- Как тебе сказать... — Вера замялась, занятая какими-то своими мыслями. — А вот так и скажи... — Сергей снял свою руку с Вериной ладони и насторожился. Сейчас он больше всего боялся быть оскорбленным в самых своих искренних чувствах. Боясь громко дышать, он шел за ней через весь город, потому что она была для него дороже всего на свете. Он готов был вынести ее из огня, броситься за ней в воду, грудью своей прикрыть от любой опасности. Он думал, что она догадывалась об этом. Сейчас он не мог понять Веру и смотрел на нее с каким-то недоумением и даже испугом.

— Дурачок ты, — мягко сказала Вера, — не смотри на меня так... Просто, ты еще совсем ребенок. Ну, прощай... — Вера встала, поправила черную, аккуратно выглаженную юбку. — Прощай. Поправляйся. И больше никогда этого не делай.

Сергей был ошарашен.

— Прощай... — тихо повторил он.

— Ну, вот и хорошо... для начала наших дипломатических отношений, — произнесла она и пошла к двери.

Сергей смотрел ей вслед и чувствовал, как в груди нарастал яростный горячий протест против всего, что она тут наговорила.

— погоди! — крикнул он, когда дверь уже закрылась за ней. — погоди!

Злость кипела в нем, не находя выхода. Он приподнялся на локтях, преодолевая боль в голове, и глазами, полными слез, смотрел на злополучную дверь, которая закрылась за человеком, на всю жизнь обидевшим его.

— погоди! — крикнул он на всю палату.

Вошел шахматист и беспокойно засеменил к Сергею, шевеля толстыми губами:

— Ты что? Успокойся...

— Вы видели ее? — почти прохрипел Сергей.

— Ну, конечно. Все видели.

— Красавица, не правда ли?

— Конечно, красавица.

— Честное слово?

— Я ведь тебе сразу сказал, что другую такую не найдешь.

— Вот именно! — зло засмеялся Сергей, — Другую такую не найдешь! Подлая она!

— Семь раз отмерь, а один отрежь... — посоветовал толстяк, поправляя Сергею подушку,

— А я режу раз и навсегда! — громко сказал Сергей. Он схватил с тумбочки розовое с желтым отливом яблоко, принесенное Верой, и с силой швырнул его на пол. Зрелое, оно расколосось на мелкие части, оставив на линолеуме влажное пятно. Было оно красное, словно свежая кровь. Сергей почувствовал приступ тошноты. Перед глазами снова завертелись красные и черные круги, и он потерял сознание...

Глава третья ИВАН

Иван был слишком мал, чтобы запомнить то время, когда их небольшой городок очутился за советской границей на восточной окраине буржуазной Польши. Воспоминания, удержавшиеся в его цепкой памяти, относились к тем дням, когда польские жандармы арестовывали его отца — бывшего командира Красной Армии, а они, ребяташки, забившись стайкой в темный угол, с испугом наблюдали за тем, как медленно одевался отец, как прощался с матерью, как обнимал своего старшего сына Виктора, а потом подошел к ним.

Дети, услышав рыдания матери, дружно заплакали, а отец брал каждого из них на руки, целовал, щекоча прокуреными седыми усами. Иван помнит эти белые с рыжевatinкой усы, помнит отцовские глаза, глубокие и печальные. Это все, что он помнит об отце, потому что с той поры о нем ничего не было слышно.

И еще Иван запомнил очень хорошо, как однажды во дворе их дома появился пьяный жандарм. Он громко кричал, угрожал, размахивал руками, но Иван ничего не понял, потому что ругань эта была пересыпана и польскими и русскими словами.

На крыльце стояла мама и молча качала головой, ребята со страхом и любопытством смотрели на вооруженного жандарма и ждали, что будет дальше. Вскоре пришел с работы Виктор. Он молча выслушал жандарма, потом так ударил его в ухо, что тот свалился с ног. Виктор отцепил револьвер, взял жандарма в охапку, бросил в курятник и запер. Мать запричитала по Виктору, как по покойнику. А он спокойно прошел в дом, налил себе борща, поел, а потом вышел, сел на ступеньки крыльца и закурил.

Ребята притаились, как мыши. Они то смотрели на брата, спокойного и уверенного в себе, то на мычащего в курятнике жандарма, который постепенно приходил в себя.

Наконец в маленьком дворике Ивана началось самое интересное: пьяный жандарм, обнаружив себя в неподобающем месте и без оружия, начал опять кричать и угрожать Виктору. В ответ Виктор покуривал и поплевывал в сторону жандарма.

Вскоре жандарм от угроз перешел к просьбам.

— Слухай, хлопец, — говорил он, — выпусти меня отсюда. Я и так весь в курином дерьме.

— Не угрожай, — твердил спокойно Виктор.

— Да я ж не угрожаю. Просто хватил лишнего. Дай, думаю, попугаю трохи этих красных.

— Не пугай.

— Про вашу семью все в местечке знают. Батяка — коммунист. Ты тоже в коммунисты метишь.

— Не твое дело, — приговаривал Виктор, продолжая спокойно сидеть на крыльце. — За то, что ты пьяный потерял при исполнении обязанностей оружие, тебя, конечно, выгонят из жандармерии. А про то, что мы красные, забудь. Нас ведь вон сколько на белом свете. Сам знаешь, сколько за рекой красных.

— Знаю... — чуть не плакал жандарм. — Пожалей ты меня и мою семью. Не лишай куска хлеба.

Виктор подождал немного, докурил сигарку, плюнул на окурочок, швырнул его под ноги и пошел к курятнику. Он отбросил защелку, и перед взором ребят предстал перепачканный жалкий жандарм. Такого жандарма Иван еще ни разу в жизни не видел и поэтому громко расхохотался. Смеялись дети, мать и даже Виктор.

— Ну, вот что, — сказал Виктор, — теперь мы квиты, и чтобы ни ты, ни твои дружки больше в этом дворе никогда не появлялись. Понятно? — Виктор протянул жандарму револьвер и сказал по-польски: — До видзэння.

— До видзэння, — машинально повторил жандарм и огородами побрел домой отмываться.

И еще помнит Иван, что у Виктора была какая-то большая страшная тайна. Большая потому, что о ней никто не знал, кроме самого Виктора, а страшная потому, что за эту тайну жандармы без всякого разговора могли посадить в тюрьму на всю жизнь.

Виктор уходил иногда куда-то и пропадал ночами. Потом, пошептавшись с матерью, стал отпрашивать к тетке Наде, что жила у пограничной речки, среднего брата Виталика. Перед этим Виктор долго выстругивал красивую палочку, чтобы Виталику было легче в дороге, а при случае и от собак можно было отбиться.

Провожая Виталика в дорогу, Виктор строго наказывал брату беречь пуще глаза эту палочку, а придя к тетке Наде, не бросать ее где-нибудь во дворе, а поставить в углу, под иконами. Виталик был удивлен таким вниманием к простой деревянной палочке, но спустя года два именно из-за этой выструганной Виктором палочки вся семья была вынуждена бежать через границу.

Случилось это так.

По пути к тетке Наде Виталика задержали какие-то люди в цивильном. Они расспрашивали, кто он и куда идет. Виталик, как умел, лгал сыщикам.

Но вот они стали его обыскивать. Это было на лужайке, вблизи соснового бора, который тянулся до самого их городка. Сняли шапку, распоролли ее на куски, заставили снять штанишки, рубашку. Обыскивали каждую складочку. И, наконец, один из них, худенький такой, тощий, с быстрыми маленькими глазками, взял в руки деревянную палочку, долго ее рассматривал, а потом рывком потянул за ручку, и палка разделилась на две части.

В тайнике одной из частей лежала бумажка. Сыщики наклонились над ней. И в эту минуту Виталик, который сразу понял, в чем дело, бросился к лесу. За ним бежали, стреляли, а он, петляя, как заяц, ушел от преследователей, а поздним вечером явился домой.

И еще помнит Иван ту страшную ночь.

Как-то сразу похолодало, подул резкий северный ветер с дождем, который бил в лицо, как град.

Виктор, увидев на пороге Виталика, тут же приказал матери собираться и собирать детей. Откуда-то он пригнал подводку, что можно было взять с собой и скоро выехали из местечка. Виктор молча непрерывно понукал лошадь, и, словно понимая без слов своего неожиданного хозяина, она мчалась сквозь этот ветер, сквозь этот дождь и этот тревожный мрак, выбиваясь из сил. Поздней ночью приехали к тетке Наде. Тетка Надя совсем не испугалась, когда узнала, в чем дело. Она распрягла лошадь, отвела ее в сарай. Повозку поставили к стене гумна и присыпали соломой.

Когда все собрались в хате, тетка Надя, не таясь детей, сказала:

— Ну, вот что, мои родненькие. Сегодня погодка для вас хорошая, но перевезти не могу — нет такого уговора... А вот завтра — милости прошу...

— Завтра они будут здесь, — твердо сказал Виктор.

— А я никого не знаю и никого не видела, и пусть они поцелуют мне в одно место. А вас чтоб духу тут не было. До завтра. Собирайтесь.

Тетка повела своих гостей в ночное, мокрое, холодное поле, а потом в темноте все различили старое заброшенное кладбище с покосившимися крестами. Дети заплакали от страха. Заплакал и Иван. Мать молча погладила ребят по мокрым, холодным плечам, и дети успокоились.

— Ну, вот и пришли, — тихо сказала тетка Надя и открыла перед ними старый, но сухой склеп. Когда Виктор зажег спичку, все увидели песчаный пол и обвалившиеся стены, над которыми чудом держалась ветхая крыша.

— Пересидите день, а ночью я вас перевезу, — сказала тетка Надя и, немного подумав, добавила: — В случае чего до лодки сами дорогу найдете. Виктор знает, где я ее ховаю.

— Спасибо тебе... — тихо сказала мать, и Иван почувствовал, что в голосе ее прозвучали слезы. Он прислонился плечом к матери и больше ничего не слышал, потому что моментально заснул.

Когда проснулся, в щели крыши пробивалось яркое солнце. В склепе шепотом разговаривали Виктор и Виталик.

— Я же тебя предупреждал — заметишь что-нибудь подозрительное, — палочку выбрось, как будто она тебе не нужна. А место, куда выбросил, — запомни.

— Забыл... — вздохнул Виталик.

— «Забыл, забыл»... — передразнил Виталика Виктор, — какой же ты после этого коммунист?

Виталик долго молчал, а потом задумчиво спросил:

— А с коммунистами не случаются несчастья?

— Случаются, конечно, — ответил Виктор, — и, может быть, чаще чем с другими, потому что они за простой народ идут.

Потом опять было молчание, и опять его первым нарушил взволнованный Виталик:

— А что я носил в этой палочке?

— Почту.

— Так я был простой почтальон?

— Не простой, а коммунистический.

- А тетка Надя?
- Она тоже почтальон.
- А почему нельзя было эти бумаги бросить в обыкновенный почтовый ящик?
- Нас бы сразу всех переловили.
- А на советском берегу нас примут?
- Примут. Мы ж не чужие. Ночью тетка Надя не пришла.
- Взяли ее, — сказал Виктор. — Теперь делайте все, что я буду говорить.

Их было пятеро. Шли они гуськом, друг за дружкой. Впереди — Виктор, за ним Виталик, потом Иван, и последней шла мать. Она вела за руку меньшего.

Ночь, как назло, выдалась тихая, звездная. Несколько раз останавливались. То ли отдыхали, то ли Виктор проверял, чтобы впереди не было жандармов или пограничников. Больше всего он боялся, что возле лодки, припрятанной теткой Надей, будет засада. Но засады не было.

В лодку садились тихонько, без единого звука. Только Виктор все время приговаривал:

— Сидите смирно, не то все пойдем ко дну...

И все, казалось, шло хорошо. Вот уже Виктор оттолкнул лодку от берега, вот она приближается к середине реки. И вдруг раздались выстрелы и крики, которые невозможно было разобрать. То ли жандармы, то ли пограничники заметили беглецов.

— Ложись на дно! — приказал Виктор.

Виталик с Иваном плюхнулись на залитое водой дно. От холода или от страха Иван дрожал всем телом. А с покинутого берега уже били часто-часто.

— Из пулемета, гады, — проворчал Виктор, изо всех сил нажимая на весла.

Казалось, лодка крутилась на месте, как привязанная. Но это только казалось. Вот уже ткнулась она носом в противоположный берег, и Иван услышал строгий, но спокойный голос:

— Стой, кто идет? Выстрелы смолкли.

— Свои, — тоже спокойно сказал Виктор. — Поднимайся, ребята, приехали.

И вдруг застонала и с плачем опустилась на землю мама. Все бросились к ней — Виктор, пограничники, Виталик, Иван.

— Мамочка, что с тобой, ты ранена?

— Мамочка! — заплакал Иван. — Не умирай...

Но мать уже поднялась с колен, а потом встала во весь рост. На руках ее лежал младшенький брат Ивана, беспомощно разбросав руки и запрокинув голову.

— Убили! Сыночка моего уби-или! — с надрывом зарыдала мать, не в силах тронуться с места.

На том, другом, берегу, наверное, услышали голос матери. И тотчас раздалось несколько прицельных выстрелов.

— Сволочи! — выругался один из пограничников. — Уходите, уходите в укрытие!

Они спрятались в глубокой лощине, а потом поднялись и пошли на пограничную заставу. Впереди шагали по знакомой тропинке пограничники, за ними мать, потом Виталик, Иван и позади Виктор с убитым мальчиком на руках.

Иван впервые увидел смерть и никак не мог смириться с тем, что братишка молчит, не капризничает, не мог понять, что он уже никогда никому не пожалуется на что-то и ни о чем не попросит. Вот и все, что запомнил Иван из своего детства. А потом, когда они стали жить в этом городе и Виталик с матерью пошли работать, Виктор уехал. Надолго. Никто в доме не знал его адреса, но догадывался, что Виктор не сидит без дела, что, может быть, ежедневно жизнь его находится в опасности, и часто говорили о нем и вспоминали его. Приходили редкие письма, очень скудные. Все в порядке, живу, работаю. И, может быть, такое детство и обстановка в семье наложили отпечаток на характер Ивана. Он был требователен к себе, несколько аскетичен, но настойчивости и целеустремленности Ивана хватило бы на десятерых.

После того злополучного киносеанса, на котором Сергей встретил свою незнакомку, Эдик хотел бежать вслед за товарищем, чтобы уберечь его от несчастья. Но Иван так сжал его руку, что Эдик чуть не вскрикнул от боли.

— Не смей. Слышишь?

— Но почему? — удивился Эдик. — Ты видел этого стриженного боксера?

— Я буду рад, если ему влетит, — твердо сказал Иван. — Совсем голову потерял человек...

— А если он полюбил?

— Скажите, пожалуйста, — иронически воскликнул Иван. — Если это действительно так, то он глуп как пробка и никаким членом нашего союза быть не может.

— При чем тут разум? — слабо сопротивлялся Эдик. — Это же чувства.

— Чепуха, — твердо сказал Иван. — Разум должен руководить нашими поступками. Чувственная категория приводит к бесконечным ошибкам.

И как ни рвался Эдик за Сергеем, Иван не пустил его. Они шли по пустынной ночной улице, освещаемой редкими фонарями, и спорили до хрипоты. Каждый доказывал свою правоту, каждому хотелось отстоять свою точку зрения на жизнь. А если тебе восемнадцать, то твоя точка зрения всегда самая правильная и неопровержимая.

— Ты бесчувственное бревно, — утверждал Эдик. — Человек — не ходячая идея, а живое существо, которое познает мир не только при помощи сознания, но и при помощи чувств, при помощи эмоций.

— Я это знаю из школьной программы, — резал Иван. — Ни ты, ни Сергей не можете понять простой вещи — наше время выдающееся, необыкновенное время, которое готовит борцов, воинов, если хотите, людей, готовых отдать жизнь во имя той идеи, о которой ты говорил.

— Согласен с тобой в оценке времени, — не сдавался Эдик, — согласен, что мы должны быть готовы ко многому. Но я ведь человек — я и радуюсь и плачу, что-то люблю, а что-то ненавижу, я, в конце концов, обоняю и осязаю. И не хочу быть атрофированным существом в ожидании своей выдающейся роли в истории.

Иван замолчал. То ли обиделся, то ли просто не хотел продолжать спор.

— Слушай, Иван, — после некоторой паузы заговорил Эдик. — Скажи ты мне прямо — тебе что-нибудь известно такое, чего не знаем мы? О войне, о будущем. Твой брат ведь, наверное, в курсе?

— Известно, — спокойно сказал Иван. — Но не от брата. Просто я больше анализирую события, чем вы. Гитлер завязывает узелки вокруг нас. И нам не уйти от столкновения с его сильной военной машиной. А у нас в институте военное дело — детская игра,

— Институт — не военное училище.

— Вот именно, — продолжал Иван. — Столько молодежи, не способной драться с врагом на поле боя.

— Тебя послушаешь — страшно становится, — заметил Эдик.

Иван ничего не ответил.

В конце Ульяновской они остановились. Надо было расходиться по домам. Эдик вынул пачку папирос, закурил, предложил Ивану. Тот отказался.

— Бросил я, — объявил Иван.

Разговор разбередил обоих. Остаться наедине не хотелось. И они стояли, опершись о забор незнакомого палисадника, прислушиваясь к ночной жизни города.

— Уйду я от вас, — сказал Иван.

— Куда?

— Подамся опять в военное училище. Летное. По спецнабору. Есть разрядка в горкоме комсомола.

— Сам разваливаешь союз, а говоришь на других, — с обидой в голосе сказал Эдик. — Пошел в горком комсомола и никому ни слова.

— Критику принимаю. Пригласим Сергея и пойдем на комиссию втроем.

— А твое плоскостопие? — вспомнил Эдик.

— Мне ж не ходить, а летать...

Рано утром Иван проснулся от громкого разговора на кухне. Говорила его мать с матерью Сергея. Он не мог разобрать слов, но, услышав, что мать Сергея плачет, вскочил с постели и выбежал на кухню.

Мать строго спросила:

— Вы где, святая троица, вчера были?

- В кино.
- Домой шли вместе?
- Нет.
- Почему это? Иван замялся.
- Понимаешь, мама... Тут такое дело...
- Женщины насторожились.
- Он увидел знакомую девушку и пошел ее провожать.
- А вы?
- Мы домой. Тут такое дело... Мать Сергея всхлипнула.
- Да что случилось, Дарья Лукинична? — спросил Иван.
- В больнице мой Сережка... По «скорой»...

Ивана и Эдика в палату не пустили,

— Поменьше бы хулиганили, — проворчала дежурная сестра. — Из-за вас кажинный день беда...

— Да мы тут при чем? — огрызнулся Иван. — Мы друзья, понимаете?

— Какие ж вы друзья, если не вступились?

Иван не нашелся что ответить. Эдик вышел вслед за ним на крыльцо и закурил. Ему так хотелось напомнить Ивану их вчерашний разговор, но после упрека дежурной сестры это было излишним.

До института шли молча. Эдику казалось — Иван жалеет о том, что вчера не пошел вслед за товарищем. Он не хотел сыпать соль на свежую рану и ждал, когда Иван сам признает свою ошибку. Но Иван упрямо молчал.

В вестибюле института их встретил шумный говор студентов. Первокурсники всех факультетов уезжали завтра утром на уборку картофеля. Лекции отменялись вплоть до возвращения.

Эдик с Иваном вышли на улицу...

— Может, снова попробуем в больницу пробиться? — спросил Эдик.

— Нет. Оставим у его мамы записку и поедем,

— Каменный ты человек, — сказал Эдик.

Иван промолчал. Видно, ему не хотелось сейчас говорить о Сергее, о том, что произошло. Он энергично потирал лоб, и между густыми его темно-русыми бровями выступило красное пятно.

В деревне Иван с Эдиком поселились в одной хате. Была она чистенькая, как и ее немолодая хозяйка и ее отец — старик лет семидесяти, с бравыми буденовскими усами, аккуратно выбритый. Голова его была лысая, крупная. Глаза быстрые, острые, чему-то все время хитро улыбались.

«С этим дедом не соскучишься», — подумал Иван и спросил:

— Вы не против квартирантов?

— Проходите, проходите, вот вам и комнатка отдельная, — суетилась хозяйка, приглашая Ивана и Эдика за дощатую перегородку, где стояли две железные койки. — Вот тут мой сынок с невесткой жили, а теперь завербовались. Заработать хотят на свою хату. Тут и располагайтесь.

— Спасибо, — сказал Иван.

Хозяйка вышла. Ребята оглядели комнату, оклеенную голубоватыми обоями. На койке лежали байковые одеяла, подушки были накрыты вышитыми накидками. На туалетном столике стояло зеркало и рядом фотография молодого парня с круглолицей девушкой.

— Такая на любых заготовках выдержит, — улыбнулся Эдик и, кивнув на подушки, добавил: — Надо попросить хозяйку, чтобы убрала эти вышивки — нам они ни к чему.

Когда вышли, дед хитро улыбнулся:

— Вот уж колхознички рады-радехоньки. Такая сила нагрнула. Вам эта картошка пара пустяков.

— Я не специалист, — признался Эдик. — Дома у нас пару соток, так мама сама управляется.

— Городской, значит?

— Городской.

— В городе, наверное, думают, что картошка на деревьях растет?

Эдик спокойно ответил:

— Зачем же? Я говорил — мы свою выращиваем.

— Прости, глуховат стал, — улыбнулся дед. А Иван подумал: «Ну, и ловок же ты притворяться».

В это время скрипнула дверь, вошел босой вихрастый мальчишка и громко объявил:

— Студенты, в контору на сходку!

— Это что еще за сходка? — спросил Иван.

— Бригадир приказал. Ну, я побежал...

У конторы стоял стол, накрытый красным материалом, и за ним на стуле сидел Милявский. На нем был военного покроя френч, темно-синие брюки галифе и сапоги.

— Трудно ему будет, — улыбнулся Эдик. — Сапоги — не туфли, быстро не сбросишь.

Когда первокурсники плотной стеной окружили стол, Милявский встал, погладил крашеную бородку и кашлянул.

— Дорогие коллеги! — произнес он приятным густым баритоном. — Я прислан сюда дирекцией, парткомом и местным комитетом нашего института в качестве руководителя студенческой трудовой бригады. Осень нынче ожидается ранняя, и своевременная уборка картофеля обеспечит наши промышленные центры и нашу армию так называемым вторым хлебом...

Говорил Милявский долго и нудно. Студенты потихоньку загудели. Раздались голоса! — Все ясно!

— Ближе к делу!

— Давайте объем работ и сроки! Милявский услышал реплики, снял пенсне, протер носовым платком и сказал:

— Юности кажется, что у нее все позади, а оказывается, все впереди...

На этом, не совсем понятном афоризме он закончил и сел.

К столу подошла Вера. Была она в спортивном костюме, с гладко зачесанными волосами.

— Разрешите? — склонилась она к Милявскому. Тот кивнул. Эдик шепнул Ивану:

— Сергей в больнице, а она речи толкает... Иван промолчал.

— Тут наш руководитель, — сказала Вера, — очень интересно рассказывал о так называемых наших общих и частных задачах, и после этого мы, конечно, уразумели, что от нас требуется. А теперь я хочу спросить самое главное, где мы будем питаться, где мыться и так далее и тому подобное.

Студенты дружно загалдели. К столу подошел высокий небритый мужчина в кепке и поднял руку.

— Я тут работаю бригадиром, чтоб вы знали. Будем в поле встречаться. А девушка правильно ставит вопрос, и мы его, к вашему сведению, продумали еще до вашего приезда, потому как вы наши гости, а про гостя заботится хозяин...

Иван слушал бригадира и улыбался. Вот выступал перед этим ученый человек, кандидат наук, говорил гладко и грамотно, а вдумаешься — словесная трескотня. Бригадир был далеко не краснойбай, а говорил конкретно, толково, по-деловому,

— Посмотри на Милявского, — вдруг шепнул Эдик Ивану. — По-моему, и он клянул...

Иван увидел, что Милявского за столом уже нет. Он о чем-то оживленно беседовал с Верой. Потом снял пенсне, протер, еще постоял и, когда бригадир объявил о работах на завтра и закрыл собрание, пошел рядом с Верой по деревенской улице.

— Принял ее критику к сердцу, — сказал Иван.

— Не везет нашему Сережке, — вздохнул Эдик.

— Наоборот, — сказал Иван, но Эдик не понял товарища. Однако расспрашивать не стал. А Иван круто повернулся и направился к дому.

— Не везет нашему Сережке, — опять сказал Эдик, чтоб завязать угаснувший разговор.

— Слушай, Эдик, — вспылил Иван, — да ну их ко всем чертям, и этого старого ловеласа Милявского, и эту красавицу Веру. Пойдем лучше в нашу хату и отдохнем.

Но намерению Ивана не суждено было сбыться. В хате дед пригласил их к столу. На столе стояли тарелки с солеными огурцами, квашеной капустой, чугунок с дымящимся картофелем и посредине высокая бутылка темно-зеленого стекла.

— Чем богаты, тем и рады, — сказал старик. — Зовите меня просто Филипповичем. А вас как величать?

Из темно-зеленой бутылки он налил хлопцам по полстакана, а себе поменьше.

— Вы молодые, вам это семечки... Ну, для знакомства, — он лихо опрокинул самогон, крякнул и потянулся за огурцом. Увидев, что ребята сидят в нерешительности, спросил:

— А вы что ж?

Эдик кивнул на стакан:

— Это что, спирт?

— До спирта далеко, — прожевывая огурец, сказал старик. — Но градусов больше, чем в казенной.

Иван глянул на Эдика, взял стакан, поднял его над столом.

— Ну, за знакомство.

— На здоровье, мои детки...

Когда выпили, старик спросил хлопцев:

— Вот вы ученые, все знаете, скажите — будет война или нет?

Эдик не успел и рта раскрыть, как Иван тут же выпалил:

— Будет, дедушка.

Старик отложил недоеденный огурец, вынул из кармана кусок газеты, кiset, свернул сигарку, да так и держал ее неприкуренной. Немного подумал, потом поднял голову:

— А ты откуда знаешь?

Пока Иван собирался с ответом, Эдик сказал!

— А я думаю, что войны не будет. Дед живо повернулся к Эдику:

— Это почему, городской?

— А потому, — сказал Эдик, — что пока Гитлер захватывает другие страны, где у власти буржуазия, его солдаты идут в бой, а против нас не пойдут.

— Пойдут, — не сдавался Иван.

— А я говорю — нет, — возражал слегка захмелевший Эдик.

Старик явно обрадовался такому обороту разговора. Он взял бутылку, плеснул ребятам еще понемногу, но они отказались.

— Так, говоришь, не пойдут? — обратился старик к Эдику. — А почему, ты мне ответь.

— Из солидарности.

— Чего-чего? — не понял дед.

— Из пролетарской солидарности, — уточнил Эдик.

— Плетешь чепуху! — возмутился Иван. — И человеку голову морочишь.

— Нет, — сказал Эдик. — Ты погоди. Ты по натуре военный и хочешь воевать. Тебе только подавай войну. А я смотрю с другой стороны — может ли все это обойтись миром? Может.

— Что ж это за солидарность такая? — не отставал старик.

— Солидарность, — сказал Эдик, — это такая штука, когда рабочие и крестьяне, к примеру, Германии не хотят воевать против государства рабочих и крестьян, то есть против нас, против Советского Союза.

— Боже мой, как ты отстал! — воскликнул Иван.

— Хлопец правильно говорит, — вмешался дед. — Что было в ту войну, когда у нас царя скинули? Они своего тоже скинули, и братались мы.

— Фашизм — это совсем другое, — вскипел Иван. — Фашизм, это когда рабочие партии разгромлены, когда каждый день в мозги вколачивают националистические гвозди, когда молодежь охвачена националистическим угаром.

— Ладно, — перебил его Эдик. — Но ты скажи — кто будет держать в руках автомат, стоять у пушки, идти в атаку — кто? Предприниматель, заводчик, банкир или рабочий и крестьянин?

— Конечно, рабочий и крестьянин... — согласился Иван.

— Я вот об этом и толкую, — сказал Эдик. — Не могут они против своих же братьев, таких же рабочих и крестьян...

— Ты не знаешь, что такое фашизм! — в сердцах воскликнул Иван.

Из-за стола встал дед, прикурил свою сигарку:

— Ты не кипятись, хлопче. Мой сосед был когда-то в германском плену. Так он рассказывал, — помещик — враг, а батрак у помещика кто нам? Друг. Вот, брат, какое дело...

— Ладно, поживем, увидим. — Иван встал из-за стола, поблагодарил деда и направился к двери,

— Ты куда? — спросил Эдик.

— Проветрюсь...

— И я с тобой.

— Пошли.

Был поздний вечер начала октября. Ясный, лунный, с легким южным ветерком, он напоминал приятный весенний вечер. У дома лежали бревна. Они так долго лежали, и на них так часто сидели, что бревна стали как полированные. Ребята опустили на прохладное глянцевитое дерево. Эдик вынул папиросу и закурил. Сидели молча, говорить не хотелось. Беседа со стариком разбудила какие-то подспудные мысли, и каждый ворошил их, пытаясь разобраться в том, где же все-таки правда. Будут эти испытания в их судьбе, о которых они только что говорили со стариком, или пройдут стороной.

А месяц старался изо всех сил — было светло как днем.

— Такими, наверно, бывают ленинградские белые ночи, — тихо сказал Эдик.

— Не видел... — ответил Иван, потирая ладонью лоб.

— Глупая привычка... — заметил Эдик»

— Какая? — спросил Иван.

— Да лоб тереть. Со стороны сразу понятно, что никак не можешь привести в порядок свои мысли.

Неизвестно, что сказал бы Иван в ответ на эту шпильку Эдика, но в этот момент на улице появилась парочка. Вечер был такой лунный, что ребята сразу узнали Милявского и Веру. Они шли по деревенской улице и разговаривали.

— Давай смоемся, — шепнул Эдик. — Неудобно. Вроде мы специально вышли подсмотреть...

— Не уйду. Принципиально. Милявский с Верой подходили все ближе.

— Я думаю, — говорил Милявский, — что вы вообще недооцениваете историческую науку.

— А что в ней проку? — спокойно сказала Вера. — Чему она научит лично меня? Пусть ее изучают государственные деятели.

— Ну и черт... — громко шепнул Эдик. — Вот закатит он ей двойку по всеобщей истории...

— Не закатит, — криво усмехнулся Иван.

— И откуда у вас это критическое отношение? — продолжал Милявский. — Ну, если человек, скажем, имеет большой опыт, немало пожил на свете — я понимаю. Да и то, только в случае, если он страшный неудачник. А вы в свои восемнадцать... Я в ваше время радовался всему новому, что приносила мне жизнь, радовался, потому что прежде не знал этого, радовался, потому что познавал, а радость познания, милая моя, ни с чем не сравнится.

— Не надо удивляться, Ростислав Иванович, — мягко ответила Вера. — Я выросла в такой семье, где с детства ярко обнажались эти две стороны жизни — светлая и темная. И я жадно всматривалась в них, чтобы понять, что происходит на земле, какие помыслы двигают людьми и что они вообще такое — люди. Что они от жизни хотят.

— И что же? — с любопытством спросил Милявский.

— Я многому научилась, многое поняла. И хотя говорят — человек это звучит гордо, я думаю часто обратное, потому что люди очень непохожи друг на друга. — Ну дает, вот дает... — шептал Эдик. — Да она ведь молодчина. Эх, как не везет нашему Сережке...

Милявский и Вера поравнялись с ребятами и замолчали, Милявский кашлянул и произнес с улыбкой:

— Дышите?

— Дышим, — ответил Иван.

— А между прочим, на сегодняшнем собрании я напоминал о распорядке. Пора и на покой, завтра ведь рано на работу,

— А вы, между прочим, подлец, Милявский, — зло сказал Иван и встал.

— Ты что? — удивился Эдик.

— А ничего. Пошли.

Глава четвертая ЭДИК

Эдик лежал, смотрел в потолок комнаты и думал. Думал о том, как не просто разобраться в мыслях и поступках людей. Вот хотя бы этот выпад Ивана против Милявского. Ничего как будто не предвещало вспышки, отношение к Вере было совершенно точно определено после случая с Сергеем. И все-таки... Все-таки Иван бросил вызов Милявскому, который решил поволочиться за Верой.

Эдику нравился Иван, и даже сегодняшний его поступок Эдик не осуждал. Наоборот, это было близко к тому, что думал и чувствовал он, но сказать об этом в глаза Милявскому он бы никогда не решился. Во-первых, это был преподаватель, кандидат наук и, очевидно, уважаемый человек в институте, во-вторых, он был вдвое старше каждого из них, а старшему Эдик привык не возражать.

Он вырос в большой семье паровозного машиниста, где каждая копейка и каждый кусок хлеба строго учитывались, а детям никогда не разрешалось высказывать недовольство поступками взрослых.

Однажды отец привез из очередной поездки в своем сундучке кулек леденцов. Случилось так, что в тот день у них играли и соседские дети — отец роздал малышам по конфетке, а Эдик, который был постарше, остался без угощения. Эдик обиделся и вслух высказал эту обиду. Отец поставил обиженного в угол. Это было самым серьезным наказанием.

— Они малолетки, им и конфетки, — говорил отец. — А тебе, мальцу, конфетка не к лицу.

Говорить в рифму было слабостью отца. Это иногда раздражало, а иногда умиляло Эдика. В школе он познакомился со стихами больших поэтов, и попытки отца рифмовать выглядели в его глазах жалкими. Но иногда такая манера разговаривать приносила в дом хорошее настроение, а это было дороже хлеба.

На детство Эдика выпали трудные годы неурожаев и засух, когда в стране были введены продовольственные карточки.

Однако хлеба не хватало и по карточкам, и люди, чтобы получить гарантированную пайку, занимали очередь в магазин с самого вечера.

Эдик хорошо помнит одну из таких ночей. Отец в это время был в поездке. Мать с вечера снарядила Эдика в очередь, чтобы ему было не холодно, дала отцовскую телогрейку, пропахшую мазутом.

Эдик занял очередь за старухой и долго стоял, прислонившись к стене магазина, боясь отлучиться, чтобы очередь его не пропала. Поздним вечером прибежала мать, дала ему холодную отварную картофелину и сказала, что у одного из малышек жар и она боится оставить его одного и что ему, Эдику, придется стоять в очереди всю ночь. Мать уговаривала, чтобы он не боялся, что он будет не один, почти вся очередь будет ночевать и даже его старушка, за которой он стоял, будет всю ночь рядом.

Делать было нечего, Эдик согласился. Он нашел местечко на старом ящике, уселся и накрылся отцовской телогрейкой. В ней было хорошо и уютно, потому что пахло паровозом, пахло отцом, а отец — это всегда спокойствие и уверенность, потому что он знал, что надо делать, чтобы всем дома было хорошо.

Согревшись под телогрейкой, Эдик начал дремать и уснул.

Проснулся он оттого, что ему стало жарко. Он открыл глаза — светило яркое солнце,

телогрейка дышала мазутом, а у стены магазина не было ни одного человека. Эдик испугался, что все уже получили свой паек, что получила его и старушка, но магазин был закрыт, и на двери его болталась прикрепленная булавкой бумажка: «Сегодня привоза не будет»,

Дома отец погладил взволнованного Эдика по голове и сказал:

— Ничего, сынок, еще съешь своего хлеба кусок... Сегодня нет, завтра нет, а послезавтра переменится свет. Не горюй...

Отец был прав. Прошло года три, и все переменялось. В семье уже не дрожали над куском хлеба, и в магазинах можно было взять без всякой очереди не только хлеб, но и к хлебу. Но неожиданно новая беда навалилась на семью. Тяжело заболел отец. И раньше случалось, что он после поездки чувствовал недомогание, но на этот раз пришлось вызывать доктора.

Это был старый доктор с бородкой клинышком, не очень разговорчивый, на вид сам болезненный человек. Он лечил всю семью Эдика и помнил, наверное, на своем участке каждого больного десятки лет. Когда Эдик открыл ему дверь, доктор спросил:

— А как твой нос?

— В порядке.

— Помнится, у тебя было частое кровотечение.

— Да, доктор, — признался Эдик. — Уже все в порядке.

— А кто у нас хворает?

— Отец.

Доктор снял пальто, остался в халате, подошел и сел у кровати отца.

— Ну, что, Семенович, не послушался меня, не ушел с паровоза?

— Куда ж я пойду с него?

— Как куда? В депо, слесарить. Там, по крайней мере, нету сквозняков, которые тебе противопоказаны.

— Нет, дорогой доктор, с паровоза мне одна дорога...

— А ты не спеши. Зачем спешить? Каждому свой черед... — Он достал из саквояжа трубочку, выслушал отца, покачал головой. — Ну вот видишь, и воспаление получил... Теперь, братец, я тебя в больницу определяю. Вот как... И хочешь не хочешь — пойдешь в депо.

Отца увезли в больницу. Мать аккуратно носила ему передачи, а дома рассказывала с ноткой тревоги о том, что дело почему-то не идет на поправку, что отцу все хуже и хуже. А однажды вся в слезах она сказала Эдику:

— Хочет видеть тебя.

Эдик не пошел в школу, и когда появился он в приемном покое, сестра сразу проводила его к отцу. Эдик был у отца каких-нибудь две недели тому назад. За это время он еще больше похудел, лицо его из серого стало желто-коричневым. Он тяжело дышал, руки его, тонкие, с выступившими костями, неподвижно лежали на больничном одеяле.

— Слушай, что я тебе скажу, сынок... — вздохнув, произнес отец, и Эдик заметил, что впервые он не захотел говорить в рифму. — Мне, брат, недолго осталось...

— Ну, что ты, папа... — дрогнувшим голосом сказал Эдик. — Наводишь на себя такое.

— Не навожу я, сынок, знаю... На тебя вся надежда... Старший ты у меня. Придется тебе матери помочь остальных ребят на ноги поставить.

Эдику опять захотелось сказать отцу что-нибудь ободряющее, но слова утешения застряли в горле горячим комком, — отец говорил чуть слышно, настолько ослабел его некогда веселый голос.

— Пойдешь, сынок, к Шилину — это мой старый друг. Он на радиоузле в клубе работает. Слушайся его, как меня. Будешь работать и обязательно учиться. Ты слышишь меня — обязательно, потому как без науки теперь никуда. Шилин поможет...

Отец замолчал. Взгляд его мягко ощупывал Эдика, словно прикидывал, сможет ли он поднять ношу, которая ляжет на его плечи.

Молчал и Эдик. Ему хотелось, как некогда в детстве, уткнуться лицом в шершавые, но ласковые руки отца и выплакаться, но сейчас слабый, как ребенок, был отец, а он, Эдик, должен был держаться. И вдруг он заметил, как в уголках отцовских глаз появились крупные прозрачные слезы.

— Ты иди... — шепнул отец. — Иди.

Эдик встал и почти бегом выбежал из палаты, не в силах сказать что-нибудь отцу на прощание. И только за дверью больницы он дал волю горячим безутешным слезам.

Больница стояла на высоком холме, в центральной части города, а внизу, подступая к левому пологому берегу Днепра, шли улицы Подниколья. Горожане издавна прозвали так этот район за Никольскую церковь, которая возвышалась среди деревянных одноэтажных домиков, утопающих в зелени садов.

Эдик сел на скамью, стоящую над обрывом, смотрел на эту церковь, на эти сады, на уходящий в далекую дымку Днепр и плакал, тяжело и безудержно...

Александр Иванович Шилин, который принимал его на работу, сказал:

— Ты по должности монтер, а на самом деле ученик. Будешь носить когти за Шпаковским. А завтра определяйся на учебу. Это самое важное.

И Эдик со справкой с места работы и аттестатом об окончании семилетки направился в город. В городе было два рабфака — Витебского зооветеринарного института и Могилевского пединститута. Эдик решил, что пойдет в педагогический, потому что тех, кто учился в зооветеринарном, дразнили в городе коновалами.

Кабинет заведующего учебной частью находился на первом этаже. Эдик постучал и вошел. За столом сидел широкоплечий мужчина со скуластым энергичным лицом, на котором выделялись темные с проседью густые брови. Мужчина поднял голову, провел расческой по бровям и молча посмотрел на Эдика.

Эдик подал ему свои документы. Завуч прочитал и неожиданно спросил:

— Как имя и отчество отца?

— Павел Семенович.

— Все еще стихами говорит? — улыбнулся завуч.

— Нет... — замялся Эдик.

— Постарел, значит. А я с гражданской следы его потерял, все мотался по белому свету. Ты ему привет от меня передай.

— Умер отец... — тихо сказал Эдик. Наступила пауза.

— Тебя, конечно, примем. Сегодня же вечером приходи на занятия. На третий курс вечернего отделения...

Это были не привычные для Эдика занятия. Ученики были все людьми взрослыми, нередко семейными. Приходили они прямо с работы усталые и, как правило, неподготовленные. Для того чтобы как-то выручить своих великовозрастных друзей, Эдик охотно поднимал руку и обстоятельно отвечал на всех уроках по несколько раз. Но вот однажды Эдика вызвали в кабинет завуча.

— Вот что, Эдик, — сказал завуч. — Тебе на вечернем отделении делать нечего. Пускай друзья твои сами готовятся. Давай, брат, на дневное.

— Дома зарплата моя нужна... — сказал Эдик.

— А мы тебе стипендию дадим. Небольшая, правда, стипендия, чуть меньше зарплаты, но зато ты будешь приходить утром, отзанимаешься шесть уроков и домой, Матери больше поможешь, чем сейчас...

И Эдик стал учиться на дневном отделении. Здесь было труднее, чем в школе. Программа была напряженной — за два года студенты проходили то, что проходили школьники за три.

... За стеной вдруг раскашлялся старик. Кашлял он долго, с надрывом. Дочь встала, прошлепала босыми ногами к старику, видно, подала напиток.

— Курили бы вы меньше, отец... А то эту соску полный день не вынимаете изо рта.

— Ну, будет тебе, будет... Иди отдыхай...

Эдик не спал. Он смотрел на стены комнаты, залитые лунным светом, и узоры на обоях оживали в его воображении, становились деревьями, кустами, человеческими фигурами. Эдик слышал ровное дыхание Ивана и улыбнулся — было две тайны у него от товарища. Наверное, это нехорошо — с другом положено быть откровенным, но характер Ивана — категоричный, резковатый — удерживал Эдика на некотором расстоянии, хоть и состояли они в мужском товарищеском союзе.

Первая — это любовь Эдика к поэзии. Багрицкого он знал всего наизусть, зачитывался Маяковским, Есениным. А однажды перед началом лекции по белорусской литературе

преподаватель Устин Адамович прочитал стихи. Просто прочитал, не называя автора, не потому что стихи были по программе. Они рассказывали про осеннее утро, про молодых людей, которым так хорошо идти вдвоем по росистой утренней тропке.

Он прочитал, и в классе наступило молчание. Кто вспоминал свое село и свое детство, кто хотел угадать автора стихов, а кто смотрел с любопытством на преподавателя.

— Понравилось? — спросил Устин Адамович и внимательно осмотрел класс. — Очень хорошие стихи! — сказал Эдик.

— Тогда я признаюсь — это мои стихи,

— Ваши?

— Вы их сами написали?

— Я прочитал их для того, чтобы сказать — попробовать свои силы в литературе может каждый из вас, и, кто знает, может, в этой аудитории есть будущие писатели и поэты.

Раздался смех.

— Ничего смешного. Мы начинаем выпускать в рабфаке свою стенную литературную газету. Пишите нам рассказы, стихи, воспоминания, фельетоны, юморески, пародии — все, что захотите и сумеете...

Эдику никогда не приходила мысль писать стихи. Он всегда относился иронически к желанию отца рифмовать, но разговор Устина Адамовича был серьезным, благожелательным, без всякой попытки иронизировать над тем, что принесут ему начинающие литераторы.

По пути домой хорошо думалось. В этот раз Эдик не спешил, шел спокойно, полностью отдавшись своим мыслям, ничего не замечая вокруг, ничем не отвлекаясь.

«Каравай, каравай, кого хочешь выбирай, — в такт шагам произнес Эдик и подумал: — Эта фраза из детской игры, кажется мне».

«Выбрал я и полюбил», — прошептал он вторую строку в такт шагам и долго еще шел, повторяя эти две, впервые появившиеся собственные строчки, потому что дальше ничего не получалось.

«Пока еще ни одной собственной рифмы», — подумал Эдик и улыбнулся. И вдруг родилась концовка второй строки «юную красавицу». Он прочитал вслух две первые строки: «Каравай, караван, кого хочешь выбирай, выбрал я и полюбил юную красавицу», и сами пришли следующие строки, завершающие строку: «Строгим был, ревнивым был, видел — многим нравится». Эдик так обрадовался, что пошел побыстрее, как будто хотел с кем-то поделиться этой своей радостью, и всю дорогу читал вслух свои первые самостоятельные четыре строки.

А спустя неделю он увиделся с Устином Адамовичем. Эдик встретил его в коридоре рабфака. Устин Адамович шел с лекции домой. Он держал в руке свой довольно поношенный черный портфель, который можно было назвать черным с большой натяжкой, потому что бока его давно потерлись и побелели.

Устин Адамович принял от Эдика вчетверо сложенный тетрадный лист, перебрал портфель под мышку, прочитал стихотворение раз, потом второй, с некоторым удивлением посмотрел на Эдика, потом положил стихи в карман и сказал:

— Ну, вот что. Лекции кончились. Пошли ко мне домой.

Ни по пути, ни дома Устин Адамович ничего не говорил о стихотворении Эдика. Он показывал ему журналы, газеты, сборники, изданные в Минске, где публиковались стихи молодых, вслух мечтал о том времени, когда в Могилеве будет отделение Союза писателей.

Эдик не понимал этой мечты Устина Адамовича и мало интересовался Союзом, а вот стихотворения молодых читал с интересом. Многие ему нравились, многие не нравились, и об этом он говорил Устину Адамовичу.

Устин Адамович с какой-то восторженной улыбкой слушал его, потом бежал на кухню, готовил чай и оттуда кричал Эдику:

— Читай еще, читай и критикуй. Здорово! Слушай, откуда ты такой появился? У тебя ж дар.

Эдик не знал, какой у него дар, но на всякий случай ответил:

— У меня отец любил рифмовать.

— Печатался? — спросил Устин Адамович.

— Да что вы. Просто так. Для себя.

Они пили чай с медовыми пряниками и говорили, говорили. Эдику казалось, что они с Устином Адамовичем знакомы давным-давно, так легко и свободно было с ним, так хорошо, с полуслова понимали они друг друга.

Эдик заметил, что в двух комнатах, которые занимал Устин Адамович, несмотря на обилие книг и мебели, было пусто.

— Вы живете один? — спросил Эдик.

— С некоторых пор... — ответил Устин Адамович, и Эдик посчитал неудобным расспрашивать его. А когда Эдик собрался уходить, он увидел на стене кабинета портрет молодой красивой женщины в черной рамке.

Вышли на крыльцо. Устин Адамович протянул Эдику руку:

— Один, брат, я остался. Такого друга мне больше не найти... А ты работай и работай. Поставь это целью всей своей жизни, Только тогда сможешь чего-нибудь добиться...

Стихотворение Эдика было напечатано на первой колонке рабфаковской литературной стенной газеты. Эдик словно невзначай несколько раз проходил мимо, чтобы посмотреть, читают ли студенты его первое в жизни произведение.

В институте же пока никто не знал, что Эдик пишет стихи, и он молчал об этом, заноса в свою заветную общую тетрадь все новые строки...

Была у Эдика еще, и вторая тайна, о которой ничего не знал Иван.

Однажды со Шпаковским они ставили радиоточку в глухом заброшенном переулке, утопающем в непролазной грязи. Пройти можно было только вдоль забора по узенькой тропке, на которой кое-где заботливые хозяева положили редкие кирпичи.

Когда они потянули провода от столба к дому, в калитке показалась невысокая худенькая девушка с двумя хвостиками-косичками на затылке.

— Значит, у нас будет радио?

Эдик смотрел на девушку и ничего не отвечал.

— Я у тебя спрашиваю! — повторила она вопрос Эдику.

Шпаковский глянул на Эдика и рассмеялся.

— Во-первых, почему на «ты», когда перед вами мастер. А во-вторых, Эдик, ты, кажется, проглотил за завтраком язык?

— Да... — ответил смущенный Эдик. — Был такой грех. А насчет радио — конечно, будет, видишь: не сено косим.

Шпаковский опять вмешался:

— Даму тоже положено называть на «вы».

— Слушайте, мастер, — обратилась девушка к Шпаковскому, — в нашем возрасте удобнее на «ты». Проще, А свои замечания оставьте при себе.

— Эдик, ты погиб, — засмеялся Шпаковский. Эдик улыбнулся:

— По-моему, напротив...

Потом, когда в квартире заиграл репродуктор, хозяин и хозяйка накрыли стол и пригласили мастеров к столу.

Шпаковский, привыкший к таким угощениям, открыл пробку, налил в стакан и провозгласил:

— Ну что ж, пусть у вас всегда играет музыка, звенят песни и лекции на разные темы. За ваше здоровье!

Уже закусывая, Шпаковский заметил, что Эдик даже не присел к столу, а стоял, прижавшись к изразцовой печи. С другой стороны печи стояла девушка с косичками и смеялась.

— А ты что ж, мастер, проходи, садись, — сказал Шпаковский, и хозяева, как по команде, бросились к Эдику и начали его усаживать.

— Спасибо, я не пью, — сказал Эдик. — И потом мы сделали работу согласно наряду, зачем же...

Шпаковский строго глянул на него и подsunул тарелку с жареным картофелем:

— Вот уж действительно говорят — молодо-зелено. Наряд нарядом, а зачем же обижать гостеприимных людей, которым составляет удовольствие угостить тебя...

— Конечно, конечно, — живо согласились хозяева, сели за стол и позвали девушку: — Маша, садись с нами.

— Я сейчас. — Девушка выпорхнула из гостиной и через минуту явилась в простеньком и вместе с тем нарядном голубом платье. — Налейте мне капельку, — игриво попросила она.

Мать и отец удивленно посмотрели на нее, и этот взгляд строгих родительских глаз не ускользнул от Эдика. Шпаковский и в самом деле только капнул в стакан из бутылки и снова налил себе.

— За твои успехи, мастер, — вдруг сказала Маша Эдику, глотнула эти две капли водки и закашлялась.

— Зачем ты это сделала? — строго спросила мать.

— Прости, мамочка, больше не буду... — улыбнулась Маша.

Потом она проводила Шпаковского и Эдика до калитки. Эдик пригласил ее в железнодорожный клуб в кино и авторитетно заявил:

— Билета не покупай. Мы в клубе свои.

Это обещание Эдик дал вполне серьезно, потому что работники радиоузла, который находился в помещении клуба, смотрели кинофильмы без всяких билетов. Их всех хорошо знал контролер, хромой дядя Мотя — бывший матрос Балтийского флота. Говорил, что он приехал в Могилев еще в гражданскую с отрядом Крыленко громить царскую ставку, но заболел и слег в госпиталь. Потом женился на медицинской сестре и остался жить в Могилеве.

Дядя Мотя был уважаемый на станции человек — его знали и паровозники, и путейцы, и вагонники, не говоря уже про детей, которые с трепетом проходили мимо него в дверь зрительного зала.

Эдик ходил возле клуба сам не свой — он боялся, что Маша не явится в назначенное время, и беспокоился, что зрительный зал будет переполнен, а им, безбилетникам, не найдется места. Он с тревогой наблюдал за тем, как люди все прибывали и прибывали. И не потому, что шел какой-нибудь выдающийся фильм, а попросту в выходной вечером некуда было деваться.

Наконец появилась Маша в легком платьице, свободном, расклешенном.

— Я не опоздала? — торопливо справилась Маша.

— Нет, нет, — успокоил ее Эдик и тут же поймал себя на том, что не ощутил большой радости от ее появления. Он думал о том, как удивится девушка, когда Эдик свободно пройдет мимо дяди Моти и бросит ему так, между прочим:

— А эта девушка со мной.

Он хотел представить реакцию дяди Моти, но это ему никак не удавалось.

Прозвенел первый звонок.

— Пошли? — предложила Маша.

— Нет, мы потом... — Обычно свои работники заходили даже после третьего звонка, чтобы не занять место, на которое приобретен билет.

Говорить ни о чем не хотелось. Эдик уже начинал жалеть, что похвастался перед Машей, но отступить было поздно. Он пропустил ее вперед в фойе, а потом повел к двери, где в своем форменном железнодорожном френче, из-под которого виднелась неизменная тельняшка, стоял дядя Мотя. Он был, как всегда, аккуратно причесан, выбрит, лишь под носом топорщились маленькие усики.

Дядя Мотя заметил Эдика и Машу, когда они только появились в фойе. Он улыбнулся краешком губ, чуть заметно подмигнул Эдику, с явным одобрением рассматривая Машу. Когда ребята подошли, дядя Мотя отступил с прохода, чтобы пропустить девушку, а Эдика задержал и сказал шепотом:

— Дурень, ни одного свободного места...

Маша остановилась, видя, что Эдика нет за ней, и слегка замешкалась. Но дядя Мотя с неожиданной живостью подвинул свой стул, на котором он обычно сидел у двери во время сеанса, и предложил:

— Садитесь, барышня.

Это «барышня» звучало так старомодно, что Эдику стало неудобно за дядю Мотю, но Машу не смутило это приглашение. Она расправила свое воздушное платьице, с достоинством опустилась на предложенный стул и спросила Эдика:

— А ты как же?...

Эдик был совершенно беспомощным. И оттого, что он не знал, как поступить и что предпринять, терялся еще больше. Он почему-то шарил в карманах пиджака, повторяя одно и то же:

— Сейчас... Сейчас...

И тут снова первым нашелся дядя Мотя. Он схватил в фойе стул, подал Эдику и захлопнул дверь, так как в эту минуту в зале погас свет и начался сеанс Эдик приставил свой стул к стулу Маши и сразу почувствовал облегчение.

«И дернул меня черт приглашать девушку без билета. Позор какой, не обеднел бы, если бы купил ей какое-нибудь крайнее в ряду место, к которому можно тоже поставить приставной стул... А дядя Мотя, дорогой дядя Мотя, как он выручил, — думал Эдик. — И все это у него легко получается, как будто всю жизнь он встречался с такими вот молодыми девушками». Единственно, что не понравилось Эдику, — это его «барышня». Мог бы сказать что-нибудь более современное.

Эдик проводил Машу домой. Болтали о всяких пустяках. Наконец Эдик спросил:

— А почему я не видел тебя в нашей школе? — А я учусь в соседней.

— В каком классе?

— В девятом.

— Мы, оказывается, одноклассники.

— А почему ты работаешь?

Эдик ответил. Маша на некоторое время задумалась, а потом сказала:— Это хорошо — работать и учиться.

Им встречались, их обгоняли парочки. Одни шли под руку, другие в обнимку, Эдик смотрел на них и завидовал, но сам не решался взять Машу под руку. Где-то в начале их грязного переулочка им надо было обойти лужу. Эдик на какое-то мгновение поддержал Машу под локоть, а потом смутился и отпустил. Может, он бы и осмелился после этого, но в переулочке даже рядом нельзя было идти. Пробирались по одному вдоль заборов по узенькой тропке.

У своей калитки Маша сказала:

— Ну вот я и дома. До свидания,

Эдик не решился ее удерживать. Она протянула руку, маленькую, мягкую, и Эдик почувствовал, что не может ее сразу выпустить из своей руки. Так они стояли долго, молчаливые, словно прислушиваясь к самим себе, словно стараясь угадать, что случилось с ними в эту минуту.

В доме скрипнула дверь. Эдик испуганно выпустил руку Маши.

— Это ты, доченька?

— Я.

— Иди домой, завтра рано вставать.

Дверь захлопнулась. Эдику стало неловко за свою минутную трусость, за то, что он отпустил руку Маши, и ему захотелось уйти. Но Маша снова подала на прощание свою маленькую ладонь, и они снова стояли, молчаливые и настороженные, и снова скрипнула дверь, и снова голос матери, ворчливый и недовольный, позвал Машу домой.

— Иду, мама! — ответила Маша и сказала: — Ты понимаешь, по-моему, человечество разделено на два враждующих класса — на старых и молодых.

— Старые ведь были когда-то молодыми, — возразил Эдик.

— Человек способен забывать, — заметила Маша и легонько пожалала его руку. — Ну, до свидания.

— А когда оно будет?

— Этого я не знаю, — сказала Маша. — Самый занятый человек — это ты, от тебя все зависит.

— Хорошо. Ты на какой смене?

— На первой.

— Завтра я подойду к концу твоих уроков.

— Нет, нет, к школе не подходи, — горячо запротестовала Маша. — Ты хочешь, чтобы меня на смех подняли?

— Мало ли по какому делу...

— Нет, нет и не подумай. Лучше всего в свободное время приходи к нам домой. И враждующий класс будет спокоен...

Эдик улыбнулся, пожал ее руку:

— Добро.

Он шел, нет, он не шел, а летел домой, как на крыльях, он ничего не замечал вокруг, а только перебирал в памяти каждый жест, каждое слово Маши.

Маша прочно вошла в жизнь Эдика. Она стала ему необходима, как друг, без которого он не мог принять серьезного решения, с которым обязательно надо было посоветоваться, с которым просто приятно было говорить и молчать, который понимал тебя с полуслова и без слов.

Иногда Эдик приходил к ней домой раньше намеченного времени или Маша задерживалась где-нибудь, и тогда Эдик общался с «враждующим» классом. Мать Маши — Светлана Ильинична — обязательно усаживала его за стол выпить чашку чая, но этого чая фактически не было, а был самый настоящий обед с борщом, с картошкой и компотом. Первое время Эдик стеснялся, жевал потихоньку в кулак.

А потом как-то сказал, улыбнувшись:

— И зачем это вы меня так усиленно подкармливаете?

Светлана Ильинична ответила без тени улыбки:

— Чтобы Машу мою не обидел.

— Да вы что! — воскликнул Эдик и даже вскочил из-за стола. — Разве ради этого меня надо кормить, я и без этого.

— Тише, тише... — успокоила его Светлана Ильинична, — садись. А то остынет все. Теперь среди вашего брата разные охломоны попадают. А Маша у меня одна. — Светлана Ильинична отвернулась и молча пошла на кухню.

Эдику показалось, что она заплакала. Почему?

Отец Маши Григорий Саввич бывал дома редко — ездил с какой-то бригадой сантехников по районам. А когда возвращался и случалось ему встретиться с Эдиком — тут уж была беседа на самом высоком уровне. Григорий Саввич обязательно выставлял на стол бутылку — то наливки, то ликера, то «Московской», настоянной на каких-то травах. Эдик не понимал — эта встреча была предлогом для того, чтобы еще раз приложиться к рюмке, или действительно ради компании, как утверждал Григорий Саввич. Так или иначе, но Эдик вынужден был пригубить, а Григорий Саввич считал своим долгом осушить бутылку до дна, чтобы «за жизнь», как он выражался, поговорить в полном масштабе.

Странной была эта беседа. Говорил преимущественно один Григорий Саввич. Правда, он иногда задавал Эдику вопросы, но ответа на них не ждал, спрашивал только так, для формы.

— Что есть жизнь? — спрашивал Григорий Саввич. — Не знаешь? Жизнь, говорят, есть борьба. А за что? Говорят, за место под солнцем. А разве этого места не хватает, я спрашиваю? Зачем за место бороться, если его предостаточно. Земля — большая. Выйдешь в поле — конца-краю не видать. Живи, радуйся, работай. Так нет же, дай ему сначала одну немецкую область, потом другую, потом Австрию, потом пол-Европы, потом всю Европу. Что ему, Гитлеру, надо? Не знаешь? Я тоже не знаю, хотя очень хочу знать, потому как должен быть уверен, что завтрашний день у моей дочки спокойный.

Неизвестно, сколько бы продолжался такой разговор, если бы его не прерывала Маша. Они убегали или в кино, или в театр, и Эдик поздним вечером под руку вел свою «малышку» через весь город, счастливый оттого, что держит ее теплую руку, что слышит ее голос, что они рядом, что они вместе и это будет всегда, всегда, до бесконечности...

Однако скоро наступила разлука. Маша уезжала в Ленинградский медицинский институт. Поезд был проходящий — «Ленинград — Одесса», билетов заранее не давали, и поэтому Григорий Саввич, Светлана Ильинична, Маша и Эдик пришли на вокзал заранее.

Мать давала какие-то последние наставления, отец доставал из кошелька и добавлял дочке дорожные деньги, а Эдик сидел на скамье и смотрел в глаза Маши. Она тоже не слышала родителей, потому что глаза ее говорили с глазами Эдика.

Настоящее прощание у молодых было вчера. Полную ночь просидели они в гостиной у

раскрытого окна, тесно прижавшись друг к другу.

— Любишь? — тихо шептала она.

— Люблю, — так же тихо отвечал Эдик.

— Ты тут смотри, ни с кем... — улыбаясь, грозила она и щекой прижималась к его щеке.

— А ты там смотри, ни с кем... — грозил Эдик, и они радостно смеялись, веря в то, что никто не помешает их счастью, которое совсем рядом, вот только Маша закончит институт и вернется в Могилев.

Эдик хранил эту дружбу в глубокой тайне, письма, которые получал он из Ленинграда, прятал так, чтобы ни Сергею, ни Ивану они никогда не попадались на глаза. Он считал, что отношение Ивана к девушкам — заблуждение, которое со временем пройдет. И вот сегодня на случае с Милявским Эдик убедился, что с Иваном произошло что-то серьезное.

Он еще раз восстановил в памяти всю эту сцену, улыбнулся, повернулся на бок и заснул.

Утром все было спокойно. Ребята, как ни в чем не бывало, позавтракали и побежали на бригадный двор. А оттуда — в поле.

Собирали картошку, вывернутую конными плугами вместе с пластом земли. Участок был большой. От проселочной дороги, ведущей к бригадному двору, он тянулся до самой кромки леса, видневшейся вдаль. Картошку насыпали в громадные корзины и сносили в бурты. У Ивана работа спорилась, Эдик едва поспевал за ним. Без привычки заломило в пояснице.

— Перекур!... — объявил Эдик и устало опустился на ворох ботвы. — Отдохнем минуту.

И только они присели, как увидели у дороги Милявского — он стоял с каким-то коренастым парнем в полосатой футболке и о чем-то беседовал.

— Руководит... — проворчал Иван.

— А что ты к нему цепляешься? — притворившись ничего не понимающим, спросил Эдик. — Мужик интеллигентный, отличный преподаватель.

— Заткнись... — бросил Иван и начал комкать в руке пожелтевшую вялую ботву.

А оттуда, с дороги, к ним уже шел коренастый чернявый парень в футболке. Шел неторопливо, дымя папиросой, легко ступая по распаханной земле. Подошел, глянул на ребят черными глазами, быстрыми, цепкими, сдвинул густые черные брови: — Будем знакомы — Федор Осмоловский из комитета комсомола.

— Ледник Иван.

— Эдик Стасевич.

Ребята пожали друг другу руки. Федор присел на ботву рядом с Эдиком, затянулся, выпустил облако дыма.

— Комсомольцы? — спросил Федор.

— Конечно, — ответил Иван.

— Придется вызывать на комитет. Оскорбление личности...

— Эдик тут ни при чем, — запротестовал Иван. — Я один буду отвечать за все.

— Ну, хорошо, — спокойно сказал Федор, — А за что ты все-таки его?

— А черт его знает... — зло бросил Иван. Федор удивленно поднял свои черные брови.

— Черт его знает... — повторил Иван. — Так получилось.

— Ты это брось, — усомнился Федор. — Без причины такого не бывает.

— Понимаешь... — задумчиво сказал Иван. — Невзлюбил я его с самого начала за мозоли эти, за ботинки, а тут еще...

— Договаривай, чего уж... — Федор бросил окурок на пашню и притоптал его каблуком.

— Волочится он за девушкой одной... А из-за нее уже один мой друг в больнице...

— Психология... — подумал вслух Федор.

— При чем тут психология? — спросил Эдик. — Просто это...

— Психология, — перебил его Федор. — И все это непросто... Поссорился ты с ним на научной основе... — улыбнулся Федор. — А в науке, говорят, нет проторенной дороги, где-то можно и ошибиться. Правда?

— Правда, — нехотя согласился Иван. Федор предложил:

— Слушай, Иван, давай найдем самое простое решение. Я, например, прошу — подойди к нему и извинись, Так, мол, и так, извините за то, что вчера произошло... погорячился малость.

— Нет.

— Ну почему?

— А потому, что этим самым я признаю, что не он гад, а я гад.

— Зачем же так категорично?

— А как же иначе? Кто-то из нас обязательно прав. Если он прав — значит, не прав я, если я не прав — значит, прав он.

— А разве не бывает так, что оба не правы? — спросил Федор.

— Ну, тут он тебя сразил, Иван, признайся... — засмеялся Эдик. — И в самом деле извинись, что тебе стоит.

— Совесть мне дороже всего на свете — и не уговаривайте. Я не склоню перед ним колено ни за что...

Наступило молчание. Эдик достал папиросу, протянул Федору, молча закурили, и вдруг Федор улыбнулся широко, весело, открыв все свои ровные белые зубы:

— А ты мне нравишься, Иван, честное слово. Давай дружить, а?

— У нас тройной союз уже есть... — недовольно сказал Иван. — Вот Эдик, Сергей в больнице да я.

— А четвертого не примете?

— Кто его знает... — Иван энергично начал тереть лоб.

— Я — за, — сказал Эдик. — Во-первых, он курящий, во-вторых...

— Ладно, чего там анализировать раньше времени. Давай руку.

Федор протянул Ивану широкую загорелую ладонь. Иван крепко сжал ее и сказал Эдику:

— Давай и ты.

Эдик весело хлопнул по их рукам и засмеялся:

— А как же все-таки быть с Милявским?

— И мне не нравится этот тип, — признался Федор. — Но, если его не успокоить, он дойдет до директора — а там шутки плохи... Тем более что тут сплошная психология.

— Никакой тут психологии нет, — сказал Эдик, положив руку на плечо Федору. — Просто он псих, а с психами надо осторожно.

Хлопцы рассмеялись.

Глава пятая ФЕДОР

— Ну, добро, — сказал Федор, сверкнув черными глазами. — Для Милявского по важному делу я отлучился в город, а для вас — еду домой. Тут моя деревня в трех километрах, может, слышали, Барсуки?

— Слыхали, — ответил Эдик. — С батькой туда в грибы ездили.

— Пойду за подкреплением, — сообщил Федор. — Студент на порог — матка за сало. Как-нибудь побываем у меня в гостях. Хорошо? — Федор повернулся и пошел, ловко перешагивая глубокие борозды.

Он шел и думал о хлопцах, с которыми только что встретился и подружился.

«Интересные ребята», — заключил Федор и пошел искать Милявского. Он нашел его в группе первокурсниц. Казалось, от вчерашней неприятности не осталось и следа. Он охотно помогал девочкам уносить к далекому бурту наполненные корзины и все время обращался к большеглазой девушке в спортивных брюках.

Когда Федор подошел, Милявский снял пенсне, протер его.

— Я вас слушаю.

— Я выяснил обстоятельства, — серьезно сказал Федор. — Думаю, что студенты заслуживают порицания по комсомольской линии. Особенно один из них.

— Если он на первом курсе показывает себя с такой стороны, что же будет к четвертому? — обращаясь не столько к Федору, сколько к большеглазой студентке в спортивных брюках, говорил Милявский. — И это педагог...

— Я хотел бы попросить вашего разрешения на день отлучиться в комитет, — попросил Федор.

— Ну, как же, как же... Согласуйте там, увяжите, расскажите о нашем трудовом энтузиазме.

— Обязательно. — Федор повернулся и зашагал прочь, слыша позади веселый смех девчат и приятный баритон Милявского.

«Фальшивый какой-то, ненастоящий», — подумал про Милявского Федор, а когда вышел на дорогу, увидел параконную подводу, ехавшую в сторону Барсуков. Федор поравнялся с возницей — им оказался незнакомый, давно небритый мужчина, и спросил:

— Подбросите до Барсуков?

— Садись, — равнодушно сказал мужчина,

Федор устроился на повозке полулежа. Ныла спина, и хотелось немного отдохнуть. Он смотрел на колесо телеги, обутое в железный обод. Оно вертелось, поднимая с колеи серый рассыпчатый песок, и, поднимаясь кверху, разбрызгивало его по спицам. Это движение колеса было однообразным и утомительным, но оно напоминало Федору годы детства, когда вот так же лежал он в повозке и смотрел на колесо, то утопающее в песке, то увязающее в грязи, и в этом движении было постоянное стремление вперед.

Федор часто ездил с отцом-землемером то в город, то в деревни — близкие и далекие. Федор не помнит, чтобы у отца было свободное время поиграть с ним или поговорить, — отец всегда куда-нибудь спешил. Когда Федор был где-то в классе пятом, отец взял его с собой на собрание и сказал:

— Будешь писать протокол.

— А что такое протокол?

— Люди будут выступать, а ты запишешь самое главное. Вот послушай...

Всю дорогу отец втолковывал Феде азы канцелярии, и Федя с удовольствием слушал отца, которого считал самым умным человеком на свете.

Отец Федора в империалистическую был унтер-офицером, в гражданскую командовал ротой и сохранил военную выправку, суконный френч, на котором латунные пуговицы сменил на обыкновенные. В разгаре спора отец быстро распался и, доказывая правоту, потел от возбуждения. Лицо его покрывалось розовыми пятнами, он доставал выданный матерью носовой платок и начинал им вытираться. От этого лицо его розовело еще больше.

Подъехали к деревне. Федор спросил:

— Папа, а зачем этот протокол?

— Понимаешь, сынок, это будет, может, пятое, а может, шестое собрание, насчет колхоза.

— А, знаю про этот колхоз, — сказал Федя, — Там все будут под одним одеялом спать. — Что ты плетешь? — зло спросил отец.

— А я не плету, — огрызнулся Федя. — Витька Севастьянов говорил.

— Дурак твой Витька, — сказал отец. — А батька его кулацкий прихвостень. Как это все под одним одеялом? Это же сколько километров материи надо на такое одеяло, да и как столько людей положить в одном месте? Разве что на выгоне где-нибудь,

Федор засмеялся,

— Ты чего?

— Вот было бы здорово! Я лег бы поближе к Витьке да как пнул его ногой во сне...

— Дитя ты горькое... Так вот про этот самый протокол. Надо, чтобы там было записано, о чем будут говорить люди. Это там, где раздел — слушали, а где постановили — надо записать, что именно постановили. Сдается мне, что сегодня примут правильное постановление.

Отцовские слова не оправдались. Собрание гудело на сотни голосов. В школьном клубе собрались и мужчины и женщины и даже, заметил Федор, между рядами шмыгали ребятишки.

Выступление отца встретили шумом.

— Товарищи! — пытался успокоить людей отец. — Товарищи... Не поддавайтесь на провокации. Я вижу — некоторые хотели бы сорвать сегодняшнее собрание, потому что чувствуют — не сегодня-завтра народ будет работать и жить по-новому. А они не желают этого. Наоборот — если все останется, как было, — у них по-прежнему и богатство, и достаток, а вы живите как хотите.

— Хватит, слышали! — раздался из угла визгливый женский голос.

— Тихо! — пытался кто-то в зале навести порядок, но часть женщин и мужчин, словно

сговорившись, орали что-то непонятное, и в этом хаосе звуков можно было разобрать только одно:

- Не хотим!
- Закрывай собрание!
- Пошли!

Федор с испугом и недоумением посмотрел на отца, Видя, что собрание срывается, он начал нервничать, кричать, стучать кулаком по столу, Это словно подлило масла в огонь.

- Ты на нас не ори! Не запряг еще в хомут, комиссар!
- Пошли, бабоньки!

Дверь клуба распахнулась, народ хлынул на улицу, Правда, несколько мужчин задержались. Они потоптались у порога, закурили и тоже начали расходиться. Один из них сказал отцу:

— Ты не сердчай, землемер. Горяч ты больно... А тут, брат, все рассчитали, чтобы тебя выбить из колеи... Ничего, не огорчайся, приезжай еще.

Отец хотел что-то сказать, а потом махнул рукой, сел и начал сворачивать сигарку. Руки его дрожали, табак рассыпался. Наконец он свернул козью ножку, прикурил ее над большой лампой, что стояла на столе, и сказал полному мужчине, который молча сидел за столом:

— Ну, что, местная власть? Начнем все сначала?.. А потом отца выбрали председателем колхоза. И это были самые страшные для семьи дни. Мать плакала и просила его отказаться от этой работы, потому что в дом подбросили уже несколько записок с угрозами, и с вечера мать завешивала окна чем только могла, чтобы с улицы ничего не было видно.

В свободное от школы время Федор тенью ходил за отцом — он твердо решил охранять его и, если надо будет, — предупредить об опасности. Отец заметил это и строго приказал ему сидеть за уроками, а не слоняться по колхозной усадьбе без надобности.

И все-таки то, чего опасались мать с Федором, случилось. Поздней ночью, когда отец возвращался из правления, возле дома раздался выстрел. Мать, а за ней Федор в одном белье выскочили на улицу. Отец стоял за углом дома и держался за плечо.

— Ничего... Ничего... — успокаивал их отец, с трудом входя в хату.

На пороге он потерял сознание и не приходил в себя, пока мать с Федором делали перевязку.

Отца увезли в больницу, а в деревню приехал милиционер. Он неделю прожил в правлении, ходил по селу, расспрашивал, да так ни с чем и уехал. Только через полгода, когда из деревни уезжал обоз с раскулаченными, отец услышал предостерегающее признание:

— Жаль, промазали по тебе. Но ничего, даст бог свидимся... Федор думал, что отец бросится к повозке, стащит преступника, позовет милиционера. Но отец как-то скупой улыбнулся и проговорил:

— Скатертью дорожка...

Девять лет без перерыва работает в колхозе отец, работает на ферме мать. Когда Федор окончил школу, семейный совет был коротким — дело в том, что отец с матерью да и сам Федор давно решили, что он пойдет в педагогический. А решение это родилось еще в пятом классе.

Федор много читал. Правда, чтение это было бессистемным — рядом с детскими книжками попадались книжки для взрослых, в которых Федору не все было понятно, но читал он быстро, как говорят в школе, — бегло.

Однажды учитель литературы из седьмого класса пришел за Федором прямо на урок и увел его к старшим ученикам.

— Вот, — сказал учитель. — Это Федя Осмоловский. Из пятого класса. Сейчас он сядет за стол и прочитает вслух несколько отрывков из хрестоматии. Постыдитесь — вам, семиклассникам, дает урок ученик пятого класса, и поучитесь, как надо читать.

Федя рассказал об этом дома. Он не заметил, обрадовался отец или нет, но в доме стало правилом — в свободное время Федор читал вслух газетные новости, статьи и даже рассказы.

— Быть тебе учителем, сынок, — сказал однажды отец. — У тебя получается. И слушать тебя будут. А это главное...

Повозка застучала по булыжнику. Это значит, что до Барсуков осталось полкилометра.

Федор прыгнул, поблагодарил возницу, который даже не обернулся на его слова, и пошел пешком.

Он вспомнил свой разговор с Иваном и Эдиком и улыбнулся. Было в конфликте с Милявским такое, что пришлось пережить самому Федору. И кто знает, кануло это в прошлое или живет, теплится по сей день, то и дело вспыхивая новым огоньком, беспокойным и тревожным.

Они учились с Катей в одном классе. После его выступления перед семиклассниками Катя написала ему записочку, которая была свернута в виде порошочка. Мать Кати была фельдшерницей, и Катя, наверное, помогала ей делать порошки. На этом порошочке была надпись карандашом: «Феде». А внутри Федор прочитал: «Молодец!» и подпись «Катя». Конечно же, Катя могла просто подойти к Федору и поздравить его с успехом. И Федор, наверное, не обратил бы на это никакого внимания, потому что в классе его поздравляли в тот день почти все. А вот записка Кати, самой красивой девочки в классе, стала для Федора событием необычным, которое сразу вызвало его живой интерес.

Конечно, в ответ на эту записку Федор мог бы подойти и устно поблагодарить Катю, но он считал своим долгом на записку ответить запиской. Правда, она содержала не только благодарность. Федя так осмелел, что назначил Кате встречу в классе после уроков.

Это первое свидание так и не состоялось. Когда ребята ушли из класса, появилась техничка тетя Зина, поставила ведро с водой, положила мокрую тряпку, взяла в руки веник и сказала:

— У вас что тут, сбор какой-нибудь или вы оставлены в наказание?

Чтобы тетя Зина чего-нибудь не подумала, Федор пробормотал нечто несвязное и убежал домой.

После этого случая записок больше не писали. Правда, у Кати и Федора появилась своя, никому не известная тайна, и это волновало не меньше, чем «порошочек», полученный некогда от Кати. Они здоровались как-то по-особому, одними глазами, так же прощались, и никто из одноклассников не мог заподозрить у Федора или Кати какие-то особые отношения. А в девятом классе Федор сам смастерил порошочек, в середине которого было всего лишь три слова: «Я тебя люблю».

На эту записку ответа не последовало, а Федор постеснялся поговорить с Катей. Единственное, на что он мог решиться, — это пройти мимо ее дома, чтобы как-нибудь случайно встретить Катю еще раз.

Так оно и получилось. Еще издали Федор через окно увидел Катю. Она танцевала под патефон с каким-то военным. Федор узнал и военного — с Дальнего Востока приехал в отпуск сын Кирилла Концевого Владимир. Он служил там лейтенантом и носил в петлицах два кубика.

Сердце Федора оборвалось — так вот почему он не получил ответа на свою записку. Ну, ничего, утешал он себя, «тот Владимир скоро уедет, а мы тут без него разберемся. А что касается танцев под патефон — это тоже временное явление — девушки обожают военных и отказать Владимиру в удовольствии потанцевать Катя, конечно же, не могла.

О, наивная юность! Как часто она ошибается.

Владимир уезжал на Дальний Восток не один, а с Катей. Это событие взбудоражило всю деревню, всю школу. Сообщали, что с матерью Кати беседовала классная учительница. Катина мама сказала, чтобы школа не вмешивалась в личную жизнь ее дочери.

В сельсовете Владимира и Катю отказались регистрировать на том основании, что Катя не достигла совершеннолетия. И это не остановило Катину маму. Ошарашенные одноклассники Кати бесконечно шушукались, забывая об уроках. И тогда в класс пришел директор, седенький маленький мужчина с бородкой. Он сказал, что случай с Катей из ряда вон выходящий, что школа очень жалеет о том, что учебу оставляет такая способная ученица и что об этом обо всем Катя в будущем очень пожалеет. И еще он сказал, что комсомольская организация школы должна усилить воспитательную работу среди старшеклассников, перед которыми встанут очень важные жизненные проблемы.

Федор слушал директора без особого внимания, точно так, как и разговоры, которые шли в деревне и в школе вокруг Кати. Он никак не мог свыкнуться с мыслью, что сам он и его одноклассники так быстро и незаметно повзрослели, что девчата даже могут выйти замуж.

Федор не мог понять, почему принимаются такие неожиданные решения, как решение Кати. Они росли вместе с Катей, дружили, может быть, и любили друг друга. Катя знала точно об отношении к ней Федора, и вдруг все это отброшено, как ненужное, постороннее. Федор был подавлен.

Да, уехала Катя на Дальний Восток, оставив Федора в полном смятении мыслей и чувств. Но странное дело — у Федора жила необъяснимая тайная надежда на встречу. Он был почему-то уверен, что Катя сделала это под настроение, назло ему, назло всем, и она придет и признается в этом, и Федор простит ее, потому что Катя самая хорошая, самая красивая и самая умная. Видно, с ней что-то случилось, а близкие не заметили и, может быть, даже чем-то оскорбили ее. Вот уже год, как Федор ждет этой встречи, и сегодняшняя его отлучка домой была вызвана этой таинственной надеждой. Ему казалось, что в один прекрасный день Катина мать подаст ему записку, свернутую порошочком, в которой будет сказано все, и, если Катя попросит, он помчится на этот самый Дальний Восток, чтобы забрать ее и увезти домой.

Но время шло, а Катя не писала, ни о чем не просила и, кажется, вообще забыла своих старых друзей, потому что, встречаясь с Федором, Катина мать не передавала ему никаких приветов от Кати.

Иногда Федор пытался разозлиться на Катю. «Дурень ты дурень, — говорил он себе. — На что ты надеешься и чего ждешь? Ты никогда, понимаешь, никогда не был ей нужен, а теперь тем более. И вообще, почему ты думаешь, что ее чуть ли не силком увезли из дому. Можешь быть уверен, что она сама втюрилась в этого Владимира без памяти и забыла обо всем на свете. Выбрось ты ее из головы. Мало ли хороших девчат кругом». Но эти мимолетные вспышки так и оставались вспышками. Он ничего не мог поделать с собой — Катя жила в его памяти еще более родная, еще более близкая, чем прежде.

Федор по привычке прошел по деревенской улице мимо Катиного опустевшего молчаливого дома и остановился у своего палисадника. Мать любила цветы, и под окнами, за маленьким заборчиком, у нее росла сирень и кусты жасмина. У заборчика стояла скамья, на которой в минуты отдыха мать сживала со своими подругами.

Федор опустился на скамью и закурил. На улице не было ни души. Он узнавал октябрь в своей деревне — взрослые были в поле, дети — в школе.

Он нашел ключ в условном месте и открыл дверь. В сенях пахло укропом — мать солила огурцы. В хате было чисто и уютно. На стене тикали знакомые с детства ходики, а рядом, в деревянной рамке, висели фотографии. Федор увидел отца в форме землемерной школы, потом фотографии молодых отца и матери. Отец, выпятив грудь, сидел на стуле, мать стояла рядом, положив ему руку на плечо.

А вот снимок их девятого класса — они тогда ездили в Могилев смотреть «Бесприданницу» и сфотографировались. Как Федор тогда ни старался стать перед аппаратом поближе к Кате — ничего не получилось, — Тебя не будет видно сзади, — сказал ему фотограф и посадил его вперед на пол. Катя очутилась в стороне. На губах ее застыла скрытая улыбка.

Интересно, над чем она смеялась в тот день?

Глава шестая УСТИН АДАМОВИЧ

Не успел Сергей выписаться из больницы, как очутился в водовороте самых неожиданных событий. Во-первых, Иван с Эдиком уезжали на мандатную и медицинскую комиссию в Минск. По комсомольскому набору они направлялись в военное училище. Во-вторых, по институту полз упрямый слух о том, что Милявский разводится со своей женой и что причина этому — Вера. В-третьих, приближалась первая сессия и надо было готовиться к зачетам и экзаменам, а в конспектах зиял большой пробел. Правда, выезд первокурсников в колхоз в некотором смысле выручил Сергея — переписывать надо было наполовину меньше.

На вокзал пришли матери Эдика и Ивана, Федор и Сергей. Матери плакали, как будто расставались с сыновьями навсегда, а ребята строили планы, радуясь неизвестности, которая ждала их впереди.

— По комсомольскому набору пройдем, — вслух успокаивал себя Иван. — Главное — комсомольская убежденность, а не плоскостопие.

Эдик особого восторга не высказывал. Было похоже, что он едет с Иваном не столько из-за горячего желания, сколько за компанию.

— Будем проситься в истребительную, — говорил Иван. — Это, брат, скорость и маневр, не то что у бомбардировщиков.

— Истребители, конечно, лучше... — соглашался Эдик. Федор сверкнул черными глазами на одного и на второго и весело возразил:

— Если уж идти в училище, так в танковое. Едешь по твердой земле, прикрытый броней. И в дождь, и в бурю, в летную и нелетную погоду. Тоже и маневр и быстрота...

— Сравнил! — вспыхнул Иван. — Сокола с черепахой.

— Подумаешь, соколы... — с ноткой обиды возразил Федор. — Прежде всего надо машину первоклассную иметь.

— А у нас самолеты лучшие в мире! — воскликнул Иван.

— А я слышал, — продолжал Федор, — что нашим в Испании приходилось туго против германских новинок.

— Наши после этого не дремали, — примирительно сказал Эдик, но Иван потер энергично лоб и с привычной горячностью спросил Федора:

— Значит, ты считаешь, что их самолеты лучше?

— Не знаю. Не летал.

— Не знаешь, зачем же восхваляешь врага? Это, брат, не по-комсомольски.

— Да что вы, ребята, в самом деле, — вмешался Сергей. — Федор ничего не утверждает, говорит то, что слышал, а ты, Иван, вроде как из периода гражданской войны. Да, теперь действительно одной идеей не возьмешь, хотя она необходима, как воздух. Нужна отличная техника.

— Она у нас есть! — не сдавался Иван.

— Тем лучше, — погасил спор Сергей. — Значит, ты будешь ею владеть. Не забудь промчаться на бреющем полете над институтом.

— Все хорошо, — спокойно сказал Федор, — но жаль, что распадается такой хороший союз.

— Давай с нами, — пригласил Иван.

— Рожденный ползать летать не может, — отказался Федор и протянул друзьям папиросы. — Закурим на дорожку.

И в этот момент к ребятам подошел запыхавшийся Устин Адамович. На дворе стоял ноябрь, было прохладно, но Устин Адамович снял шляпу и вытер платочком вспотевшую лысину. Молодые глаза его с улыбкой оглядывали хлопцев.

— Здравствуйте, Устин Адамович, — с удивлением сказал Эдик. — Вы тоже в Минск?

— Нет, я к тебе, — ответил Устин Адамович, поздоровался с Эдиком и пожал всем руки. — Наши студенты?

— Наши, — ответил за всех Эдик.

— Узнал, что уезжаешь, и поспешил на вокзал. — Спасибо... — смутился Эдик, — Вы видели чудака? — обратился Устин Адамович к ребятам, кивнув в сторону Эдика.

Ребята смущенно молчали. Никто не ожидал такого странного и в какой-то степени острого вопроса.

— Он поэт, — твердо сказал Устин Адамович. — Понимаете? Поэт. Ему надо заниматься стихами, а не самолетами.

— При чем тут стихи? — удивился Иван. — Вы что-то путаете.

— Я путаю? — Устин Адамович удивился не меньше Ивана. — Разве твои друзья ничего не знают?

Краска залила лицо Эдика.

— Ну, брат, это или сверхскромность или черт знает что... — продолжал Устин Адамович.

Видя, что с ребятами беседует незнакомый мужчина, подошли поближе женщины. Устин Адамович живо обернулся к ним.

— Здравствуйте. Кто из вас мать Эдика?

— Я, — тихо произнесла Настасья Кирилловна, вытирая платочком глаза.

— Я преподаватель института, — представился Устин Адамович.

— Настасья Кирилловна...

— Видите ли, — сказал Устин Адамович. — Я поставлен, если можно так сказать, в довольно глупое положение. Оказывается, Эдик никому из вас не признавался, что он пишет стихи. И притом настоящие. Мне кажется, его отъезд в летное училище не совсем продуман.

Появление Устина Адамовича перевернуло все с ног на голову. Веселую торжественность проводов как ветром сдуло.

Все шло хорошо и нормально. Пока не пришел он и не помешал этому нормальному ходу событий. А с другой стороны, ребята были признательны Устину Адамовичу за то, что он так высоко оценил способности их товарища, в котором они подозревали незаурядного человека.

Эдик растерялся совершенно. Он никогда не думал о себе как о литераторе всерьез, он и предположить не мог, что его отъезд вызовет такой протест со стороны Устина Адамовича, и самое главное — Устин Адамович открыл перед ребятами то, чего Эдику очень не хотелось открывать. Он боялся, что его увлечение вызовет насмешки, и прежде всего со стороны Ивана, врага всяческой лирики. Настасья Кирилловна с самого начала была против затеи Эдика. Она считала, что Эдик вышел на хорошую дорогу, с которой грешно сворачивать. Устин Адамович еще больше укрепил ее в этой мысли, и Настасья Кирилловна, смирившаяся было с отъездом сына, решила не отступать.

— Что ж ты молчал? — спросил Иван. — Тут ничего страшного, а вдруг в тебе какой-нибудь Маяковский сидит?

— А если не сидит? — смущенно ответил Эдик.

— Все равно, — сказал Сергей. — Когда есть способности — это здорово.

— А почему летчик не может писать? — вдруг спросил Федор. — Чехов был доктором, а написал дай бог.

— А действительно, — схватился Эдик за слова Федора, как утопающий за соломинку, — действительно, писать можно человеку любой профессии.

— Все это правильно, ребята, — спокойно сказал Устин Адамович. — Но в институте Эдик получит общее высшее образование, познакомится с литературой от древней Греции до наших дней. Это даст ему необходимые знания для собственной работы.

Эдик не знал, как возразить Устину Адамовичу. Он готов был с ним согласиться, но слово, данное Ивану, было крепким, на всю жизнь, и поэтому Эдик решил примирить обе стороны:

— Поедем, а там видно будет...

Тут вмешалась Настасья Кирилловна:

— Что значит поедem? Тебе ученый человек говорит, а ты свое... Сдавай немедленно билет, и дело с концом... А тебе, Ванечка, счастливое дороги.

Не думала Настасья Кирилловна, что вмешательством своим не только не поправит, а, наоборот, испортит дело. Если до этого Эдика грызли сомнения, то после пожелания Ивану счастливой дороги Эдик решил, что не оставит друга ни в коем случае, что, как решено, так и будет и нечего крутить туда-сюда. Они уже не дети.

— Я поеду, мама, — твердо сказал Эдик и, услышав спасительный гудок паровоза, заторопился: — Ну, давайте прощаться...

— Ты зайди в редакцию молодежной газеты, там твоя подборка к печати подготовлена. С моим вступлением, — спешил сообщить Устин Адамович.

— Что же ты делаешь, сынок? — обняв Эдика, заплакала Настасья Кирилловна. — Ты ведь всегда слушался старших...

— Я постарел, мама... — пытался отшутиться Эдик. — Не плачь. Я буду писать. Часто.

— Ни пуха ни пера, — пожал Эдику и Ивану руки Федор.

Сергей обнял друзей:

— Ну, смотрите, не подкачайте там...

— С богом, с богом — приговаривала мать Ивана, идя вслед за медленно отходящим поездом.

Иван с Эдиком стояли в тамбуре и махали провожающим руками.

Когда поезд скрылся за поворотом, Федор, Сергей и Устин Адамович попрощались с женщинами и вышли на привокзальную площадь.

— В город? — спросил Устин Адамович.

— Да, мы в институт.

— Может, пешечком? — предложил Устин Адамович.

— Нам все равно...

Они прошли мимо длиннющей очереди на автобус, завернули за угол железнодорожного клуба и направились вдоль покрытой булыжником Ульяновской.

Долго шли молча.

— Вы не перехвалили нашего Эдика? — спросил Сергей Устина Адамовича.

— Ничуть... — с убежденностью произнес Устин Адамович. — Я мог бы сказать больше, да боюсь — у парня голова закружится, а там перестанет работать над собой — и пропал. Был у нас в педтехникуме один способный человек. Захвалили. А он запил, и нет таланта. Погиб. Вот оно как бывает... Вы на филологическом? — спросил Устин Адамович и, посмотрев на Федора, сказал: — Конечно. Ведь вы сидите в 23 аудитории за крайним столом. Правда?

— Точно, — с некоторым удивлением подтвердил Федор и, кивнув в сторону Сергея, добавил: — Сергей недавно из больницы.

— Если вы литераторы, — продолжал Устин Адамович, — то не можете не понять, что Эдик мыслит образно, а это — главное. Вот он увидел загнанные в тупик разбитые вагоны санитарного поезда. Стоят они уже, наверное, с гражданской, а Эдик встретился с ними, как с живыми. Вот послушайте. — Устин Адамович вполголоса, как-то очень интимно, с ноткой грусти прочитал:

С крышами, измятыми шрапнелью,
Синие вагоны стали в ряд.
Крыши как пробитые шинели
Всю войну изведавших солдат.
Показалось, только тронь вагоны
И на тихий молчаливый зов
Буфера откликнутся со звоном
Гулом человеческих голосов...

— Здорово! — не выдержал Федор.

Сергей был менее восторженным. Он считал, что если это увлечение не пройдет, значит, Эдик будет работать серьезно, а если пройдет, значит, оно было временным, как и у каждого парня или девушки, когда вдруг захочется говорить стихами. Пишут в альбомы, пишут для себя, а потом сами смеются над своими сочинениями.

— Не пропадет, — сказал Сергей, чтобы как-то закончить разговор про Эдика.

И опять долго шли молча. А потом, словно отвечая на реплику Сергея, Устин Адамович заговорил:

— Каждый от рождения имеет какую-нибудь склонность. Один любит плотничать, другой шить, третий рисовать, четвертый сочинять стихи. Вся беда наша в том, что ни дома, ни в школе мы не обращаем на эти склонности серьезного внимания. Гоним общую успеваемость, чтобы отметки по всем предметам были на высоте. И вот уже один бросил плотничать, другой шить, третий рисовать, четвертый сочинять стихи. Все подстрижены под одну гребенку. Все хорошо успевают. Учителя довольны, в районы тоже, в облоно и выше. А начинается самостоятельная жизнь, и люди теряются — многого не знают, ничего по-настоящему делать не умеют... Склонности — это великое дело, ребята. Вспоминаю — училась со мной в классе девочка. Любила собирать гербарии. Каждая травинка у нее на учете, каждая бабочка, каждый червячок. А теперь она известный ботаник, работает в Московском университете...

— Вас бы с моим отцом спаровать, — сказал Сергей, — тот, всю жизнь работая в школе, в каждом ученике видит большой талант. А проходят годы — где они, таланты? Раз-два, и обчелся.

— Занимаются не своим делом, вот в чем суть, — заключил Устин Адамович, а возле

Комсомольского сквера спросил: — Может, в институт не обязательно?

— Конечно, — переглянулись Сергей с Федором.

— Тогда зайдем ко мне. Посидим, поговорим, — пригласил ребят Устин Адамович и, словно между прочим, спросил Сергея, кивнув на его стриженую голову:

— С чем лежали в больнице?

— Да так... — махнул рукой Сергей.

— За так в больницу не берут и прически не портят. Секрет? — улыбнулся Устин Адамович.

— Признаться, что ли? — тоже улыбаясь, спросил Сергей Федора.

— Признавайся, чего там...

— Из-за девушки попало...

— Отступил? — спросил Устин Адамович, открывая квартиру.

Сергей с Федором вошли в коридор, остановились.

— Да вы проходите, садитесь, сейчас сообразим по холостяцки... — пригласил Устин Адамович. — Так ты не ответил на мой вопрос.

— Отступил... — признался Сергей и опустился в кресло возле журнального столика. — Курить можно?

— Берите там пепельницу и курите... — говорил из столовой Устин Адамович, звеня посудой. — А что отступил — дурак.

— Убьют ведь... — вмешался Федор.

— Не убьют. Если любишь — не отступайся. Она поймет, что это от большой любви. А поймет, значит, все в порядке, значит, ты победил.

Устин Адамович вошел в кабинет, накрыл журнальный столик газетой, поставил бутылку и три рюмки:

— Не пугайтесь, это легкая настойка, для разговора.

— Легко сказать — победил... — бросил с равнодушием Сергей.

— Конечно, нелегко, — согласился Устин Адамович. — Хотите, я вам свою историю расскажу. Так сказать, для поучительного урока. — Он налил три рюмки, поставил тарелку с яблоками. — Ну, что ж, по первой для знакомства.

Настойка была сладкой и терпкой. Ребята выпили, взяли по яблоку, а Устин Адамович достал папиросы и закурил. Сергей смотрел на молодежавое лицо его, живое, подвижное, и заметил, как не гармонирует с этим лицом круглая, коричневая от загара, совершенно лысая голова.

— Году в тридцатом окончил я педтехникум и за отличные успехи был направлен на учебу в пединститут. На радостях приехал я домой и в воскресный день отправился в соседнее село на вечеринку. Был там приличный клуб, и молодежь тянулась туда из всех прилегающих деревень. Гармонисты там жили хорошие, неутомимые, а нашему брату что надо было? — режь во всю ивановскую до утра. Бывало, кажется, все, выдохся гармонист, голова от усталости на плечах не держится, а он покладет ее на меха, глаза прикроет, а пальцы все равно как сумасшедшие пляшут по ладам.

А надо сказать, что в этой деревне существовало железное правило — на вечеринку приходи, веселись, но к девчатам их деревни клинья не подбивай. Все об этом знали, не нарушали эту неписаную конвенцию, и вечеринки проходили довольно спокойно, если не считать, что кто-нибудь из хлопцев хватил лишнего и начинал откалывать коленца. Такого просто убирали, и все.

Тем воскресным вечером все шло как обычно. Правда, появилась какая-то девушка, которую я прежде не видел. Была она стриженная, как в городе. В сиреновой блузке.

Мы танцевала вальс, и, знаете, я почувствовал какую-то радость в танце с этой девушкой, мне было легко и свободно, и вдвоем, мне казалось, мы могли бы не танцевать, а летать по воздуху.

Устин Адамович встал, прошелся по комнате, налил еще по рюмочке ребятам. Видно было, что эти воспоминания даются ему нелегко.

— Вы пейте, а я покурю... — сказал Устин Адамович и вынул из пачки новую папиросу.

Ребята молча выпили, молча взяли по яблоку. Не хотелось мешать течению мыслей

Устина Адамовича, и даже если бы он не рассказывал дальше, ни Сергей, ни Федор не настаивали бы.

Устин Адамович опустил на стул, заложил ногу за ногу, обнял худые колени руками.

— Одним словом, ребята, понравилась мне эта девушка не на шутку — и глаза ее, веселые, смешливые, и белозубая открытая улыбка, и эта легкость, с которой двигалась она по залу.

После вальса была еще полька-трясуха, потом краковяк, потом еще и еще. Не помню, после какого танца, когда я проводил ее на место, а сам вышел покурить, меня прижал к стенке здоровенный хлопец.

— Ленку не трожь... Ты что, забыл наше правило?

— А разве она из вашей деревни? — притворился я.

— Ты дуручку не валяй, — предупредил меня все тот же парень. — Не то я тебе замешу тесто на морде...

Не знаю почему, но угроза на меня не подействовала. Когда гармонист по традиции заиграл марш и все начали расходиться, я пошел вместе с Леной. Если быть откровенным — Лена не очень горячо встретила мои ухаживания, но не противилась, когда я вызвался проводить ее.

В этот вечер мы говорили дежурные слова, сообщали поверхностные сведения друг о друге. Лена рассказала мне, какой замечательный студенческий городок в Горках, где она учится в сельхозакадемии. Наверное, больше нигде такого уютного и благоустроенного городка нет, потому что учебные заведения в городах это совсем другое дело. Я в свою очередь расхваливал Могилевский педтехникум, учебные корпуса, общежитие, где все — утопает в зелени.

— Знаю я ваш техникум, — сказала мне Лена, — мимо него проходит улица в сторону шелковой фабрики, кажется, Быховская. Пылища, машины грохочут по булыжнику, а рядом, внизу, — Быховский базар. Нет, сами учитесь в таких условиях.

Я засмеялся и сказал, что моя учеба в техникуме — позади. Впереди институт — на Ленинской улице.

На этом мы и расстались. Я не спрашивал, будет ли она на вечеринке в следующее воскресенье, она тоже, очевидно, не ожидала свидания. Когда она хлопнула калиткой и ушла, я не без сожаления запыллил по улице в сторону своей деревни. И вдруг возле клуба дорогу мне перегородил все тот же здоровяк.

— Это ты? — спросил он, дохнув на меня перегаром. — Как будто, — ответил я и остановился.

— Я ж тебя предупреждал по-хорошему, а ты, как видно, не понимаешь...

Удар большой силы свалил меня на землю. — Устин Адамович улыбнулся, погасил окурок и взял В руки яблоко. — Теперь смешно, а тогда мне было не до смеха. Хлопец колотил меня так, как мог и как хотел. Я только защищался. Когда он увидел, что я не поднимаюсь, плюнул, завернулся и пошел.

— Чтоб твоей ноги здесь больше не было, — сказал он. По пути домой я смывал кровь у ручья, потом стряхивал пыль с единственного шевиотового костюма, не желая пугать своим видом родителей, пошел в гумно и завалился на сено.

Наутро дома был переполох. Сначала вызвали врача, а потом хотели броситься в милицию. Но я сказал, что я сам во всем виноват, и тогда мать запричитала, что в этом техникуме я испортился.

А у меня не выходила из головы Лена. Завалюсь на сеновал, смотрю сквозь щели в крыше на высокое небо, и видятся мне ее смешливые глаза, лицо ее подвижное, вспоминается ее тоненькая упругая талия. И словно опять плывем мы в танце, а усталый гармонист приложит голову к мехам и играет, играет...

В воскресенье я снова был на вечеринке. Залепленный пластырем, подпудренный. Лена не смеялась. Она первый же вальс пошла со мной и встревоженно спросила:

— Что случилось?

— Ваши хлопцы за тебя... — улыбнулся я и, как ни в чем не бывало, продолжал танцевать.

Лена ничего не сказала. Не знаю, может, что-нибудь подумала, но не сказала. И опять на

перекуре хлопец зажал меня в сенях и опять угрожал. И опять я провожал Лену домой.

Но тут произошло непредвиденное. Она вдруг вызвалась проводить меня. Как я се ни уговаривал — не помогло.

— Ты не смотри, что я слабый пол, — усмехаясь, говорила она. — Я ничего не боюсь.

Устин Адамович посмотрел с улыбкой на ребят, налил еще.

— Любопытная ситуация, — сказал Сергей.

— Любопытная и до некоторой степени глупая, — продолжал Устин Адамович. — Меня брала под свою защиту девушка. Первое, что меня грело в создавшейся обстановке, — небезразличное отношение Лены, второе — мы завоевывали право безнаказанно встречаться, — Вас, конечно, не оставили в покое? — улыбнулся Федор.

— Ты угадал... — Устин Адамович выпил и кивком головы пригласил последовать его примеру. — Хлопцы ждали меня на том злополучном месте недалеко от клуба. Оживленно беседовавшие до этого, мы замолчали, поравнявшись с деревенскими ревнивцами.

— Ленка, марш домой! — приказал знакомый мне голос.

— И не подумаю, — вызывающе ответила Лена, взяла меня под руку, чтобы идти дальше.

— Ты слыхала, что я сказал? — не успокаивался хлопец.

— Ты мне не батька и не указ, — бросила Лена, увлекая меня вперед.

Один из хлопцев схватил ее за руку, оторвал от меня, и только он бросился, чтобы разделаться со мной, как и в первый раз, как между нами выросла Лена. Волосы упали ей на лоб, вся она как-то ощетичилась и стала похожа на зверька, который приготовился к своему боевому прыжку.

— Не сметь! — громко крикнула она. — Я тебе набыю физиономию и вдобавок отдам под суд за хулиганство.

— А пускай не волочится за нашими девчатами... — уже не так угрожающе проворчал все тот же голос.

— У вас что тут — отдельное государство, и где это записано, что все деревенские девчата ваши? Плевать мы хотели на таких красавцев... Куда захотим — туда и пойдем, вас не спросим... И чтобы вы это дурацкое правило отменили немедленно. Понятно?

Хлопцы ничего не ответили. Мы пошли по улице, и снова Лена вела меня под руку, и я был самым счастливым человеком на земле.

Устин Адамович закурил и после некоторого молчания сказал Сергею:

— Так что в первый раз не отчаивайся, добивайся своего во что бы то ни стало.

— Тут другая история, Устин Адамович. Она за меня не вступится.

— Ты уверен?

— Совершенно точно, — твердо сказал Сергей, — и вообще, стоит ли о ней здесь говорить?

— Даже так? — удивился Устин Адамович. — Тогда конечно. Я только к тому, что настойчивость в достижении цели...

— Мы поняли, — перебил Устина Адамовича Федор. — И все-таки чем же закончилась эта история с Леной?

— Вас интересует финал? — тоскливо спросил Устин Адамович и встал. Он задумчиво прошелся по комнате, остановился у окна и стал смотреть во двор, заросший молодым вишняком. Плечи его как-то вдруг обмякли, ссутулились.

Сергей неодобрительно кивнул Федору — дескать, зачем спрашиваешь о том, о чем, наверное, неприятно говорить Устину Адамовичу, но было уже поздно. Устин Адамович повернулся к ребятам, и они увидели его странно блестящие глаза.

— Все было как у людей. Мы поженились. Она окончила академию, я — институт. Я стал работать в институте, она — в пригородном колхозе агрономом. Для поездки по полям и домой купили мотоцикл. Мы были счастливы. Бывало, садились вдвоем и мчались навстречу ветру. А ездить она умела. И никогда не думали мы, что в этом мотоцикле наше несчастье. Как-то возвращалась она домой поздним вечером. Ехала, наверное, быстро, а у обочины стоял трактор. Конечно, без огней. Да и у нее, наверное, что-то со светом случилось, что не заметила она этот трактор и врезалась в него на полном ходу. Вот вам и финал... — Устин Адамович замолчал, вышел на кухню, принес новую пачку папирос. Ребята сидели подавленные и не знали, что

делать. Говорить слова утешения было глупо — Устин Адамович в них не нуждался, отнестись ко всему этому равнодушно они тоже не могли, поэтому дружно набросились на новую пачку, чтобы закурить, помолчать и собраться с мыслями.

Это тягостное молчание было неожиданно прервано приходом младежковой, опрятно одетой женщины. Она вошла быстрым энергичным шагом и, не ожидая приглашения, опустилась на свободный стул и громко заплакала. Ребята недоуменно посмотрели на Устина Адамовича и встали, но он кивнул им, и Сергей с Федором остались.

Устин Адамович не бросился к женщине, не стал ее успокаивать, Он стоял рядом и ждал, Видно было, что это не первое ее появление, что Устин Адамович привык уже к этим слезам и не очень беспокоился.

Женщина наконец отняла от глаз платок и удивилась, словно увидела ребят впервые.

— Ой, да у вас гости!

— Нет, — сказал Устин Адамович. — Это мои студенты.

— Вы простите, что я вам надоедаю! — воскликнула женщина. — Но честное слово, мне не с кем посоветоваться. А в институте вы авторитет, вас все уважают...

Устин Адамович усмехнулся, подошел к окну, открыл.

— Мы тут здорово надымили, правда?

— Я привыкла... — немного успокоившись, сказала женщина. — Знаете, сразу чувствуется, что в квартире есть мужчина... — И вдруг воскликнула дрожащим голосом:— Миленький Устин Адамович, он ведь все-таки уходит!

— А чем я могу помочь? — равнодушно спросил Устин Адамович.

— А по профсоюзной линии, а по административной или даже на ученый совет вытянуть? — возмутилась женщина. — В конце концов, он педагог, воспитатель, а как он будет воспитывать студентов, если сам разложился окончательно?

— Дорогая Людмила Петровна, — сказал Устин Адамович, сел напротив женщины на стул и коснулся ее руки. — Вы просто попали не по адресу. Я разделяю ваше возмущение и считаю, что Милявский поступает легкомысленно, но вы сходите к директору, в партком, куда угодно. Это ваше право, вы жена, вы, наконец, мать своих детей...

Людмила Петровна встала, спрятала платочек в рукав блузки:

— Вы меня гоните?

— Ну что вы, — смутился Устин Адамович. — Просто мне думается, что вы потеряли много времени напрасно, рассказывая мне, как издевается над вами муж. Рассказывали в то время, когда надо было действовать.

— Вы не обижайтесь... — как-то просто и душевно сказала Людмила Петровна, и Сергей почувствовал симпатию к этой женщине. — Я вам одному верю, потому что... Ну, потому что вы Какой-то чистый, умеете слушать... А теперь ведь не все умеют выслушать. Всем некогда, некогда, как будто эти минуты решают судьбу земли.

— Я вас не гоню... — повторил Устин Адамович, — но, по-моему, теперь пришла пора бороться за семью, за мужа. Об этом вашем Милявском сейчас весь институт говорит. Вон ребята давно знают то, о чем вы сегодня сообщили.

— Правда? — широко раскрыв слегка подкрашенные глаза, спросила Людмила Петровна,

— Правда, — ответил Сергей.

— Тогда я пойду, извините, что ворвалась, что помешала вашей работе.

— Ну, что вы, — успокоил ее Устин Адамович. — Мы не работаем. Тоже моральными проблемами занимались.

— Еще раз извините... — сказала Людмила Петровна и направилась к выходу.

— Нас тоже извините, Устин Адамович, — сказал Сергей, — пора уходить.

Ребята попрощались и вышли.

Людмила Петровна стояла на крыльце в задумчивости. Видя, что Сергей машинально задержался возле нее, то ли желая что-то сказать ей, то ли спросить ее о чем-то, Федор махнул рукой и удалился.

— Вы не проводите меня? — спросила Людмила Петровна Сергея.

— Куда? — осведомился Сергей.

— Домой, конечно, не могу же я в таком виде идти в институт, чтобы всякие там ваши

девчонки подумали обо мне черт знает что.

— Пока что вы о них плохо подумали... — усмехнулся Сергей.

— А что бы вы сделали на моем месте? — удивилась Людмила Петровна. — Приставать к мужчине, зная, что у него жена и двое детей... Просто невероятно.

— Я знаю эту девушку, — признался Сергей, — и не верю, что она приставала.

— Что же вы молчали до сих пор? — оживилась Людмила Петровна. — Расскажите хотя бы, что это за особа?...

— Во-первых, она не особа, а нормальная девушка. Единственный ее недостаток — внешность.

— Она некрасива? — Нет, совсем наоборот, — серьезно сказал Сергей, — И это, по-моему, ей очень мешает в жизни.

— Что вы такое говорите! — воскликнула Людмила Петровна. — Женщине хорошая внешность никогда не была помехой.

— Она слишком хороша, — повторил Сергей, — и поэтому избалована вниманием.

— Вот как... — зло сказала Людмила Петровна. — В таком случае, я ей испорчу эту внешность.

— Вы этого не сделаете,

— Почему?

— Думаю, что это не в вашем характере.

Людмила Петровна расхохоталась нервным всхлипывающим смехом. Сергею стало неприятно, и он решил, что Людмила Петровна может обойтись без провожатого. Он остановился.

— Я лучше уйду, — сказал он. — Извините.

— Нет, — взяла его за рукав Людмила Петровна. — Так легко вы от меня не отделаетесь. — Она снова перешла на тот душевный тон разговора, который так подкупил Сергея в квартире Устина Адамовича. — Поймите, я сейчас в таком состоянии, что готова на любую гадость... Не покидайте меня, прошу вас. Мне показалось, что вы об этой девушке самого неплохого мнения. Не так ли?

— Я люблю ее, — неожиданно признался Сергей, и Людмила Петровна даже остановилась. Потом взяла Сергея под руку, и они не спеша пошли дальше.

— Пойдите, пойдите, — оживилась Людмила Петровна. — Это уже совсем интересно. Вы, значит, любите эту девушку?

Допрос был не очень приятен Сергею, но он ответил:

— Да.

— А она вас?

— Нет.

— Вы с ней хоть однажды встречались?

— Да.

— Ну и что же?

— Ничего.

Людмила Петровна, ведя этот допрос, преобразилась. Глаза ее загорелись, на щеках заиграл румянец, и от тусклого плаксивого тона ничего не осталось. Она была захвачена азартом исследования, поиска, азартом человека, перед которым вдруг засветил огонек надежды.

— Это не разговор — да, нет. Идемте вот сюда, в скверик, сядем на эту вот свободную скамью. Значит, она ничего не знает о ваших к ней чувствах?

— Знает, Людмила Петровна... Разрешите закурить?

— Курите себе. Господи, да что же это такое? Тебе признается в любви молодой человек, интересный, перспективный, а ты воротишь нос и останавливаешь свой выбор... Слушайте, как вас зовут?

— Сергей.

— Так она вас не любит, Сергей?

Сергей потерял уже всякий интерес к этому разговору. Если вначале он думал, что эта неожиданная встреча с женой Милявского принесет ему что-то новое, какие-то важные детали,

что-то такое, что могло бы изменить отношения Милявского и Веры, то сейчас он убеждался, что Людмила Петровна сама толком ничего не знает и от этой растерянности начинает строить призрачные планы.

— А что, если вы скажете ей правду — Милявский больной человек — то у него подагра, то гипертония, то печень... Зачем ей идти в няньки к нему? Ведь он только перед молодежью петушится, хочет показать, что и он еще не обломок, а на самом деле...

Сергей встал, бросил в урну окурки.

— Знаете что, Людмила Петровна, разбирайтесь вы с ними сами. А я пойду...

— Куда же вы?

— У меня хватает своих забот. До свидания.

Глава седьмая ВИКТОР

Иван с Эдиком зашли в свое купе, заняли места у окна и долго смотрели на пробегающие мимо леса и перелески, поля и деревни, озера, реки и ручейки. Каждый думал о своем, находясь под впечатлением проводов на могилевском перроне.

— Слушай, — вдруг сказал Иван Эдику, — я проголодался, а ты?

— Я не очень. — Глупая привычка. Как только сажусь в поезд, хочется есть. Давай за компанию.

Иван открыл чемоданчик, достал завернутый в чистую холщовую тряпочку кусок сала, хлеб, вареные яйца. Все это он любовно раскладывал на столике, и Эдик вдруг почувствовал, что с удовольствием разделит компанию.

— Давай, как некогда на пасху, — сказал Иван. Он протянул одно яйцо Эдику. — Держи, посмотрим, чье крепче.

Эдик улыбнулся этой детской выходке Ивана, протянул в кулаке яйцо. Иван ударил.

— Опять мое слабее. И вот так всегда, всю жизнь. Ну, да ладно, не жалко, бери.

Они молча ели, как будто сговорившись не вспоминать встречу с Устином Адамовичем. Потом пришел проводник и предложил чаю. И хотя Эдик почти никогда дома чаю не пил, он не отказался от стаканчика.

Вечерело. Окно вагона потемнело, и в нем отразились и Эдик, и Иван, и лампочка, вспыхнувшая под потолком,

Взяли постели. Легли. И долго молчали, хотя каждый догадывался о том, что думает другой, но никому не хотелось начинать разговор первому. Ворочались с боку на бок. Вслушивались в размеренный стук вагонных колес, но уснуть не могли.

— Не спишь? — наконец заговорил Иван.

Эдик помолчал, раздумывая, откликаться или нет. Потом вздохнул: — Не сплю.

— Дурацкая привычка, — опять пожаловался Иван. — Сажусь в поезд, не могу заснуть.

— А я наоборот, — сказал Эдик. — Привык с отцом в поездках. Чуть только на паровоз — спишь себе, как дома.

— Слушай, Эдик, — заговорил наконец о самом главном Иван. — А когда ты узнал, что можешь сочинять стихи? Это что, от рождения?

— С детства я слышал стихи от отца, Понимаешь, он очень любил говорить в рифму, а Я, как пошел в школу, даже подшучивал над этими стишками.

— Значит, ты не любил их, так? — допытывался Иван,

— Нет, не то чтобы не любил, а просто считал каким-то чудачеством.

— А потом?

— А потом, когда я познакомился с поэзией классической, я понял, что настоящие стихи — это недостижимая высота, а то, кто их умеет писать, люди необыкновенные.

— Значит, ты тоже необыкновенный? — тихо, без всякой издевки, спросил Иван.

— Да что ты, Ваня, — улыбнулся Эдик, — я просто ничтожество. Жалкий рифмоплет.

— Не верю я тебе, — опять как-то тихо и даже взволнованно сказал Иван. — Не верю. Потому что человек часто сам не знает, насколько важно то, что он делает. Я верю Устину

Адамовичу. Он всю поэзию наизусть знает.

— Он и сам пишет. Показывал мне минские газеты.

— Здорово! — вздохнул Иван. — Повезло тебе. С таким человеком встретился... Ну, прочитай что-нибудь, а? Еще ни разу не слышал, как живой поэт читает.

Эдик задумался, помолчал, а потом негромко, словно сообщая Ивану великую тайну, начал читать свои стихи про молодого токаря, который с удовольствием работает в родном цехе, на родном станке во имя общего блага, и концовка стихотворения, неожиданная, смелая, как-то сразу ошарашила Ивана:

Я знаю, если б шар земной
Ему в обточку дали,
Своею собственной рукой,
Как с этих вот деталей,
Он все б ненужное убрал,
Все язвы на планете.
И человек повсюду б стал
Прекрасно жить на свете.

Эдик молчал. Молчал и Иван, только колеса вагона постукивали на стыках.

— Я завидую тебе, — наконец сказал Иван. — Но что касается разговора на перроне — Устин Адамович не прав. Какая в наше время может быть поэзия в чистеньких перчаточках? Чепуха. Поэт-воин — вот кто должен быть нашим идеалом. Ты помнишь, в Отечественную войну 1812 года был храбрый партизан Давыдов? А помнишь в хрестоматиях его стихи? Так что авиация тебе не помеха.

— Я тоже так думаю, — согласился Эдик... В оргинструкторском отделе ЦК комсомола Белоруссии их предупредили, что мандатная комиссия будет заседать только после медицинской. И ребят направили в поликлинику.

Иван шел рядом с Эдаком и поминутно тер ладонью свой лоб.

— Да брось ты психовать, — не выдержал Эдик. — Авось все обойдется.

— Эх, если б вначале мандатная, я бы им доказал, а так кто его знает, может, по инструкции мое плоскостопие не проходит...

Приемный покой был просторный и светлый, с многочисленными дверями по сторонам. Ребята разделись по команде сестры и разгуливали в трусах, читая таблички на дверях: «Терапевт», «Невропатолог», «Глазной кабинет», «Главный врач»...

Ивана и Эдика пригласили в какой-то кабинет, где стояли круглое кресло, небольшой письменный столик для врача. Врач, молодой еще человек, встретил ребят веселой улыбкой, взял их медицинские карточки и пригласил Ивана в кресло.

— А вы покругите его как следует, — обратился он к Эдику.

Кресло вертелось легко и свободно. Эдик крутнул Ивана раз, другой.

Кресло крутилось, как волчок.

— Встаньте! — приказал врач.

Эдик остановил кресло. Иван встал, какую-то минуту стоял как вкопанный, а потом покачнулся и рухнул на диван.

— Вот тебе и раз, — с сожалением сказал врач, подошел к Ивану, который пытался сесть, взял его за руку, пощупал пульс. — У вас плохо с вестибулярным аппаратом. Так что придется вам сразу записать два неприятных слова, и дальше можете не ходить.

Иван встал и направился к двери.

— Одну минутку, — задержал его врач. — Сделайте такое одолжение своему другу.

Эдика врач похвалил.

Они вышли в коридор в полной растерянности. А там уже толпились следующие. Они задавали ребятам вопросы, но, оглушенные провалом Ивана, друзья почти ничего не слышали.

Они отошли в сторонку, сели на скамью.

— Что будем делать? — спросил Эдик.

— А черт его знает, — зло бросил Иван. — Может, ты меня слишком сильно крутанул?

— Может быть, — упавшим голосом произнес Эдик, — но, честное слово, я не знал, что оно такое легкое и быстрое. Может, попросить доктора еще раз? Я бы легонечко.

— Не даст, — твердо сказал Иван. — Вот если бы к главному врачу да все толково объяснить...

— Пошли вместе, — предложил Эдик. — Я виноват, я и расскажу, как было.

Главный врач был высоким стройным человеком,

— Что случилось? — спросил он. Эдик рассказал. Главный улыбнулся:

— Я понимаю вас, ребята. И желание ваше понимаю. Но мы не можем сделать ни малейшей уступки. Да вы садитесь.

Ребята сели. Главный взял карточку Ивана, положил на стол и спросил:

— Ты танцуешь?

— Немного, — хмуро ответил Иван.

— А много и не надо, — сказал главный. — Ты не замечал, какое у тебя самочувствие после кругового движения в одну сторону. Ну, встань сюда, посреди комнаты, давай-ка покружись на месте. Только энергичнее, энергичнее... Ну, хватит.

На этот раз Иван держал равновесие, но его как назло тянуло в сторону.

— Нет, брат, не быть тебе соколом, — заключил врач и взял в руки медицинскую карточку Ивана. — Садись, отдохни. — Он взял ручку и начал что-то писать на углу карточки. Потом положил руку на письменный прибор и вслух прочитал: — Ледник Иван Матвеевич... Ледник... — вслух повторил он. — Ледник... Матвеевич... Вот и все, Иван Матвеевич, возвращайся в свой институт и учись. Учитель — это благородная профессия. Учитель дает путевку в жизнь кому хочешь — и трактористу, и летчику, и профессору. Все, братец, от него, от учителя. И не переживай. А друг твой может продолжать осмотр.

— Тогда и я не буду, — неожиданно сказал Эдик и встал. — Раз не берете Ивана, так и я не буду. Мы решили навсегда вместе, а раз не получается... — Дело хозяйское, — улыбнулся главный. — Ты это объясни в орготделе ЦК комсомола.

Ребята повернулись, и только было Иван хотел открыть дверь, как услышал позади голос главного:

— Одну минуту. Вернись, пожалуйста, Ледник. Тут, понимаешь ли, есть одно такое обстоятельство... — Главный как-то заговорил смущенно, путанно, и ребята насторожились. — У тебя, Ледник, есть близкий родственник?

— Есть... — ответил Иван.

— Ты давно с ним не виделся?

— Давно, лет десять.

— Вот что... — сказал главный. — Возьми вот эту записочку с адресом и моей просьбой, думаю, тебя пропустят.

— Что с ним? — тихо спросил Иван. — Ничего особенного. Узнаешь обо всем на месте... Медицинская комиссия уже не интересовала Ивана. Он оделся так быстро, как только одеваются солдаты по тревоге, и, бросив Эдику, что встретятся вечером в гостинице, помчался в город. Эдик не стал спрашивать Ивана, да и спрашивать было некогда, ясно, что Иван встретится наконец со своим старшим братом, которого не видел так долго и о котором почти ничего не знал.

Трамвай тянулся по узенькой Советской улице, почти рядом с тротуаром. Остановки были частыми, и это раздражало Ивана. Вот проехали наконец по деревянному мосту через Свислочь — рядом дымили трубы электростанции, — и трамвай побежал быстрее вдоль длинного ряда маленьких деревянных домиков — одни из них еще держались молодцами, поднимая к небу свои островерхие крыши, другие сгибались под тяжестью лет, крыши их, седлообразные, провисали над покосившимися углами...

Кондуктор объявил Клинический городок. По запыленному дощатому тротуару Иван побежал искать хирургический корпус.

Дежурный врач, пожилая неторопливая женщина в толстых роговых очках, долго рассматривала записку, с которой приехал Иван, потом позвала сестру, попросила, чтобы она принесла халат и проводила предъявителя записки в 17 палату.

Как показалось Ивану, шли долго и довольно путанно. Если бы сестра вдруг оставила его

одного, он наверняка заблудился бы в лабиринтах этого большого здания. Но вот сестра остановилась, открыла дверь и сказала:

— Сюда. Только ненадолго.

С лихорадочно бьющимся сердцем Иван вошел в палату и увидел на единственной кровати человека, в котором с трудом можно было узнать Виктора. Поседевшие виски, изборожденный морщинами лоб, суровые складки губ. Грудь его была перебинтована широкими бинтами, на тумбочке у кровати стояли баночки и скляночки с лекарствами.

Наступило минутное молчание.

— Это ты, Ваня? — хрипло спросил Виктор и хотел было приподняться, но Иван легонько придержал его и приник к его плечу, пахнущему йодом. И все, что накопилось в душе Ивана со времени разлуки с братом, и горечь сегодняшнего провала на медицинской комиссии, — все вылилось в его ребячьих слезах.

— Ну, успокойся. Ну, Ваня. Ну что с тобой?... — тихо говорил Виктор, и от этого хрипловатого незнакомого голоса Иван всхлипывал еще больше.

Виктор замолчал. Он только поглаживал Ивана по голове слегка дрожащими шершавыми пальцами. И Иван успокоился. Он поднялся, сел на табурет, посмотрел в лицо брату и смущенно улыбнулся:

— Извини, я как девчонка...

— Бывает... — успокоил его Виктор.

— Ну, как вы там? — спросил Иван.

— Ничего... — вздохнул Виктор и замолчал.

Иван почувствовал, что брату не хочется говорить о своей работе, и поэтому перевел разговор на другое.

— А тетка Надя жива?

— Живет, брат, — обрадовался перемене разговора Виктор. — Ты помнишь, когда ее взяли первый раз? Выпустили за отсутствием доказательств. Не было у них против нес явных улик. Одно подозрение. А потом ее на несколько лет отключили, а теперь тетка Надя — в подпольном межрайкоме, женщинами командует, и неплохо. Устроилась страховым агентом и ходит себе по селам. Вот какая у нас тетка...

Иван задумался. Рушились его прежние представления о революции, о классовой борьбе. Прежде ему казалось, что такие люди, как Виктор, а может, даже и опытнее Виктора, могут в сравнительно небольшой срок поднять народ и свергнуть помещиков и капиталистов. Было ведь так в России. Вон во всех учебниках об этом написано. А там, за кордоном, проходят годы, таких вот Викторов сажают в тюрьмы, преследуют, и никакой революции не предвидится, там забастовка, там демонстрация, и все... Вот если б весь народ да с оружием...

Иван ожесточенно потер лоб. Виктор заметил это движение брата, улыбнулся:

— Верен старой привычке?

— Верен.

— Что тебя мучает?

— Ты вот профессиональный революционер, — сказал Иван. — Работаешь там уже десять лет. А где же твоя революция?

Виктор улыбнулся:

— Это намного сложнее, чем пишется в учебниках. Навязать революцию мы не можем. Да это и не наша задача. Исторические условия сейчас не в нашу пользу. Остается сколачивать организации, готовить их к серьезным испытаниям.

— А почему исторические условия не в нашу пользу? — спросил Иван. — Мы ж одна шестая планеты, на которую смотрят трудящиеся всего мира.

— Хороший ты парень, — сказал Виктор. — Наш до мозга костей. Но книжный и плакатный какой-то. Ты понимаешь, что об этой одной шестой части не всюду знают. А если знают, то ту самую неправду, которую распространяют наши враги. Вот и доказывай, хоть разорвись. Докажешь одной, двум, трем, наконец, тысячам тысяч людей, а как рассказать миллионам на всей земле? Вон гитлеровские солдаты и прежде всего молодежь уверены, что они несут человечеству освобождение от ига коммунистов. Вот, брат, какая штука.

— Значит, мы будем с ними воевать?

— Будем, — твердо сказал Виктор.

Наступило молчание, в течение которого каждый подумал о своем.

— А меня уже в два военные училища не приняли — в военно-морское и в летное. То плоскостопие, то голова слабая...

— Эх, Ванюшка, не было бы большей беды. Ты ведь учишься?

— В пединституте я.

— Так какого лешего тебе надо? Высшее учебное заведение, отличная профессия — людей учить... А в случае чего — все под ружьем будем и с плоскостопием и без него. Понял?

— Понятно, но обидно.

— Чепуха. Ну как дома?

— Дома ничего. А ты, может, останешься здесь? Как ты думаешь?

— Не могу, Ванюшка, не могу. Есть там у меня дела, прямо скажу, неотложные.

Иван позавидовал Виктору. Тот всегда знал, чего хотел, чего добивался в жизни, и шел к этому настойчиво, несмотря ни на что.

— Тебе больно? — спросил Иван.

— Больно, брат. И не столько от раны, сколько от того, что ошибся в человеке.

Опять наступило молчание. Иван видел, что Виктор задумался, и не мешал ему. Расспрашивать было неудобно — он чувствовал, что воспоминания эти были неприятные.

Виктор взял с тумбочки стакан воды, отпил глоток:

— Надежный друг — дороже жизни, Ванюшка, и мне казалось, что у меня был такой друг. Несколько лет подряд мы работали вместе. А потом начались провалы. Мы меняли явки, уходили в другие районы, а провалы преследовали нас, как чума. Наконец, мне сообщили, что напали на след провокатора. Я должен был явиться на хутор для встречи с нашим товарищем, который чудом бежал из-под ареста. Я сказал своему другу, что наши неудачи кончаются. Ночью на таком-то хуторе мне назовут провокатора. В целях моей безопасности друг обещал меня встретить...

Видя, что Виктору трудно говорить, Иван прервал его:

— Я все понял, успокойся...

— А как это было понять мне? — как бы сам себя спросил Виктор. — Он встретил меня для моей безопасности со стражниками. Завязалась перестрелка. Кажется, я не убил его... Я должен вернуться, Ванюшка, Там у меня жена и дочь... Что будет с ними?

Вошла сестра. Остановилась у двери — Извините, больше нельзя. Иван встал со стула и посмотрел на Виктора. Было такое ощущение, как в момент отправления поезда, с которым уезжает любимый родной человек. Хотелось сказать еще что-то важное, может быть, самое важное из того, что говорилось, но поезд уже тронулся, вагоны уходят все дальше и дальше. Виктор попытался приподняться на локте.

— До свидания, — тихо сказал Иван и положил свою руку на руку Виктора. Виктор крепко сжал ее горячими влажными пальцами:

— Я обязательно дам знать. Слышишь, Ванюшка. Мать поцелуй. Не говори про это... Скажи, проездом встретились... Подымусь, может, еще и домой загляну...

И снова Иван шел по лабиринтам здания за белым халатом сестры. На душе было тяжело, в груди сжимался горький комок. Трудная судьба брата многому учила его, и Иван чувствовал, что перед Виктором он предстал зеленым несмышленьшем. Мало было верить в идею, быть одержимым в достижении цели. Надо трезво взвешивать и оценивать обстановку, быть готовым к любым серьезным испытаниям, неожиданно встающим на твоём пути.

Сообщение Виктора о том, что у него за кордоном осталась семья, ошеломило Ивана. Он считал, что революционер не имеет право на личную жизнь, а тем более обзаводиться детьми, разными там пеленочками и простынками. И вдруг Виктор, которого он всегда брал в пример, признался ему, что женат, что у него и дочка, и простынки, и пеленочки. Может быть, Виктор допустил серьезную ошибку, может быть, из-за этого потянулась цепь других ошибок, которые привели его к провалу? Но при чем тут провокатор и семья Виктора? Глупо думать о революционере как об аскете, он ведь должен жить, как все, чтобы не привлекать внимания своей необычностью. И, может быть, даже хорошо, что у него жена и дочь, что он, как все, ходит с ними в магазин, или в кино, или на прогулку? Нет, Ивану трудно было все это себе

представить, потому что неожиданная встреча с братом всколыхнула всю его душу, вызвала нескончаемый рой мыслей, и мысли эти были одна противоречивее другой...

Уже внизу, благодаря сестру за внимание, Иван спохватился, что не спросил, куда сейчас написать брату, но тут же подумал, что писать никуда не следует, пока Виктор сам не подаст весточки.

Глава восьмая РАДОСТИ И ГОРЕСТИ

Сергея срочно вызвали в комитет комсомола. Он не знал, зачем понадобился Федору, но особого беспокойства не чувствовал — весенняя сессия близилась к концу, с экзаменами и зачетами все было в порядке, «хвостов» не оставалось. Жизнь входила, как говорят, в свое нормальное русло;

Вернулись к учебе Иван с Эдиком, и хотя по-прежнему у ребят возникали споры между собой, они считали, что их союз достаточно прочен.

Сергей не пытался встретиться с Верой. Он все время убеждал себя, что она человек конченный, о чем свидетельствует широкий диапазон ее связей — от какого-то хулигана, которого она почему-то укрывала от наказания, до кандидата наук, преподавателя института. История с Милявским просто обескуражила Сергея. Ему все время казалось, что это неправда, что речь идет не о Вере, а совсем о другой девушке, которую он не знает и которая достойна осуждения. Правда, разговоры о разводе Милявского с женой мало-помалу утихли, но студенты по-прежнему косились на Веру. Она же держалась независимо и, как замечал Сергей, даже с некоторым вызовом, которого он никак не мог понять. Ни Эдик, ни Иван никогда не напоминали о Вере, даже тогда, когда о ней и Милявском гудел весь институт, и Сергей был благодарен друзьям за это. Враждебнее всех относилась к ней мать Сергея. Она не могла простить Вере, что та не назвала человека, тяжело ранившего Сергея в тот злополучный вечер. Когда мать попыталась обратиться за помощью в милицию, Вера, вызванная в отделение, сказала, что видела этого парня первый и последний раз и вообще она не может в первый же вечер заполнить на человека все анкетные данные. Мать не могла простить Вере и передрыг в семье Милявского. Она считала, что лишать детей отца может лишь самый подлый на земле человек, у которого нет ничего святого, и очень хорошо, что Сергей раз и навсегда порвал с этой девицей и что мать наконец может быть спокойна за него.

В комнате комитета было шумно. Сергей пробился к столу, за которым сидел Федор над какими-то списками. — Вызывал? — спросил Сергей. Федор поднял глаза, улыбнулся:

— Ты не хочешь на лето в пионерский лагерь? Сергей засмеялся:

— Из пионерского возраста вышел.

— Вожатым, — уточнил Федор. — Для педагога это самая хорошая практика. Да и отдохнешь. Кстати, лагерь рядом с моей деревней. В гости будешь приходить, Вон сколько преимуществ.

— Многовато для одного предложения.

— Едешь?

— Еду, — согласился Сергей.

— Вот и хорошо. И Вера едет, — словно между прочим сказал Федор.

— А зачем ты мне это говоришь? — сдвинул брови Сергей, а сердце его стукнуло тревожно и взволнованно.

— Да так, между прочим, — усмехнулся Федор и крикнул; — А где Столович? Столович с истфака здесь?

Сергей вышел из комитета, ощущая непонятное беспокойство. Так обычно бывает перед большой дорогой, в которой ждет тебя много неизвестного. Он поймал себя на том, что Федор обрадовал его. Обрадовал сообщением, что в лагере будет работать Вера.

Сергей вышел на лестничную площадку и закурил. В такие минуты он любил поговорить с собой, посоветоваться или поспорить с тем, другим, Сергеем, который жил в нем со своими мыслями и чувствами.

«Что же происходит? — рассуждал критически настроенный Сергей. — Вот я шел в комитет и по пути мысленно разносил в пух и прах эту самую Веру, наверное, пошлую, неразборчивую девчонку, а стоило Федору сказать, что она будет рядом, и я обрадовался, да, конечно, обрадовался, как ребенок, которому сделали неожиданно приятный подарок».

«Умерь свой пыл, — говорил в нем другой Сергей. — И не будь таким воинственным. Ты ведь об этой девушке ровно ничего не знаешь, если не считать сплетен и слухов, которыми ты питался все это время с каким-то злорадством и удовольствием».

«Чепуха, — снова раздавался в нем голос первого Сергея. — Не ищи путей для отступления. Ты просто беспринципный человек. И хочешь черное сделать белым. Разве она не наплевала на тебя, на твои чувства, прямо из больницы уехав на картошку, чтобы тут же встретиться с Милявским и заварить всю эту кашу?»

«Погоди, не горячись, — не хотел сдаваться другой Сергей. — А почему она дежурила возле тебя в больнице, почему тот полный шахматист в палате так авторитетно заявлял, что другой такой девушки на свете нет, что ему упускать ее нельзя ни в коем случае, что только с ней он будет счастлив всю свою жизнь...»

«Брось. Не напускай лирики, — снова спорил сам с собой Сергей. — Не забывай, что она сказала тебе на прощание. Не хочешь вспоминать? Неприятно? Конечно, кому это приятно услышать такое от человека, для тебя очень дорогого?...»

Неизвестно, сколько продолжался бы этот трудный для Сергея диалог, если бы не Милявский, который вдруг остановился рядом с ним:

— Петрович? Что вы тут делаете?

Сергей бросил взгляд на пенсне Милявского и почти с вызовом ответил:

— Как видите — курю. В отведенном для этой цели месте.

— Похвально, — улыбнулся Милявский. — А вы не можете оказать мне небольшую услугу?

— Например? — тем же тоном спросил Сергей, но Милявский не обратил на это никакого внимания.

— Послушайте, голубчик, — сказал Милявский, снял пенсне и начал его протирать. — У меня сегодня в городском Доме учителя лекция о международном положении. Помогите мне из исторического кабинета отнести туда кое-какие карты...

На протяжении всей этой истории с Верой Сергей второй раз так близко столкнулся с Милявским. Первый раз во время сессии, когда сдавал ему экзамен. Сергей знал и любил историю, а готовясь к встрече с Милявским, прошелся не только по конспекту, а поднял дополнительную литературу. Что он хотел этим доказать Милявскому, Сергей и сейчас толком не смог бы объяснить, но пришел он в кабинет к нему одним из первых, и пока однокурсники млели под дверью в ожидании первых оценок, он взял со стола билет, пробежал его от начала до конца и, не садясь за стол, попросил разрешения отвечать.

Милявский снял пенсне, удивленно посмотрел на Сергея и попросил:— Дайте, пожалуйста, вашу зачетку.

Кто знает, что сказал бы он, если бы не увидел в книжке высокие оценки, а увидев, положил книжку перед собой на стол:

— Ну что ж, пожалуйста, товарищ Петрович.

Это «товарищ Петрович» было произнесено с оттенком иронии, и это еще больше подстегнуло Сергея. «Хорошо же, — подумал Сергей, — сейчас я тебе выдам».

Ответы его были безукоризненными. Он помнил не только годы и месяцы, но и дни, когда происходили события, привлекал дополнительный материал из исторических справочников и из художественной литературы.

Милявскому Петрович понравился. Он встал из-за стола, начал ходить по кабинету, не перебивая Сергея, увлекшись его ответом, а раза два и сам включался в рассказ. Наконец он взял зачетную книжку и, чтобы слышали все, кто сидел за столами и готовился к ответам, сказал:

— Ну, голубчик, спасибо. Если бы я имел в своем распоряжении более высокие оценки, чем отлично, я поставил бы вам. Превосходно. Знаете, это предметный урок некоторым вашим коллегам по курсу, ну, еще раз спасибо.

Удивительное дело. Сергей вышел из аудитории, его окружили, тормозили за рукав, спрашивали, поздравляли, а он думал о том, что ничего плохого Милявскому не сделал, наоборот, доставил удовольствие своим ответом, и все это получилось как-то глупо. Надо было делать все не так. Не готовиться вовсе или подготовиться и доказать на экзамене, что Милявский историк поверхностный, что его лекции для студентов никуда не годятся. Но, к сожалению, Сергей не мог этого сделать по той простой причине, что его лекции посещались всегда с большим интересом, и Сергей мог только дополнить свой конспект, но не более. Сергей был недоволен собой, а Милявский с тех пор запомнил его. Вот и сейчас на лестничной площадке Милявский был очень любезен и настойчив. Видно было, что он хочет побыть с Сергеем наедине.

— Ладно, — сказал Сергей. — Это мне как раз по пути домой.

— Великолепно, голубчик.

Лучше бы Милявский не произносил это свое любимое «голубчик». И так он своей причастностью к Вере был ненавистен Сергею, а это «голубчик» просто выводило его из себя. Скрепя сердце, Сергей поплелся за стройным Милявским в исторический кабинет. Пока Милявский подбирал карты, Сергей хмуро рассматривал экспонаты студенческого археологического кружка, разложенные под стеклом. Милявский раза два посмотрел на Сергея, потом спросил:

— У вас что-нибудь случилось, Петрович?

— Нет, ничего...

— Я бы на вашем месте ходил гоголем, — сказал, улыбаясь, Милявский. — Один из лучших наших студентов. Недавно слышал, говорили в профессорской о вашем реферате по Пушкину. Больше того, могу выдать в некотором роде тайну: руководство института на вас имеет виды. Я бы с удовольствием оставил вас на кафедре истории.

— Я в школу хочу... — хмуро бросил Сергей. И, чтобы не показаться слишком грубым, добавил: — У меня отец всю жизнь проработал в школе. Видно, наследственное...

— Просто вы еще слишком молоды и романтичны. — Милявский сел прямо на край стола и сказал Сергею: — Курите, если хотите, я разрешаю... Школа, голубчик, это, так сказать, черновик, работа во многом неблагодарная, сопряженная с колоссальным напряжением духовных и физических сил.

— Я знаю. — Сергей достал папиросу, закурил.

— Нет, вы этого еще не знаете.

— Я вырос в семье учителя... — раздраженно сказал Сергей.

— А вы спокойнее, Петрович, учитеесь вести полемику с горячей головой и холодным сердцем. Это очень важно для вас как для будущего научного работника.

Милявский разоружал Сергея, и он вынужден был сдерживать себя, чтобы вести разговор, иначе все выглядело бы беспредметной, беспричинной грубостью, которую невозможно было объяснить. Тут он вспомнил чьи-то слова, которые любил повторять отец, слова о том, что эмоция в споре — плохой советчик, и взял себя в руки.

— Извините, — сказал Сергей. — Но, по-моему, самое главное происходит в школе. Это — открытие человека... И учитель самый непосредственный участник такого важного дела.

— Вы возлагаете на школу несвойственную ей миссию. Какое может произойти открытие, если до десятого класса ребят надо водить за ручку. Указующий перст учителя необходим на каждом шагу.

— И тем не менее, — возразил Сергей, — именно в школе проявляются наклонности, которые становятся впоследствии призванием всей жизни.

— Нет, нет, голубчик, не возражайте. Наклонности, о которых вы говорите, проявляются в студенческом возрасте, когда молодой человек может оценить значимость дела, которому он решает посвятить всю свою жизнь.

Сергей, которому поначалу очень хотелось поспорить с Милявским, вдруг ощутил равнодушие к разговору. Судя по всему, Милявского не так просто было в чем-нибудь убедить. Сергей, в свою очередь, был твердо убежден в правоте, и Милявский никак не смог бы сбить его с позиции. Увидев, что Милявский собрал необходимые карты, схемы и диаграммы, Сергей подошел и попросил разрешения нести все это в Дом учителя.

Милявский воспринял этот жест как нежелание продолжать разговор.

— Вы считаете, спора не состоится? — спросил Милявский и положил руку на карты, давая понять, что идти еще рано.

— Спор состоится, но не разрешится, Ростислав Иванович, — твердо сказал Сергей. — Каждый из нас имеет свою собственную точку зрения.

— Нет, нет, вы действительно не понимаете элементарных вещей. Помните слова мудрого Сократа — в спорах рождается истина. Кто уходит от спора, тот уходит от истины. Не так ли?

— Допустим, — спокойно сказал Сергей.

— Я вижу, что вы просто не хотите спорить. Дело хозяйское. Я доказал бы вам свою правоту на собственном примере, но молодежь ведь не интересуется опытом старших. Им кажется, что они первыми все познают, что их опыт не опирается на опыт старших, что им вообще без старших было бы вольготней на земле.

— Зачем же? — скупой улыбнулся Сергей. — От накопленного опыта старших поколений никуда не уйдешь.

— Вот вы и попались, — засмеялся Милявский. — Придется вам познакомиться со мной поближе.

— Буду рад, — искренне признался Сергей.

— Честное слово? — не поверил Милявский.

— Правда, — подтвердил Сергей. — Я бы вообще вывешивал в вестибюле института краткие биографические сведения о каждом преподавателе.

— Иронизируете?

— Нет, серьезно. Это всегда интересно и важно для студента, который, как и ученик, в полюбившемся преподавателе видит предмет для подражания.

— Мы начали спор со школы, — сказал Милявский. — Так вот именно в школе я считал, что буду военным. И эта мечта имела под собой реальную почву. Отец мой был офицером царской армии, а затем военспецом в гражданскую. Я вырос в семье, где военная выправка, физическая подготовка всегда считались отменными качествами мужчины, и я подражал во всем отцу, мечтая о том времени, когда пойду в училище и надену военную форму.

— А вам она была бы к лицу, — заметил Сергей.

— Вы думаете? — усмехнулся Милявский.

— Уверен, — сказал Сергей и тоже усмехнулся. — Мы ведь, когда впервые увидели вас в актовом зале, решили, что вы бывший военный.

— Многие так считают и ошибаются. — Милявский слез со стола, подошел, стал рядом с Сергеем. — Вот вы говорите об открытии человека. Я открыл его в себе будучи курсантом военного училища. Меня поначалу увлекла история, потом историческая наука. Я и слышать не хотел о какой-то строевой подготовке. Я считал, что это беспощадная трата времени, не приносящая никому никакой пользы. Я отвергал боевую подготовку, материальную часть оружия и многое другое и, по собственному желанию, был отчислен из училища. Я с удовольствием расстался с военной формой, о которой мечтал в детстве, и отдался науке со всей страстью, на которую был способен.

Видя, что разговор затягивается, Сергей вынул еще одну папироску и, чтобы не надымить в кабинете, открыл окно. По Ленинской шли красноармейцы, чеканя шаг под звонкий и бодрый марш военного оркестра.

— Слышите? — спросил Сергей. — Что ни говорите, есть в этом что-то такое... Единый шаг, единое дыхание, прямо-таки монолит. — Сергей зажегся. — Нет, Ростислав Иванович, в армии — неодолимая сила коллектива видна лучше, чем где-нибудь. Вот даже мы на военных занятиях и то выглядим какими-то иными, подтянутыми, дружными, а заноем «Дальневосточная, опора прочная», так нам и море по колено.

Милявский засмеялся. И только теперь Сергей заметил, что смех у него был какой-то нарочитый, неискренний, не тот смех, который идет от души.

— Армия — это механизм, голубчик. А воин — это винтик механизма... — Потом помолчал немного, взял со стола карты, передал Сергею: — А знаете, неприятно ощущать себя винтиком... Каждый из нас индивидуум, мыслящий, творящий, и вдруг — винтик... Нет, это не для меня. Пойдем... опора прочная... — почему-то добавил он и опять засмеялся.

Всю дорогу до Дома учителя Сергей шел молча. Раздражение, вызванное Милявским, возрастало, наплывало горячей волной, бросалось в щеки. Сергей нес карты и проклинал себя за то, что согласился на эту постыдную роль. Вот несет он за стройным холемым Милявским сверток. А тот на людях даже не удостоивает Сергея взглядом. Не хочется быть винтиком... А если этот винтик необходим, без него механизм не работает. У Дома учителя Сергей хотел было отдать карты и идти домой, но Милявский даже удивился:

— Петрович, неужели вы не знаете, что начатое надо доводить до конца?

Сергей сдержался, чтобы не послать Милявского ко всем чертям, и поднялся за ним по мраморной лестнице на второй этаж. И вдруг ему пришла в голову отчаянная мысль — поговорить с Милявским о Вере. Раздражение сменилось любопытством, и Сергей охотно помог Милявскому развесить карты.

В зале и фойе еще никого не было. Милявский предложил Сергею зайти в буфет. Он подошел к стойке, попросил две кружки пива.

Буфетчица налила. Он подвинул кружки Сергею и кивнул на ближайший столик. Сергей не успел сесть, как Милявский торжественно водрузил рядом с кружками четвертушку водки.

Сергей удивленно поднял брови.

— Брезгуете? — спросил с усмешкой Милявский.

— Не употребляю.

— Жаль, — притворно вздохнул Милявский, — думал, составите компанию. — Он ловким движением открыл пробку, отпил немного пива, раскрутил бутылку в руках и вылил содержимое в кружку.

Сергей опешил. Такого он еще никогда не видел. Видел, как водку запивают пивом, как смешивают пиво с каплей водки в стакане, но смешать целую кружку...

Милявский выпил одним духом, крякнул и вытер губы надушенным платочком:

— Вот вам опыт старшего поколения. Божественный напиток...

— А как же после этого лекция? — испуганно спросил Сергей.

— Только после этого и получится настоящая лекция.

Говорить с Милявским расхотелось, Сергей поблагодарил за пиво и встал. Милявский взял его под руку и повел в комнату за сценой.

— Слушайте, Петрович, — доверительно заговорил он. — Вы меня осуждаете?

— Каждый выпивает как хочет.

— Да я не об этом... — махнул рукой Милявский. — У всего института я сейчас на языке... Каждому хочется осудить и пнуть меня. А какое ваше дело, я спрашиваю? — Милявский порозовел, говорил несколько возбужденно, но не пьянел. — Это, в конце концов, мое личное, мое интимное, а каждый стремится порыться в нем собственными руками. Вот вы, Петрович, признайтесь — вы ведь тоже помыли мои косточки. Я вижу, каким волчонком вы иногда смотрите в мою сторону.

Сергей молчал. Он чувствовал, что если заговорит, то не сумеет сдержаться и выскажет Милявскому все, что думает о нем, включая и впечатления сегодняшнего дня.

— Молчите? — не мог уже остановиться Милявский. — Не хотите обижать своего преподавателя или просто не хватает мужества сказать ему правду? А вы говорите, я не обижусь, потому что правда на моей стороне, а все, кто хочет бросить на меня и на Веру тень, — просто ханжи и лицемеры.

— Скажите, Ростислав Иванович, — спросил Сергей. — Она любит вас?

Наступило молчание. Сергей достал папиросу, дрожащими пальцами зажег спичку, а Милявский все не отвечал.

— Петрович, голубчик, вы задали весьма щекотливый вопрос. Отвечу вам — не знаю. Понимаете, не знаю. Иногда мне кажется, что ей со мной интересно, я пожил на свете, я многое видел, многое знаю. А она отличный слушатель. Редко встречал я таких внимательных, чутких и понимающих слушателей... А иногда мне кажется, что она чуждается меня, а иногда просто ненавидит. Вот такие дела...

Сергей хотел спросить — почему же тогда по институту ползут самые нелепые слухи, почему жена Милявского в панике мечется по городу, если сам Ростислав Иванович не знает, как относится к нему Вера, если между ними, судя по разговору, ничего серьезного нет. Сергею

хотелось спросить, почему Вера терпит все эти разговоры, почему она не бунтует, не восстает против, но радость, неожиданно родившаяся во время признания Милявского, завладела Сергеем. Он ждал любого предлога, чтобы прервать беседу и уйти. Уйти, чтобы остаться одному и подумать обо всем как следует.

— Да вы не слушаете меня... — бросил с укором Милявский, а Сергей улыбнулся.

— Я отлично вас слышу, Ростислав Иванович...

— Ладно, идите домой, — проворчал Милявский, — я вижу, вы в этих проблемах еще человек темный.

— К сожалению, — весело улыбнулся Сергей. — Но ничего, мы используем со временем опыт старшего поколения... — Он почти бегом спустился по мраморной лестнице вниз, выскочил на улицу и влился в людской поток...

Дня через три Сергей уже вертелся в толчее ребят, с которыми уезжал в пионерский лагерь в Салтановку. Этот отъезд напомнил ему его пионерское детство, лагерь начала 30-х годов, ютившийся то в колхозном гумне, то в сельской маленькой и тесной школе. И все равно шуму и веселья было не меньше, не меньше ребячьей радости и материнских слез. Ох, уж эти матери! И чего им не хватает? Поздно пришел — плачут, не пишешь писем — плачут, уезжаешь на каких-нибудь двадцать дней — тоже плачут.

В кузова грузовиков на длинные тесные доски уселись наконец ребята. Матери стоят на тротуаре и, как по команде, вынимают носовые платочки. Звучит сигнал к отправлению. Шофер пригласил Сергея сесть рядом с собой в кабину. Но Сергей ловко вскакивает в кузов в самую гущу галдящей детворы — так будет спокойнее в дороге.

Позади, где-то машины через две, едет с ребятами Вера. Большеглазая, стройная, в своем спортивном костюме, она тоже кажется школьницей. Единственное отличие — к ней, как цыплята к наседке, льнут младшие ребята, которых она взяла на свое попечение.

В суматохе сборов Сергей с Верой почти не разговаривали. Обменивались незначительными репликами о машинах, о пункте и времени сбора. Но после встречи с Милявским что-то перевернулось в душе Сергея. Не было еще доверия к ней, но не было и неприязни. Хотелось поскорее понять, что двигало ее поступками, чем объяснить ее симпатии и антипатии, чем руководствуется она в оценке людей и событий. Вот, к примеру, тот парень, с которым она была в кино. Кто он, как очутился рядом с ней, почему именно его она избрала себе в попутчики в тот вечер. Или этот Милявский. Если ей было легко перейти от одних встреч к другим, значит, с тем парнем ничего серьезного тоже не было?

Ребята затянули песню о пионерской картошке, а Сергей как будто не слышал ее, не видел живых ребячьих глаз. Перед ним стояли большие, иногда задумчивые, иногда насмешливые глаза Веры. От этой сладкой тревоги тоже хотелось петь и кричать на весь земной шар, потому что жить было чертовски интересно и радостно.

После обеда ребят разбивали на отряды. И опять Сергей с Верой не обмолвились бы словом ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра, если бы не случай в столовой.

В тот день отряд Веры дежурил по кухне. Сергей был дежурным по лагерю и пришел снимать пробу. Несколько мальчиков и девочек разносили по столам нарезанный ломтями хлеб и компот в небольших граненых стаканах. Одна из девочек, тоненькая и слабая, держала на подносе стаканы, поставленные в два этажа. Мальчик проводил ее удивленными глазами, а потом, когда девочка проходила мимо, спросил:

— Тебе не тяжело?

Девочка не ответила. Казалось, она не обратила никакого внимания на вопрос мальчика. Мальчик повторил свой вопрос и взял девочку за рукав. Она повернулась и посмотрела на него. В глазах у нее был немой вопрос. — Ты почему не отвечаешь? Девочка виновато улыбнулась.

— Ты что-нибудь говорил? — каким-то глухим голосом произнесла она.

— Говорил.

— Я не слышала...

— Увлеклась рекордом? — мальчик кивнул на поднос с компотом.

— Нет, — тихо сказала девочка. — Я глухая.

— Ты шутишь? — недоверчиво посмотрел на девочку мальчик.

— Нет. Серьезно.

Подошли заинтересованные разговором ребята. Подошел и Сергей.

— Глухая? — еще раз спросил смущенный мальчик.

— Да... — ответила девочка, и глаза ее потемнели, словно затянулись туманом.

— Совсем-совсем?

— Совсем, — ответила девочка, чуть не плача. Она растерялась. Но тут с кухни в белом переднике вышла Вера. Она сразу поняла, в чем дело, и пришла на помощь девочке. Она положила ей руку на плечо и сказала ребятам и удивленному Сергею:

— Это моя сестра. Она учится в школе-интернате для глухих детей. С ней надо говорить так, чтобы она видела лицо и читала по губам то, что ей говорят. Так что простите, ребята...

Только теперь Сергей заметил, что девочка была очень похожа на Веру. Она быстро выскользнула из-под рук сестры и убежала на кухню, весело позванивая подносом.

— Ей тяжело? — спросил Сергей.

— Нелегко, — сказала Вера. — Но теперь уже совсем другое дело. А когда она была маленькая — она не понимала нас, а мы ее. Сидим с мамой и ревим. И она ревет. Вот такая веселая картина...

Чувство жалости к девочке охватило Сергея. И почему-то стало жаль Веру. Сергей не знал, как выразить свое сочувствие, и сказал:

— А зачем ты ее назначаешь дежурить? Пусть бы отдыхала в лесу.

— Ох ты, педагог, — вздохнула Вера. — Ребенок не должен даже замечать, что ему сочувствуют, что его жалеют. У него не должна появляться мысль о своей неполноценности. Как все — учись, как все — работай, будь, как все. В этом сейчас главное.

— Это жестоко, — сказал Сергей и сел за стол.

— Сейчас принесу обед, — сказала Вера,

Из кухни снова появилась сестренка Веры. Худенькая, гибкая, она держала на тоненьких длинных ручках поднос, на котором стояли стаканы с компотом, и было странно, что столько посуды удерживают эти два гибких прутика. Девочка поставила поднос на край стола и почти бегом стала разносить стаканы. Сергей пристально наблюдал за ней и думал о том, что вот живет на свете глухая девочка и внешне ничем не отличается от своих подруг, но как беден ее беззвучный мир. Ни музыка, ни песни, ни щебет птиц, ни журчание ручья — ничто недоступно ей. И, может быть, сейчас, маленькая, она не понимает этого, а пройдет время, и физический недостаток обернется жизненной трагедией...

Сергей так задумался, что не заметил, как перед ним выросла девочка с подносом. Она молча поставила перед ним тарелку с первым, вторым и стакан компота. Сергей внимательно посмотрел на девочку, и она ответила ему таким же внимательным продолжительным взглядом, словно ждала, что скажет ей Сергей. От напряжения на ее переносице, между тонкими черными дужками бровей, собрались складочки.

— Спасибо, — сказал Сергей и улыбнулся. Девочка молча кивнула и тоже улыбнулась какой-то виноватой слабой улыбкой.

— Как тебя зовут? — спросил Сергей.

Девочка еще больше наморщила лоб, стараясь понять, о чем спрашивают ее. И тогда Сергей повторил почти по слогам:

— Как тебя зовут?

— Оля... — улыбнулась девочка, и морщинки ее разгладились.

— Почему не пришла Вера? — спросил Сергей.

— Она на кухне. Много работы... — Девочка повернулась и побежала, позванивая подносом...

После вечерней линейки Сергей и Вера встретились в кабинете начальника лагеря и подробно рассказали об итогах дежурства. Когда вышли, лагерь уже спал. — Может, пройдемся? — предложил Сергей.

— Не откажусь, — неожиданно согласилась Вера. Они вышли на Бобруйское шоссе и медленно побрели по обочине. От нагретого за день асфальта дышало теплом, мягкий смолистый запах шел от леса, стоящего стеной вдоль дороги, а впереди шумела небольшая

речушка. Не сговариваясь Сергей и Вера, словно на зов, пошли на этот шум.

Взошли на мостик, остановились. Вера облокотилась на толстые бревенчатые перила и стала смотреть вниз, где, поблескивая под звездным небом, вода разбивалась о сваи деревянного мостика. Сергей подошел, стал рядом с Верой, почти касаясь ее плеча, и молча слушал говор воды.

Странно началась эта прогулка. Много времени прошло с того злополучного вечера, с того свидания в больнице, много событий, больших и маленьких, легло между ними, и было так хорошо молчать и думать.

Вера оторвалась от перил и пошла вверх по шоссе, где на холме белела небольшая часовенка — памятник войны 1812 года. Когда подошли поближе, Вера попросила:

— Давай прочитаем хоть строчку. Сергей чиркнул спичкой, прочитал:

— 172 гренадерский полк...

Возле часовни стояла скамейка. Днем здесь останавливался пригородный автобус. Вера села на скамью. Прошла машина, осветила фарами лес, речушку, дорогу и с грохотом промчалась мимо.

— Боже мой, как это все недавно было... Тут умирали гренадеры... А мы ходим по этой земле, и под нашими ногами кровь...

— Конечно, недавно, — сказал с легкой иронией Сергей. — Всего 127 лет тому назад.

— А что такое 127 лет? — спросила Вера. — Две маленьких человеческих жизни, и все. А мы говорим уже — в далеком 1812 году. Все близко, так близко, что даже мороз по коже... — Вера вся как-то подобралась, съежилась, и Сергей не удержался, снял пиджак и набросил ей на плечи.

И опять молчали и думали. У Сергея не выходила из головы сегодняшняя встреча с сестренкой Веры, и ему хотелось узнать о Вере как можно больше.

— Сегодня удивительный вечер... — тихо сказала Вера. — Просто удивительный. И я тебе благодарна за многое и прежде всего — за молчание. Ты знаешь, как это здорово, что ты молчишь!...

Сергею показалось, что в последних словах Веры таится ее любимая насмешливость, и он поторопился извиниться.

— Мне так много хочется сказать тебе. Но я не знаю...

— И хорошо, что не знаешь, и хорошо, что молчишь... Тише, ты слышишь, как растет трава на земле, политой кровью гренадеров?

— Нет, не слышу.

— А ты прислушайся. Не дыши так громко... Слышишь? Говорят, деревья и травы растут ночью.

— Может быть, — неопределенно произнес Сергей.

И опять наступило молчание. Сергей достал из кармана пиджака папиросы и спички и закурил. Вера отодвинулась на скамье подальше:

— Удивительное дело. Такой вечер, такой воздух... Нет, его надо испортить табачным дымом.

Сергей затаился раз, другой и потом плюнул на окурочек и бросил в сторону. И снова наступило молчание. Сергей не знал, как продолжать разговор, если Вера считает за самое лучшее молчать и даже где-то благодарна ему за молчание. И вместе с тем в голове роилось столько вопросов, на которые хотелось услышать ответ. И Сергей решил:

— Кроме Оли, у тебя дома никого нет?

— И есть, и нету.

— Как это понимать?

— Видишь ли, — вздохнула Вера, — дома у меня мои старики. Но отец вот уже пять лет лежит парализованный, а мама — сердечница... Но кому-то надо за отцом смотреть. Вот и считай, как хочешь.

Сергей замолчал. Сегодня за один день он узнал о Вере больше, чем за год совместной учебы. И был обескуражен и удивлен тем, что услышал. Ему и в голову не приходило, что Вера живет такой трудной жизнью. Как она могла сохранить эту гордость свою и независимость в условиях тяжелой болезни отца и неизлечимого недуга сестренки. Он помнит, как дома

случилось несчастье, и его отец вынужден был месяц проваляться в больнице. Это было тяжело и для Сергея, и для матери, и, наверно, труднее всего для самого Александра Степановича, который не мог прожить без школы ни одного дня. Сергею было не до расспросов. Молча положил он руку на спинку скамейки, слегка касаясь Вериних плеч, и такая жалость захлестнула его, что захотелось обнять, успокоить ее, ободрить, хотя она и виду не показывала, что нуждается в этом. Сергей осмелился и будто невзначай положил ей на плечо руку.

Вера спокойно и строго сказала:

— Убери.

— Почему?

— Она мне мешает.

«Другие руки тебе не мешали...» — мысленно вспыхнул Сергей, но Вера опередила его:

— Ты не думай, что я обнимаюсь направо и налево. Я этого не люблю. Мне противны эти лапанья до глубины души. И я хочу, чтобы ты не был такой, как все, не приставал... Я хочу помириться с тобой. Знаю — и ты и твоя мама обижены на меня за того парня, о котором я ничего не сказала в милиции... Это Оленькин воспитатель из школы глухих. Он зашел к нам вечером, пригласил меня в кино, и только в зале я почувствовала, что парень немножко хватил для храбрости. Я пыталась поскорее спровадить его, но он увязался до самого дома,

— Я слышал... — Ты следил?

— Я не знаю, как это назвать, но, когда я увидел вас вместе, меня как веревочкой потянуло вслед. Я все боялся, что тебя могут обидеть.

— Ты плохо меня знаешь, — усмехнулась Вера.

— Конечно, плохо, — согласился Сергей. — Прослушали вместе каких-нибудь две-три лекции Милявского...

При упоминании Милявского Вера на некоторое время замолчала, раздумывая.

— Ты плюнь на эти разговоры. И на все эти слухи плюнь. У нас ведь любят вырастить из мухи такое животное, как слон.

— Но ты встречалась с Милявским?

— Ну и что? Раза два были в кино, потом в театре. А потом, знаешь... Мама в это дело вмешалась... Я думала — она будет отчитывать меня, а мама бросилась в слезы — пропадет, дескать, твоя молодость с нами, хворыми, сходишь ты с этим ученым — поживешь как человек. Столько она слез пролила, что я начала думать — а может, она права? В эти дни и пошли слухи, что Милявский бросает свою семью, а я как-то увидела его двух девочек и решила — ни за что я на это не пойду. Почему-то припомнилась «Бесприданница» Островского. Седая старина. А я на двадцать втором году Советской власти собралась делать то же самое? Нет, мамочка, прости. Наплевать мне на эти звания, на положение и зарплату. Я должна человека любить. А если нет этой самой любви, так лучше одной... — Вера помолчала и вздохнула: — Видишь, какую речь произнесла. Чтобы ты лишнего не думал... И если тебя устраивает наша дружба — давай руку.

Сергей подал руку Вере и ощутил крепкое пожатие.

— Пойдем. Хватятся — будут искать.

Они шли по шоссе, С речки тянуло прохладой. Вера прислонилась к Сергею плечом, и он бережно взял ее под руку.

Стояла необыкновенная тишина. Лес темнел ровной грядой, журчала между сваями река, где-то посвистывали, устраиваясь на ночь, птицы.

Звезды стали ярче и крупнее, и асфальт темнел, как ровная черная река.

Когда подошли к лагерю, Вера неожиданно сказала:

— Ты понравился Оле. А я прислушиваюсь к ее мнению.

— Она ведь ребенок, может и ошибиться, — улыбнулся Сергей.

— У этих ребят очень зоркий глаз, и они обычно не ошибаются. Скажи спасибо, что ты встретился с Олей.

— Спасибо, — сказал Сергей и весело засмеялся.

Во время летних каникул у Федора всегда находилась работа в деревне. То он ездил подручным на комбайне, то косил, то помогал у молотилки. В это лето он решил стать шофером полуторки. Если бы у него спросили, зачем он это делает, он, наверное, не ответил бы. Просто ему было хорошо у себя дома, он любил горячие знойные дни лета, когда жизнь из села перемещалась в поле, где до позднего вечера трещали моторы и звенели песни. Особенно он любил песни, которые пели девчата по ночам. Были эти песни какие-то особенные, тихие и протяжные, и Федору казалось, что нет на свете ничего прекраснее этих сельских летних ночей и до боли родной деревни.

Иногда над ним подшучивали:

— Тебе бы не на учителя, а на бригадира учиться.

Федор считал, что одно другому не мешает.

Ранним утром он был в колхозном гараже. Это было единственное кирпичное здание в деревне, рассчитанное на пять машин и небольшую мастерскую. Заведующий гаражом, первый тракторист в колхозе, Кирилл Григорьевич встретил Федора с усмешкой:

— Овладеваешь? Это похвально и, вместе с тем, знаешь, не совсем. Вот ты прыгаешь, как кузнечик, с одного на другое. А любовь у тебя к чему? Есть ли у тебя любовь к технике? Тут без любви никак... Вот, к примеру, посажу я тебя стажером к Николаю, а ты прокатаешься лето без толку... А мне шофера нужны. Купим новые машины, а людей нет...

Федор терпеливо слушал ворчливого завгара и почему-то вспомнил, как тот в первые дни колхозной пахоты пригнал из Могилева единственный трактор. Как они, мальчишки, бежали следом, с удовольствием вдыхая теплый запах машины, стремясь перекричать оглушительный стук мотора. А за рулем сидел с гордым видом бывший слесарь петроградских авторемонтных мастерских, их односельчанин Кирилл с развевающейся под весенним ветром седой шевелюрой и трепещущим красным знаменем, которое прикрепил он к тракторной трубе перед выездом в поле.

— Обещаю, что не прокатаюсь зря, — успокоил Кирилла Григорьевича Федор. — Мне самому права нужны будут до зарезу.

— Это зачем? — с любопытством спросил завгар.

— Так сразу и сказать? — улыбнулся Федор.

— Так сразу и скажи.

— Хочу собственную легковушку собрать. Буду жить в деревне, а если, например, в театр или еще куда захочу, — завел машину, и пожалуйста.

Кирилл Григорьевич громко расхохотался:

— Ты что, американец какой? Собственный автомобиль захотел? А еще будущий советский учитель. И чему вас там учат?

— Не смейтесь, дядька Кирилл, — серьезно сказал Федор. — Собственный мотоцикл можно купить? Можно. А придет время — и машины купим. Американцы ездят, а мы что — косые?

— Нет у тебя пролетарской косточки, — заметил завгар. — Поэтому так и рассуждаешь. Ну, ладно. Это со временем пройдет. Давай к Николаю. Скажи — по моему распоряжению стажером.

Николая Федор хорошо знал. Это был долговязый молодой парень с маленькой детской головкой. По этому поводу односельчане часто злословили. Один из них приехал как-то из Могилева, рассказывал, будто на его глазах с Николаем произошел такой казус.

Стояли они за прилавком магазина. Ждали своей очереди. Продавщица как-то подозрительно посмотрела на Николая раз, потом другой, а на третий не выдержала и приказала, возмущенная:

— Мальчик, слезь с прилавка!

Все удивленно обернулись. Никакого мальчика на прилавке не было, лишь над прилавком возвышалась маленькая ребячья голова Николая.

Федор нашел Николая в боксе, под машиной. Узнав, в чем дело, Николай высунул голову из ямы и улыбнулся:

— Слухай, это здорово! Давай-ка сразу за дело. Прошприцуй рулевые тяги.

Федор глянул на свою белую косоворотку:

— Я, пожалуй, переоденусь...

— Эх, ты, — упрекнул его Николай, — прежде всего за тряпочки трясешься? Ладно. Дам тебе спецовку. Я ею еще не пользовался.

Вначале шприц не слушался Федора. Он неплотно прижимал его к масленкам, и нагнетаемый солидол кусками стекал со шприца. В яме было тесно и грязно, над головой висел замасленный двигатель, а Николай сидел наверху, на старой крышке, курил и инструктировал:

— Слухай, ты шприц нажимай на масленку до щелчка. Когда щелкнет, значит, можно гнать солидол. Бывает, что масленка забита грязью. Надо взять ключ, повернуть масленку или заменить ее. Понял?. Потом возили с железнодорожной станции минеральные удобрения.

В кабине было душно, пахло бензином и гарью, а рядом сидел Николай и ворчал:

— Это твой батька только может, месяца два как отсеялись, а он заготовкой занимается на будущую весну. Ну и пробивной, беда.

В первый день на полуторке Федору не понравилось. В поле под свежим ветром было куда приятнее, но отступать не хотелось — острый на язык Кирилл разнесет на всю деревню, а притом Федор действительно хотел овладеть машиной — не боги ведь горшки лепят. Вон в прошлом году он сдал на права мотоциклиста и даже принял участие в первомайской демонстрации. Сзади к багажнику приделали подставку, на которую поднялась заядлая гимнастка института, и он проехал мимо трибуны возле драматического театра под аплодисменты. Он не видел, какую там за его спиной гимнастка делала фигуру, но рассказывают, что это было красиво, а его похвалили за отличное управление мотоциклом.

Было еще несколько поездок с Николаем, и чаще всего Федору приходилось или загружать или разгружать машину. Наконец Федор не выдержал:

— Я у тебя грузчик или стажер?

— Слухай, Федя, — пытался его успокоить Николай. — Вот перед уборкой станем на профилактику, тогда и начнем.

— После уборки в институт надо будет.

— Ну, ладно, семь бед, один ответ...

Они выехали на проселочную дорогу и стали в стороне.

— Ну, видишь вот эту педаль? Это педаль сцепления. Вот это педаль тормоза, а это вот акселератор — это значит педаль газа.

— Это я давно знаю.

— А если знаешь, садись за баранку. Ты ж мотоцикл водишь, а принцип у этих машин один. Ну, давай.

Федор сел за руль, осмотрелся.

Мотор работал. Федор выжал педаль сцепления, включил первую передачу и плавно отпустил педаль сцепления. Мотор застонал, и машина тронулась с места,

Федор вырулил на дорогу и поехал.

— Давай вторую! — крикнул Николай,

Федор выжал педаль сцепления и включил вторую передачу. Машина пошла быстрее. — Давай третью! — крикнул Николай.

Федор включил и третью, и четвертую. Машина бежала по проселку, поднимая столбы пыли. Николай смотрел вперед и весело смеялся.

— Слухай, Федя! — орал он ему в ухо. — Ты ж здорово водишь! Ну просто здорово. Я все боялся дать тебе баранку. Вон там остановись, дадим задний ход, развернемся и обратно...

Федор и сам был удивлен тому, что поехал сразу, без всякого. Сказалась езда на мотоцикле и то, что он внимательно следил за длинными ногами и руками Николая. От него не ускользало малейшее его движение, и он был готов к тому, чтобы вести машину самостоятельно.

В уборочную страду работали на равных. Николай был доволен своим стажером и успехи его каждый раз старался взять на свой счет.

— Видели, какого шофера я дал колхозу, а вы говорите — мальчик с прилавка... Будь здоров!

Эlevator находился на железнодорожной станции. Дорогу к нему Федор знал назубок — изучил, где какая рытвина, где какой подъем. Пока стоял под разгрузкой — смотрел на проходящие поезда. Они проносились с грохотом, как незнакомые миры, и Федору всегда хотелось узнать, какая жизнь течет за вагонными окнами, куда и зачем мчатся беспокойные поезда, когда совсем неплохо можно жить и работать на одном месте.

Был конец августа. Близилась к концу его работа в колхозе. Схлынул с полей поток машин, и очередь на эlevator сразу уменьшилась.

Федор выгрузил зерно и решил заскочить на станцию за куревом. Он оставил на стоянке свою полуторку и вышел на перрон. Издали раздался гудок паровоза — приближался пассажирский. Федор по привычке решил проводить и этот поезд. Он купил пачку «Беломора», закурил и неторопливо пошел по перрону.

Поезд с грохотом ворвался на станцию. Ветер и пыль обдали Федора, и вместе с ветром пришел запах нагретого под солнцем металла. Скрипнули тормоза, раздался свисток главного кондуктора, и вагоны тронулись. Поезд стоял тут всего одну минуту.

Федор остановился. Мимо проплывали вагонные окна, Кого он только не видел за те две-три минуты, которые поезд шел мимо перрона. И старика в очках, читающего за столиком газету, и серьезного, даже чем-то недовольного мужчину, который, высунувшись в окно, курил и возмущенно сплевывал, и девушку с парнем, занятых своим разговором, и малыша, прильнувшего к стеклу так, что носик его сплюснулся.

Федор улыбнулся и только хотел завернуть в калитку, как увидел на перроне знакомую фигуру. Женщина только что сошла с поезда, потому что у ног ее стоял довольно большой чемодан. На руках она держала ребенка и маленькую дамскую сумочку.

Федора бросило в жар. Он не мог не узнать эту молодую женщину, он заметил бы ее среди тысячи тысяч. Это была Катя.

Федор хотел немедленно уйти, уехать, не видеть ее с малышом на руках. Потом передумал. «Ну и что же, — спокойно сказал он самому себе. — Это жизнь, и от этого никуда не денешься. Она молодая мать, она, наверное, счастлива. Не будь хамом, подели с ней это человеческое счастье или хотя бы отвези Катю домой. Странно, что никто не встретил ее у этого поезда».

Федор пошел навстречу Кате. Она тоже сразу узнала его. Глаза ее на мгновение зажглись, в углах губ промелькнула слабая улыбка и тут же пропала.

— Здравствуй, Катя, — сдерживая бешеный стук сердца, глухо сказал Федор. — С приездом.

— Спасибо, Федя. Так получилось, что я даже телеграмму не послала. Мама бы, конечно, встретила.

— Ладно. Давай твой чемодан и поедem. Я здесь на машине.

— Спасибо, Федя, — без особой радости произнесла Катя и пошла вслед за Федором. Заплакал ребенок. Катя остановилась, развернула одеяльце, поправила простынку, покачала ребенка на руках, и тот успокоился.

Федор ждал. Он поставил чемодан на землю и смотрел на Катю. Кажется, она совершенно не изменилась. Такая же, как была в школе. Может быть, только прическа иная. Волосы гладко зачесаны, собраны на затылке в узелок. И глаза стали другими. Нет в них веселых чертиков, грустные у Кати глаза. И как будто недовольно она тем, что приехала в родные места. Нет, что-то изменилось в Кате. Федор еще не мог сказать, что именно, но перед ним была какая-то другая, серьезная и чем-то встревоженная Катя.

Подошли к машине. Федор стал на подножку, положил чемодан в кузов, открыл кабину:

— Садись.

Катя снова как-то равнодушно поблагодарила, села в кабину, осторожно положила на колени ребенка и захлопнула дверцу. Она даже не удивилась, что машину поведет Федор, как будто знала давным-давно, что так вот произойдет их встреча после долгой разлуки.

Федор вел машину осторожно. Он боялся потревожить малыша и, если признаться откровенно, хотел показать свое мастерство. Но Катю и это не трогало. Она безучастно смотрела на дорогу, совершенно не замечая своего давнего школьного друга.

— Надолго? — не выдержал молчания Федор.

— Не знаю, — ответила Катя. — Может быть, насовсем.

Федора снова обдало жаром. Что-то случилось очень важное, если Катя так говорит. Просто так Катя бы не говорила.

— Случилось что-нибудь? — чуть не задохнувшись, спросил Федор.

Вместо ответа Катя вдруг тихонько всхлипнула. Крупные слезы потекли по ее щекам.

— Живете здесь, как на другой планете, — с обидой заговорила она. — Там, на Дальнем Востоке, идет настоящая война. Люди кровь свою проливают, а вас это как будто не касается... — Катя замолчала. Только изредка всхлипывала и, чтобы Федор не видел ее слез, отвернулась и смотрела в окно кабины.

— Ты имеешь в виду Халхин-Гол? — спросил Федор. Катя не ответила. Она по-прежнему смотрела в окно.

Только плакать, кажется, перестала.

— Про Халхин-Гол мы знаем, — продолжал Федор. — Типичный конфликт со стороны японцев. Они ведь все время задираются с нами. То на нашей границе, то на границе с нашими друзьями.

— Конфликт... — словно про себя сказала Катя. — И слово-то какое придумали... А ты знаешь, что там умирают наши люди, чтобы вы тут... на машинах спокойно ездили... — зло сказала Катя, и Федор почувствовал, что она бросила камешек в его огород. — Надо будет, и мы не побоимся смерти, — твердо сказал Федор и замолчал.

Молча доехали они до деревни. Федор подрулил прямо к дому Кати. Пока он снимал чемодан, Катя сидела с ребенком в кабине. Потом вышла и направилась вслед за Федором, который понес чемодан во двор,

Дома никого не было.

— Возьми ключ под поветью, — попросила Федора Катя. — Вон там...

Федор открыл дверь, пропустил Катю с ребенком и поставил у порога чемодан.

— Проходи, садись, — равнодушно, только для приличия, пригласила Катя.

— Не могу, некогда, — отказался Федор и добавил; — Вот уж радости будет матери.

— Будет... — нехотя согласилась Катя, и в это время снова заплакал ребенок. Заплакал громко, с надрывом. Федор закрыл за собой дверь и направился к машине. Его провожал громкий детский плач.

Федор сел в кабину, обескураженный встречей с Катей. Нет, не так представлял он себе эту встречу. Ему всегда казалось, что Катя чем-то виновата перед ним и наступит час, когда она горько раскается за то, что так скоропалительно уехала с Владимиром на Дальний Восток. Раскается и скажет, что всегда думала только о нем, мечтала о времени, когда они снова будут рядом, и встреча эта будет очень радостной и счастливой. Но Федор, оказывается, ошибался. Ошибался, как наивный школьник, который с трудом постигает простые азбучные истины. Совсем она не думала о нем. Никогда. Совсем она не мечтала о том времени, когда будут рядом, Никогда. Ехали вот в кабине и даже не удостоила взглядом. Ребенок, конечно. Куда ж от него денешься... И вообще, с Катей что-то произошло...

Федор ехал на ток мимо медицинского пункта. Решил зайти и сказать Катиной матери, что привез долгожданную гостью. На пороге вспомнил, что зовут ее Ксения Кондратьевна.

Она встретила его в прихожей неммым вопросом,

— Я Катю привез со станции, — как можно бодрее произнес Федор, но это его сообщение не только не обрадовало Ксению Кондратьевну, а, наоборот, вызвало страх.

— Боже мой! — всплеснула руками Ксения Кондратьевна. — Боже мой! Она мне писала, что Володя уехал в Монголию. Ой, что-то случилось!... — Она схватила платок с вешалки и, как была, в халате, бросилась на улицу мимо удивленного Федора.

Вечером вся деревня знала, что сын Концевого и зять Ксении Кондратьевны лейтенант Володя убит на Халхин-Голе. Пока еще далекая от них война вырвала первую жертву, и все вдруг поняли, что она не так уж далека, что колеса войны, надетые на ось Рим — Берлин — Токио, гремят уже возле границ Польши, а это — рукой подать.

Сентябрь в институте начался тревожно. Были мобилизованы в армию запасники из состава преподавателей и студентов старших возрастов. Иван, Эдик и Сергей собирались у Федора в комитете, и тут Иван садился на своего излюбленного конька и доказывал всем, что

не сегодня-завтра начнутся такие события, которые переменят всю расстановку сил в пользу нашей страны, и надо готовиться к революциям на Западе.

Прежде всего, по утверждению Ивана, это должно случиться в самой Германии, потому что раздувшаяся империя фашистов должна неизбежно лопнуть, как лопались до этого империи татарских ханов, и прочих, и прочих. С Иваном спорили до хрипоты, но как бы там ни было, а война действительно стояла у порога, и хлопцы, сгорающие от нетерпения и тревоги, не знали, что делать.

Между тем Федор старался каждый выходной съездить в свою деревню.

— Мало ли что может случиться, — предупреждал его Иван, — а ты к мамочке на печку...

— Пойми ты, надо мне, надо... — пытался убедить его Федор, но это было бесполезно.

— Ты видел, как по лесам горят костры, куда собираются мобилизованные. Люди получают обмундирование, оружие, а мы...

— Да погоди ты, — отмахивался от него Федор. — В горькоме сказали, что это нас не касается и не надо будоражить ребят...

Федор мчался домой на любом попутном транспорте — то поездом, то машиной, — ему хотелось встретиться с Катей. А встретиться было не просто. Катя почти не выходила из дома, а Ксения Кондратьевна почему-то оберегала ее от друзей и знакомых. Федор считал, что Ксения Кондратьевна допускает серьезную ошибку — со школьными друзьями Кате было бы легче переносить свое горе. Напрасно ходил Федор возле дома Кати, а вот сегодня, увидев его на улице, Катя сама позвала:

— Что вы все как сговорились? Никто носа не кажет...

— Да некогда... — радостно оправдывался Федор. — Сама знаешь — учеба.

— Вот поэтому я тебя и позвала. Мы тут с мамой советовались, как мне дальше быть. Я ведь там заочно курс пединститута закончила. Вот... — Катя подошла к этажерке с книгами, взяла общую тетрадь в потертой обложке, достала зачетную книжку и подала Федору.

— Ого, круглая отличница! — воскликнул Федор. — Так что ж ты сидишь? Пиши заявление, давай мне, а я все оформлю...

— Сделаешь, Федя? — живо спросила Катя, и глаза ее на мгновение весело сверкнули.

— Ну, конечно же, сделаю, чудачка ты... — Федор был счастлив, что она училась, что ему доверила такое серьезное дело, и он, безусловно, в «блин разобьется», чтобы Катю приняли в их институт.

— А почему на заочное? — спросил вдруг Федор и кивнул на детскую кроватку: — Сколько твоему казаку?

— Это казачка, — улыбнулась Катя. — Через две недели годик.

— Вот и оставь дома в яслях. Ксения Кондратьевна, наверное, не откажется присмотреть за ней после работы.

— Федя, ты гений! — оживилась Катя. — Ты знаешь, мне и в голову не приходило такое. Конечно, будет трудно, я каждый выходной буду приезжать. Ты ведь приезжаешь?...

— Пиши заявление. Сейчас же. Сию минуту.

Катя вырвала из общей тетради лист бумаги, положила на стол. Сняла с этажерки чернильницу и ручку. Федор наблюдал за Катей, и тихая радость теплилась в его груди. Да, совсем немножко изменилась Катя. Но это почти незаметно.

Она по-прежнему красивая, ловкая, живая, лучшая девушка их школы.

Федор встал, подошел к окну. Рядом в рамочке висели семейные фотографии. С любительского снимка строго смотрел Володя. Был парень — и нету парня. А кажется, совсем недавно под патефон танцевал он в этой комнате с Катей.

Федор не заметил, как Катя подошла к нему:

— Не верится?

— Угадала, — смущенно сказал Федор. — Ты прости, как же это случилось?

— Они захватили его раненого и изрубили на куски... — губы Кати дрогнули, но она сдержалась.

— Звери... — словно про себя сказал Федор и заторопился: — Заявление готово?

— Вот, пожалуйста. И возьми зачетку. Ты хотя бы узнай, как там и что. А может, не получится? А остальные документы потом. Хорошо?

— Почему же не получится? — уже у порога улыбнулся Федор. — Кто хочет, тот добьется. Помнишь?

— Да... — вздохнула Катя. — Кто ищет, тот всегда найдет...

Первым Федора встретил в институте Иван.

— Ты слышал? — почти закричал он в коридоре. — Наши войска перешли границу и освобождают Западную Белоруссию!

— Поздравляю, — весело сказал Федор и крепко пожал Ивану руку. — От Виктора есть что-нибудь?

Иван вынул из нагрудного кармана пиджака газету и протянул Федору. На первой странице была помещена большая фотография — митинг трудящихся города Слонима. На импровизированной трибуне стоял немолодой уже человек с поднятой рукой. Видно, он о чем-то взволнованно говорил.

— Это Виктор, — ткнув пальцем в снимок, сказал Иван. — Выжил-таки.

— Ну, еще раз поздравляю, — сказал Федор и побежал на второй этаж.

— Ты к себе? — спросил Иван.

— Нет, к директору.

Устроить Катю в институт оказалось делом нетрудным, тем более что на историческом факультете в прошлом году был недобор и второй курс оказался некомплектным. Федор решил, что ждать следующего выходного, чтобы сообщить Кате эту весть, было нелепо. Он предупредил декана, что на лекциях не сможет присутствовать, и помчался на станцию.

Пригородные ходили утром и вечером. Чтобы не ждать вечернего, Федор, как это бывало и прежде, вскочил на подножку товарного поезда и поехал.

Федор считал особым шиком проехать до своей маленькой станции на тормозной площадке товарного вагона, на откидной скамейке для кондуктора. Лязгают, стучат на стыках колеса, вагоны качает из стороны в сторону, как игрушечные, изредка позванивают буферные тарелки. А мимо проносятся такие знакомые, такие любимые картины. И мысль, живая и стремительная, поднимает тебя словно на крыльях.

Если бы у Федора спросили тогда, счастлив ли он, он ответил бы — да, счастлив. Катя снова рядом с ним, она нуждается в его помощи, и ой сделает все, что от него зависит, чтобы ей было хорошо. Еще не время ворошить старое — почему она оставила школу и уехала на Дальний Восток, не обмолвившись с Федором ни единым словечком. Но, может быть, и не следует ворошить это старое — кто знает. Владимир был, наверное, интересным человеком, если Катя не раздумывая укатила вместе с ним. И, наверное, была любовь. И дочь Кати будет всю жизнь напоминать об этой первой любви. На этом месте мысль Федора притормаживала. Он не знал, как сложатся их отношения втроем. Ребенок, конечно, не будет помнить своего отца. Но и скрывать, что отец ее погиб, тоже глупо. Федор успокаивал себя тем, что все это еще далеко. Главное — вернуть былую дружбу Кати, чтобы снова, как в детстве, у них была своя тайна и взгляды говорили больше, чем слова.

Не заходя к себе, он почти вбежал в дом Кати. Вбежал и остановился.

Катя сидела за столом, положив голову на руки, и плакала. Не просто плакала, а рыдала громко, протяжно, по-бабьи, с причитаниями. Федор не вслушивался в слеза Кати. Он смотрел на стол — там стояла раскрытая картонная коробочка, а рядом лежал орден Красной Звезды. Федор сразу догадался, что это посмертная награда Владимира.

Катя даже не повернулась на стук двери. Федор стоял у порога и не знал, что делать. В мыслях он ругал себя за радужные планы, которые строил по пути к Кате. Все было гораздо сложнее. Свежая рана еще болела, кровоточила, и было смешно надеяться, что она скоро заживет.

Разбуженная плачем матери, проснулась в кровати девочка и тоже заплакала. Катя подняла голову, услышав голос ребенка, и тут только заметила Федора.

— Прости... Не слышала я... — Катя всхлипнула, подошла к кровати, взяла девочку на руки и крепко прижала ее к себе: — Ну, что ты, мое солнышко, не плачь, успокойся...

Девочка замолчала и крохотными пальчиками размазывала слезы на лице матери.

— Ну, вот и хорошо... Вот и хорошо... — говорила Катя, а в глазах ее таилась такая тоска, что Федор готов был убежать на край света, чтобы не видеть этих тоскующих Катиных глаз.

— Я договорился в институте, Все в порядке. Ты можешь учиться...

Катя подняла голову, и вдруг он прочитал на ее лице настойчивую решимость.

— Спасибо, Федя. Ты настоящий друг... Я сейчас же, немедленно... Вот только схожу к маме...

— Поедем сегодня? — несмело спросил Федор.

— Обязательно сегодня. Обязательно... — Катя торопливо одевала девочку. — Обязательно сегодня.

— Тогда я тоже загляну домой, — сказал Федор,

— Пожалуйста, пожалуйста, — согласилась Катя. — Ты за мной зайди. Хорошо?

В город ехали автобусом, Катя сидела у окна и смотрела на дорогу, молчаливая и задумчивая. Федор ничего не спрашивал, ничего не говорил, понимая, что происходит в душе у Кати.

Так же молча пришли в институт. Федор проводил Катю к директору, потом в канцелярию, где она сдала дополнительные документы, и только когда ей сказали, что завтра же она может приходиться на занятия, Катя пожаловалась Федору:

— Мест в общежитии нету. Не ездить же каждый день в деревню.

Наступал вечер. Катя с Федором вышли из института и остановились.

— Что будем делать? — спросила Катя.

— Искать квартиру или угол какой-нибудь, живут же некоторые студенты на квартирах.

— Я не против. Но дело к ночи...

— Чепуха, — решительно сказал Федор. — Выйдем на Ульяновскую, там много частных домов. Не успели повернуть к Комсомольскому скверу, как Федора окликнул Эдик.

— В кино собрались?

— А ты откуда?

— От Устина Адамовича,

— Все консультируешься?

— Консультируюсь.

— Катя, познакомься, это мой друг Эдик, Институтский поэт.

Катя искренне удивилась:

— Вы действительно поэт или Федя шутит?

— Действительно... — смущенно улыбнулся Эдик.

— Первый раз вижу живого поэта! — воскликнула Катя. — Оказывается, самый обыкновенный человек.

— Возьмите обыкновенного человека с собой в кино, — попросился Эдик.

— У нас более прозаичная задача, — пожаловалась Катя. — Мне нужен угол. Я с завтрашнего дня студентка истфака.

— Угол? — Эдик остановился. — А если комната у двух симпатичных пожилых людей?

— Мечта! — сказала Катя.

— Правда, это далековато, но зато будете как дома... По пути Эдик все рассказывал про Ивана, который каждую свободную минуту рвался к радиоприемнику, чтобы услышать о последних событиях в Западной Белоруссии. Он уже готов был ехать в Слоним к Виктору, но ему сказали, что для такой поездки пока что требуется особое разрешение.

Эдик привел друзей к родителям Маши. Мать Маши, увидев таких гостей, бросилась накрывать на стол. Григорий Саввич вынул из буфета традиционную бутылку наливки. По тому, как разговаривали с Эдиком в этом доме, Федор понял, что Эдик здесь свой человек.

— Спасибо, Эдичек, — расстроилась Светлана Ильинична, узнав, что Катя нуждается в квартире. — Мы с удовольствием сдадим Машину комнату. И нам будет веселее. А то, когда Маши нет, и ты не очень частый гость...

Эдик не сумел скрыть своего смущения.

— Ну, чего там стесняться в своем отечестве? — улыбнулся Григорий Саввич. — Мы другого зятя не примем.

Эдик смутился еще больше.

— И вам спасибо, — разрядила обстановку Катя. — О цене договоримся.

Светлана Ильинична даже руками всплеснула.

— Да что ты, Катенька, обидеть нас хочешь? Мы в копейке не нуждаемся, еще и дочери помогаем. А ты живи на здоровье... Глядишь и замуж тебя выдадим...

Катя вспыхнула и замолчала. Федор не знал, как вывести ее из этого замешательства, а Светлана Ильинична, почувствовав, что сказала лишнее, успокоила:

— Да ты не смущайся. Дело житейское.

Но слова Светланы Ильиничны не помогли. За столом наступило тягостное молчание. Григорий Саввич взялся за бутылку, долил и без того полные рюмки.

— Мой муж убит в Монголии... — тихо сказала Катя. Эдик удивленно поднял брови. Светлана Ильинична ойкнула:

— Боже мой... Такая молодая и уже вдова...

— Может, потише станет... Гитлер ведь с нами в договоре теперь, — сказал Григорий Саввич.

— Побойтся... — согласился Эдик. — Он знает, что мы воевать на своей территории не будем. Да теперь и границы наши подальше подвинулись. В Минске мне рассказывали, что с крыши Дома правительства можно было видеть пограничные заставы. А теперь мы в Бресте.

— А по-моему, — вмешался Федор, — сколько волка ни корми...

— А мы его и не кормим, — возразил Эдик.

— Мы не кормим, так другие кормят. Подсунули ему Чехословакию, Францию, Польшу. А он в наш лес смотрит. Тут он ждет главной добычи... — загорелся Федор.

— Это ж договор перед всем миром, — заметила Светлана Ильинична. — Такие договоры не нарушаются. И потом это не нашего ума дело... Давайте вот выпьем наливочки, чтобы Кате было хорошо у нас...

Поздним вечером уходили из гостеприимного дома Федор с Эдиком. Над заборами переулка свисали ветви деревьев. Пахло яблоками, осенней свежестью, предвещавшей первые заморозки.

— Это здорово, что ты на пути попался, — сказал Федор, закурив и предложив Эдику. — А то я не знал, что делать, такое положение...

— Любишь ее? — спросил Эдик.

— Старая история... — хотел уклониться от ответа Федор. — Школьная...

— А ты, значит, сплеховал?

— Так получилось. — Федор затыкнулся, и вспыхнувшая папироса осветила его задумчивое лицо.

— Смешно, — ядовито бросил Эдик. — Само никогда ничего не получается, а если и получается, то потому, что вмешивается человек. Ты не вмешался, вмешался другой. Вот и получилось, что ты оказался в стороне.

— Нет, в данном случае действительно получилось... А ты, оказывается, в этом доме давно свой человек?

— А я и не скрываю, — улыбнулся Эдик. — Вот только Иван еще не в курсе... Сдаст она экзамены, поженимся и махнем куда-нибудь в деревню.

— Почему именно в деревню?

— А там учителя и врачи больше нужны, чем в городе... Тут и больницы, и поликлиники, и диспансеры, и консультации, школы дневные, вечерние, заочные и какие только хочешь. А там пока туговато. А нам интересно. Притом Маша хочет специализироваться как хирург. Там ей будет практики сколько угодно.

Дошли до железнодорожного клуба,

— Ну вот я и дома, — сказал Эдик.

— Еще раз спасибо. За Катю, — попрощался Федор.

— А благодарности ни к чему, — заметил Эдик. — У нас ведь союз, а это значит один за всех и все за одного.

Глава десятая НАКАНУНЕ

Приближался новогодний праздник. В комитете комсомола и профкоме института решили устроить большой новогодний бал. Студенческий духовой оркестр усиленно разучивал танцы, факультеты готовили самостоятельные программы. Хозяйственная часть обещала поставить в актовом зале большую праздничную елку, Но самое главное, что хранилось в глубокой тайне, — это костюмы. Каждый участник бала изобретал, выдумывал, фантазировал на свой страх и риск.

Иван, Эдик, Сергей и Федор сделали выбор сразу — они наряжались в костюмы мушкетеров. Чтобы не загружать своих домашних лишними хлопотами, договорились с костюмерной драматического театра. Из старых, списанных костюмов комплектовалось что-то отдаленно напоминающее костюмы мушкетеров. Вся эта организационная часть была поручена Ивану.

Откровенно говоря, Иван недолюбливал театр. Он считал, что это искусство отживающее, что кино с каждым годом все сильнее и настойчивее отодвигает театр на второй план, и ему казалось, что этот процесс естественный и необратимый. В самом деле, на сцене артист выступает почти каждый вечер. И каждый вечер у него разное настроение, разное состояние, и, конечно же, он по-разному играет. Сегодня роль получилась так себе, завтра лучше, послезавтра совсем плохо. Другое дело в кино. Там из десятка актерских состояний выбраны самые удачные, самые интересные. Одним словом, театр — устаревшее зрелище. С такими мыслями он ходил с письмом к администратору, потом к заместителю директора и наконец попал в пропахший нафталином костюмерный цех. Приняла его в первый раз полная подвижная женщина и через неделю обещала сделать все в лучшем виде.

До праздника оставалось каких-нибудь четыре дня, когда Иван решил, что недельный срок прошел и можно идти за костюмами, тем более что ребята начали беспокоиться за исход порученного Ивану дела.

По служебному входу Иван поднялся на третий этаж. Его встретила в костюмерной молоденькая девушка в строгом форменном костюме билетного контролера. Жакет обтягивал такую тонкую талию, что казалось, ее можно перещипнуть пальцами.

Веснушчатое игривое лицо ее выражало какое-то постоянное удивление.

— Вы к кому? — спросила девушка, окинув Ивана с ног до головы.

— Мне тут должны приготовить списанные костюмы, — объяснил Иван,

— А вы откуда?

— Из пединститута,

— А я знаю, — сказала девушка. — Это вы для своей самостоятельности, У нас институт всегда берет. В прошлом году они даже «Цыганы» Пушкина ставили. Вы кого играли в этом спектакле? — Девушка говорила быстро, уверенно и не давала времени на размышления. Она удивленно и вместе с тем вопросительно смотрела на Ивана.

— Я автора играл... — признался Иван,

— Честное слово?

— А что тут такого?

— Во-первых, грим. Вам пошел грим? Вы были похожи?

— Был, — улыбнулся Иван.

— Такую ответственную роль получили. У нас бы в театре за нее, знаете, что творилось бы... Герои друг друга перемололи бы. А уж у режиссера все до единого перебивали бы на переговорах.

— Подумаешь... — усмехнулся Иван. — Более глупой роли, чем роль Пушкина в «Цыганах», наверное, нету.

— Что вы говорите? — удивилась девушка, и веснушки на ее лице потемнели. — Один грим чего стоит...

— Только что грим, — снисходительно улыбнулся Иван. Ему нравилась эта непосредственная удивляющаяся натура, и он с удовольствием стоял у двери костюмерной и наблюдал за игрой ее юного лица. — А в остальном получилось довольно глупо. Авторские куски не такие уж большие. Они врываются в разные сцены и не только не дополняют, а, наоборот, мешают. Я читаю: «Алеко спит», а этот Алеко всю беседует в палатке с Земфирой.

— Ваш Алеко впервые на сцене! — возмутилась девушка. — И вы тоже хороши. Надо же

дать возможность артисту закончить сцену, а потом читать свое «Алеко спит».

— Слушайте, — спокойно сказал Иван, — все это мне теперь до лампочки. Так, юношеское увлечение. Дайте вы мне костюмы и прощевайте.

— А зачем вам все-таки костюмы?

— Будет новогодний бал.

— Ой, как интересно! — воскликнула девушка. — А какой у вас будет костюм?

— Мушкетера.

— Вы проходите. Я сейчас найду. Мама где-то здесь приготовила. — Она нашла перевязанный шпагатом сверток и вдруг спросила: — А вы хотя бы мерку снимали?

— Нет. Так, на глазок.

— Разве можно на глазок такой костюм? Немедленно проходите вот сюда, за ширму, раздевайтесь, я вам подберу подходящий.

— Ладно. И так сойдет, — хотел отмахнуться Иван, но девушка удивленно посмотрела на него:

— Вы что, стесняетесь? Да мы тут всех артистов одеваем, и старых и молодых, и мужчин и женщин. И ничего.

— И ничего? — переспросил Иван и громко расхохотался.

— Не ржите так громко, на втором этаже репетиция.

Иван зашел за ширму, снял костюм, девушка подала ему чулки, панталоны, жилет. Одеваясь, Иван спросил:

— А как вас зовут? А то неудобно — столько времени знакомы и не знаем друг друга,

— Виктория.

— Ого!

— Почему ого? Вам не нравится?

— Нравится, но... А меня просто — Иван. Неоригинально, правда?

— Если бы мы с вами сами выбирали имена, наверное, было бы совсем по-другому... Ну, как, подошел? Покажитесь.

Иван вышел из-за ширмы. Виктория улыбнулась:

— А, знаете, Ваня, ничего. Совсем ничего. Конечно, пока вы чувствуете себя в нем неловко, но поносите часок, и угловатость пройдет. Снимайте. Я заверну...

Когда Иван уже держал пакет с костюмами под мышкой, Виктория спросила:

— А вы можете пригласить меня на свой бал?

Иван на мгновение задумался. Конечно, он может пригласить, но что скажут мушкетеры и что стоят его принципы? Виктория уловила это мимолетное замешательство Ивана и успокоила его:

— На нет и суда нет. Всего доброго. Счастливо встретить Новый год!

Все время, пока Иван спускался вниз по лестнице, а потом шел по улице, его не покидало ощущение досады. Ну, что, в конце концов, плохого в том, что он пригласил бы Викторию на новогодний бал? Чем больше гостей, тем лучше. Но дело уже сделано, Виктория, конечно, сразу все поняла, и теперь возвращаться и приглашать было бессмысленно.

Странно, но это ощущение досады не оставляло Ивана и на открытии праздника. Ему не понравилось приветственное слово Федора, который объявил наступающий 1941 год самым счастливым годом. Иван считал, что это заявление Федора было бездоказательным, а красивые слова прозвучали просто ради хорошего праздничного вечера. Потом Эдик читал свое новогоднее стихотворение. Ивану показалось, что в нем было много патетической трескотни. А может, это пустые придирки, только потому, что Иван ощущал это необъяснимое чувство досады и его многое сегодня раздражало.

Но вот заиграл студенческий духовой оркестр. Здорово он подготовился к сегодняшнему вечеру. Кажется, никто из ребят не фальшивил. Правда, музыканты буквально ели глазами своего дирижера, боясь сбиться. Особенно старался барабанщик — высокий парень со свисающим на лоб черным локоном волос.

Иван стоял в стороне и наблюдал за танцующими. Как и обещала Виктория, он быстро привык к своему костюму и чувствовал себя так, словно носил его ежедневно.

К Ивану подскочила девушка в белом кисейном платье, в маске, которая закрывала почти

все ее лицо. Кого изображала она в своем кисейном платье — трудно было сказать, но девушка напоминала резвого белого мотылька. Она низко поклонилась Ивану, и широкая белая кисея, как крыло, опустилась на пол. Отказать было просто бестактно, и Иван, поклонившись в ответ, взял девушку за тонкую талию, которую, казалось, можно было перещипнуть пальцами.

Вальс... Сколько о нем написано стихов и сложено песен. Иван танцевал легко и с удовольствием замечал, что совершенно не чувствует партнерши — вот уж действительно мастерица попалась. А она сверкала черными искорками зрачков да таинственно улыбалась. Иван поймал себя на том, что эта улыбка возвращает ему спокойствие и какую-то радостную уверенность.

На следующем танце все повторилось сначала, «Мушкетеры» сразу заметили это, Эдик кивнул Федору:

- Видал?
- Кажется, лед тронулся.
- И вестибулярный аппарат не подводит,
- Удивительно.
- Не спугни, — предупредил Эдик,

От ребят не ускользнула и еще одна пара — Сергей и Вера. Эдик заметил, что они, словно сговорившись, не пропускают ни одного танца и, когда кто-то из ребят пытается пригласить Веру, она отказывается, ожидая, когда подойдет Сергей.

В антракте, когда духовой оркестр взял получасовой перерыв и у елки Дед Мороз и юный 1941 год стали разыгрывать полуофициальную встречу, Эдик подал команду:

- Мушкетеры, в буфет!

Они с Федором быстро заняли столик, на котором уже стояли лимонад, пиво, пирожные, конфеты. Когда подошли Сергей и Вера, а за ними Иван, Эдик достал из кармана тридцатирублевую бумажку и объявил:

- Реализуем первый литературный гонорар. Чтобы в 1941 году его было больше...

И снова танцевали, пели песни, играли в испорченный телефон и снова танцевали.

Теперь уже девушка в белом кисейном платье не была такой смелой. Ивану приходилось самому разыскивать ее.

Расходились под утро. Правда, это январское утро было еще темным и горели уличные фонари, но это было все-таки утро нового 1941 года.

Иван решил проводить девушку в кисейном платье. Когда он сказал об этом девушке, она согласно кивнула головой. И только сейчас, в конце бала, Иван подумал о том, что еще не слышал голоса своей бессменной партнерши. А в гардеробе все выяснилось. Как только девушка сняла маску, он увидел перед собой Викторию.

- Как же я вас сразу не узнал!

— А потому что не ждали меня увидеть. Вы не обижаетесь, что я ворвалась без приглашения?

— А вы не обижаетесь, что я не догадался пригласить? Откровенно говоря, после нашей беседы я хотел вернуться и позвать вас, но было уже, неловко.

— Кто старое помянет, тому глаз вон, — улыбнулась Виктория. — Помогите мне надеть пальто, а то за это платье мне влетит от мамы...

Станным кажется город в новогоднюю ночь. Часть горожан уже спит, встретив праздник с боем Кремлевских курантов, часть еще поет застольные песни, часть бродит по морозным улицам, потому что никак не может расстаться с друзьями и подругами.

Впервые в своей жизни Иван проводил девушку. Если в актовом зале, на глазах у друзей, он еще был в какой-то степени мушкетером, то наедине с Викторией оробел. Ему хотелось, чтобы девушка жила где-нибудь поблизости, чтобы скорее попрощаться и уйти.

- Пройдемся по Первомайской, все равно уже спать некогда, — сказала Виктория.

— Пройдемся, — как приговоренный, тихо повторил Иван.

— Что с вами, Ваня? Вы устали? — удивилась Виктория, и в этом вопросе, как показалось Ивану, прозвучали иронические нотки.

- Да нет, не устал.

— Не кисните, — затормошила его Виктория. — А то у меня осталось совсем немного

времени, и мы попросимся надолго.

— Как попросимся? — вдруг искренне удивился Иван. Он и мысли не допускал, что Виктория может куда-то надолго исчезнуть.

— А вот так. Попросимся. Потому что в 9 часов утра наша машина с костюмами отправляется на Гродно. Там сейчас основная база театра.

— Значит, мы опять скоро встретимся, — обрадовался Иван. — В Гродно у меня брат работает, и я после сессии уезжаю к нему.

— А мы летом будем на гастролях.

— Каких гастролях? — рассердился Иван.

— А вы не злитесь, Ваня. В театре так заведено. Летом труппа отправляется на гастроли в другие города. И костюмеры, конечно. А ваш брат давно туда уехал?

— А он, собственно, и не уезжал. Он бывший подпольщик.

— Интересно иметь такого брата! — воскликнула Виктория. — Вы меня с ним познакомите?

— Конечно, — обещал Ваня. — Обязательно познакомлю...

Станным кажется город в новогоднюю ночь. Часть горожан уже спит, встретив праздник с боем Кремлевских курантов, часть еще поет застольные песни, часть бродит по морозным улицам, потому что никак не может расстаться с друзьями и подругами.

Сергей и Вера медленно спускались по Виленской к Дубровенке. Почему-то именно сейчас Сергей вспомнил, как шел за Верой и воспитателем Оли после кино.

На мостике через Дубровенку остановились. Ивы вдоль речушки покрылись инеем. Белели высокие холмы по берегам. Кое-где в домах еще светились окна. Строптивая Дубровенка не поддавалась морозу — он сковал льдом лишь берега ее, а на стремнине еще шумела вода, торопясь под днепровский лед.

Молча пошли в крутой переулок, остановились у калитки Вериного дома.

Начал падать тихий пушистый снег.

— К оттепели, — сказал Сергей.

— Ну, и пусть, — дрогнувшим голосом ответила ему Вера.

— Смешно. — Сергей прислонился спиной к забору. — Вчера был 1940, а сегодня уже 1941. Целый год мы протанцевали.

— Дитя... — улыбнулась Вера. — Ну чистое дитя. Пора тебе баиньки, не то папа с мамой заругают. — Она протянула руку, и Сергей тихонько пожал ее. Рука была в мягкой тонкой варежке, белой, как снег.

Вдруг Вера бросилась на грудь Сергея и заплакала.

Сергей опешил:

— Ты чего? Что с тобой, Верочка?...

Вера подняла заплаканное лицо, слабо улыбнулась:

— Люблю я тебя... Глупый ты мой... Давно люблю... С того самого дня, как в актовом зале писали за Милявским конспекты... Но бегала от самой себя, дура набитая...

Сергей не дал ей договорить. Он целовал ее губы, глаза, щеки, ощущая соленый привкус слез, и задышался от нахлынувшего счастья.

— А я боялся...

— Глупый ты мой...

— А зачем же тогда Милявский?...

— Пустое все это...

— Навсегда?...

— Навсегда... — Ну, как мы с тобой провели этот бал? — спросил Федор у Эдика, когда они вышли на улицу,

— Почему это мы с тобой?

— А потому, что я произносил вступительную речь, а ты читал стихи.

У общежития Федор остановился,

— Слушай, Федя, — Эдик взял его за пуговицу пальто. — Ты действительно веришь, что для нас 41 год будет самым счастливым?

— Как тебе сказать... — задумался Федор. — Немножко верю и немножко нет. Как-то

тревожно все-таки...

— А зачем же такую речь произносил?

— Для настроения. Ты считаешь, что я не прав?

— Мне показалось, что ты говорил и не верил в собственные слова. Боюсь, что другие это тоже почувствовали.

— А мне можно высказаться в твой адрес? — спросил Федор.

— Я, между прочим, все жду, когда кто-нибудь из вас скажет о том, что я сегодня читал.

— Хочешь правду? Ты читал зарифмованную передовицу газеты. На все стихотворение — два-три свежих образа.

— Спасибо.

— Только, пожалуйста, без обиды.

— Не говори чепухи. Ну, до завтра, Федор рассмеялся.

— Видишь, как критика травмирует. Ты даже забыл, что это завтра уже наступило.

— Опечатка, — сказал Эдик, пожимая на прощание руку Федора. — А как тебе нравится женоненавистник?

— Молчи, — предупредил Федор. — И никакого намека ему. А то сбежит, как гоголевский жених, в самую ответственную минуту.

Иван никак не мог уснуть. Серыми стали окна. Наступал январский рассвет. А он все перебирал в памяти события новогоднего вечера. Такого еще не было. Он вспоминал улыбку Виктории, постоянное удивление на ее игривом веснушчатом лице, их расставание. Хорошо бы встретиться в Гродно... Вспомнились дни, когда Иван с матерью получили вызов от Виктора. Это было накануне первой годовщины освобождения западных областей Белоруссии.

На Гродненском вокзале их встретил Виктор с дочерью, удивительно похожей на него. Виктор был совершенно седой, с глубокими морщинами на лбу.

Мать долго стояла с ним в обнимку, смотрела в лицо и плакала.

Иван топтался с чемоданом в руках, ожидая очереди поздороваться с братом,

— Постарел ты, совсем постарел... — сквозь слезы говорила мать. — И очень похудел. Ты не хвораешь?

— Ничего, мама, теперь скоро поправлюсь, — сказал Виктор и обнял Ивана. — А ты вон как вытянулся. Настоящий мужчина! Ну, знакомьтесь с моей дочкой Ириной... — Виктор взял мать под руку. — А ты, мама, тоже не помолодела, что поделаешь с этими годами — идут и идут. Задержать бы хоть на немного, да не получается... Вон наша машина стоит. Поедем прямо в больницу — нас Варвара ждет.

Из писем Виктора Иван с матерью знали, что по доносу провокатора Варвару схватила дефензива. После пыток бросили в тюрьму. И вот уже год, как Варвара лежит по больницам.

Пока ехали, Виктор показывал город. Была пора золотой белорусской осени. Светило нежаркое сентябрьское солнце. В парках и скверах города желтые и багряные листья висели, как праздничные гирлянды, узкие улицы были застроены домами различных стилей и эпох. В центре города, у площади, — величественный костел иезуитов. Иван ехал по городу, словно по залам громадного музея.

Варвара встретила их в больничном сквере. Под ногами шуршали первые опавшие листья. Царила тишина.

Навстречу матери, Ивану и Виктору шла моложавая, но очень худая женщина с впалыми щеками и заострившимся носом. Сквозь плотный больничный халат проступали ее острые плечи.

Женщина улыбнулась, открыв ровный ряд красивых зубов, и лицо ее сразу переменялось — глаза повеселели, на щеках пробился слабый румянец.

Мать снова прослезилась, обнимая невестку. Варвара подала руку Ивану, и он ощутил ее крепкие костистые пальцы, — Садитесь, гости, — улыбнулась Варвара. — Вот скоро вырвусь от этих докторов, тогда приму вас как следует...

— А ты не беспокойся, — сказал Виктор, — гости не будут в обиде. Только бы ты скорее поправилась... — Виктор пристально смотрел на жену, и глаза его, задумчивые и тоскливые, были подернуты влагой.

— Сегодня был главный врач, сказал, что дело идет на поправку...

— Ну, дай бог... — вздохнула мать.

Долго еще сидели они в сквере. Иван слушал разговор матери и Варвары и думал о том, как трудно пробивать человеку дорогу в жизнь...

«Надо обязательно встретиться с Викторией в Гродно... Обязательно», — засыпая, прошептал про себя Иван.

Глава одиннадцатая ОБРЫВ

Было все — поиски на областной карте школы, в которой хотелось работать, были волнения перед распределительной комиссией, были первые билеты на государственных экзаменах, были институтские вечера, были встречи и расставания на рассвете. Все было. И вдруг — ничего. Все оборвалось сразу, единым махом, и нет возврата к прошлому, которое сейчас кажется особенно привлекательным и дорогим.

Война! О ней много спорили и говорили, ее предвидели и не хотели, ее приближение опровергали, и она все-таки нагрянула.

Сергей дослушал выступление Молотова, выключил репродуктор и бросился на улицу. Надо куда-то идти, что-то делать, потому что фашисты уже перешли границу и продвигаются в глубь страны. Где же наши войска? Что с ними случилось? Почему мы не только не воюем на чужой территории, а вообще повсеместно отступаем? Голова раскалывалась от бесчисленных вопросов, и никто не мог ответить на них.

Сергей почти вбежал к Эдику:

— Слышал?

— Слышал.

— Что будем делать?

— Бежим к Ивану.

Иван был взволнован, хотя старался казаться спокойным.

— Чему вы удивляетесь? Я ведь предупреждал.

— Как же рабочие и крестьяне против государства рабочих и крестьян? — словно самого себя спрашивал Эдик.

— Спроси что-нибудь полегче, — заметил Сергей.

— Мы с тобой тысячу раз говорили на эту тему, — разозлился Иван. — А ты свое. Неужели так трудно понять?

— Как быть? — спросил Сергей.

— Пошли в институт, — предложил Иван.

По городу почти бежали. Бежали и надеялись, что там, в институте, заготовлены ответы на все мучительные вопросы. Сергей успел заметить, что город сразу переменялся. Обычно воскресное утро было оживленным и деловитым — люди спешили в магазины, на рынок, ребятишки на детские киносеансы. Сегодня на улицах было пустынно. Эту пустынность подчеркивал откуда-то налетавший ветер, который гонял тучи пыли и обрывки бумаг. Такого обилия бумаг на улице Сергей никогда не видел.

В институте никого не было, если не считать гардеробщицы тети Дуся, которая исправно несла свою службу, сидя в коридоре у дежурного телефона, с учебным противогазом через плечо. Двери кабинета директора, комитета комсомола и профкома были на замке.

— Где же Федор? — сказал не столько для ребят, сколько для себя Иван и скомандовал: — В общежитие!

Как-то само собой получилось, что Иван взял на себя роль старшего, хотя по возрасту не мог претендовать на это. Ребята молча согласились. Сергей тут же побежал выполнять распоряжение Ивана.

Тетя Дуся сообщила:

— Звонил Устин Адамович. Скоро будет.

Иван с Эдиком сели на широкий подоконник старого институтского здания. Говорят,

здесь некогда была женская гимназия. Что ж, построена она была на совесть, как настоящая крепость, оберегавшая нравственность и целомудрие гимназисток.

Эдик закурил и бросил спичку на пол. — Ты что? — заметил Иван.

— Теперь все равно, — отмахнулся Эдик.

— Дурак, — сказал Иван. — В такие моменты расхлябанность губит все дело.

Эдик ехидно улыбнулся:

— Не думаешь ли ты на горелой спичке построить свою воспитательную беседу. Где-то под Минском все рушится, а он завел разговор о спичке.

— Брось! — Иван спрыгнул с подоконника и стал перед Эдиком, гневно сверкая глазами. — Спичка — чушь. Но она свидетельствует о твоём настроении. То у тебя фашисты — это рабочие и крестьяне, которые не пойдут против рабочих и крестьян, то первые неудачи, — и ты машешь на все рукой — все равно, дескать, все пропало...

Эдик хотел что-то возразить Ивану, но тут в вестибюль быстрым шагом вошел Устин Адамович, а за ним Сергей и Федор.

— Давайте в профессорскую, — позвал Устин Адамович, снял шляпу и платочком вытер вспотевшую лысину.

Ребята вошли и встревоженной нахохлившейся стайкой сгрудились у порога. Устин Адамович повесил шляпу, закурил и сел за стол.

Спокойствие, с которым он делал все это, передалось ребятам.

— Вы садитесь. Я только что из горкома партии. Директор, секретарь партбюро и некоторые другие преподаватели мобилизованы в армию. Я остаюсь в институте, потому что по болезни, к сожалению, меня не берут. Жизнь института должна идти по-прежнему. Когда у вас последний госэкзамен по педагогике?

— Послезавтра, — ответил за всех Иван.

— Ну вот. Готовьтесь и приходите в 23 аудиторию в 9 утра...

Но жить по-прежнему уже было невозможно. В понедельник над городом появился первый вражеский самолет. Странный, с двумя фюзеляжами. Он, словно привязанный, повис высоко в небе и почти стоял на месте.

Послышалась далекая стрельба зениток. Ребята, собравшиеся полистать конспекты у Ивана, выскочили на улицу. Белые клубочки разрывов вспыхивали далеко в стороне от самолета.

— Да что они, стрелять не умеют? — возмутился Иван.

— погоди ты, вот сейчас как трахнут в самую точку, — успокаивал его Сергей.

Но в точку не трахнули. Самолет постоял, постоял, потом развернулся и полетел на запад.

— Где же наши соколы? — вздохнул Эдик. — От них он не ушел бы. Ишь, какой неповоротливый.

— Что ты в этом понимаешь, стратег? — Федор взял Ивана под руку и повел в дом. — А может, это так надо? Может, так задумано нашим командованием, чтобы не выдавать свои силы. Он ведь прилетал на разведку.

— Тоже мне стратег. — Иван освободил руку Федора и горько улыбнулся. — Ну, на чем мы остановились? На Ушинском? Повторим педагогические принципы Ушинского...

Утром у 23 аудитории из сотни выпускников филфака собралось меньше половины. За столом государственной экзаменационной комиссии сидели Устин Адамович, преподаватель педагогики и Милявский.

Первыми вошли Сергей, Федор, Эдик и Иван. На столе взяли билеты. Каждый сел готовиться. Сергей пробежал билет от начала до конца и спросил Устина Адамовича:

— Можно отвечать?

Устин Адамович посмотрел на членов комиссии. Никто не возражал.

— Проходите сюда, Петрович, — Устин Адамович подозвал Сергея к столу,

— Первый вопрос, — громко начал Сергей. — Великий русский педагог Ушинский...

Ребята переглянулись между собой — везет же человеку. И в этот момент в коридоре института завывала сирена — объявлялась воздушная тревога.

В первое мгновение сирена оглушила. Никто не тронулся с места, словно ждал, что она затихнет и занятия будут продолжаться, потому что тревога, наверное, была учебной. Так

случалось раньше. Теперь Устин Адамович встал, ожидая, пока сирена замолкнет, и сказал:

— Все в убежище. Продолжим после тревоги.

Первым торопливо вышел Милявский, за ним преподаватель педагогики. Устин Адамович стоял за столом, ожидая, когда выйдут студенты.

В коридоре творилась невероятная толчея. Студенты бежали вниз, в бомбоубежище, На лестничных площадках стояли дежурные, с трудом управляя этим хаотичным, бурлящим потоком.

У двери 23 аудитории, прислонясь к стене, стояла Вера. Сергей схватил ее за руку и потянул вниз. Они бежали вместе со всеми, спотыкаясь и чертыхаясь.

В подвале, приспособленном под бомбоубежище, было полно. Ребята толпились в дверях, под лестничной клеткой. Сергей и Вера остановились. Потом Вера вдруг молча потянула Сергея обратно. Они бегом поднялись на первый этаж и бросились к двери.

— Вы куда? Сумасшедшие! — крикнул им вслед дежурный, но они уже были на просторном институтском дворе. Он служил тренировочным треком для мотоциклистов, сюда выводили на разминку студентов преподаватели физкультуры.

— Не хочу быть в братской могиле, — запыхавшись, сказала Вера. — Лучше здесь.

Над городом стоял рев самолетных моторов. Сергей и Вера смотрели в небо, а самолетов не видели. Но вот где-то на Луполове ударили зенитки, казалось, в совершенно пустом небе вспыхнули маленькие белые облачка разрывов. И вдруг оттуда, с большой высоты, раздался все нарастающий рев с каким-то свистом и стоном. Самолеты с крестами на крыльях один за другим устремились вниз. Вера инстинктивно прижалась к Сергею. Где-то в районе железной дороги раздалась оглушительные взрывы. Земля под ногами вздрогнула.

— Сволочи, сволочи, сволочи... — шептала Вера. Зенитки били недружно, и казалось, что самолеты не обращали на них никакого внимания. Сбросив груз, они выстроились, как на параде, и повернули на запад. В это время в небе появился истребитель. Маленький, юркий, с красными звездочками на крыльях. Он бросился в погоню за бомбардировщиками.

— Сумасшедший, сумасшедший! Что он один сделает, — почти крикнула Вера, но «ястребок» уже пристроился в хвост последнему самолету и открыл огонь. Бомбардировщик ответил длинными огоньками пуль.

— Что это? — спросила Вера.

— Трассирующие, — затаив дыхание, глухо сказал Сергей.

— Ой, что это будет, что будет? — повторяла Вера.

А самолеты шли своим курсом. И бомбардировщик, несколько раз огрызнувшись огнем, летел как ни в чем не бывало. Тогда «ястребок» чуть рванулся вперед, как-то странно качнулся, и Сергей с Верой увидели, что бомбардировщик потерял управление, словно «ястребок» столкнул его с этого высокого неба.

— Смотри, смотри! — кричал Сергей. — Он ударил его винтом по хвосту.

Бомбардировщик лег на крыло, потом перевернулся и камнем пошел вниз. «Ястребок» отвернул и исчез за горизонтом.

— Миленький, миленький, так им и надо, так им и надо! — как маленькая девочка прыгала на месте Вера и все целовала и целовала Сергея, как будто он был тем летчиком, который таранил вражескую машину.

Прозвучал отбой тревоги. Вне себя от радости Сергей и Вера влетели в коридор института и вдруг услышали громкий голос Федора:

— Комсомольцы, в ружье! Сбор в актовом зале!

— Я побежал, — сказал Сергей и пожал Вере руку. — Вечером увидимся.

— И я с тобой, — рванулась за ним Вера.

— А как экзамены? Иди сдавай экзамены.

— А ты?

— Я Ушинского знаю назубок, — улыбнулся Сергей и побежал в военный кабинет.

Противогазы и винтовки получили быстро. Выстроились в центре актового зала.

— Где тебя черти носили? — спросил Иван.

— Я тебе такое расскажу, — пообещал Сергей, но тут в зал вошел Устин Адамович с военруком — старшим лейтенантом пограничных войск, уволенным из армии по состоянию

здоровья. Он был молодой и держался со студентами дружески. Может быть, поэтому его только на занятиях величали Валентином Ивановичем, а между собой просто Валентином.

— Равняйся! Смирно! — строго скомандовал Валентин и кивнул Устину Адамовичу.

— Вот что, товарищи, — сказал Устин Адамович и тут же поправился: — Вот что, ребята. Государственные экзамены отменяются. Начинаем жить по законам военного времени. Разобьем врага, а потом будем продолжать занятия. А теперь вы поступаете в распоряжение областного управления внутренних дел. Задачу получите на месте...

Четким строем шли по Ленинской, спустились к мосту через Днепр, а за ним заднепровская часть города с заливными лугами и одноэтажными домиками. Самое примечательное здесь — пивзавод, аэродром да на выезде из города на шоссе Орша — Могилев строящийся авторемонтный завод.

Шли молча, четко отбивая шаг. И Сергею вспомнилось, что вот таким четким строем ходили они на демонстрациях. С военными песнями, под музыку своего оркестра. В городе знали — студенты пройдут так, что будет любо-дорого посмотреть. Сейчас было не до песен.

Пришли во двор большой новой школы. Она напоминала штаб действующей армии. Куда-то шли и бежали посыльные, звонили телефоны, кто-то кому-то доказывал, что за невыполнение приказа в военное время грозит суд военного трибунала.

Тут же стояла походная кухня, а в стороне сидели и молодые и пожилые люди в гражданских костюмах, вооруженные винтовками, гранатами, противогАЗами. Кое-кто из них чистил оружие.

К студентам вышел молодежавый человек в милицейской форме с ромбом в петлицах.

— Товарищи студенты, — устало сказал он, выслушав четкий доклад Валентина. — В районе Луполова предполагается высадка вражеского десанта. Вам отведен участок у железнодорожного моста через Днепр. Отдохнете и через час в путь. Жаль, что кухня наша еще не работает — придется сбегать в магазин за сухим пайком...

Валентин что-то вполголоса сказал милицейскому начальнику. Тот кивнул головой и объявил:

— Проверьте оружие. У кого оказались учебные винтовки — замените на нашем складе в подвале. Кроме того, получите патроны. Можно разойтись...

Сергей, Федор, Иван и Эдик держались вместе. Союз, заключенный ими в дни учебы, приобрел сейчас совсем другой смысл. Если прежде они вместе сидели над конспектами, вместе ходили в кино или просто собирались поболтать на перемене, то теперь каждый из них почувствовал ответственность за судьбу другого. Мало ли что может случиться — они должны быть рядом, чтобы помочь, чтобы, если понадобится, выручить друг друга из беды.

Заменяв учебные винтовки на боевые, обвешавшись патронташами, вышли на улицу,

Это был четвертый день войны. Через деревянный днепровский мост на Луполово ехали видавшие виды машины — в них сидели осунувшиеся усталые люди с красными от бессонницы глазами, ехали на подводах с небогатым домашним скарбом, везли ручные тележки, уставленные чемоданами и узлами, шли пешком, налегке. Все были уверены, что даже если фашисты прорвутся к Могилеву, то через Днепр их не пустят и Луполово на этот случай окажется пристанищем для беженцев, которые шли и ехали издалека.

— Айда в гастроном, — скомандовал Иван.

— С оружием? — спросил Эдик. — Неудобно как-то.

— А ты про эти удобства забудь, — сказал Федор. — Теперь, брат, винтовка — твоя лучшая подруга. С ней и днем и ночью...

— Похоже, что так... — согласился Сергей. — Ну, пошли, купим чего-нибудь пожевать.

У гастронома толпился народ.

— Не хватало еще в очереди стоять... — проворчал Эдик.

— Пробьемся штыком и гранатой, — пытался пошутить Сергей, но тут ребята увидели на дверях магазина небольшой висячий замок.

— Вы не знаете, в чем дело? — спросил Иван у женщины, которая пыталась сквозь витрину увидеть кого-нибудь в магазине.

— Одни говорят — на обед ушли, другие — якобы завмаг и продавцы сбежали. Никто толком ничего не знает.

— Как это сбежали? — удивился Иван.

— Обыкновенно. Вы разве не слышали, что некоторые работники магазинов укатили на восток с выручкой в кармане...

Ребята переглянулись.

— Вот что, — сказал Иван хлопцам так, чтобы слышали все, кто толпился у магазина. — Вы здесь подежурьте на всякий случай, а я к милиционерскому начальству.

Иван поймал человека с ромбом в петлице в коридоре школы. — Я из пединститута. Пошли в гастроном, а он закрыт. Говорят — завмаг и продавцы сбежали. — Чушь какая-то, — сказал начальник. — Вот подлецы. Таких бы расстреливать на месте. Идем... — Он зашел в кабинет и долго звонил куда-то, кажется, в горторготдел. Потом бросил трубку и сказал: — Вот что, хлопцы. В горторготделе сами не знают, что случилось. С утра с магазином связи нету. Вы взломайте замок, становитесь за прилавок и торгуйте. Понятно?

— Непонятно... — растерянно пробормотал Иван.

— А ты не теряйся, студент. Время военное. Иди и выполняй приказ.

— Там же грабить начнут... без продавцов.

— Ты что, не понял? Вы студенты, народ грамотный, считать умеете, будете продавцами. А насчет грабежа — у вас в руках оружие. Теперь понятно?

— Как будто, — нехотя согласился Иван. — Но мы ведь должны идти к железнодорожному мосту.

— Пойдут без вас. А вы давайте в магазин. Вечером магазин на замок и выручку в банк. Выполняйте.

Иван повернулся и пошел.

У магазина ребята не заметили тени недоумения на лице Ивана.

Он распорядился быстро и четко, как будто всю свою жизнь только и делал, что взламывал замки.

Народу у магазина собралось много. Одни смотрели на действия студентов с сожалением, другие с любопытством, третьи — откровенно возмущались.

— Если так и дальше пойдет — все разграбят, растащат по щепочкам. Государство...

— Вам что, государство не нравится? — кричал Иван, подкладывая под пробой найденный во дворе магазина ломик. — Тогда идите на запад, целуйтесь с Гитлером.

— Эй, ты, молокосос, осторожно, — бросил кто-то из толпы. — А то за эти слова и в морду можно.

— Тихо! — крикнул Федор, видя, что замок выскочил вместе с пробоем.

Иван загородил дверь и объявил:

— За прилавками будем стоять мы четверо. Каждый рассчитывается за тот товар, который ему необходим. Можно заходить, граждане.

Граждане, среди которых оказались и любители легкой наживы, рванулись в магазин. Некоторые сами бросились за прилавок.

— Назад! — приказал Иван. — В очередь!

Голос его потонул в сплошных криках голодных, заждавшихся, обозленных людей. Иван снял курок с предохранителя, поднял винтовку над собой и выстрелил. В магазине сразу наступила мертвая тишина. Только слышно было, как с потолка посыпалась штукатурка.

— Вот так, — сказал Иван, — а теперь пожалуйста... Это был тяжелый день. Если со штучным товаром еще получалось, то отпуск на весах был настоящей мукой. То не хватало гирь, то ребята не знали, как с ними обращаться и как высчитывать предварительно взвешенную тару из общего веса, а потом умножать на стоимость каждого килограмма. Случалось, что покупатели ставили ребят в тупик и те не знали, как поступить. В такие моменты обращались к Ивану, и тот, с ожесточением потирая лоб, принимал решение.

В конце дня к магазину подкатила ручная тележка. Вошел ее владелец — здоровенный мужчина с полной, посапывающей от собственного веса женщиной.

— Мука есть? — требовательно обратился он к дежурным ребятам.

— Есть, — ответил за всех Иван.

— Нам два мешка, — сказал мужчина. — Отпустите.

— Нет, — вмешался Сергей. — Что это за норма такая? А другие придут — им ничего?

— А может, другим не надо? — усмехнулся мужчина. — А я плачу с надбавкой.

— Какой надбавкой? — поинтересовался Федор. — За культурное обслуживание покупателя.

— Пользуетесь обстановкой, — вспыхнул Эдик. — Думаете, если война, так можно спекулировать, наживаться? Вот остановят фашистов на Днепре да как погонят назад, что тогда с двумя мешками делать будете?

— Блинов напечем да вас в гости покличем, — вздохнула полная женщина. — А вам, соколики, все равно, что с мукой, что без муки. Продайте.

Иван посмотрел на своих мушкетеров. Эдик чуть не дрожал от ярости. Федор смотрел на мужчину с подозрением, Сергей с равнодушным любопытством.

— А почему вы не в армии? — строго спросил Иван. — Укрываетесь? — Вот! — Мужчина протянул за прилавок длинную волосатую руку. — Видишь? На левой нет аж трех пальцев.

— Сергей, Федор! Отпустите, — распорядился Иван. — А мешки со склада пусть сам таскает...

— Трех пальцев нет, — возмутился Эдик, — Явный дезертир, а ты его мучицей подкармливаешь.

— Успокойся, Эдик, он ведь не грабит.

— Думаешь, он покупает за трудовую копейку? Черта с два. Уверен, что ты проявил беспринципность.

— А лучше было бы, если бы все это разнесли без копейки?

— Ты думаешь?... Неужели ты думаешь, что они придут в Могилев?

— Не знаю, Эдик, — хмуро сказал Иван. — По крайней мере, их еще нигде не остановили, хотя бы на день...

Из склада появились Сергей с Федором. Мужчина нес на плечах мешок муки. Позади, держась за край мешка, плелась, тяжело дыша, его полная жена. Когда мужчина погрузил на тележку и второй мешок, а Федор бросил в кассу, словно разглаженные под утюгом, денежные купюры, Иван объявил:

— Шабаш, ребята. Нормальные магазины давно закрылись.

Дверь заперли на железный ломик, приклеив снаружи бумажку «закрыто», и устало опустили кто на прилавок, кто на мешок с сахаром, кто на радиаторную батарею. Все вдруг заметили, что в магазине не на чем сидеть — нет ни табуреток, ни скамейки. Это, наверное, так было заведено, потому что покупатель приходил не за тем, чтобы посидеть и покалякать с продавцом, а за покупками, которые хотел приобрести без всякого промедления.

— Живот к позвоночнику подвело, — пожаловался Сергей и потянулся к ящику с печеньем.

— Стоп! — остановил его Иван. — Зачем мы шли с вами в магазин? Пусть каждый возьмет, что хотел, и положит в кассу деньги.

— А работали мы бесплатно? — спросил Сергей.

— Шкурник... — улыбнулся Эдик. — Где ты видел, чтобы оперативные задания военного времени оплачивались?

— А почему ты за свои стишки получал? Взял бы и отказался — молодой, мол, я, начинающий, не платите мне, пока не научусь писать как следует.

— Во-первых, не за стишки, как ты изволил выразиться, а за стихи, — парировал Эдик. — А во-вторых, это вещи совершенно несравнимые.

Открыли кабинет завмага. Дверца сейфа была распахнута, ящики письменного стола вынуты и перевернуты. Над столом в рамке под стеклом висел большой портрет вождя.

— А между прочим, — продолжал разговор Иван, застилая стол грубой оберточной бумагой, — почему ты, Эдик, молчишь, как в рот воды набрал? Во все времена и эпохи в тяжкие годы поэты были со своим народом. Поднимали его, поддерживали, звали на борьбу, клеймили позором таких вот сволочей, которые вешают портрет руководителя над столом и несут камень за пазухой...

— Я пишу, — тихо сказал Эдик.

— Честное слово? — обрадовался Иван.

— Честное слово.

— А мы не видим, — вздохнул Сергей. — Это все пока что не на бумаге...

— Слушайте, — вдруг оживился Федор, — может, скинемся на бутылку, а то сухомытка в горло не лезет?

— Боже мой, — засмеялся Иван, — и с кем я только связался? Даже секретарь комсомольского комитета, и тот!... Ладно. Так и быть. Несите две бутылки. Завтра рассчитаемся.

После первого стакана портвейна разговор оживился. Усталость, скопившаяся за день, отступила, и ребята были полны прежней молодой горячности.

— Так кто мне, черт возьми, ответит, что происходит? — Сергей закурил и облокотился на стол. — Ну, внезапность, ну, вероломство, ну, отмобилизованные дивизии... А что у нас? Ничего? Где же оно все подевалось — и танки, и самолеты, и что там еще... — Сергей на мгновение замолчал, потом глубоко затянулся, пустил дым в потолок и неожиданно зло и тихо запел:

Если завтра война, если завтра в поход,
Если черная сила нагрянет...

Значит, что? Готовились мы или не готовились?

— Конечно, готовились, даже знали потенциального противника, — согласился Иван. — А потом заключили договор о ненападении и развесили уши. А он нам и дал по ушам.

— Теперь не скоро придем в себя, — заключил Федор.

— Дальше Днепра не пустят. Посмотрите, сколько войск понаехало в Могилев...

В это время с улицы застучали в дверь.

— Что они, не видят объявление? — недовольно спросил Сергей, но встал из-за стола. Встали и остальные.

Стучала пожилая женщина в поношенном сером костюме, в берете, из-под которого выбивались стриженные седые волосы. Левая рука ее была перевязана бинтом не первой свежести.

Увидев вооруженных хлопцев, вышедших из магазина, женщина спросила:

— А магазин работает?

— Вы же видите, — сказал Иван, кивнул на бумажку, приклеенную к двери. — Уже закрыт.

— Но в принципе он работает?

— В принципе работает, — сказал Эдик. — Только время его кончилось.

— А можно видеть завмага? — допытывалась женщина.

— Нет ни завмага, ни продавцов, — недовольно бросил Иван. — Вот мы и торговали полный день.

Женщина какое-то мгновение думала, а потом просительно сказала:

— Помогите мне, товарищи. Я директор детского дома из-под Гродно. Увезла ребят прямо под огнем. А ехали такими дорогами, что и поесть было негде... Помогите накормить детей. Вон они, в машине...

У тротуара стояла старая полуторка. Из кузова торчали ребячьи головки — белесые, русые, черные. Запавшими испуганными глазами смотрели они на улицу, на своего директора, на вооруженных парней в гражданских костюмах. Они смотрели без любопытства, свойственного детям, а строго и выжидающе.

Иван подошел к машине и улыбнулся.

— Не вешайте носа, ребята, теперь вас никто не тронет...

— Мы есть хотим, — вдруг захныкал мальчуган, сидевший у самого края кузова.

Иван повернулся к друзьям с какой-то неожиданной решимостью.

— Все хотите есть? — спросил он у детей.

— Все, все, все... — слышались голоса из кузова.

— Сейчас организуем, — сердито сказал Иван директору. — Хлопцы, загружай машину!

Сергей открыл дверь, а Федор с Эдиком уже несли сухари, печенье, конфеты, банки

консервов.

— Грузите им в мешки все что можно! — кричал Иван в дверь магазина.

— У меня нет столько денег, — тихо сказала директор дома.

— И не надо. Не надо никаких денег. Счастливого пути.

У женщины на глазах выступили слезы:

— Я вам так благодарна, так благодарна.

— Не надо нам благодарности. Счастливого пути, ребята! — крикнул Иван и помахал им рукой.

— Спасибо, дяденьки... — радостно ответил малыш, сидящий у края кузова.

Чмыхнув дымом, полуторка уехала. Эдик спросил:

— А как же мы отчитаемся, Иван?

— Перед кем? — спросил Иван.

— Я не знаю... — растерянно произнес Эдик.

— Вот что, ребята, — Иван положил руку Эдику на плечо. — Нам нет перед кем отчитываться, как только перед своей совестью. А совесть наша чиста, мы отдали продукты детям.

К магазину подкатила черная «эмка». Дверца открылась. Из нее выглянул милицейский начальник с ромбом в петлице.

— Ну, много наторговали?

— Наторговали... — махнул рукой Иван. — И в конце проторговались.

— Что так? — улыбнулся милицейский начальник.

— Дали продукты эвакуированному из-под Гродно детскому дому. Без денег.

— Правильно сделали, — сказал милицейский начальник. — Кто-нибудь один садитесь ко мне в машину. Повезем деньги в банк. Остальные закройте магазин и сдайте ключ нашему дежурному в школе. Завтра что-нибудь придумаем...

Глава двенадцатая ВИКТОРИЯ

Иван с матерью завтракали, когда дверь открылась и на пороге вырос Виктор.

Все эти дни от него в доме ждали весточки, но Виктор молчал. Из-под Гродно приходили сообщения, одно тревожнее другого. Иван не рассказывал о них матери, мать скрывала эти вести от Ивана.

И вот Виктор явился сам, седой, небритый, еще более осунувшийся, в потертом костюме, в разбитых туфлях, перевязанных шпагатом.

Мать бросилась Виктору на шею и заплакала.

— Не надо, мама... На всех слез не хватит.

— А Варвара, а девочка?

Виктор молчал. Иван заметил гримасу боли на лице брата и все понял. Горячий комок подкатил к горлу, но Иван сдержался. Он встал из-за стола, молча отошел к окну...

— Нету, мама, ни Варвары, ни девочки... — дрожащим голосом произнес Виктор.

Мать как-то обмякла на руках Виктора, вздрагивая от нервного всхлипа. Иван налил воды и поднес матери. Она пила, и зубы ее стучали по стакану.

Виктор молча сбросил Туфли, подвел мать к дивану, попросил у Ивана подушку.

— Ты успокойся, мама... Не я первый, не я последний. Сейчас у всего народа горе...

— Как же ты не уберег их? — спросила мать и снова заплакала, но уже почти неслышно, только слезы текли и текли по ее щекам.

— Варвара с Иринкой была дома... А тут началась бомбежка... Не успели даже во двор выскочить.

— Боже мой, боже... — тихо стонала мать. — Что же с нами будет, детки мои?...

— Не пропадем, мама, — сказал Иван. — Как все, так и мы... Пойдем, Виктор, умоешься... — Он увел брата на кухню, дал ему бритвенный прибор, развел мыло. Пока Виктор брился, он спрашивал:

— Ты видел немцев своими глазами? — Видел.

— Такие уж непобедимые?

— Под Гродно им даже дали прикурить. Они откатились, а потом снова ударили. Танков у них до чертовой матери... И самолетов. Отходим пока... На дорогах страшное дело.

— Ты куда сейчас? — спросил Иван, заранее зная, что Виктор не будет сидеть дома.

— Побегу в ЦК партии. Там скажут, что делать. А пока подыщи мне что-нибудь на ноги...

Кончали завтракать втроем. Собственно, ел один Виктор. Мать, подперев голову маленькими сухонькими кулачками, смотрела на Виктора так, словно видела его в последний раз. Иван рассказывал брату про обстановку в городе, про свои дела.

— Это хорошо, что людей вооружают... Научиться бы еще танки уничтожать...

На улице вскочили в попутную машину. У кинотеатра «Чырвоная зорка» Иван постучал в кабину. Машина остановилась.

— Я в институт. А на Луполово дальше, — Иван махнул Виктору и пошел.

Институт стал молодежным боевым штабом. Большая часть студентов разъехалась по домам, но многие остались. Это были в основном комсомольцы, которых Могилевский горком всегда считал своим активом. Случай в луполовском магазине стал известен всему городу. Теперь горком комсомола посылал студентов не только в брошенные магазины, но и на хлебозавод, и в столовые, и даже в ресторан. Поскольку в столовые уходили по преимуществу девчата, хлопцев направляли на охрану городских продовольственных складов. Поэтому каждое утро, как и прежде, в дни занятий, в институт стекались студенты от первого до четвертого курса. Все собирались в актовом зале, в котором всегда находился дежурный комсомольского комитета. Тетя Дуся по-прежнему оставалась на месте, хотя ей уже никто не звонил и никто не сдавал в гардероб свою одежду. Сдавали только оружие, да и то в военный кабинет, в дверях которого был выставлен часовой из числа студентов.

Иван быстро поднялся на второй этаж и уже в коридоре услышал голос Устина Адамовича:

— Вокруг Могилева необходимо вырыть противотанковый ров общей протяженностью до 25 километров. Потребуется большое количество рабочих рук. Сегодня студенты получают направления на самые ответственные участки.

Федор оставлял за себя в институте одну из девушек, а сам уезжал под Польшковичи. Сергей ехал на участок Буйничи — Салтановка. Эдик с Иваном ехали на Шкловский шлях. Очевидно, этот круговой ров должен был пройти в километрах десяти от города.

Стоял жаркий июльский день. Грузовик со студентами протарахтел по булыжнику Ульяновской улицы, миновал нефтебазу, совхоз лекарственных трав и выскочил на шлях, подняв тучи пыли. Скоро все, кто сидел в кузове, покрылись этой пылью, как пеплом. По вспотевшим лицам она стекала грязными ручейками, лезла в нос, в глаза, уши. Когда грузовик остановился, все вздохнули с облегчением. Эдик с Иваном отряхнули друг друга и вместе со всеми направились к группе военных, стоявших у огромного штабеля лопат с новыми точеными ручками. Пожилой капитан, видно из приписников, потому что военная форма на нем сидела как-то неуклюже, наметил для студентов участок и сказал:

— Для таких орлов меньше не могу. Приедут еще женщины, подростки, старики. Разве им сработать столько, сколько вам?

Хлопцы выбрали лопаты поудобнее. Эдик вонзил свою в землю, потом сел, достал пачку папирос:

— Лиха беда начало!

Иван сплюнул на ладони, копнул и выбросил первый кусок грунта. Эдик заметил:

— А между прочим, плевать на руки не рекомендуется. Это мне еще покойный батька говорил. Быстрее мозоли натираешь.

Иван промолчал. Эдик посмотрел на него раз, другой:

— У тебя что-нибудь случилось?

— Виктор едва добрался до Могилева. Жена и дочка погибли во время бомбежки.

Эдик начал работу с каким-то немым неистовым упорством. Утешать Ивана не хотел — тот был достаточно сильным, чтобы пережить эту утрату. Эдик думал с тревогой о том, что не давало ему самому покоя всю эту неделю, с первого дня войны — Маша не возвращалась из

Ленинграда. Эдик не мог допустить мысли, что случилось самое страшное, но Маши дома не было, и Светлана Ильинична каждый раз встречала Эдика слезами. Эдик садился и подолгу рассказывал о положении на фронте, предполагал, успокаивал Светлану Ильиничну и себя, как можно из Ленинграда добраться до Орши, а оттуда в Могилев уже рукой подать.

Около полудня ребята увидели в небе фашистский самолет. Это был тот самый двухфюзеляжный разведчик, который в народе уже прозвали «рамой». Было известно, что после посещения «рамы» обычно появлялись бомбардировщики.

Но на этот раз не успели хлопцы переброситься двумя-тремя замечаниями в адрес этого проклятого самолета, как вдруг из-за лесочка, что расстился на холме, под которым люди рыли противотанковый ров, вырвались стремительные штурмовики.

— Ложись! — звучно скомандовал пожилой капитан из приписников, и команду эту на разные голоса передали дальше, где работали сотни, тысячи, а может, десятки тысяч людей.

Самолеты постреляли и скрылись за ближайшей деревней. И только Иван сел во рву, как увидел, что штурмовики развернулись на очередной заход.

И снова прозвучала команда капитана. Но на этот раз кто-то на соседнем участке не выдержал и побежал. Это была молодая женщина или девочка, потому что бежала быстро, энергично размахивая цветастой косынкой, бежала в открытое поле, вместо того чтобы скрыться в холмистом перелеске. И вдруг самолет, летевший на бреющем над противотанковым рвом, отвернул и начал преследовать убегающую. Он стрелял из пулемета, потом взмывал в небо, снова, как коршун, падал на одинокого испуганного человека.

Что-то знакомое почудилось Ивану в этой женщине, которая сама себя обрекала на гибель. Иван рванулся из рва и бросился вслед за ней.

— Иван, куда ты? Назад, что ты делаешь? — кричал вслед Эдик, но Иван уже не слышал его. Он мчался изо всех сил, спотыкаясь о какие-то кочки, подминая высокую некошеную траву. Он слышал стонущий рев самолета, который пролетел так низко, что чуть не задел его колесами, и громкий треск выстрелов. Но женщина впереди все еще бежала, хотя не так быстро, как прежде, а фашистский летчик просто охотился за нею, а теперь уже и за Иваном.

Наконец Иван догнал ее и, схватив за руку, повалил на землю. И сам упал, задыхаясь от быстрого бега. А самолет, развернувшись, снова пролетел на бреющем полете и скрылся за горизонтом.

Некоторое время Иван и девушка лежали неподвижно. То ли устали от этого преследования, то ли ждали, что самолет опять вернется. Но кругом царил тишина. Такая тишина, что слышно было, как стрекотали кузнечики и звенели пчелы на полевых цветах.

Иван сел. И в этот момент девушка, лежавшая ничком, повернула в сторону Ивана взъерошенную голову и посмотрела на него удивленными и испуганными глазами.

— Виктория?

— Ой, как я испугалась. Так не хочется умирать.

— Каким чудом вы оказались здесь? — спросил Иван и подал девушке руку, помогая подняться. — Зачем же вы бежали, Виктория? Вы же слышали команду? Надо было упасть в ров, летчик и не заметил бы.

— Здравствуйте, Ваня, — вздохнула Виктория. — Я, кажется, вас обидела, вместо того чтобы поблагодарить. Простите. Но, знаете, не могу себя перебороть. А все началось после первой бомбежки. Мы с мамой и другими работниками театра уходили из Гродно пешком. Это было ужасно. Дорога была забита повозками и машинами, а по обочинам шли мы со своими нехитрыми пожитками. Вдруг налетели самолеты, начали бросать бомбы и стрелять. Что тут началось! Ржали раненые лошади, кричали от страха люди, какой-то ребенок звал маму, а мама ребенка, в небе стоял сплошной вой и грохот. Мы с мамой упали прямо у обочины и зарылись лицом в траву. Страшно было поднять голову. Когда все стихло, я села и осмотрелась. На дороге лежала убитая лошадь, а повозки не было. Недалеко горела грузовая машина. Валялись брошенные чемоданы, узлы, а совсем рядом со мной лежал гриф от гитары. Какой-то чудак решил унести от фашистов гитару. Взрывом ее разнесло на куски, а гриф упал рядом со мной.

— Мой брат сегодня вернулся из Гродно, — сказал Иван.

— Вы обещали меня с ним познакомить... — Виктория вдруг замолчала, и по веснушчатому лицу ее пробежала тень.

— Разве сейчас это имеет значение? — спросил Иван и вдруг увидел, что Виктория плачет. Не услышал, а увидел, потому что она не всхлипывала, а плакала молча, плотно сжав губы, и крупные слезы стекали по ее лицу.

— Вы удивляетесь, почему я побежала от самолета? — продолжала Виктория чуть прерывающимся дрожащим голосом. — Я сидела тогда на обочине, оглушенная и потрясенная всем, что увидела. Я сидела, а мама не поднималась. «Мама, они уже улетели», — сказала я и тронула ее за плечо. Мама не пошевелилась. Я повернула ее и закричала от ужаса. Мамино лицо все было залито кровью. Пуля попала ей в голову... С тех пор я боюсь... — Виктория говорила, а слезы все текли по ее лицу.

Иван вдруг почувствовал, что тосковал по этой девушке. Он надеялся, что встреча в Гродно будет какой-то очень важной для них обоих. Но она не состоялась. А теперь Виктория осталась одна, и он не мог отпустить ее от себя в такое страшное время.

— Знаете что, — предложил Иван. — Пойдемте на наш участок. Там столько мушкетеров...

— А мне много не надо, — попыталась пошутить Виктория.

— Идемте, а то вы опять побежите...

Они возвращались. Иван видел, как со всех сторон на них смотрели люди, и ничуть не стеснялся. Наоборот, где-то в глубине души он даже немножко гордился тем, что шел рядом с такой удивительной девушкой. Правда, никто из них, кто копал ров, не знал Виктории. Но это было неважно. Он вдруг вспомнил новогодний вечер и сказал словно про себя:

— А мы надеялись, что 41-й будет счастливым...

— Ох, какие мы были глупые, — словно думая вслух, сказала Виктория. — Я это поняла сразу, как только приехали в Гродно. Там, рядом с границей, все видели, как фашисты подтягивают войска. Потом несколько раз их самолеты пролетали над самым городом, потом наших пограничников обстреляли... Я сама видела на спектакле одного раненого лейтенанта... Мы выступали с концертом в госпитале...

Студенты встретили их любопытными и немножко снисходительными взглядами. Иван весь как-то напряжился, собрался — он знал институтских зубоскалов. Но странное дело — никто в их адрес не сказал ничего такого, что могло бы обидеть Викторию или задеть самолюбие Ивана.

— А мы за вас так испугались, — сказал Эдик Виктории, — и за тебя тоже, — толкнул он легонько Ивана. — Хорошо, что все обошлось...

Иван передал свою лопату Виктории:

— Мы вас больше не отпустим. Вот ваше место. Это мой друг Эдик. — Иван побежал, чтобы взять лопату для себя.

— А я вас знаю, — сказала Виктория Эдику, легко выбрасывая грунт Ивановой лопатой. — Вы тоже были мушкетером на новогоднем вечере. И даже читали собственные стихи.

— Вы студентка? — заинтересовался Эдик.

— Нет, я простая костюмерша из театра.

— Теперь и я вас вспомнил, — улыбнулся Эдик. — Это вы танцевали с Иваном весь вечер.

Виктория улыбнулась, и ее веснушчатое лицо порозовело и оживилось.

— Был грех.

— Какой же это грех принести радость человеку?

— Радость?

— А может, и нечто большее, — задумчиво сказал Эдик.

— Не задавайте загадок, Эдик, — попросила Виктория, — потому что я их не умею отгадывать. Моя слабость с самого детства.

— Для этого надо хорошо знать нашего друга, — улыбнулся Эдик и, заметив, что Иван возвращается, предупредил: — Я вам ничего не говорил, понятно?

— Почему?

— Он меня убьет этой самой лопатой.

— Обещаю сохранить вам жизнь, — улыбнулась Виктория...

День прошел относительно спокойно. Вечером фашисты бомбили железнодорожную станцию. В небо поднялись черные столбы дыма.

Из противотанкового рва домой никого не отпустили. Пожилой капитан объявил, что все на оборонных работах считаются мобилизованными и всякая отлучка будет расцениваться как дезертирство.

Почти в сумерках приехала полевая кухня с полной машиной солдатских котелков. Проголодавшиеся студенты быстро выстроились в очередь. Стали подходить женщины, подростки, пожилые мужчины. Иван посмотрел на ребят и звучно скомандовал:

— Студенты, внимание! Получим свои котелки последними. Кругом шагом марш!

— И я с вами, — попросилась Виктория.

— Нет, нет, женщины — вперед, — настаивал Иван. Он подошел к полевой кухне и поставил Викторию в ряд с женщинами.

— Это вы зря, — сопротивлялась Виктория. — Я бы тоже могла подождать.

— Мы ведь все-таки мушкетеры... — улыбнулся Иван.

— Какие вы мушкетеры? — махнула пустым котелком высокая пожилая женщина с большими сильными руками. — Мушкетеры вон там, — она махнула котелком на запад, — свои головы кладут, а вы тут с бабами за кашу торгуетесь.

Ивана словно кипятком хлестнули. Он стоял растерянный, не зная, что ответить этой высокой костистой женщине. Она была права. Да разве расскажешь ей, как на второй день войны Иван с целой группой выпускников пробился в переполненный военкомат к полковнику Воеводину. Узнав, что у ребят на руках отсрочки от призыва, полковник развел руками:

— Ничего не могу поделать. В отношении студентов нет никакого приказа.

— Как же нам быть?

— Ждите. Придет и ваша очередь.

А очередь не приходила, и ребята радовались тому, что получили оружие в институте.

Иван покраснел, потер сосредоточенно лоб, смахнул с лица сразу набежавший пот.

— Ты бы не трогала его, Авдотья, — раздался другой женский голос. — А то видишь как застыдился...

— Тихо вы, бабы! — проворчал пожилой мужчина в потрепанной косоворотке, без пояса. — Пристали к хлопцу, как пиявки. Вам что, повывлазило, как он эту девушку укрыв от самолета?

Высокая заметила:

— Ее счастье, что этот мушкетер догнал ее в поле, а не в лесу...

Раздался громкий смех.

— Как вам не стыдно! — крикнула Виктория, и веснушки на лице ее потемнели. — Кругом льется кровь, а вы... — Виктория не находила слов. — Я эту кашу есть не стану... — Виктория швырнула котелок на землю и ушла к студентам, отдыхающим на пригорке.

— Ну и катись! — зло сказала высокая и подняла котелок с земли. — А ты чего стоишь, мушкетер?

— Авдотья! — не выдержал женский голос. — Что ты делаешь? Разве они виноваты, что твои хлопцы с первого дня где-то на границе пропали... Этой проклятой войны на всех хватит...

Иван молча отошел от кухни. Обида не проходила, хотя слова женщины о сыновьях Авдотьи слегка приглушили ее.

Растянувшись на зеленой траве, лежал Эдик и смотрел в небо, залитое причудливыми красками заката. Рядом, поджав под себя ноги, сидела Виктория. Иван подошел, опустился рядом.

— Слышал? — спросил он Эдика.

— Слышал, — спокойно ответил Эдик. — Ничего особенного. Просто у человека душа горит, вот он и обжигает других.

— А у меня разве не горит? — тихо спросил Иван. — Душа горит, руки горят, голова раскалывается... Не буду больше я окопы копать. И все.

— А куда денешься? — спросил Эдик. Он держал под головой сжатые кулаки и не шевелился.

— Куда денусь? — переспросил Иван. — В горком пойду. Пусть настоящее дело дают, а

не лопаточки... Стыдно, конечно, такие жеребцы и прячутся за подол... Я понимаю эту женщину, а меня она не хочет понять...

— Ваня, успокойтесь. Вы ей ничего не докажете... — равнодушно сказала Виктория.

Ночевали в перелеске. Зажигать костры и курить не разрешалось. Дневная жара сменилась вечерней прохладой, а потом и ночным холодом. Съежившись под своим пиджачком, спал Эдик. Видя, как страдает от холода Виктория, приехавшая на работу в одном платье, Иван снял с себя пиджак и набросил ей на плечи.

— А как же вы? — спросила Виктория.

— Я привычный, — храбрился Иван, чувствуя, как противный липкий озноб пробегает по спине.

— Хватит вам строить из себя мушкетера. Давайте посидим под этим пиджачком вдвоем. Будет теплее,

— Спасибо. Я как-нибудь так, — смутился Иван.

— Да что вы в самом деле? — притворилась обиженной Виктория. — Не то я брошу этот пиджак, и все.

— Не бросайте, — попросил Иван и сел рядышком. Виктория накинула одну полу пиджака на плечо Ивану, другую на себя:

— Подвиньтесь ближе, а то нам и двух пиджаков не хватит. Вот так. Прижмитесь к моему плечу,

Первое прикосновение. Оно как-то сразу насторожило обоих. Они сидели и молчали, прислушиваясь к себе, к своему сердцу, к сердцу близкого человека.

Высоко-высоко летели без опознавательных знаков самолеты.

По гулу моторов трудно было угадать — свои или чужие, но звук этот тревожил обоих.

— Наверное, дальние бомбардировщики, — тихо сказал Иван.

— На Москву... — вздохнула Виктория,

— Почему именно на Москву?

— А им самое главное — Москва, а там конец всему Советскому Союзу.

— Как это у вас так легко получается? Еще до Могилева не дошли.

— Разве это у меня получается? — возразила Виктория. — Это у них получается, а у нас нет.

— И у нас получится, вот посмотрите... Видите, какую оборону готовим вокруг своего города? А Днепр? Днепр надо форсировать. Говорят, танков у них до черта, а как на танках по Днепру?

— До Днепра были перед ними другие реки. Неман, например...

Замолчали. Под пиджачком стало совсем уютно. Только теперь Иван ощутил, что волосы тоже пахнут. Локоны Виктории, касавшиеся его лица, пахли необыкновенно — свежим ветром и солнцем. Да, да, солнцем, хоть и говорят, что солнце не имеет запаха. Этот запах ветра и солнца разливался по всему телу каким-то волнующим теплом.

Над городом в высоком звездном небе вспыхнули две яркие ракеты. Они взлетели за железной дорогой, а упали почти над вокзалом.

— Вот бы поймать того гада, — зло прошептал Иван.

— А я видела такого гада, как вы говорите. Его поймали под Барановичами. Молодой такой, нахальный, в красноармейской форме с иголки, улыбался. И ругался по-русски. Я так и не поняла — он из фашистов или местный.

Далеко за железной дорогой послышались выстрелы, и опять стало тихо, а потом снова загудели самолеты. Было непонятно — это возвращались те самые, о которых Виктория говорила, что они направлялись на Москву, или летела новая эскадрилья.

— Мы все время на «вы». Давайте попроще, — сказал Иван.

— Я не согласна, Ваня, — Почему?

— В этом, мне кажется, больше уважения друг к другу. Например, я маму всегда называла на «вы».

— А мне кажется, это официально, как в учреждении.

— Нет, Ванечка, вы ошибаетесь, честное слово.

— Может быть, — согласился Иван и вдруг, словно бросившись с крутого берега,

спросил: — А у вас был когда-нибудь друг?

— Как вам сказать, — задумалась Виктория, и сердце Ивана замерло. — У меня всегда настоящим другом была мама. И мамой и другом. У меня от нее не было никаких секретов.

— Я не об этом... — смущенно сказал Иван. — А с парнем вы дружили?

— Нет. Правда, в пятом классе мне нравился один мальчишка. Так он какой-то странный был. Поймает меня на перемене да за косички, за косички... Наревусь я от него вдоволь, но ни разу не пожаловалась классному.

— Смешная вы, Виктория, — да этот мальчишка был влюблен в вас по уши, а вы не поняли.

— Может быть, — улыбнулась Виктория. — Но когда я встретилась с вами в костюмерной, помните, мне почему-то захотелось, чтобы вы меня потянули за косички... Я бы никому не пожаловалась.

Иван рассмеялся.

— Это смешно, правда?

— Нет, не смешно. — Иван прижался щекой к ее волосам и закрыл глаза. Ему почудилось, что он идет по весеннему полю, наполненному запахом свежего ветра и солнца. Так хорошо и свободно дышится, только почему-то сильно и часто стучит сердце. Он слышит в висках его неутомимый и горячий стук. Иван касается губами ее щеки. Виктория замирает на мгновение, потом поворачивает голову, и губы их встречаются...

— Ванечка, родненький, как я соскучилась без вас... — шепчет Виктория. — Я думала, что в этом Гродно с ума сойду. Все мне вспоминался тот новогодний вечер, когда мы с вами танцевали, танцевали... Я вспоминала ваши глаза, вашу улыбку и готова была бросить все и бежать...

— Виктория... — Иван не мог говорить. Он крепко прижал к себе девушку.

— Вам хорошо? — тихо шепчет Виктория.

— Очень... — шепотом отвечает Иван.

— Так почему вы молчите?

— Мне стыдно перед моими мушкетерами.

— За то, что мы с вами?

— Нет. За то, что я был несправедлив. Любовь не мешает борьбе, а наоборот.

— Не понимаю, — призналась Виктория. — О чем это вы?

— Я всегда считал, что в наше время полюбить девушку — это значит связать себя по рукам и ногам. А наше время — это время борьбы с фашизмом, может, даже за советскую власть во всем мире. Вот и ссорился я с друзьями, а теперь вижу — незаслуженно ссорился. Я люблю вас, Виктория, и могу об этом кричать на весь мир. Я люблю вас...

Занимался рассвет. Тихий, робкий, словно ничего не изменилось на этой земле. Как всегда, нежно розовел край неба, потом весь горизонт, потом выплыл диск солнца, и небо вспыхнуло ярко и весело. Птицы, осторожно попробовавшие голоса на рассвете, сразу защебетали смело и деловито. И все было так, как прежде, до войны.

Иван с Викторией совсем не уснули, но усталости не было. Они поднялись на вершину холма, заросшего мелколесьем, и посмотрели вниз. Насколько хватал глаз, тянулась полоса противотанкового рва, вырытого где мельче, где глубже. Работы оставалось дня на три, если не разгибаться с утра до позднего вечера.

А внизу их встретил Эдик с какой-то виноватой, растерянной улыбкой. Держа за спину руки, он сказал Ивану:

— Ты можешь меня расстрелять, как дезертира.

— Что случилось? — испугался Иван.

Эдик протянул Ивану руки, сжатые в кулаки, потом с трудом разжал их, и Виктория с Иваном увидели ладони Эдика, покрытые сплошными ранами.

— Я говорил тебе, помнишь, что нельзя поплевывать на ручку лопаты, а сам понемножку поплевывал, уж больно скользила она, а к вечеру вся ручка была в крови. Я сам виноват.

— Ладно. Не казни себя, — спокойно сказал Иван. — Давай на любую попутную и в город. Сделай перевязку и доложи Устину Адамовичу. Скажи — сил больше нет копать вместе с женщинами да стариками. Пусть забирает отсюда — иначе сбежим,

— Так я пошел, — не то спросил, не то сказал утвердительно Эдик.

— Какой ужас... — вздохнула Виктория. — Это, наверное, очень больно, когда растираешь мозоли до крови?

— Наверное, — сказал Иван и, увидев полевую кухню, которую на прицепе привезла полуторка, попросил Викторину: — Возьмите, пожалуйста, завтрак на двоих. Не могу я идти в этот хвост. Опять будет что-нибудь не так.

— Хорошо, Ванечка. — Виктория заторопилась к кухне.

Они ели вдвоем из одного котелка и, как шаловливые дети, наперебой вылавливали из борща редкие кусочки мяса. Вылавливали и смеялись, счастливые и радостные от этой встречи, которая сделала их близкими и родными.

Все было, как прежде, до войны...

А около полудня, не успев пожилой капитан из приписников скомандовать «воздух», как из-за холма, на котором стояли утром Иван с Викторией, снова вынырнули фашистские штурмовики. Люди бросились на дно спасительного рва. Самолеты скинули несколько небольших бомб и открыли огонь из пулеметов.

Потом заход повторился. От воя и треска небо раскалывалось над головой.

Иван сразу не заметил, что Викторини нету рядом. Он оглянулся на чей-то истеричный крик:

— Смотрите, смотрите! Эта сумасшедшая опять побежала!

Иван глянул в поле. Так же, как и вчера, Виктория бежала подальше от этого места, на которое несут смерть фашистские самолеты. Бежала не оборачиваясь, гонимая неопределенным страхом. Иван снова хотел рвануться вслед, но студенты схватили его за ноги.

— Куда?!

А самолет, как и вчера, погнался вслед за девушкой.

Виктория бежала все дальше, а самолет, спустившись до бреющего полета, шел прямо на нее, яростно стреляя из пулемета.

Ивану показалось, что Виктория споткнулась. Она как-то сразу замедлила бег, а потом, повернувшись, посмотрела вверх и упала на спину.

Самолеты ушли, и над полем снова стало тихо. Иван опрометью бросился туда, где лежала Виктория. Странно, что она не поднимается, — разве не видит, что самолета уже нет, что ей ничто уже не угрожает. И вдруг он понял, что Виктория не поднимется уже никогда, понял, что потерял человека, во имя которого готов был отдать собственную жизнь.

Иван подбежал и остановился. Виктория лежала неподвижно, широко раскинув руки, и смотрела в высокое небо, откуда пришла к ней эта неожиданная и нелепая смерть.

Иван опустил на колени и щекой прижался к ее еще теплой щеке.

Волосы ее по-прежнему пахли свежим ветром и солнцем.

Глава тринадцатая ПЕРЕД СХВАТКОЙ

Актовый зал был полон. Федор посмотрел со сцены на знакомые загорелые лица ребят и подумал о том, как крепко сдружились они в эти дни, наполненные опасностью и тревогой. Вон сидят Вера и Сергей, рядом Эдик с забинтованными руками, осунувшийся, строгий Иван. Нет Кати и, наверное, не будет, малышка привязала ее к дому окончательно.

Устин Адамович и Валентин стояли за столом, ожидая, когда Федор откроет собрание. Федор подошел к краю сцены, и в зале воцарилась мертвая тишина. Он отметил про себя, что до войны такого не было.

— Президиума не будет, — сказал Федор. — Обойдемся. Слово исполняющему обязанности директора Устину Адамовичу.

В эти напряженные дни и бессонные ночи Устин Адамович находился в институте. Вряд ли удавалось ему побывать часок-другой дома. Со студентами у него установились своеобразные отношения. Он не называл их, как прежде, несколько официально товарищами, но и не похлопывал по плечу. Он многих знал по имени, сдружился хорошей дружбой старшего

с младшими. Предвидя серьезные испытания для своих питомцев, он исподволь готовил их к этому и готовился сам.

— Горкомом партии мне поручено сообщить вам, ребята, — несколько торжественно начал Устин Адамович, — что вчера под Могилевом проведено совещание представителей главного командования Красной Армии с командованием корпуса, которому поручено оборонять Могилев, и руководителями партии и правительства республики. Могилеву придается особое значение. Он должен задержать на Днестре дальнейшее продвижение противника на восток и, может быть, склонить чашу весов в нашу пользу. Городской комитет партии стал штабом народного ополчения. Повсюду на предприятиях — на шелковой фабрике, труболитейном заводе, авторемзаводе — создаются отряды ополченцев, которые примут участие в боях за Могилев. Какое будет мнение комсомольцев?

— Даешь отряд! — крикнул из зала Иван, и собрание сразу взорвалось и зашумело на разные голоса:

— Правильно!

— Хватит отсиживаться!

— Даешь народное ополчение! Устин Адамович поднял руку:

— Другого ответа мы и не ждали. Объявляю вам решение городского штаба — командиром отряда назначается Валентин Иванович, комиссаром — я.

Ребята вдруг подхватились с места, и зал грохнул бурей аплодисментов. Так бывало только в особо торжественные и праздничные дни.

Под эту бурю, размахивая забинтованными ладонями, к сцене прошел Эдик. Он терпеливо подождал, пока шум уляжется, и тихо сказал:

— Это очень правильное решение, и хорошо, что главное командование приехало в Могилев. Вы бы слышали, что говорят в адрес наших студентов на окопных работах. Выходит, что мы чуть ли не дезертиры, а теперь совсем другое дело.

— Стихи! Давай стихи! — крикнул кто-то из зала. Эдик посмотрел в ту сторону, откуда раздавался голос, словно хотел угадать автора просьбы, на мгновение задумался и громко прочитал:

Друзья мои, я знаю — это будет,
На дорогих днепровских берегах
Мы защитим своей могучей грудью
Свой город, свое счастье от врага...

И снова гремели аплодисменты, а Эдик шел на место, и ни тени радости не было на его взволнованном бескровном лице.

В эту ночь ополченцы института уходили в засаду на Луполово — там участилось появление ракетчиков и диверсантов. А на Луполове были аэродром, железнодорожный и деревянный мосты через Днепр, которые надо было сохранить во что бы то ни стало — на восток уходили поезда с оборудованием фабрик и заводов, город покидали дети и старики.

С самого вечера на Луполове было беспокойно. На железнодорожной станции перекликались маневровые паровозы, стучали буфера сдвигаемых вагонов, раздавались громкие команды, гудели моторы машин — сгружались воинские части. А вскоре машины, артиллерийские орудия и повозки уже гремели по булыжнику узенькой улицы Луполово к деревянному мосту через Днепр, ведущему в центральную западную часть города.

— Я же вам говорил, — заметил Эдик, придерживая винтовку забинтованной рукой, — что Могилев не отдадут ни за что.

— Кто с тобой спорил? — сказал Сергей и вздохнул. — Эх, сейчас бы покурить хотя бы в рукав.

— Давай сообразим. — Федор снял стеганку, накрылся с головой. — Залезай, надымимся, а то потом, наверное, придется терпеть до утра.

Из-под стеганки густо валил табачный дым. Иван сидел на каком-то ящике, вспоминал сегодняшнюю встречу с Виктором. С тех пор как он вернулся из Гродно и уехал в ЦК, прошло

три дня. За эти дни он ни разу не пришел домой. Выплакавшая все слезы мать сидела и вздыхала:

— Хоть бы на минуточку забежал или передал одно слово — жив. А то ведь что творится в городе — давеча выскочила утром в магазин, смотрю — лежит на тротуаре убитый. В аккуратном таком костюме, хороших туфлях, в рубашке под галстуком. Хотела кликнуть кого-нибудь — и кликнуть некого. Слава богу, ехала какая-то машина, остановилась. Командир полез к нему в карман — а при нем и документы — в Совете Министров работал. Ведь кто-то же знал и убил. Они, эти диверсанты, и в красноармейской, и в милицейской форме ходят. Может, и Виктора вот так на Луполове... Ты ж там бываешь, сынок, ничего не слыхал?

— Успокойся, мама, — говорил Иван, только бы не молчать, — Виктор привык к опасностям.

Эти волнения матери как-то не трогали Ивана — он болезненно переживал гибель Виктории. Вспоминалась до малейших подробностей ночь, которую просидели они рядышком в перелеске, вспомнилось утро и это самоубийственное бегство от самолета. Иван никак не мог понять, какой силой обладал страх, сорвавший Викторию с противотанкового рва и бросивший в открытое поле.

Не успел Иван вернуться с комсомольского собрания, как пришел Виктор.

Иван заметил, что брат изменился — от прежней растерянности не осталось и следа.

— Ну что ж, кажется, мы приходим в себя, — сказал Виктор вместо приветствия. — Начинаются дела серьезные.

— Ты-то как? — вздохнула мать. — Небось, проголодался?

— Нет, я сыт, мама, а другой раз просто не хочется...

— Садись за стол, — захлопотала мать, — успеешь еще наговориться.

— Нет, не успею, сегодня ночью ухожу.

— На фронт? — спросил Иван.

— Нет, на Гродненщину.

Иван с недоумением посмотрел на брата. Остановилась в дверях мать.

— Да, да, не удивляйтесь. Есть такая директива ЦК — организовывать партизанские отряды в захваченных районах.

— Значит, война надолго? — спросил Иван.

— Она будет тяжелой, — уклонился от прямого ответа Виктор. — И многое, наверное, решится здесь, под Могилевом. В город прибыла Тульская дивизия генерала Романова., под ружье встанут все горожане от мала до велика.

— Твой младший уже в ополчении, — сообщила мать, горестно сложив руки на груди. — Болит мое сердце, не к добру...

— Да что ты все ноешь, мама? — поморщился Виктор. — Ты знаешь, с кем я сегодня разговаривал? С самим Маршалом Советского Союза.

— А где ты с ним познакомился?

— Да не знакомился я вовсе, а дело было так. В ЦК шел разговор с нашей гродненской группой, уходящей в тыл врага. И вдруг в нашу комнату вошел секретарь ЦК вместе с Климентом Ефремовичем, пристально так посмотрел на нас, потом почему-то остановил взгляд на мне и сказал: «Идете вы на опасное дело, на подвиг, и если кто из вас почему-либо не готов к этому, пусть по-честному признается. Мы не взыщем, дадим другую работу, другие задания». Я смотрел на него и волновался. Что мне было ответить? Среди нас, сказал я, таких нет. Маршал прошелся по комнате, задумавшись, и снова остановился около меня. «Тогда в добрый путь, дорогие товарищи, — сказал он. — Желаю вам успеха. Бейте смертным боем фашистскую нечисть...»

— А чем же вы ее бить будете? — снова вздохнула мать. — Танки вам дали?

— А зачем партизанам танки? С ними в лесу не повернешься. Одна морока...

Сейчас, когда Иван сидел на этом ящике, Виктор с товарищами где-то переходил линию фронта. Хотя, рассказывал брат, такой линии не существует. Бои идут на особо важных участках вдоль железных и шоссейных дорог, а по проселкам, да еще глухим, можно пройти, не встретив ни одного фашистского солдата.

— Студенты, становись! — слышалась команда Валентина.

По Луполову пришлось идти в колонне по одному — улица была загружена войсками и техникой. Потом повернули на Оршанское шоссе, дошли до железнодорожного переезда и остановились. Валентин разбил ополченцев на две группы и напутствовал:

— Беспочинно не стрелять. Не курить, спичек не зажигать, соблюдать полнейшую тишину и маскировку. Идем вдоль железной дороги, к мосту. Удаление 200— 250 метров...

В кустарниках было холодно и сыро. Легкий туман стлался над лугом. Вдалеке на дороге по-прежнему гудели моторы машин. И хотя оттого, что в город вливалась сила, которая будет противостоять врагу, приходили спокойствие и уверенность, ночь почему-то вызывала тревогу.

Ребята находились недалеко друг от друга. Они знали об этом и в ночной тишине словно чувствовали локоть товарища. Каждый из них прислушивался к этой ночи и думал о своем...

Федор был на окопных работах недалеко от своей деревни. Он встретил многих односельчан. Не встретил лишь Катю, мысли о которой не покидали его.

В воскресенье, 22 июня, Катя была дома у ребенка да так и осталась там, ничего не сообщив о себе в институт.

Уйти с окопов было почти невозможно, но Федор уллучил время и подскочил в деревню вместе с полевой кухней. Был поздний вечер, но огней никто не зажигал — боялись самолетов. Где-то на околице выла собака. Федор подошел к дому Кати и услышал за окнами приглушенные голоса. Постучал. Открыла Катя и, увидев на пороге Федора, не удивилась, словно ждала его, словно знала, что именно Федор, а не кто-нибудь другой придет в их дом в этот вечер.

— Проходи, садись.

Федор прошел к столу. Небольшая керосиновая лампа излучала слабый свет. На окнах висели старые одеяла, скатерти, все, что можно было повесить, чтобы свет этой лампы не пробивался на улицу. Мать Кати сидела за столом и чистила картошку. Девочка спала в кровати. Катя опустила на стул и предложила сесть Федору.

— А я ненадолго, — сказал Федор и не сел, словно он действительно очень торопился. — Тут вот такая ситуация на фронте, что хотел поговорить.

— Все эту твою ситуацию знают. Немец прет без остановки. Перед нами будет противотанковый ров. Если он перед ним и остановится, в чем я очень сомневаюсь, то ты хотел узнать, что мы будем делать под его властью?

— Нет, Катюша, я хотел предложить вам уехать за Днепр. Если не остановят его возле нашей деревни, то на Днепру обязательно, а кто знает, что тут может случиться? Говорят, они зверствуют.

— Болтают, что кому вздумается, — вмешалась мать Кати, — а мой покойный супруг был в четырнадцатом году в Германии — народ культурный и обходительный. Правда, любит строгий порядок, так что ж тут страшного.

— Что вы такое говорите? — аж задохнулся Федор. — Это же фашисты, воспитанные Гитлером за эти годы. Вы знаете, что они творят на оккупированных землях?

— А ты видел? — спросила с ехидцей мать Кати.

— Нет, конечно.

— Вот и помалкивай. Газетки и мы читаем и разбираемся, а поживем — сами увидим.

— Ты ж комсомолка, Катя... — сказал Федор. — А они, знаешь, как с нашим братом расправляются?

Катя молчала. Слушала разговор Федора с матерью и молчала.

И Федор терялся, он не знал, чью сторону принимает сейчас Катя, что она сама думает обо всем этом.

— А у нее на лбу не написано, что она комсомолка. Знают, что муж погиб, и все. Да и вряд ли кто болтать станет...

Федор чувствовал, что разговор окончен, что ему ничего не остается, как попрощаться и уйти, но он не мог этого сделать, потому что боялся за Катю больше, чем за самого себя.

— Так я пойду, — сказал Федор, а сам стоял и смотрел на колеблющийся свет лампы. Вроде бы и ветра в доме не было, а пламя почему-то колебалось то вправо, то влево.

— Иди, Федор. Спасибо за заботу. Как-нибудь перевьемся. Я на огороде такую траншею

выкопала, что ни один солдат такую не сделает. Там нас с Катей и маленькой никакая бомба не достанет. А даст бог и дом уцелеет. Твои-то куда собираются?

Федор не знал, что ответить, — он дома еще не был, а сразу побежал сюда.

— Вот батьке твоему надо собираться — он первый и бессменный председатель и коммунист — тут засиживаться нельзя.

— Ну, тогда до свидания, — сказал Федор и направился к двери. Как он хотел сейчас, чтобы Катя пошла его проводить, хотя бы за дверь вышла. И, словно прочитав его мысли, Ксения Кондратьевна сказала:

— Иди закрой за человеком дверь, На крыльце Федор спросил;

— Катя, почему ты молчишь?

— А что я отвечу, Федя? Одна я без малышки никуда пойти не могу, а с ребенком мне мама первая помощница. У нас тут свой дом, свой кусок хлеба, своя картошка и свекла, а там кто нас примет, кто нас ждет? Ютиться у чужих людей? Да и примут ли?

— Примут, я договорюсь. Я, если хочешь, сейчас с отцом обо всем потолкую, а он, в случае чего, возьмет вас с собой.

— Нет, Федя, никуда я отсюда не пойду. И отца беспокоить не надо. И никого.

— Неужели ты не боишься, что тебя могут арестовать и убить?

— А чего мне бояться? — как-то отрешенно сказала Катя. — Все мои страхи уже позади. Убили Володьку, пусть и меня убивают, а мама как-нибудь вырастит внучку. Так что спасибо, Федя, до свидания.

Федор хотел здесь, на крыльце, первый раз поговорить с Катей откровенно, рассказать ей все, о чем передумал он за два года после ее возвращения с Дальнего Востока. Хотел признаться/что, кроме Кати, для него нет никого на свете. И, наверное, Федор сказал бы это, если бы не последние слова Кати про убитого мужа. Они снова, как ножом, перерезали те слабые нити, которые протянулись между Федором и Катей, перерезали и сделали их снова далекими и чужими. Катя до сих пор любит Владимира и без него не видит никакого смысла в этой жизни. Значит, не пробьется Федор к ее сердцу, не станет ей близким и необходимым человеком. О чем можно было говорить после этого?

— Ну, счастливо, Катя. Не поминай лихом.

— А ты куда? Тебя ж не мобилизовали? — спросила Катя.

— А я сам себя мобилизовал, — с неожиданным вызовом ответил Федор. — Вместе с комсомольцами института. Будем в отряде ополчения оборонять город.

— Ну, что ж, живы будем, встретимся — грустно сказала Катя. — На рожон не лезь. Может, и выживешь. Прощай.

Федор очень не любил этого слова. Оно несло в себе столько страдания, что он не хотел даже его произносить.

— Не прощай, а до свидания, — поправил Катю Федор.—Сама ведь говорила — если живы будем, встретимся...

— Так то ж если живы... — снова грустно сказала Катя и вдруг взяла Федора за голову и слабо поцеловала в щеку. — А это на память. Ну, ни пуха тебе ни пера.

— Положено посылать к черту, да как-то не хочется, — сказал Федор.

— А ты пошли, — попросила Катя. — Потому что у нас с тобой все равно ничего не получится.

Федор, как пьяный, сошел с крыльца и побрел домой, перебирая в памяти все, что говорила Катя в этот вечер. Он не слышал, о чем рассказывала ему мать. Понял лишь, что отца срочно вызвали в райком...

Сергей чутко прислушивался к звукам звездной июльской ночи. Он устроился возле густого ивового куста и видел светлый полог неба над темным лугом. Если бы кто-нибудь появился на лугу, его силуэт был бы сразу заметен на фоне светлого неба.

Он лежал и думал о том, что война только начинается, а в жизни его произошли такие перемены, которых хватило бы на несколько лет.

Сергей всегда был дружен с отцом и матерью. Особенно с отцом. Он был для него примером для подражания. Сергея привлекали в отце его простота в обращении с людьми, с

которыми он удивительно быстро сходился, его умение неторопливо принять правильное решение, его располагающая откровенность.

Сергей платил тем же. И отец и мать знали о делах его, знали о Вере, знали, что их единственный сын пойдет за этой девушкой в огонь и воду. Но вот пришел день, когда надо было решать — оставаться в городе, к которому рвется враг, или уезжать вместе с другими на восток. Улучив момент, когда сын на какие-то считанные минуты забежал домой, отец сказал:

— Нам надо поговорить, Сережа, — О чем? — торопливо проглатывая подогретый обед, спросил Сергей.

— Ты только не спеши, — попросил отец. — Речь идет об очень серьезных вещах. Нам с матерью предложили эвакуироваться. Поначалу в Рославль, а там кто знает. Тебе еще рано на фронт — поедем с нами.

Сергей был так удивлен, что кусок застрял у него в горле.

— Папа, я боец народного ополчения.

Отец смутился, а потом посмотрел на мать и сказал, словно размышляя вслух:

— Видишь ли, ополчение — дело добровольное, хочу вступаю, хочу нет. Ты вступил из самых добрых побуждений и еще потому, что находишься рядом с нами, в семье. А теперь мы уезжаем и хотим, чтобы ты был с нами.

Сергею есть уже не хотелось. Он встал из-за стола и начал вышагивать по комнате из угла в угол.

— Да перестань ты метаться, сынок, — попросила мать, — у меня уже голова кружится от твоего хождения.

— А у меня голова раскалывается от того, что я услышал сегодня, — как можно мягче сказал Сергей. — Вы всегда учили меня искренности, порядочности, справедливости, в конце концов. Все мои ребята будут драться под стенами родного города с фашистами, а я, согретый заботами папы и мамы, отправлюсь на восток. Так я вас понял?

— Зачем же в таком тоне? — с обидой спросил отец. — Насколько мне известно, ты всегда был окружен заботой и папы и мамы, и ничего плохого я в этом не вижу. Благодаря этой заботе ты отлично закончил десятилетку, успешно сдал экзамены, а сейчас без пяти минут преподаватель среднего учебного заведения.

— Нету больше этих пяти минут, нету! — сорвался Сергей и почувствовал, что зря повысил голос. — Этих пяти минут уже нету, и неизвестно, будут ли они... — задумчиво продолжал он, стоя в углу, возле этажерки. — Речь идет не о преподавательских планах. Тут вопрос жизни и смерти. Будет ли в природе наша советская школа, наши учителя, наша родина, наконец...

Мать тихонько, почти беззвучно заплакала.

— Нам предложили ехать, и мы обрадовались, что можем увезти тебя отсюда. Говорят, в Могилеве будут решающие бои. А ты ведь еще ребенок и не понимаешь, что бои — это прежде всего жертвы...

— Как вам не стыдно, мама? С какими глазами я уйду из города, оставив в беде свой институт, своих друзей? Нет и еще раз нет. Вы действительно можете ехать. Больше того, вы обязаны ехать — это распоряжение городского штаба народного ополчения. Будут поезда, вагоны. И вам обязательно надо ехать. Мало ли что здесь может случиться. А потом, когда на Днепре с фашистами все будет кончено, вернетесь, и все пойдет по-прежнему.

Мать подняла заплаканные глаза на отца и молчала. Молчал и отец. Сергей видел, что отец вынужден принять решение и взвешивает все за и против.

— А ты знаешь, — сказал отец каким-то дрогнувшим голосом, — что, кроме тебя, у нас никого нет?

— Папа...

— Нет, ты отвечай на поставленный вопрос, — попросил отец.

— Что же из этого? — Сергей сел за стол, обхватив голову руками. — Пусть все родители, у которых по одному сыну, увезут их подальше от войны, и пусть другие, у кого сыновей побольше, защищают тех единственных сыновей? Папа, я отказываюсь тебя понимать...

Какое-то время продолжалось молчание. Отец вышел в свою комнату, долго возился в письменном столе; потом закурил и вышел. Он несколько раз подряд затянулся, что

свидетельствовало о его сильном волнении. Так же, как и Сергей, прошелся он по комнате из угла в угол и занял место Сергея возле этажерки.

— Ты наседка, — сказал он вдруг, обращаясь к матери. — Наседка, которая накрывает крылом своего единственного цыпленка. Я ведь тебе говорил, что из этой затеи ничего не получится... И мальчик прав — почему кто-то обязан, а он не обязан. И пусть твоя Олимпиада Романовна не тянет нас в дорогу, да еще с Сергеем, — у нее так много узлов, что нам будет слишком тяжело.

— Вы оба ненормальные! — вспыхнула мать. — Оба... Сереже простительно — он молод, он еще многого в жизни не понимает, у него, в конце концов, в этом городе любовь. А у тебя что?

— У меня тоже любовь... — строго сказал отец и кашлянул. Сергею показалось, что он проглотил подкативший к горлу комок.

— У меня тоже любовь... — повторил отец, — и я от нее никуда не уеду. Иди, сынок, занимайся своими делами. И береги себя. Ты меня понял?

— Понял, отец.

— Вот так... — Отец еще раз затянулся и ушел в свою комнату, прикрыв за собой дверь.

— Сереженька, сыночек, убьют они тебя... — запричитала мать, сидя за столом. — А у тебя еще все впереди, вся жизнь... Уедем отсюда, сыночек.

— Не надо, мама... — только и сумел сказать Сергей и выбежал из комнаты, чтобы не видеть материнских слез, которых он не переносил...

Всходило солнце, а над приднепровским лугом еще стлался туман. А может быть, он потому и стлался, что солнце согревало холодный от росы луг и он дымился паром, радуясь желанному свету и теплу. Радовался и Сергей. Ночь прошла спокойно, а рано утром он обещал забежать к Вере. Был он там уже своим человеком — мать Веры обязательно приглашала за стол, Оленька, весело и немножко виновато улыбаясь, приносила ему завтрак, или обед, или ужин, в зависимости от того, в какое время Сергей появлялся.

В семье Веры об эвакуации не вспоминали. Было понятно и так — отца везти невозможно, а если что-нибудь случится — значит, чему быть, того не миновать.

Отец Веры — рослый, наверное, некогда могучий мужчина, неподвижно лежал в столовой на топчане, накрытый по самую грудь цветастым пледом. На розовом фоне руки его казались белее снега, на лице навсегда застыла страдальческая гримаса — губы были искривлены, словно человек все время переносил нестерпимую боль.

Сергей видел — в этом доме его. всегда ждали, но особенно ждал Верин отец — глаза его прямо светились радостью. Казалось, в один прекрасный момент он поднимется с топчана и крепко пожмет Сергею руку. Но он лежал по-прежнему неподвижно, разговаривая с Сергеем одними глазами.

Поначалу Сергея угнетало такое состояние человека. Он старался уйти из комнаты, чтобы не чувствовать на себе его взгляд, никогда не говорил с ним, если можно назвать разговором его молчаливое внимание, с которым он слушал то, о чем ему рассказывали. Однажды Вера упрекнула Сергея: — Знаешь, не всякое молчание — золото, Сергей с недоумением посмотрел на нее.

— Неужели ты не видишь, как радуется отец твоему появлению. Ему очень хочется, чтобы ты побеседовал с ним. — Откуда ты знаешь? — удивился Сергей.

— Жаль, что ты не умеешь читать человеческих взглядов. А взгляд папы — для меня не только целое предложение, но, если хочешь, повествование. Очень прошу тебя от его имени — рассказывай ему все, что происходит в городе, но старайся не волновать.

— Вера, ты же знаешь, что все происходящее не может не волновать.

— А ты постарайся...

И Сергей старался. Он подолгу сидел у топчана и рассказывал о том, что через город все идут и идут на восток беженцы со своими пожитками и без пожитков, с разбитыми в кровь ногами, голодные и полуголодные, что в городе налажено бесплатное питание для них на железнодорожном вокзале и в городских столовых, где по преимуществу работают студентки пединститута и культпросветучилища, что кроме беженцев идут и едут раненые, отбившиеся от своих частей красноармейцы, о которыми лучше не разговаривать: по их мнению — все

кончено и через какой-то месяц от Красной Армии ничего не останется. Правда, были и другие, тоже раненные и тоже отбившиеся от своих частей, которые просились в новые части и жалели, что где-то временно запропастились советские танки и самолеты и что фашист не так страшен и что его можно бить — было бы только чем.

Верин отец слушал с живым интересом — глаза его следили за губами Сергея: он боялся пропустить хоть бы одно слово.

Сергей начинал понимать каждое движение его глаз. И действительно, они говорили, просили, приказывали, соглашались и не соглашались, одобряли и негодовали. Отец, конечно, не мог быть равнодушным к тому, что рассказывал Сергей, и всегда в глазах его таился немой вопрос:

— Что же будет? Но Сергей старался уйти от ответа, потому что и сам толком не знал, как сложится дальнейшая судьба города и всех его жителей, знал только, что дорога на восток им заказана.

Был день, когда Сергей пожалел о том, что рассказывал отцу Веры обо всем подробно. Усевшись к топчану, он сообщил, что в городе много ракетчиков, шпионов и диверсантов. Дня три-четыре на углу Первомайской и Виленской улиц сидел нищий и собирал милостыню. Нищий как нищий. Может быть, война сорвала его с места и забросила в Могилев. Люди проходили мимо и давали ему то деньги, то кусок хлеба. А однажды наши контрразведчики взяли этого нищего со всем его снаряжением —оружием и фотопленками, ядами и шифровками. Отец Веры так разволновался, что глаза его налились кровью, он что-то замычал и попытался даже приподняться, но соскользнул с топчана на пол так, что Сергей даже не успел поддержать его.

Долго Вера отпаивала отца разными лекарствами и укоризненно посматривала на Сергея:

— Ну зачем был нужен этот детектив?

С тех пор Сергей рассказывал более обще и обтекаемо, и в понимающих глазах больного была тоска и неудовлетворенность...

Солнце поднялось высоко, но Валентин почему-то не давал сигнала сбора. Туман совершенно рассеялся, но ребят не было видно — здорово все-таки они замаскировались или попросту уснули где-нибудь в кустах. На той стороне Днепра в солнечных лучах светился город, в котором Сергей вырос, маячила белая башня ратуши — остаток древнего Могилева, и вал с бывшим губернаторским дворцом, в котором находилась типография областной газеты, и рядом Дом пионеров, примыкавший к зеленому парку культуры и отдыха имени Горького. Могилевчане никогда не называли свой парк полным его наименованием. Говорили просто — пойдем на вал, и всем было понятно, что речь идет о парке, расположенном на высоком крутом берегу Днепра. Отсюда просматривалось все Луполово, деревянный мост через Днепр, вся Быховская улица, ведущая в район шелковой фабрики.

Совсем рядом, на Днепре, послышался плеск весла. Сергей насторожился — рыбакам сейчас не до рыбы, косить травы тоже некому. Тогда кому же понадобилось переправляться на этот берег?

От реки на луг вышел красноармеец. Был он долговязый, в недавно полученном, новом обмундировании, в обмотках и ботинках. На плече у него болтались полуавтоматическая винтовка — новинка по сравнению с трехлинейкой — и небольшой вещевой мешок. И все было бы ничего, если бы не комсоставская фуражка, надетая на голову с довольно пышной прической.

Красноармеец оглянулся и пошел прямо на Сергея, очевидно, не замечая его за густым ивовым кустом. Сергей весь напрягся. Ему хотелось выскочить из-за куста к заставке незнакомца поднять руки, но он сдержался — кругом стояла настороженная тишина, — значит, все видели и ждали, что будет дальше.

Долговязый подошел к кусту, за которым прятался Сергей, положил на землю винтовку и сел. Для того чтобы снять вещевой мешок, он должен был поднять руки и перекинуть лямки.

Как только он поднял правую руку, чтобы снять с плеча лямку, Сергей схватил его винтовку, отбросил подальше и заорал:

— Руки вверх!

Долговязый не ожидал такого оборота дела. Он сидел, оглушенный этим криком, и рука его застыла на мешке. К месту происшествия сбежались ребята. Увидев, что кругом столько вооруженных людей, долговязый встал, как-то презрительно усмехнулся и вызывающе посмотрел на ребят.

— Ну, и что дальше? — спросил он. — Глупые вы пацаны. Дали вам в руки винтовки, так вы хватаете своих же красноармейцев.

— Это мы посмотрим, какие вы свои! — сказал Валентин и кивнул Эдику. — Обыскать.

Валентин был в форме старшего лейтенанта, и долговязый подтянулся:

— Товарищ старший лейтенант, зря беспокоитесь. Я выполняю задание своего командования.

Эдик остановился, не зная, обыскивать долговязого или нет.

— Эдик, выполняйте, — приказал Валентин.

Эдик снял вещевой мешок красноармейца, отбросил его в сторону, стал выворачивать карманы. Кроме курева, в карманах ничего не было. Федор развязал мешок. Оттуда выпал кусок хлеба, банка консервов, поношенная красноармейская гимнастерка.

— Вот видите, — сказал долговязый. — А вы беспокоились.

— Кто вы такой? — спросил Валентин.

— Боец разведбатальона 172-й дивизии генерала Романова. Со вчерашнего дня мы выгружаемся на станции Луполово.

— Хорошо, — спокойно сказал Валентин. — Вас проконвоируют в город, а там разберутся. Если мы ошиблись — извинимся.

— Время такое... — сказал долговязый и попросил: — Закурить можно?

— Курите, — разрешил Валентин, и в это время раздался голос Ивана:

— А лодку мы его забыли. Давайте в лодку. Долговязый забеспокоился. Он чиркал спичку за спичкой, а прикурить никак не мог.

Из лодки принесли походную радиостанцию и ракетницу с ракетами.

— Вот теперь все ясно. Спасибо, Ваня! Вы, мушкетеры, и поведете этого типа к милицейскому начальству.

Ребята вышли на шоссе и строем зашагали на Луполово, а Иван, Федор, Эдик и Сергей повели долговязого в школу. Впереди шел Эдик — он нес на одном плече свою винтовку, на другом — винтовку долговязого. Сбоку Иван — зачехленную рацию, Федор — ракетницу с ракетами, а Сергей, взяв винтовку на боевой взвод, шел позади.

Несмотря на то что горожане уже начинали привыкать к таким сценам, процессия, возглавляемая Эдиком, была живописна. Ребята до сих пор еще не переоделись — все ходили в своих студенческих костюмах, потрепанных на окопных работах. Пиджаки были подпоясаны солдатскими ремнями, на которых свисали патронташи. На голове у Эдика и Ивана были кепки, у Федора и Сергея — военные пилотки.

— Вот сволочи! И дивизию уже знают, и командира, — возмущался Иван, — Мы с тобой не знаем, а он уже знает,

Долговязый вел себя на улице вызывающе. Он шел вразвалочку, улыбаясь и поглядывая по сторонам, желая обратить на себя внимание. Это ему удавалось. И горожане и военные поглядывали на него с неприязнью и злобой, а одна пожилая женщина остановилась и крикнула:

— Куда вы этого гада ведете? Стреляйте его тут же на улице, чтобы все видели! — Она сосупила с тротуара и пыталась достать долговязого кулаком.

— Тетенька, без вас разберутся, — вежливо отвел ее Эдик. — Не мешайте нам доставить его куда следует.

Со станции Луполово снова пошли машины. Конвоем пришлось принять правую сторону улицы, чтобы не задерживать движение. Улица была узкой, и машины все равно должны были огибать и Сергея, и долговязого, и Эдика.

Крытая машина с красным крестом на борту медленно миновала их и остановилась. Эдик хотел было крикнуть водителю, чтобы тот проезжал дальше. Но вдруг замер на месте.

Из машины выскочила и бежала ему навстречу девушка в военной форме. Это была Маша.

— Эдик! Эдинька! — кричала она и бежала к нему, спотыкаясь сапожками о булыжник. — Эдик! — Она упала ему на грудь, запыхавшаяся, но счастливая, а он не знал, куда девать эти две винтовки, которые мешали ему обнять Машу, свалившуюся к нему неизвестно откуда.

— Федя, помоги этому донжуану! — с улыбкой сказал Иван. — И пусть он катится на все четыре стороны.

— Это Маша из Ленинградского медицинского, — сказал Федор и пошел на помощь к Эдику.

— Держали от меня в секрете? — спросил Иван и тоже пошел вслед.

Федор взял у Эдика винтовку долговязого, поздоровался с Машей, словно знал ее и до этого. Подошел Иван и внимательно посмотрел на Машу.

— Знакомься, Иван. Это моя невеста, Маша, — улыбаясь во весь рот, сообщил Эдик.

Шофер машины лихорадочно сигналил.

— Ты куда? — спросил Эдик.

— В областную больницу, там будет наш госпиталь.

— И я с тобой! — крикнул Эдик. Он помог Маше сесть в кабину, сам встал на подножку. — Ты не задерживайся, жених! — крикнул Иван.

— Я приду прямо в институт! — обещал Эдик...

Они сидели в больничном садике друг против друга и находили перемены, происшедшие с ними за то время, что они не виделись.

— А тебе идет военная форма, — улыбнулся Эдик.

— А ты что, партизан? — серьезно спрашивала Маша.

— Почему именно партизан?

— Они, наверно, не в форме, а вот так, — как ты... Просто в своей одежде.

— Устала ты...

— Ты тоже похудел.

— Дома тебя похоронили...

— Я сама не знаю, как уцелела... Так почему ты не в армии?

— У нас у всех отсрочка от призыва, которой пользовались студенты выпускных курсов.

А теперь мы пошли в ополчение...

— Как мама, как папа?

— Сама увидишь... А сейчас ты мне расскажи о себе, начиная с 22 июня. Хорошо?

— Мне ведь тоже некогда. Надо срочно готовить палаты...

— А ты вкратце.

— Попробую... Так вот, когда я услышала по радио речь Молотова, я решила, что ничего страшного не произошло, что наши войска быстро дадут фашистам отпор и на этом все благополучно закончится. Однако скоро я поняла, что заблуждалась, и первая мысль моя была о моих стариках. Я решила немедленно ехать домой, тем более что в институте меня не держали — пожалуйста, езжай. Но сделать это было не просто. В сторону Витебска шли только военные эшелоны, и, конечно, меня никто не брал. Я забыла, что такое — день, что ночь. Я металась от эшелона к эшелону, и все безрезультатно. И тогда женщина одна, то ли стрелочница, то ли кондуктор, сказала мне, что в тупике стоит эшелон с артиллерией — тот тоже скоро пойдет на Витебск. Тайком от часовых я забралась на платформу с пушками, закрытыми брезентом, залезла под этот брезент и, усталая, уснула.

— Сумасшедшая... — не выдержал Эдик. — Они ж воинские эшелоны бомбят в первую очередь.

Маша улыбнулась:

— Эх ты, партизан. Они, брат, никакой очередности не соблюдают. Бьют и военных, и гражданских, и поезда с пушками, и вагоны с красным крестом... — Маша замолчала, словно припоминая что-то очень важное, а Эдик терпеливо ждал, не перебивая ход ее мыслей. — Когда я проснулась, — продолжала Маша, — была ночь. Поезд громыхал на стыках и мчался как ошалелый, нигде не останавливаясь. А чуть только рассвело, за нами начали охотиться фашистские самолеты.

Машинист не сбавлял хода, наоборот, мне казалось, что он прибавил, потому что

платформы начало качать из стороны в сторону так, что мне казалось, они слетят с рельсов. Я испугалась. И знаешь, не тому, что вдруг полечу вместе с составом под откос, а тому, что вот сижу под брезентом, как мышь под веником, и жду, когда меня прошьет пулей или разорвет бомбой фашистский самолет, которого я не вижу. Я вылезла из-под брезента, стала на краю платформы и думаю — вот увижу, что бомба летит прямо на меня, — возьму и спрыгну под откос. Будь что будет... На соседних платформах красноармейцы заметили меня и, наверное, угадали мое намерение, потому что на мою платформу перескочил пожилой такой артиллерист, обругал матом и приказал, чтобы я снова залезла под лафет пушки.

— Если б не ты сама рассказывала об этом, а кто-нибудь о тебе, — никогда не поверил бы, — перебил Эдик.

— Ты думаешь, я предполагала, что способна на такое? Никогда в жизни. Дома я боялась мышей, боялась в кино смотреть страшные картины, а когда поступала в институт, едва не упала в обморок в анатомичке, но, к счастью, никто этого не заметил, и меня приняли. А тут, на этом сумасшедшем поезде, я почувствовала себя необыкновенно отчаянной — я могла махнуть кулаком фашистскому летчику, лицо которого я явственно видела, когда он пытался бомбой попасть в наш поезд на бреющем полете. Я могла спрыгнуть на полном ходу, хотя неизвестно, осталась бы ли я жива после этого прыжка или нет. Я могла, наконец, сесть на край платформы, свесив ноги, и равнодушно наблюдать за тем, как вспыхивают облака разрывов вдоль насыпи. «Врешь, не возьмешь!» — кричала я чапаевские слова. Помнишь, когда он, раненый, переплывал Урал, — а поезд все летел вперед, вагоны бросало из стороны в сторону, а я держалась за горячий от солнца брезент и проклинала последними словами этого самоуверенного фашиста, который увязался за нашим поездом, ругала наших летчиков, которые не взлетают, чтобы помочь нам, проклинала войну, которая обрушилась на нас и поломала все самые светлые и радужные планы. Я орала во всю глотку, но меня никто не слышал, потому что громыхал поезд, ревели моторы фашистских самолетов и взрывались бомбы.

— Сумасшедшая... — повторил Эдик. — Тебя запросто могли убить.

— Ну и что? Все равно, раньше или позже...

— Ну и настроеньице у тебя... — проворчал Эдик, вынул папиросу и закурил.

— Ты не видел, сколько наших людей убито на дорогах и вдоль дорог — железных, шоссейных, проселочных, а хоронить некому да и некогда...

Наступило тягостное молчание.

— Так что ж было с твоим поездом? — нарушил молчание Эдик.

— Не повезло ему. Километрах в сорока от Витебска его остановили на каком-то полустанке — впереди починяли разбитый бомбами путь. Тут его самолеты и догнали и отомстили за то, что он ушел от них раньше. От нашего состава не осталось почти ничего — как перышки, взлетали в воздух пушки, рвались вагоны со снарядами, полыхало такое пламя, что жители полустанка бросились куда глаза глядят. Меня оглушило взрывом, и я долго лежала в какой-то канаве, по дну которой бежал маленький чистый, живой такой ручеек. Может быть, этот ручеек и вернул меня к жизни. Я очнулась — услышала журчание воды — и протянула руку. Вода обожгла ладонь. Может быть, она бежала из какой-нибудь криницы, потому что холод ее колот мою руку, как иголками. Я с трудом поднесла ладонь ко рту и слизала влагу совершенно сухим языком. Так я повторила несколько раз, пока собрала силы, чтобы повернуться и упасть в ручей головой... А потом я шла вместе с другими на восток, потому что фашисты уже были под Витебском. Шла долго, пока не набрела на какую-то станцию и завалилась в телятник, который ехал неизвестно куда. Главное — он ехал не на войну, а от войны. Я лежала на гнилой соломе и думала о тебе, о папе, о маме, о нашем городе...

Эдик погасил окурок и потянулся к пачке, чтобы закурить еще.

— Перестань, — Маша положила на пачку папирос свою маленькую руку, — ты ведь вообще обещал бросить.

— И бросил бы, если бы не война... — глухо проговорил Эдик, взволнованный тем, что услышал от Маши. — А теперь уж буду курить, пока она не закончится.

— Ты думаешь, это будет скоро? Эдик немного подумал:

— Знаешь, многие ребята со мной спорят, но я даю голову наотрез — все закончится

здесь, на Днепре» Вот посмотришь. Армия плюс народное ополчение — это тебе не шутка.

Маша снисходительно улыбнулась. Так улыбается старший, чувствуя наивность в словах ребенка. Эдик не заметил этой снисходительности, потому что спросил:

— А как ты попала в армию?

— Это длинная история. Скажу только, что поездами я добралась до Тулы, а там пошла в военкомат. Выручила зачетная книжка за институт и моя настойчивость. Я ведь потеряла всякую надежду снова попасть в Могилев, и мне было все равно — куда меня пошлют — лишь бы воевать, лишь бы не сидеть сложа руки, в ожидании победы. Я попала в 172-ю дивизию, а она, видишь, домой меня привезла... Вот как я разговорилась. А у тебя как?

— Все сама увидишь. Все. Бои за город начнутся не сегодня-завтра. Главное, что ты здесь. И я знаю твой адрес. Это главное. Понимаешь? — Эдик поднялся со скамьи и взял Машу за руки. — Ну, до свидания, товарищ лейтенант медицинской службы. До скорого свидания. — Он поцеловал Машу и, поправляя на плече сползающий ремень винтовки, быстро зашагал на улицу.

Глава четырнадцатая НАЧАЛО

Прошло несколько дней последних приготовлений ополченцев. Учились стрелять из винтовки, станкового и ручного пулеметов, метать связки гранат и бутылки с горючей смесью. Занятия ничуть не напоминали те, довоенные, уроки военного дела. Если прежде на оружие да на тактические занятия смотрели как на ненужный привесок к хлебу педагога, то теперь военное дело стало главным. Все знали, что к городу приближается сильная, хорошо обученная армия, имеющая большой опыт, насыщенная до предела военной техникой — танками, самолетами, машинами, мотоциклами.

Самое удивительное в эти дни — превращение Устина Адамовича из глубоко штатского человека в требовательного и строгого командира. Хотя Валентин имел более широкую военную подготовку, Устин Адамович заражал всех своей настойчивостью, неутомимостью и верой в победу. Он держал своих ополченцев все время в курсе событий, отбрасывая противоречивые слухи. Он пользовался только первоисточником — информацией штаба ополчения.

— Пока мы загораем, — говорил он, — бои за город уже начались.

— Без нас? — с ноткой обиды спросил Иван.

— Без нас, — ответил Устин Адамович. — Там кадровые артиллеристы, стрелки, гранатометчики. Один подвижной отряд Сумской дивизии дерется за Бельничками, на Друти, другой — на Бобруйском шоссе. И самое главное, ребята, что они бьют фашиста. Сожжено несколько танков, и, между прочим, бутылками с горючей жидкостью.

По поводу этих бутылок студенты любили позлословить. Редкие из них верили в возможность поджечь бронированную махину. Вот пушка с бронебойным снарядом — это другое дело. А жидкость... Нет. Не надеялись на силу этого оружия ребята, но раз военкомат выдал — держали бутылки при себе.

Ожидали приказа занять оборонительные рубежи. Уже вели дебаты, куда направят студентов — на Минское шоссе или на Бобруйское. Но тут пришел Валентин, скомандовал построиться, оставить гранаты и бутылки с горючим в институте и выходить.

Шли по Ленинской в сторону Днепра, поравнялись с Домом офицеров и прямо через площадь направились на вал.

— Теперь уж действительно будем загорать, — бросил Иван.

— Не ворчи. — Эдик считал, что приказы отдаются не зря, что тот, кто их отдает, заранее думает, насколько они необходимы.

На центральной аллее вала их ждал Устин Адамович у груды лопат и ломов. Валентин остановил отряд. Устин Адамович подошел к ребятам, снял военную фуражку, вытер вспотевшую лысину и улыбнулся:

— Вижу, лица у вас кислые. Опять, дескать, за лопаты. Ничего, хлопцы, не поделаешь, это

приказ городского штаба. Посмотрите отсюда в сторону Луполова. Мост через Днепр и вся заречная сторона — как на ладони. Обстановка может сложиться так, что придется держать и здесь оборону...

Подошел пожилой капитан из приписников. Обмундирование его было уже не таким новеньким, как на противотанковом рву, небритое лицо осунулось, глаза воспалились от бессонницы.

— А я вас помню, — сказал капитан устало и деловито. — Вы умеете работать. Но здесь будет трудно. Стрелковые ячейки и ходы сообщения придется иногда долбить ломami. Необходимо спилить часть деревьев — закрывают сектора обстрела.

— Да вы что? — не сдержался Сергей. — Как можно рубить деревья лучшего парка в городе?

Капитан равнодушно посмотрел в сторону Сергея, потом отошел и кивнул Устину Адамовичу: — Это по вашей части.

— Рядовой Петрович! — громко сказал Устин Адамович, чтобы слышал весь отряд. — Этот единственный старый городской парк дорог каждому из нас. Но Родина дороже.

— При чем тут Родина? — заметил Сергей, но Устин Адамович побагровел и скомандовал:

— Рядовой Петрович, два шага вперед! Сергей вышел из строя.

— Вот потому, — гневно сказал Устин Адамович, — что мы не можем понять простой истины: борьба за каждый клочок советской земли с врагом — это и есть борьба за Родину, — вот потому мы и терпели пока что неудачи. Мы будем стоять в окопах этого парка до последнего, если потребуется. Понятно?

— Понятно... — сказал Сергей. Он уже пожалел, что вылез со своим замечанием, и правильно отчитал его при всех Устин Адамович. — Можно стать в строй? — спросил он, виновато улыбнувшись.

— Разойдись! — вместо ответа приказал Устин Адамович. — Взять ломы и лопаты и следовать за капитаном.

В сумерках Устин Адамович обходил стрелковые ячейки, выкопанные студентами. Возле Сергея он остановился и закурил.

— Ты видишь вон ту поломанную скамью? — спросил Устин Адамович.

— Вижу, конечно.

— Здесь мне жена призналась, что ждет первенца... — Устин Адамович помолчал, взял в руки горсть земли, растер ее между пальцами. — После ее гибели я часто приходил сюда, на эту скамейку, чтобы снова побыть наедине со своей любимой.

Вечером прибежал связной из штаба — рослый парнишка в черных брюках и светлой рубашке с отложным воротничком, из-под которого четко вырисовывался красный пионерский галстук.

Связной передал Устину Адамовичу небольшой конверт и убежал. Устин Адамович надорвал конверт, прочитал и передал Валентину.

— Кончай работу! — скомандовал Валентин. — Становись!

В институте забрали все оставшееся и в ночной темноте двинулись по Быховской улице в сторону шелковой фабрики. Город, казалось, был наводнен вражескими сигнальщиками. Стоило только загудеть самолетам, как в разных концах вспыхнули ракеты.

Самолеты повесили над городом фонари и сбросили первые бомбы. Вспыхнули пожары.

— Железнодорожные пакгаузы горят, — сказал уверенно Эдик.

— А это на Дубровенке. Правда? — усомнился Сергей.

Они шли с тяжелым чувством, подгоняемые зловещим заревом. Сергею почему-то припомнился ночной учебный поход, который провела года два тому назад военная кафедра института. Шли в противогазах. И без того темная ночь казалась чернее сажи. Некоторые устали и, пользуясь темнотой, снимали противогазы, а Валентин бегал вдоль колонны и кричал:

— Товарищи, поход должен быть приближен к боевой обстановке, товарищи, никаких послаблений и скидок, иначе снижу годовую оценку...

Но угрозы Валентина никого не трогали. Кто-то кого-то ущипнул, кто-то кого-то обнял, поднялся смех и неразбериха. Валентин остановил колонну и повел ее в обратный путь, уже не

обращая внимания на то, что происходило у него за спиной. А нынче колонна шла как онемевшая от взрывов, которые гремели в городе, от частых хлопков зениток, от неизвестности, ожидавшей студентов впереди.

Колонну часто останавливали, и Валентин или Устин Адамович сообщали установленный на нынешнюю ночь пароль. И снова двигались по шоссе. Сергей заметил одно орудие, потом другое, потом третье. Наверное, против танков. Сергей пожалел, что не выбрал минуты забежать к Вере. Это было, в сущности, по пути, но после замечания Устина Адамовича на валу не хотелось отпрашиваться. Сергей видел, что Вера тяготилась своим положением. Больной отец постоянно нуждался в помощи. Вера металась, как птица в клетке, чтобы найти выход из создавшегося положения, чтобы наравне со всеми принять участие в общей борьбе. И если признаться откровенно, они очень тревожились друг о друге. Каждый выход Сергея с отрядом Вера переживала болезненно. Сергей видел, сколько усилий стоит ей напускное спокойствие, от которого наливаются слезами глаза и нервно подрагивают губы. Тревожился и Сергей. Вот сейчас они уходили из города, в котором рвались бомбы, и, кто знает, где в этот час Вера, не случилось ли с ней что-нибудь страшное. Первое время в часы воздушных тревог отца вывозили в специальной коляске в небольшой садик, где Сергей с Верой вырыли укрытие, но, видя, с каким трудом достается это близким, отец отказался от выездов. Когда во время тревоги Вера бросалась к нему, он слабо мычал и глаза его выражали решимость и безразличие...

Тихо занимали отведенный отряду участок обороны. Сергей слышал, как кто-то сказал Устину Адамовичу:

— Мы сняли отсюда пулеметную роту на более опасное направление. На КП батальона пришлете своего связного...

Сергей, Эдик, Иван и Федор заняли стрелковые ячейки, соединенные довольно глубоким ходом сообщения. — Поработали тут на совесть, — услышал Сергей замечание Валентина.

И все? Отряд растворился в темноте, как будто его и не было. Кругом стояла тишина, иногда нарушаемая шипением ракеты, которая взлетала над дальней опушкой леса и освещала шоссе, оставшееся с правой стороны, поле, спускавшееся в ложину, и густой ольшаник с левой стороны.

Сергей опустился на дно ячейки. Нагретая за день, земля дышала теплом. Сергей провел рукой по стенкам — с тихим журчанием посыпался песок. Он обнял винтовку, вынул из карманов бутылки с зажигательной смесью, снял противогазную сумку, прислонился к песчаной стене и закрыл глаза...

Все было как наяву. Сергей сидел с Верой в бомбоубежище института, смотрел на чуть тлеющую под потолком слабую электрическую лампочку и удивлялся тишине, царящей вокруг.

Странно, что они сидят здесь, когда над городом нет никаких самолетов.

— Пойдем отсюда, — зовет Вера Сергей.

— Куда? — удивленно смотрит на него Вера. — Там нас убьют.

— Чепуха, — шепчет Сергей. — Это все враки. Никаких самолетов нет. Пойдем ко мне домой. Я скажу родителям, что ты моя жена.

— Они и так знают... — говорит Вера.

— Я должен им сказать, и они поймут, потому что я не могу без тебя.

Они поднимаются и идут к двери. Их провожают удивленными и испуганными взглядами.

Сергей толкает дверь. Она неслышно открывается прямо в вестибюль. А в вестибюле, высоком и светлом, верхом на лошади сидит Милявский. Он в военной форме, и лошадь под ним взмыленная, беспокойная. Она то и дело становится на дыбы. Но Милявский натягивает поводья и успокаивает ее.

— Вы что, с ума сошли, в институт на лошади? — кричит Сергей и скидывает винтовку.

— Не надо, Сережа, не убивай его, видишь, он в армию уезжает.

Они выходят на Ленинскую и идут по совершенно пустынному городу. Онемевшие от испуга дома смотрят на них черными глазницами. «А вдруг ни отца, ни матери не застанем», — думает Сергей, но поворачивать назад не хочется — там, наверное, еще скачет на своем Конце Милявский.

Они открывают дверь в квартиру Сергея и... что такое? Навстречу им поднимается отец

Веры и говорит:

— Ну, наконец-то. А я все приготовил к вашей свадьбе. Вон и стол накрыт. Живите, будьте счастливы. — Отец обнимает Сергея и хлопает его по плечу.

Сергей удивленно смотрит на него — откуда у больного такая сила.

Сергей чувствует, что кто-то трясет его за плечо, и просыпается. Вокруг светло.

— Ну и ну! — говорит Федор. — Наполеон, чистый Наполеон. Уверен в исходе сражения и храпит.

— Что там?. — кивнув в сторону поля, спрашивает Сергей.

— Пока тихо. А я, брат, глаз не сомкнул. Боюсь, что ли?

— А я заснул незаметно, — признался Сергей.

В это время вдалеке послышался нарастающий гул моторов.

— Вот гады, опять на город идут, — сказал Федор. — Давай раскурим одну на двоих. Может, полегчает... — Он вынул папироску, прикурил и жадно затянулся.

Самолеты вынырнули из-за дальней опушки и наполнили все поле оглушающим ревом. Потом Сергей почувствовал, как вздрогнула земля, словно ее ударили чем-то тяжелым, и вслед за этим раздался взрыв. Один, второй, третий... Песок посыпался со стен окопа. Сергей до боли втискивал плечи в эту осыпающуюся стену, словно хотел слиться с нею.

Стоял сплошной грохот. Сергей не слышал, о чем кричал ему Федор, только видел, как тот отполз в сторону и упал на дно окопа вниз лицом, а Сергей не помнил, сколько продолжалась бомбежка, — ему казалось — целую вечность, и, когда самолеты улетели и над полем появились белые столбы разрывов — била артиллерия, — он даже приподнялся из окопа, с любопытством следя, как вырастают эти столбы то тут, то там. Казалось, сама земля выбрасывала вверх камни, осколки и белый дым, словно на ней проснулись дремавшие до сих пор небольшие вулканы.

По ходу сообщения бежал Валентин!

— Приготовиться! Сейчас пойдут в атаку! Приготовиться! Сейчас пойдут в атаку!

Сергею показалось, что Валентин очень испуган и повторяет эти три слова команды только для того, чтобы успокоить себя. Он пробежал по ходу сообщения туда и обратно и где-то застрял в окопе.

Наконец артиллерия утихла. Сергей почувствовал, что начинает привыкать к этому сплошному реву и грохоту. Не успели отгреть снаряды, как на дальней опушке заревели моторы и на поле появились танки. Все ополченцы, как по команде, вскочили на ноги и прижались к брустверам окопов. Постреливая из пушек, танки направились к шоссе, где через противотанковый ров был наведен мост. Надрывно ревели моторы. Шла сила, которая завоевала почти всю Европу, а за 15 дней войны продвинулась на нашу территорию более чем на 500 километров. «Вот они какие... — подумал Сергей и замер. — А нам надо остановить их...» В это время сзади ударили орудия. Первый же снаряд подбил одну из машин. Она завертелась на месте, как заведенный волчок, а потом наклонилась и задымила. Сверху открылся люк, и выскочил танкист. Сергей вскинул на бруствер винтовку, прицелился и выстрелил. Как раз в тот момент, когда танкист спрыгнул на землю. Немец упал. Потом отполз немного и замер. Сергей не знал, чья пуля настигла танкиста, потому что одновременно раздалось несколько выстрелов. Стрелял кто-то из студентов и там, в правой стороне, куда рвались фашистские танки.

Потом задымил еще один и еще. Танки, рвавшиеся к шоссе, вдруг повернули левее, но тут перед ними был глубокий ров, и они начали его обходить, подставив артиллеристам боковую броню. Теперь ударили ближе — Сергей догадался, что стреляли противотанковые. Танки вспыхивали один за другим. На поле перед позициями их уже стояло больше десятка. Кто-то в студенческих траншеях не выдержал и закричал «ура». Возглас этот поначалу был каким-то неожиданным и неестественным. В нем были и страх отчаяния, и вздох облегчения, и радость, непомерная радость, с которой ничто не могло сравниться. Этот крик подхватили все студенты. И, словно услышав их, уходя от метких бронебойщиков, танки повернули к позициям студентов.

Студенты притихли. Но они уже знали, что танки с черно-белыми крестами можно

остановить, и пусть они не очень-то пугают, стреляя из пушек в белый свет, как в копейку. «Привыкли к легкой жизни», — злорадно подумал Сергей, но в это время за его спиной раздался взрыв. Сергей упал на дно окопа, а когда поднялся, увидел — часть танков подвернула в густой ольшаник, а один, обойдя противотанковый ров, шел прямо на их траншею.

— Связки гранат! — раздался громкий голос Валентина. — Подготовить связки гранат!

А танк приближался, лязгая гусеницами, стреляя из пушки, видно, по позициям артиллеристов, но стоило кому-нибудь из ополченцев подняться над бруствером, как танк бил пулеметными очередями. Кто-то, кажется из первокурсников, побоялся подпустить его поближе и вскочил, чтобы метнуть связку гранат. Прогремела очередь, и, не выпустив из рук связки, парень рухнул в свою стрелковую ячейку. А через мгновение в ней прогремел оглушительный взрыв...

Сергей уже слышал, как подрагивали стенки его окопа. После трагической неудачи первокурсника никто не мог решиться на единоборство с танком. И когда казалось, что он навалится всей своей тяжестью на Сергея он метнул, не поднимаясь, на звук гусениц одну за другой две бутылки с жидкостью и упал на дно окопа.

— Горит, горит! — раздался над траншеей чей-то истошный крик.

Сергей приподнялся и увидел, как пламя от башни растекалось все ниже и ниже. Он стоял совсем рядом, ошалело вращая орудийной башней. Сергей для верности бросил под гусеницу связку. А потом выскакивали танкисты, и студенты открыли такую пальбу, словно перед ними было не три мишени, а по меньшей мере батальон. Стреляли от сознания побежденного страха. От боли первой утраты товарища, от неутоленного желания мстить.

Наконец наступила тишина. Удивительная, мертвая, до звона в ушах. Обе стороны ждали дальнейшего развития событий. Поскольку наши молчали, гитлеровцы решили, что дело сделано и остается закрепить достигнутый успех. Так, по крайней мере, подумал Сергей, когда увидел на шоссе командирскую машину, а за нею грузовики, в которых, как на параде, сидели автоматчики.

Сергей услышал позади какое-то движение. Кто-то бежал к нему по ходу сообщения. Сергей обернулся и обомлел от радости — пригибаясь, по траншее бежала Вера. Была она в солдатской гимнастерке, белой косынке с красным крестом, с тяжелой сумкой на боку. Сергей руками загородил ей проход, и Вера буквально упала ему на грудь.

— Ты?!

— Я.

— Какими судьбами?

— Потом. Раненые есть?

— Не знаю. Один убит... На кусочки... А может, и без кусочков.

— Я побежала дальше.

— Давай...

Машины ехали по шоссе как ни в чем не бывало. Наши молчали. И вдруг, как-то разом со всех сторон, заговорили пулеметы, даже два ручных дегтяревских со студенческих позиций. Ударили осколочными орудия. Командирская машина сразу задымила, автоматчиков с грузовиков как ветром сдуло. Они стали растекаться по полю, оставляя убитых и раненых, отстреливаясь на ходу. Но автоматный огонь был беспорядочный, а наши били с яростной точностью.

Сколько прошло времени с момента бомбардировки переднего края, никто не знал. Только когда снова наступило затишье, Сергей, увидел, что солнце перевалило на другую половину дня. И, несмотря на это, оно палило нещадно, как может палить в начале июля. Сергей обессилено опустился на дно окопа и прислонился к его песчаной стене. Только на этот раз песок не казался ему таким сухим — рубашка под пиджаком прилипла к телу, мокрая от пота, который струился по шее, бежал за воротник. Сергей закрыл глаза и глубоко вздохнул. Первый бой в его жизни казался каким-то кошмарным сном. Все было неестественно, как во сне, причудливо и невероятно. И эти танки, и машины, и суетящиеся по полю фигуры мышинового цвета — все это казалось вымышленным, ненастоящим, пришедшим из страшной сказки. Но вот упал сраженный пулей, и взорвался на собственных гранатах первокурсник. Звонко кричал Валентин (и откуда у него взялся такой пронзительный голос!), и, наконец,

появилась Вера, живая, настоящая. При воспоминании о Вере он открыл глаза, хотел приподняться и пойти по ходу сообщения, но не мог пошевелиться. Усталостью, словно свинцом, были налиты руки и ноги, ныло от ударов приклада плечо, и стенки окопа плыли перед глазами...

И вдруг на этой стене, чудом удерживаясь под тонкими струйками сыпучего песка, повисла маленькая серая юркая ящерица. Сергей недолюбливал ящериц и в лесу, бывая за ягодами или грибами, смотрел на них с отвращением. Сейчас это маленькое юркое животное было ему симпатично, потому что пришло из другого, наверное, спокойного мира природы, которому наплевать на все наши человеческие дела.

Вот ящерица остановилась на стене, повернула головку и посмотрела на Сергея быстрыми испуганными глазками.

— А я думал, ты ничего не боишься... — устало проговорил Сергей.

Услышав голос Сергея, ящерица прыгнула выше, почти на бруствер, оглянулась еще раз и исчезла.

— Пропадешь там, глупая... — сказал вслед ящерице Сергей и вдруг увидел, как из хода сообщения появилось лицо Эдика — все в грязных подтеках, потом лицо Ивана и Федора. Они смотрели на Сергея, прислонившегося к стенке окопа, и улыбались.

— Вы бы умылись, перед тем как идти в гости, — пошутил Сергей.

Ребята без слов бросились к нему, стали его обнимать, щипать, потом все четверо, как в детстве, навалились друг на друга, словно желая убедиться в том, что они живы, что они снова вместе, что первое и самое страшное — уже позади. Потом они сидели на дне окопа и передавали друг другу один, оставшийся у Эдика, окурок, чтобы хоть раз затянуться табачным дымом...

— Как же это ты? — спросил Федор Сергея. — Набрался терпения, выждал момент, а потом раз... и поджег.

— Я лежал ни жив ни мертв, — признался Эдик. — А потом слышу, кто-то как заорет от радости...

— Это я со страху поджег, — устало сказал Сергей. — Подумал, задавит ведь, а я беззащитный. — Одним словом, герой, — заключил Эдик.

— Ты ему стихи посвяти, — съязвил Иван.

— Идите вы все знаете куда?... — спокойно, но твердо сказал Сергей.

Хлопцы улыбнулись.

— Не обижайся. Молодец, конечно, что там говорить. Но я думаю, что это цветочки, а ягодки будут впереди. Я как рассуждаю? — продолжал Иван. — Они, по старой привычке, хотели взять на испуг, а тут осечка.

Шумно дыша, по ходу сообщения вбежала Вера и, подхватив сумку с красным крестом на руки, плюхнулась на дно окопа.

— Мушкетерчики, любимые, какие вы все молодцы! — воскликнула она, и глаза ее заблестели.

— А чего ж тебе реветь хочется? — спросил Иван. — Валентина убило... шальной пулей...

Сергей почему-то вспомнил его необыкновенно звонкий голос (и откуда только взялся такой у него!) и не поверил, что больше его не услышит.

В окоп протиснулся Устин Адамович, снял фуражку, вытер вспотевшую лысину.

— Ну, чего притихли? Ничего не поделаешь — война... — Он повертел фуражку в руках, смахнул пыль с околыша. — Ты не обижайся на меня, Петрович, за тот разговор на валу, а сегодня ты молодец...

— Не надо, Устин Адамович.

— Надо, Сергей, надо. Чем они брали до сих пор? Мифом о своей непобедимости. Чуть ли не без боя захватывали одну страну за другой. И на нас этот миф действовал, чего греха таить. — Иначе они на границе уже захлебнулись бы. А тут им снарядам в морду да по бокам, а ты поллитровку на башню. Горят, оказывается, их танки, горят. Вот что важно. После тебя и другой не побоится. Так что для отряда нашего это здорово.

Все смотрели на Сергея, а он как-то виновато улыбнулся и попросил:

— Только не делайте из меня героя. Пожалуйста. Из-за дальней опушки снова

послышался рев моторов.

Сразу трудно было угадать — танковых или авиационных. Но Устин Адамович скомандовал:

— По местам!

— Я с тобою, — сказала Вера и взяла Сергея за рукав. Сергей приподнялся над бруствером и увидел — из-за леса появились самолеты, было их не больше, чем первый раз. Откуда-то слева застучали зенитки. Самолеты набрали высоту и, выстроившись в цепочку по одному, начали пикировать на передний край. И снова рев моторов и грохот взрывов, треск пушек и пулеметов заставили Сергея упасть на дно окопа. Но в этот раз они были вдвоем, и Сергей слышал рядом прерывистое дыхание Веры. Каждый раз, когда земля вздрагивала от взрыва и сверху осыпались комья земли, Вера повторяла, как молитву:

— Сволочи, сволочи, сволочи...

Вдруг по спине ударило чем-то теплым и тяжелым, и Сергей почувствовал, что задыхается от земли и песка, которых почему-то стало так много, что под их тяжестью Сергей не мог пошевелиться. Он хотел позвать Веру, но перед глазами поплыл розовый, а потом багровый туман...

И кажется Сергею, будто темным предгрозовым утром идет он в школу по железнодорожным путям. С грохотом проносятся товарные и пассажирские поезда, а станция большая, путей много, и пока их перейдешь, опоздаешь в школу. А гроза уже близко, совсем рядом гремят раскаты грома. Сергей знает, что недалеко от школы — угольный склад и паровозы направляются туда на заправку. Сергей вскакивает на подножку и едет. Громыкает на стыках паровоз, все ближе и ближе место, где он обычно соскакивает. Он прыгает и чувствует, как паровоз тянет его за собой. По шпалам, по песку насыпи. Он не может сообразить, как это вдруг паровоз подцепил его, и хочет крикнуть, позвать на помощь, а голос пропал. Песок скрипит под зубами...

— Сереженька, очнись... Сережа, очнись... — услышал он знакомый Верин голос и открыл глаза.

Вера, вся в земле и песке, без косынки, с распущенными волосами, совала под нос ему какую-то бутылочку, от которой до слез кололо в носу.

— Ты жив, Сереженька, жив?

— Кажется... — с трудом проговорил Сергей и инстинктивно пошевелил пальцами рук и ног. — Жив.

— Вера! Вера! — слышался из траншеи истошный крик.

— Ну, слава богу, — торопливо проговорила Вера. — Я побежала. Раненых — тьма... — Вера, полусогнувшись, исчезла по ходу сообщения, а издали все звали ее, Сергей попытался встать, но почувствовал острую боль в левом плече. Набухла влажная рубашка. Сергей захотел поправить ее. Он расстегнул ворот и просунул под рубашку правую руку.

Это был не пот, а кровь.

— Вот сволочи... — повторил любимое слово Веры Сергей. — Ранили-таки...

— Мушкетеры! — вдруг услышал он голос Федора. — Давайте ко мне. Раскурим одну на троих.

Сергей решил, что если он пришел в себя от какой-то бутылочки, то рана не так серьезна и навестить ребят надо обязательно. Он привстал и снова поплыл в розовом, а потом багровом тумане.

— Сергей! — как будто слышал он голос Ивана, но откликнуться уже не было сил...

Очнулся он оттого, что услышал басовитый голос отца и взволнованный, слегка дрожащий голос Веры.

— Я не знаю, — говорила Вера, — как там было под Бородино в двенадцатом году, но что началось после бомбежки на Буйничском поле — настоящий крошечный ад. Они опять пустили на нас танки. И опять артиллеристы были молодцами. Я уж думала — подавят нас всех. Нет, снова подожгли десятка полтора, а остальные отступили.

— Все-таки отступили? — радостно переспросил отец.

— Отступили... — повторила Вера. — А потом началось нечто невероятное. Они,

наверное, решили, что осталось еще немного и наши войска будут сломлены. Помните, как в «Чапаеве» капелевцы шли в психическую атаку? Они ее повторили точь-в-точь. В колоннах с развернутыми знаменами двинулись по Бобруйскому шоссе. Наши их подпустили поближе да как ударили из пулеметов и винтовок... Не вышла у них психическая.

— Тяжело вам, — вздохнул отец.

— Мы бы пропали, если бы не туляки.

— Если б им в помощь танки да самолеты, — мечтательно сказал отец и позвал: — Даша!

Мы тут основательно проголодались.

— Я тоже... — сказал Сергей.

— Сережа! — Вера подскочила к его кровати. — Очнулся?

— Голова кружится...

— Крови ты много потерял. И как это я второпях не заметила? Откопала тебя, а ты живой.

И потом не сказал ничего.

— А я сам не знал, — слабо улыбнулся Сергей и тревожно спросил: — Почему мы дома?

— Госпиталь переполнен. Я считала, что у родителей будет не хуже.

— Правильно... — пробасил отец, присаживаясь у постели. — Даша! Сережа хочет тебя видеть... — позвал он мать.

Сергей в знак благодарности положил свою руку на широкую, покрытую узловатыми венами руку отца. Мать почти вбежала в комнату и сразу запричитала:

— Сыночек мой, кровиночка моя! И почему ты такой невезучий?

— Ты ошибаешься, мама, — спокойно сказал Сергей. — Все как раз наоборот.

— Ты ж второй раз при смерти... — сказала мать, вытирая слезы.

Она и не думала обидеть Веру, но Сергей почувствовал, что упоминание о том довоенном злополучном вечере по-прежнему бросает на Веру ненужную тень.

— Пока мы вместе, — сказал Сергей и взял Веру за руку, — мы не пропадем, мама. Кстати, — добавил он, и голос его дрогнул. — Все было некогда сказать вам, что Вера — моя жена.

Отец от неожиданности ничего не нашелся сказать, только понимающе и одобрительно качал головой. Мать подошла к Вере, обняла ее, и они обе расплакались.

— Вот те раз, — с усилием улыбнулся Сергей. — Вместо того чтобы радоваться, вы ревете.

— И правда, мать, подавай-ка лучше на стол. — Отец открыл буфет, достал бутылку вина, — По маленькой возьмем назло врагам и на радость молодым.

— Какая уж тут радость, — вздохнула мать, ставя на стол тарелки и кастрюлю. — Не знаю, доживем ли мы до нее.

— Доживем, мама. — Сергей подумал и продолжал: тут нас винтовки да бутылки с горючей смесью, а они против нас с танками да самолетами ничего сделать не могут. А как только главное командование подбросит... побегут они назад в свою Германию.

— Смотри как бы не побежали, — усмехнулась Вера. — Не будем спорить, — отец налил рюмку. — Кто-то же там, наверху, ломает голову, как исправить положение, а я предлагаю выпить за молодежь.

— Такой свадьбы не припомню. Молодой лежит раненый, невеста на позиции торопится, — заметила мать.

— Я не тороплюсь. — Вера взяла рюмку для Сергея, а потом для себя. — Нас пока отвели в город. На пополнение.

— А с ребятами что?

— Не волнуйся, целы твои ребята, обещали наведаться.

— Тогда может, повременим с рюмкой?

— Как хочешь...

Со двора позвонили.

— Вот, наверное, и они... — улыбнулась Вера, но в комнату вошли мать и девушка в хорошо подогнанной форме военного врача.

— Вот сюда, пожалуйста, — пригласила ее мать. — Вот это и есть Сергей, по фамилии Петрович.

— Здравствуйте, — сказала всем девушка и поставила свой саквояж возле кровати, на которой лежал Сергей. — Я из госпиталя. Эдик приказал мне утром быть здесь. Меня зовут Маша.

Маша быстро сообщила все, что можно было сообщить при первой встрече, словно боялась, что ей будут долго задавать вопросы. Сергей сразу узнал девушку, но не хотел в этом признаваться и лежал молча. Ему было приятно, что у него такие друзья, а у друзей такие подруги.

— Вы могилевская? — спросил отец.

— Я почти ваша соседка. Мой дом за нефтебазой.

— Что вы говорите? — удивился отец. — Так вы, наверное, моя ученица?

— Нет, я училась в 16-й, но вас хорошо знаю, — весело щебетала Маша. — Здесь, в железнодорожном поселке, мы все друг друга хорошо знаем.

Вера с любопытством и даже с каким-то обожанием рассматривала Машу и, кажется, завидовала ей. Маша деловито распорядилась дать ей горячую воду, полотенце, заставила Веру помочь ей повернуть Сергея на правый бок. Быстро и ловко сняла повязку, по ходу бросив замечание, что сделана она неопытными руками, и также быстро и ловко, наложив новую, облегченно вздохнула:

— Я думала, будет хуже. Эдик рассказывал такие страхи. А это просто глубокая царапина от осколка. Рана легкая и, как говорят, до свадьбы заживет...

— А у нас как раз сегодня свадьба, — кивнул отец на рюмки. — Вот давайте и отпразднуем.

— Сережа хотел подождать ребят, — напомнила Вера.

— А вы их не ждите, — сказала Маша. — Ребята не придут. Они выехали на базу снабжения куда-то под Чаусы за боеприпасами и оружием. Эдик с Федором заскочили ко мне на полуторке.

— Значит, без них? — спросил Сергей.

— Без них, Сережа, — ответила Маша и взяла рюмку. — Так вы серьезно, ребята, — она посмотрела на Веру и Сергея, — или разыгрываете?

— Вполне серьезно, — сказал Сергей.

Маша выпила и, поморщившись, схватилась за закуску:

— А я все-таки не верю.

— Почему? — Вера подняла на нее большие глаза.

— Мне всегда казалось, что война — не время для свадеб.

— Я вас понимаю, Маша, — сказал отец и налил еще по рюмке. — Свадьба в нашем представлении — торжество с многочисленными гостями и бесконечным весельем. С обильной выпивкой и закуской. А свадьба в селе? Это праздник на целую неделю, в котором принимают участие все жители деревни от мала до велика. Ну, а если просто два человека, которые любят друг друга, хотят быть вместе не тайком, а чтобы об этом знали их близкие, родные?

— Да, конечно... — сказала Маша и задумалась. — А ваши родные знают? — спросила она вдруг Веру.

— Нет.

— Почему?

— Во-первых, это было неожиданно для меня самой, а во-вторых... — губы Веры дрогнули, она закрыла лицо руками, облокотилась на край стола и заплакала, вздрагивая всем телом.

Сергей встревоженно приподнялся на локте:

— Вера, что случилось?

Вера не отвечала. Она по-прежнему нервно вздрагивала, не открывая лица. Маша положила ей руку на плечо:

— Ну успокойся. У тебя дома несчастье? — Сволочи... — сказала Вера, — сволочи. В ту ночь, когда ребята ушли на Бобруйское шоссе, они бомбили город. Я дежурила в горкоме комсомола. И вдруг вижу — горит Дубровенка. Сердце мое екнуло. Отец у меня парализованный, из дому не выходит... Прибежала, а на месте моего дома глубокая воронка. И никого кругом нет. А потом соседи сказали, что мать с сестренкой хотели вывезти отца на

коляске, да не успели...

Наступило тягостное молчание. Только теперь Сергей понял, почему появилась в окопах Вера. Он смотрел на нее и удивлялся. Сколько мужества надо было иметь, чтобы не расслабиться, не утонуть в своем горе, а найти силы для мести, для рискованной работы под огнем противника.

Отец встал и незаметно убрал со стола бутылку — неуместной показалась она ему. Маша открыла и снова закрыла саквояж, ища предлога, чтобы встать и уйти. И тут нашелся отец. Он решил перевести разговор в другое русло:

— Вот вы, Маша, человек военный и знаете больше нашего...

— Какой я военный, — виновато улыбнулась Маша. — Я даже еще ни одного фашиста не убила.

— Это не обязательно. Но вы ведь располагаете сведениями, что будет с Могилевом, с нами, в конце концов?

— Трудно сказать. — Маша снова задумалась. — Обстановка сложная... Видя, что в лоб Могилев не взять, гитлеровцы решили его обойти. Им удалось прорвать нашу оборону и форсировать Днепр у Шклова и Быхова. Говорят, они намерены замкнуть кольцо в Чаусах. Не буду утверждать, что это именно так. Но раненые рассказывают.

— Значит, они перешли Днепр? — встревожился Сергей.

— В двух местах, — подтвердила Маша. — Вот все, что я могу сказать.

— Мы сейчас же должны идти в институт, Вера. Там очень нужны люди... — Сергей хотел приподняться, но Маша удержала его на кровати.

— Полежите несколько дней. Еще успеете, Это я вам обещаю...

Глава пятнадцатая В КОЛЬЦЕ

Приказ городского штаба народного ополчения был коротким — с базы снабжения под Чаусами доставить две машины оружия и боеприпасов. Полуторку вел Федор — пригодилась летняя практика в родном колхозе, — а машину ЗИС шофер с труболитейного — боец народного ополчения.

Рядом с Федором сидел представитель облвоенкомата — старший лейтенант атлетического сложения. В кабине ЗИСа рядом с шофером были Иван и Эдик.

В вечерних сумерках проехали по Луполовскому мосту. У перил стояли бочки с мазутом и бензином.

— Неужели придется жечь? — спросил Федор.

— На всякий случай, — ответил старший лейтенант.

Улица на Луполове была пустынна. Но стоило только свернуть на Чаусы, как Федор увидел шлях, забитый повозками, машинами, людьми. Вся эта лавина двигалась, пользуясь темнотой, на восток, и прибавить газу не было никакой возможности.

Федор пристроился в хвост потоку. Дорога была настолько разбита, что колеса по ступицы увязали в сыпучем песке. Мотор гудел надрывно, словно жаловался кому-то на эту дорогу, на эти повозки и машины, которые неизвестно почему медленно ползли вперед, словно на ощупь пробираясь по нехоженому незнакомому пути.

Старший лейтенант начал нервничать:

— Так мы и до утра не доберемся, а ведь нам еще возвращаться!

— Поищем объезда? — предложил Федор.

— Попробуй, дорогой, — взмолился старший лейтенант. — Полковник Воеводин расстреляет, если не выполним приказа.

— Так уж и расстреляет, — проворчал Федор и поправил съехавшую самозарядную винтовку, что лежала между старшим лейтенантом и им, упираясь прикладом в дно кабины.

— Запросто! — воскликнул старший лейтенант. — Ему как коменданту Могилева говорят — сдашь город противнику — расстреляем. А он это самое обещает нам. При слабом свете покрытых синькою фар Федор заметил поворот на проселочную дорогу.

— Поедем? — кивнул он старшему лейтенанту,

— Давай, может, обгоним.

Федор крутнул баранкой и чуть не наехал на людей, которые с котомками тащились вдоль обочины.

— Куда тебя черт несет! — крикнула какая-то женщина.

— По делам, бабуся, по делам! — ответил ей Федор и начал сворачивать на проселок.

— Какая я тебе бабуся, выродок ты этакий...

— В темноте не видно! — засмеялся Федор. Он нажал на газ, и машина, словно сбросив с себя непосильный груз тяжелой дороги, рванулась вперед. Федор оглянулся — повернул и ЗИС. Не успели проехать метров двести — впереди замаячила фигура красноармейца с белым фанерным щитом в руках.

— Стой, — заорал красноармеец. — Стой, тебе говорят. Ты что, в летчики хочешь записаться?

Федор остановился:

— Почему в летчики?

— А потому что взлетишь в небо со своей таратайкой. Не видишь? — махнул он белым фанерным щитом. — Заминировано. Повертай назад.

Из кабины выскочил старший лейтенант.

— Куда это повертай, когда нам срочно, понимаешь, срочно надо в Чаусы.

— А что я сделаю, товарищ командир, — оправдывался красноармеец, — когда был такой приказ. Он ведь прет по оршанскому шоссе со стороны Шклова.

— А по полю объехать твои мины нельзя?

— Нельзя, товарищ командир. Тут, понимаете, танкоопасное направление. Так что лучше повертайте.

Старший лейтенант сел в кабину, сочно выругался.

— Что ж, повертай, дорогой.

Федор начал разворачиваться, а красноармеец все бегал кругом и кричал:

— Осторожно! Стой! Дальше колесами нельзя!

ЗИСу было еще труднее, но он первым выехал к шляху и уступил дорогу полуторке. Теперь надо было пристраиваться к колонне, но никто не хотел подождать, потесниться, чтобы машины, выехавшие из проселка, могли влиться в общий поток. Старший лейтенант, обозленный неудачей на проселке, вскочил на подножку и, выхватил пистолет, выстрелил вверх.

— Стой! Дорогу машинам со срочным заданием! Огромный газогенератор, груженный неизвестно чем, притормозил. Из кабины высунулась лохматая голова шофера.

— Знаем твое задание! Драпаешь вместе со всеми? Федор поспешил занять место в колонне. Старший лейтенант с силой захлопнул дверцу и снова сочно выругался.

— Ты видишь? Не верят! И неудивительно — все неудержимо, как снежный ком с горы, катится на восток. А где остановка? В Москве или на Урале? Я б на месте главного командования всех, кто только может держать оружие, остановил бы на дорогах да в окопы. Больше толку было бы.

— Оружия не хватает, — заметил Федор. — Мы ведь за ним едем.

— А где оно подевалось, черт возьми! — гремел заведенный старший лейтенант. — Неужели нельзя было наклепать его вдоволь. Столько заводов по России!

Федор не поддержал разговора. Он внимательно смотрел на дорогу, над которой иногда вспыхивали ракеты — и тут не обходилось без сигнальчиков. Старший лейтенант, всплывший на проселке, скоро успокоился. Он тоже стал смотреть вперед. Усталые веки его опускались на глаза, и он спохватывался, вытирая лицо руками, словно желал смахнуть непрошеную дрему.

У переправы через маленький, но заболоченный ручей образовалась пробка. Небольшой бревенчатый мостик был сломан, машины и повозки ехали вброд и размесили маленькое болотце так, что машины утопали по самые кузова. Тогда все, кто находился поблизости, подставляли плечи и буквально выносили машины на руках. Ожидая, пока впереди идущая машина преодолет брод, Федор остановился. В этот момент к ним подошли двое в комсоставских фуражках, плащ-палатках, с карабинами, висящими на плечах дулом вниз.

Один из них вскочил на подножку, осветил фонариком старшего лейтенанта и строго спросил:

— Куда следуете?

— Куда надо, — так же строго бросил старший лейтенант. — Патруль НКВД. Ваши документы!

Старший лейтенант молча расстегнул карман гимнастерки, предъявил предписание полковника Воеводина.

— Понятно, — сказал военный с фонариком, возвратил предписание старшему лейтенанту. И в тот момент, когда тот застегивал карман гимнастерки, военный с фонариком выстрелил в него из парабеллума. Федор отчетливо увидел парабеллум — ему показывали такой на Буйничном поле, подобранный у фашистского офицера.

Все это произошло так быстро и так неожиданно, что Федор в первое мгновение растерялся. Он посмотрел на осунувшегося старшего лейтенанта, который не успел произнести ни единого слова, и, схватив свою самозарядку, выскочил из кабины и бросился к ЗИСу. Оттуда уже бежали Иван и Эдик.

— Старшего лейтенанта убили!

— Кто?

— Переодетые диверсанты.

Втроем они бросились через ручей, утопая в грязи, выскочили туда, где собралось побольше людей — гражданских и раненых красноармейцев, способных передвигаться.

— Среди нас диверсанты! — громко крикнул Федор. — На них плащ-палатки.

— Диверсанты! Диверсанты! — понеслось по дороге. Где-то впереди и в стороне раздались выстрелы, и люди снова принялись толкать буксующие грузовики.

Федор сказал ребятам: — Пошли к машинам.

— Что будем делать без старшего лейтенанта?

— Ехать, — ответил Федор, — не он, так другие должны выполнить приказ.

Подошли к полуторке. Иван стал на подножку.

— Где у него документы?

— В гимнастерке... — Федор влез в кабину и снова поставил у ног свою самозарядку.

Иван расстегнул гимнастерку, достал предписание полковника Воеводина и положил себе в пиджак.

— Будут спрашивать — покажу.

— Но ты ведь не старший лейтенант?

— Какая разница. Главное, куда следуют машины.

— А как же быть с ним? — Федор кивнул на старшего лейтенанта.

— Не выбросишь среди ночи. Человек ведь, — глухо сказал Иван. — Придется везти, а там видно будет.

— Ты потерпи, Федя, — заметил Эдик.

— Конечно, — недовольно согласился Федор. — Попробовали бы вы сами ехать с мертвым по этой дороге...

Но хлопцы уже не слышали. Они поспешили к своему ЗИСу. Федор посидел еще немного и, видя, что дорога впереди освобождается, завел мотор. Он чувствовал прилив безысходной злости, оттого что так неожиданно погиб этот незнакомый старший лейтенант, что им не удалось даже напасть на след диверсантов, что они так медленно добираются до базы снабжения.

Федор нажал на газ. Машина взвыла и со стоном рванулась через болотце. Ее качнуло вправо, влево, потом подбросило вверх, и вот она снова в песчаной колее, глубокой и вязкой.

Во время толчков тело старшего лейтенанта сползло на плечо Федору. Федор с трудом отодвинул его на место, как живого, и от этого прикосновения ему вдруг захотелось поговорить с этим, ушедшим из жизни человеком, как с живым.

— Вот видите, как все получилось, — говорил Федор, не глядя в сторону старшего лейтенанта. — А вы боялись, что вас расстреляет полковник Воеводин за невыполнение приказа. А у вас, наверное, жена и дети в Могилеве. А может, они успели уехать куда-нибудь на восток? Все равно они ждут отца и волнуются. Не говоря уже, конечно, о жене. Вон у меня есть

одна хорошая знакомая, даже любимая моя, Катюша, так она до сих пор помнит своего погибшего мужа и будет помнить всю жизнь. Вот какие дела...

Колея стала мельче, машина пошла легче. Федор посмотрел на старшего лейтенанта — он, казалось, слушал и дремал.

— Вы, конечно, не знаете Кати, — продолжал Федор. — И я сегодня могу признаться, что не знаю ее. То мне кажется, что она без меня тоскует, что наши встречи приносят ей радость, то, наоборот, я вдруг чувствую себя лишним и ненужным человеком. У вас, наверное, не бывало такого. А у меня сложно. Не знаю теперь, что с ней и как. Там проходит фронт. Выживет ли она с ребенком в этом аду?

На востоке начало алеть. Наступал рассвет, а до базы снабжения было еще далеко. Рассвет — это вольная воля для истребителей и желтобрюхих бомбардировщиков. Что будет на этой запруженной дороге с рассветом?

Вскоре колонна остановилась. Впереди послышалась винтовочная и пулеметная стрельба. Побежавший туда Иван принес известие — наши части завязали бои с фашистскими мотоциклистами. Откуда они взялись? Слух о мотоциклистах облетел всю дорогу. Люди бросились прочь — в перелески, луга, в заросли хлебного поля. Федор, Иван, Эдик и шофер с ЗИСа собрались у полуторки. В отсутствие старшего лейтенанта Иван взял командование на себя.

— Говорят, влево по проселку можно еще проехать в сторону Чаус. Попробуем?

Они вынесли из кабины тело старшего лейтенанта. Оно застыло в сидячем положении и не разгибалось. Ребята посадили его у дороги спиной к дереву и сняли шапки.

— Простите, что так получилось, — сказал Федор. — Хоронить некогда.

Они обогнули остановившиеся на дороге машины и вскоре выехали на узенький проселок. Был он какой-то заброшенный, ненаезженный. На колее успела вырасти молодая трава. Но зато он был совершенно свободен, и хлопцы гнали как только могли.

За треском и грохотом кузова Федор не услышал выстрелов, и только посыпавшееся лобовое стекло вовремя предупредило об опасности. Федор изо всей силы нажал на тормоза.

Полуторку занесло в сторону. Они с Иваном вывалились из кабины в густую зрелую рожь, что поднималась вдоль дороги.

Федор услышал из ближайшего перелеска очереди крупнокалиберного пулемета. Он увидел, как неуправляемый ЗИС с ходу налетел на полуторку. Раздался взрыв.

— Эдик! Эдик! — истошным голосом закричал Иван. — Эдик!

Кто-то тяжело бежал во ржи. Хлопцы вскинули винтовки.

— Что вы орете? — спросил, запыхавшись, Эдик. — Опередили нас, гады.

— Ты что, ранен? — спросил Иван, увидев на шее и лице Эдика кровавые пятна.

— Как будто нет... — ответил Эдик и на всякий случай попробовал руки и плечи.

— Пятно у тебя на лице, — заметил Иван.

— Это не моя кровь. Шофера. Убили первой очередью...

Выстрелы из перелеска начали приближаться. Ребята увидели, как, подминая под себя спелую рожь, на дорогу осторожно выползла танкетка с черными крестами. За ней еще одна и еще.

— Придется отходить на Могилев, — проворчал Иван.

— А база снабжения? — спросил Эдик.

— Ты что, слепой? — Федор вытер вспотевшее лицо. — Теперь база в их руках.

Иван сплюнул и ожесточенно потер лоб:

— Пошли. Видите, хлеб загорелся...

Огонь из грузовиков переметнулся на спелую рожь. Легкий ветерок легко раздувал пламя, и оно, зловещее и беспощадное, двигалось на хлопцев.

Танкетки снова открыли стрельбу, но в горящую рожь не двинулись.

Когда хлебное поле кончилось, ребята вышли на маленький лужок, заросший невысоким ивняком. В ивняке журчал ручей.

— Тот, наверное, который мы переезжали. — Федор набрал в пригоршни воду, с удовольствием сполоснул лицо, упал на траву, широко разбросав руки. — Эх, вздремнуть бы часок.

Эдик умылся и прилег в тени ивняка. Рядом опустился Иван.

— Могилев окружен, — словно про себя проговорил Иван. — Надо во что бы то ни стало пробиваться к своим.

— На восток? — осторожно спросил Эдик.

— Ты что? — возмутился Иван и встал с места. — Географии не знаешь? Федя, подъем... На дорогу не возвращались — знали, гитлеровцы рвутся прежде всего к магистралям — железнодорожным, шоссе и даже грунтовым, если по ним можно двигаться технике. Шли едва заметными тропками, иногда заброшенными, которые едва угадывались. На одной такой тропке они наткнулись на красноармейскую засаду.

— Документы! — потребовал младший сержант, молодой, совсем безусый парень.

Иван второпях подал предписание полковника Воеводина. Младший сержант прочитал, бросил взгляд на Ивана и спросил:

— Струсили, товарищ старший лейтенант?

— Почему струсили? — Иван недоумевал.

— Переоделись в гражданскую и драпать? Иван скупно улыбнулся:

— Во-первых, я не старший лейтенант. Он был с нами, но погиб.

— Вот как! — словно обрадовался младший сержант. — Нынче ваш брат кем только не прикидывается. Сдать оружие!

Хлопцы бросили винтовки на землю.

— А вы кто такие? — гневно спросил Иван. — Мы ведь вас тоже не знаем. Одни вот такие проверили документы у нашего старшего лейтенанта, и будь здоров...

— Разговорчики! — прикрикнул младший сержант и приказал одному из красноармейцев: — Пойдешь со мной. А вы — вперед!

Хлопцев привели на опушку борового леса. Невысокого роста, щупленький, чисто выбритый и подтянутый капитан сидел над развернутой картой с красным карандашом в руке. Левая рука была забинтована и висела на перевязи.

— Разрешите доложить, товарищ капитан. Капитан поднял красные усталые глаза.

— Неизвестные, товарищ капитан, а при них вот этот документ.

Капитан взял правой рукой предписание Воеводина, пробежал его глазами, усмехнулся:

— Подмахнули за Воеводина?

— Почему за Воеводина? — не понял Иван.

— А потому, что он комендант Могилева и прекрасно знает, что вчера еще Чаусы заняты фашистами и посылать на базу снабжения людей не имело смысла.

— Мы ехали на двух машинах... — заметил Федор. — Но нас обстреляли, и мы возвращаемся назад. Вот такие дела...

— Неплохо придумано, — усмехнулся капитан. — Веди их к особистам. Там разберутся.

Особист — болезненного вида, сутулый лейтенант — хмуро посмотрел на хлопцев, взял принесенную младшим сержантом бумагу Воеводина и распорядился:

— Платонов, примите оружие! А вы, младший сержант, можете продолжать службу.

Младший сержант повернулся, бросил на хлопцев недобрый взгляд и ушел.

— Платонов, — снова позвал особист, — обыщите их. Подошел Платонов — рослый, стройный брюнет лет тридцати, со строго сдвинутыми черными бровями.

— Раздевайтесь, — сказал он ребятам каким-то извиняющимся тоном.

— Совсем? — с недоумением посмотрел на него Эдик.

— Останетесь в трусах, — прежним тоном сказал Платонов и стал в сторонке, направив на ребят карабин.

— С ума сошли... — ворчал Иван, снимая ботинки, брюки, пиджак.

— У нас так положено, — спокойно сказал Платонов, с любопытством разглядывая хлопцев.

— Какие еще есть документы, кроме этого предписания? — устало спросил лейтенант.

— Вот, комсомольские билеты... — сказал Платонов.

— Ну, давайте, выкладывайте все начистоту.

— А что нам выкладывать? — зло проговорил Федор. — Мы студенты Могилевского пединститута — бойцы народного ополчения. Получили приказ доставить с базы снабжения

под Чаусами боеприпасы и оружие в Могилев и поехали под командованием старшего лейтенанта, на которого выдано предписание. Но фашисты уже перекрыли дорогу. Вот и все.

— Легенда подходящая, — хмуро бросил лейтенант.

— Какая это легенда, черт побери, когда это чистая правда? — взорвался Иван.

Лейтенант испытующе посмотрел на него:

— А чего ты горячишься, парень? Горячкой ничего не докажешь. Платонов, проверь одежду как следует, пока я их комсомольские документы посмотрю. Осмоловский Федор Михайлович, билет выдан Могилевским горкомом в 1938 году, Стасевич Эдуард Семенович, Ледник Иван Матвеевич... — Лейтенант как-то вдруг оживился, еще раз внимательно глянул на хлопцев.

— С одеждой все в порядке, — сказал Платонов, — наша, отечественная, живого места нету.

— Ясно, одевайтесь. Который из вас Ледник?

— Я, — сказал Иван. Лейтенант прищурил глаза:

— А кто из Ледников у тебя еще есть в семье?

— Мать, — ответил Иван, — да еще брат Виктор. Был Виталик, но лет десять тому назад умер.

— Виктор? Он жив?

— Жив, — ответил Иван. — ЦК послал на Гродненщину партизанить.

— Платонов, — так же негромко приказал лейтенант. — Дай хлопцам поесть, верни оружие и сбегай на склад, может, обмундирование завалилось новое. А то видишь, до чего хлопцы доносились.

— Вы знаете Виктора? — оживился Иван.

— Знал. Много лет. А потом пути наши разошлись. Молчаливый до этого Эдик не выдержал:

— Виктор — это случайность. А если бы вы не знали его, что с нами было бы?

— Может, расстреляли бы, — спокойно ответил лейтенант,

— Безобразия! — возмутился Эдик. — Погибнуть от своих.

— А теперь трудно разобраться, кто свой, кто чужой... Курите? — Лейтенант протянул пачку папирос, и Федор с Эдиком с жадностью закурили.

Когда хлопцы поели, отлучившийся на время невозмутимый Платонов доложил:

— Склад наш пропал, товарищ лейтенант, так что с обмундированием ничего не получится.

— Как это пропал?

— А вот так. Захватили его фашисты в Благовичах.

— Не надо нам ничего, — сказал Иван. — Мы уже привыкли к своему, а новенькое будет еще подозрительнее.

— Ладно, идите. А если тебе, Ледник, доведется с братом встретиться, — скажи, видел в сорок первом под Могилевом Одинцова с Гродненской табачной фабрики...

Поздним вечером пробирались ребята вдоль Чаусского тракта. По их расчетам до Могилева оставалось километров семь.

Издали светило зарево пожаров над городом, а на дороге было пустынно и тихо. Иногда в темноте догорали остовы разбитых машин или вздымались трупы лошадей, лежавших в дорожной пыли. Казалось, ничто не предвещало беды.

Вышли на поле. Впереди темнел небольшой, но довольно рослый лес. Молча приближались к нему ребята. И вдруг услышали громкий окрик:

— Хальт!

Поначалу они опешили от неожиданности и, правду говоря, даже не поняли, что их окликнули по-немецки.

— Ложись! — шепнул Иван, догадавшись, что они напоролась на засаду или сторожевой пост.

— Хальт! — закричал еще громче тот в лесу, и ребятам показалось, что в голосе его был страх.

— Перебежками вправо. Там снова начинается лес. Пошли! — Иван бросился первым.

Прозвучали автоматные очереди. Трассирующие пули прошли воздух над полем красными нитями. Вскочил и побежал Эдик, потом Федор. С опушки леса началась беспорядочная пальба. Ребята бросились в высокую не-скошенную рожь и почувствовали себя в безопасности. Иван, а за ним Эдик бежали уже в полный рост. Колосья хлестали по лицу, стебли цеплялись за ноги, дышать становилось все труднее.

Эдик первым в изнеможении упал во ржи. Не слыша тяжелого дыхания друга, остановился Иван. Подошел и лег рядом. Земля пахла теплой соломой.

— А где же Федор? — Иван вскочил на ноги, позвал негромко: — Федя!

Ответа не было. Встал и Эдик.

— Как же мы сразу не заметили... Федя! — позвал он. Далеко в стороне постреливали вспугнутые гитлеровцы, освещая поле ракетами.

— Назад! По нашим следам, назад! — скомандовал Иван. Но найти собственные следы в ночном поле было невозможно.

Ребята плутали, все время негромко окликая друга, боясь, что их услышат и снова откроют огонь.

— Хлопцы... Я здесь! Хлопцы! — наконец услышали они слабый голос Федора,

— Ты чего?

Федор лежал во ржи, свернувшись клубком.

— Я, кажется, ранен... — сказал он. — Ногу режет, как ножом. Вот тут, ниже колена...

Иван быстро снял с себя пиджак, верхнюю рубашку, сорвал с тела майку.

— Эдик, давай и ты что-нибудь, — сказал он, — а то будет, как с Сергеем...

Они подняли набрякшую кровью штанину и долго на ощупь перевязывали.

— Идти сможешь? — спросил Иван.

— Попробую... — Федор оперся на руку Эдика, встал и застонал.

— Иван, возьми его винтовку, — попросил Эдик. — А ты обними меня за шею... Да берись покрепче.

Попеременно несли они раненого Федора, пока не выбились из сил. Стало светать. Совсем недалеко послышались автоматные очереди, потом застрочили пулеметы и ударила пушка раз, второй, третий...

— Ребята, простите, что так получилось... — вдруг сказал Федор. — А теперь я для вас обуза.

— Дурень ты, — спокойно сказал Иван.

— Кому я нужен в Могилеве? — спросил не то себя, не то ребят Федор. — Оставьте меня где-нибудь.

— Не оставим же в лесу. — Эдик достал полпачки махорки, кусок бумаги, неумело свернул сигарку. — Вот, Платонов дал на прощание. Раскурим одну на троих и подумаем, как быть.

— Давай сделаем носилки... — предложил Иван.

— И с ними прорываться на Луполово?

— Почему прорываться?

— А ты что, не слышишь, что город уже в кольце, что мы отрезаны от своих.

Наступило молчание.

— Я пойду в разведку, — сказал Эдик.

— Осторожно, — предупредил Иван. — Смотри, мы будем ждать.

Докурил сигарку Федор.

— Слушай, — тихо сказал он, — если Могилев в кольце, то чем вы с Эдиком можете?

— Там Устин Адамович с ребятами подумают, что мы трусили, — твердо сказал Иван. — Чем сумеем, тем поможем.

— Ну, смотри. Вернулся Эдик.

— Мы возле Гребенева. Тут хаты стоят недалеко от леса. Я ведь сюда по грибы ездил и как-то сразу не узнал.

— Пошли, ребята, — скомандовал Иван и взял на спину Федора. — Постучимся в первую хату. Люди свои...

Они долго стучали в окошко маленькой, покосившейся от времени хаты. Никто не

откликнулся. Эдик прилип носом к стеклу, приложил ладонь, чтобы не отсвечивало, и заключил:

— В хате никого нет.

В это время откуда-то с огородов появилась девушка. В большом платке, телогрейке, в новых мальчуковых ботинках.

— А мы сидим в яме на огородах, — виновато улыбнулась она. — И ничего не слышим. — Она посмотрелана ребят и тихо ойкнула: — Да вы раненые...

— Нет, — сказал Эдик, — только один, — он кивнул в сторону Федора.

— Да что же мы стоим, заходите скорей в хату, — заторопилась девушка. — А мы сидим в яме и ничего не слышим. Такой бой был, такой бой, а теперь перекинулся на Луполово. Да вы располагайтесь. А товарища Осмоловского положите вот сюда. Я ему перевязку сделаю.

Ребята опешили. Здесь, в этой покосившейся хатенке, в которую привел их случай, они никак не ожидали найти знакомых.

— Откуда вы меня знаете? — спросил Федор, пока девушка нарезала куски чистого холста.

— А кто же вас не знает в институте? — улыбнулась она. — Вы ж секретарь комитета... — Девушка сняла платок, телогрейку и сразу переменялась — невысокая, худенькая, она ловко орудовала ножницами, снимая порванные окровавленные майки с ноги Федора.

— Так вы наша студентка? — искренне удивился Эдик.

— Свойство поэтов всему удивляться... Так, кажется, говорил на лекциях Устин Адамович.

— Как же вас зовут? — спросил Иван.

— Нина. А что? — спросила девушка.

— Дело в том, что Федора мы не сможем взять с собой в Могилев.

— Хлопцы, не ходите туда... — подняла умоляющие глаза Нина.

— Нельзя, — твердо сказал Иван.

— Пропадете там, честное слово, пропадете, — почти заплакала Нина. — Говорят, бои идут на улицах города. Ну зачем умирать раньше времени?

— А кто знает это время? — сказал Эдик, — Там наши друзья.

— Они правы... Нина, — тихо сказал Федор, — Сейчас там каждый боец на учете.

— Будем говорить в открытую. — Иван встал и прошелся по неровному полу. — Мы хотели оставить у вас Федора.

— Пожалуйста, — зарделась Нина. — Мама не будет против.

— Но сюда могут прийти фашисты.

— Об этом не беспокойтесь. Спрячу все — и комсомольский билет и оружие.

— Спасибо вам. Ну, мы пойдем, Эдик.

— Прощайте, хлопцы... — дрогнувшим голосом сказал Федор. Глаза его стали грустными и влажными.

— Мы придем за тобой. Обязательно... — пообещал Эдик. Он подошел к кровати, на которой лежал Федор, пожал ему руку и вдруг сказал: — Союз.

Иван положил свою руку на руки Федора и Эдика!

— Союз.

Нина стояла в стороне, смотрела на это странное расставание и плакала. Где ей было понять, что так клялись в дружбе ребята с Ульяновской улицы.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ



Глава первая ОНИ НЕ ПРОЙДУТ

По кустарникам и оврагам Нина проводила друзей до опушки леса. Где-то впереди, то вспыхивая, то угасая, гремел бой, а здесь, на опушке, было покойно и солнечно. Только свежие воронки от взрывов да стрелковые ячейки, осыпавшиеся под гусеницами танков, напоминали о том, что покой этот обманчивый и тревожный.

Остановились у толстой суковатой сосны, рассеченной снарядом. Янтарные прозрачные капельки смолы проступили по краям глубокой розовеющей раны.

Видя, что ребята твердо решили пробираться в Могилев, Нина не отговаривала, а только вздыхала:

— Ничего вы вдвоем не сделаете... только погибнете зря...

Иван протянул девушке руку:

— До свидания.

— Будет ли оно? — опять вздохнула Нина.

— Будет, обязательно будет, вот увидите... — Иван говорил так убежденно, что Эдик поднял на него свои густые кустистые брови.

— Ладно, — сказала Нина. — А за Федора не беспокойтесь. Все будет в порядке.

Они стояли на опушке и смотрели вслед уходящей девушке. Тоненькая, хрупкая, в больших мальчуковых ботинках, она казалась подростком. Раза два, появившись на гребне оврага, Нина прощально помахала ребятам рукою, а потом исчезла.

— Днем не пробьемся, — задумчиво сказала Эдик, и, словно в подтверждение его слов, совсем рядом ударили орудия. Земля под ногами вздрогнула.

— По городу, — тихо сказал Иван. — Идем. Поищем укрытие.

В каких-нибудь десяти шагах от опушки они обнаружили полуразвалившийся блиндаж. Вход засыпало землей, а сбоку бревна были разворочены прямым попаданием снаряда.

Эдик протиснулся между бревнами и упал на песчаное дно.

— Осторожно, — предупредил он Ивана. — Здесь глубоко.

С помощью Эдика Иван спустился в блиндаж. Они сели и осмотрелись. Вокруг валялись стреляные гильзы, обрывки бумаги и одежды, а в самом углу топорщилась выдавшая виды шинель, из-под которой торчал солдатский сапог.

— Кто тут? — громко спросил Иван и щелкнул затвором винтовки.

Никто не ответил. Ребята прислушались. Из угла доносилось частое прерывистое дыхание.

Иван пополз в угол и отвернул шинель. Поджав под себя перевязанную ремнем ногу, на песке лежал молодой парень в форме младшего лейтенанта Красной Армии.

Иван тронул парня за плечо. Тот открыл глаза, с трудом повернулся, и в руке его сверкнул пистолет.

— Вы кто? — хрипло спросил младший лейтенант. — Свои мы, — успокоил его Иван.

— Кто — свои?

— Ополченцы из Могилева.

Младший лейтенант опустил пистолет и закрыл глаза. — Бежите?

— Нет. Возвращаемся в город.

— Правильно, — тихо сказал младший лейтенант. Ребята вновь услышали его прерывистое дыхание.

— Идемте с нами, — предложил Иван.

Младший лейтенант открыл глаза и слабо улыбнулся.

— Рад бы в рай... — проговорил он и кивнул на потемневшую от крови скомканную штанину, перевязанную ремнем. — Я ведь без ноги, ребята...

— Как без ноги? — удивился Эдик.

— Отбило миной во время ночного боя. Я вот и заполз сюда...

В блиндаже наступило тягостное молчание.

— Мы вам поможем, — горячо заговорил Иван. — Тут недалеко деревушка. Там у нас одна знакомая...

— Спасибо... — прохрипел младший лейтенант. — Спасибо, ребята. Поздно...

— Мы вас занесем, честное слово, — не успокаивался Иван. — Вдвоем с другом...

— Не надо... Мне уже немного осталось... Лучше я вам помогу... Только слушайте внимательно... Пробраться надо возле аэродрома на Луполове. Там у них кухни и разные тыловые части. А за мост каждую ночь бои... — Младший лейтенант снова замолчал и дышал часто и прерывисто.

— Вы отдохните, — попросил Эдик. — До ночи еще далеко.

— Я не доживу до ночи... — сказал младший лейтенант просто, как говорят о повседневных обыденных вещах. — Вы должны знать, что передний край проходит по западным окраинам города... Со стороны Бобруйского шоссе — вдоль поселка шелковой фабрики, со стороны Минского — у деревни Пашково, со стороны Шклова — у детской коммуны и товарной станции...

— А на Луполове? — спросила Иван, — На Луполове есть наши? — Нет... — вздохнул младший лейтенант.

И снова в блиндаже наступило тягостное молчание. Раненый закрыл глаза и как будто задремал.

— Мама! — неожиданно позвал младший лейтенант. — Открой, пожалуйста, окно. Душно...

— Бредит, — прошептал Иван. — Давай положим его повыше... — Они осторожно приподняли белокурую голову младшего лейтенанта и подложили вчетверо сложенную шинель.

— Пулемет с правого фланга!... Бей их, ребята... бей... — заметался младший лейтенант и снова затих. Только грудь его вздымалась часто-часто. Почерневшие губы полуоткрылись, обнажив ослепительно белый ряд зубов.

Эдик сидел, прислонившись к плечу Ивана, и молчал. Все его мысли были там, за Днепром, где их ждали студенты, где ждала Мария. Что с ними сейчас, в эту минуту? Эдик не мог себе представить, что противотанковые рвы, па которых работали десятки тысяч людей, сегодня уже никого не защищают, что гитлеровцы на товарной станции, а там мама, брат Митя, Светлана Ильинична, Григорий Саввич, Сергей и Вера. Нет, надо во что бы то ни стало туда, к друзьям, к любимым, и будь что будет... Зато рядом со всеми, вместе со всеми... Он почувствовал, как Иван легонько толкнул его.

— Умер, — прошептал Иван.

И только теперь Эдик услышал гнетущую тишину в блиндаже. Она была особой, не такой, как раньше, напряженной до звона в ушах. Младший лейтенант лежал неподвижно, полуоткрыв рот, запрокинув голову.

— Умер, — повторил Иван, подошел к младшему лейтенанту, взял из его руки пистолет, положил в карман, легонько вытянул шинель из-под головы и накрыл ею покойного.

— Уйдем отсюда, — сказал Эдик. — Страшно? — спросил Иван.

— Нет, просто не хочется...

В это время снова начала бить артиллерия. Методично, точно соблюдая интервалы. Так

вколачивают в землю сваи тяжелой металлической бабой.

— Лучшего места не найдешь, — тоскливо сказал Иван. — Скоро начнет смеркаться.

Долго сидели молча. Потом Эдик достал из кармана измятую папироску, закурил. Иван покосился на него. Эдик затыкнулся раз, второй, протянул окурочек Ивану.

— Слушай, Ваня, — прошептал Эдик. — Значит, мы напрасно копали эти проклятые противотанковые рвы?

— Ничего не напрасно, — ответил Иван. — Ты же сам видел под Буйничами, что не напрасно. Правда, это не спасение от бед, но все-таки...

— Что ты успокаиваешь и меня и себя... — шептал Эдик. — Не рвами и не реками их надо останавливать. Пушками, танками и таким огнем, чтобы от него железо горело.

— Уже не веришь, что под Могилевом их остановят? — тоже шепотом спросил Иван.

— Не верю, — задумчиво ответил Эдик.

— Все вы, поэты, люди настроения... — с раздражением прошептал Иван. — Ты посмотри, сколько времени держимся. А они вынуждены топтаться на месте, бросать под Могилев все новые силы. Ты понимаешь, что это значит?

— Допустим.

— Не понимаешь. Иначе не махнул бы рукой на родной город.

— Не городи чепухи, — обиделся Эдик. — При чем тут родной город? Я думал, я был уверен, что на Днепре все решится. К этому готовились, на это рассчитывали. Я думал...

— И думай, — перебил его Иван. — Еще неизвестно, как повернутся события. Может, к окруженному Могилеву уже спешит помощь.

— Может... — неопределенно произнес Эдик и замолчал.

В сумерках, ребята покинули блиндаж и вышли в редкий сосонник, слабо освещаемый заревом далекого пожара. Над Луполовом взлетали ракеты и трассирующие пули. В багрянце неба, нервных вспышках прожекторов, гуле машин и тягачей было что-то зловещее.

Осторожно минуя дороги и улицы, ребята направились в сторону аэродрома, где, по словам младшего лейтенанта, можно было проскользнуть к Днепру. Где перебежками, а где ползком Иван с Эдиком пересекли Луполово и чуть не напоролась на группу гитлеровцев, расположившихся на травянистом поле аэродрома. Ребята замерли, слившись с землей. Гитлеровцы разговаривали негромко, иногда раздавался залихватый смех.

— О чем они? — шепнул в ухо Эдику Иван.

— А черт их знает... — так же тихо ответил Эдик. — Стыдно. Семь лет учили немецкий — и ни в зуб.

— Не скажи, — съязвил Иван. — А парцип цвай, а имперфект? Геноссе Стасевич, гее ан ди тафель...

— Тише... — Эдик схватил Ивана за рукав. — Слышишь?

С востока нарастал могучий гул моторов. По ровному сильному звуку ребята сразу отличили — шли советские самолеты.

— Ну, что? — горячо зашептал Иван. — Я тебе говорил, что еще ничего неизвестно, что к Могилеву подойдет помощь.

— Давайте, давайте, родные... — звал их тихонько Эдик, и самолеты, словно услышав его, загудели над Луполовом.

По небу зашарили прожекторы, и ударили зенитки. Самолеты не меняли курса. Прямо над аэродромом один из них повесил яркий большой «фонарь». Ребята услышали истошные крики и команды. К улицам и дорогам, ведущим за город, рванулись машины и повозки. Рев моторов, стрельба зениток — все слилось в сплошной гул.

Солдат, на которых напоролась Иван с Эдиком, как ветром сдуло с аэродрома. В это время со стороны деревянного моста через Днепр послышалась яростная стрельба.

Иван молча вскочил с земли и рванулся вперед. Эдик едва поспевал за ним.

— На мост? — крикнул на бегу Ивану.

— Сумасшедший! К Днепру, пока тут заваруха!

Но «заваруха» быстро кончилась. Самолеты сбрасывали не бомбы, а груз. Уже на берегу Иван, удивленный, остановился и плюнул от злости:

- Кому сбрасывают, фашистам?
- Думаю, что Луполово еще наше.
- Думаю... а рация зачем?

От моста стрельба перекинулась на Луполово. Очевидно, паши хотели отбить у врага предназначенный для них груз.

- Может, повернем? — спросил Эдик.
- Нет, мы им не подмога. Быстрее на ту сторону!

Ребята вошли в холодную с темно-багровым отсветом воду. Течение сразу подхватило обоих и понесло в сторону моста. Плыть было трудно — мешали винтовки, но Иван оказался ловчее — он был уже на середине, а Эдик все никак не мог приноровиться грести одной рукой. А тут еще эта одежда. Она отяжелела и тянула вниз.

Иван раза два повернулся и, как показалось Эдику, призывно махнул винтовкой. Эдик не ответил — он и так старался изо всех сил. А бой с Луполова снова перекинулся к мосту. «Не удалось нашим пробиться к грузу, — подумал Эдик. — А там, наверное, боеприпасы».

Когда Иван подплывал к левому берегу, оттуда послышалось несколько выстрелов.

— Свои! Не стреляйте! Свои! — закричал Иван, размахивая над головой винтовкой. Он шел по мелководью, все время оборачиваясь в ожидании Эдика...

Узнав, что друзья не вернулись из Чаус, а гитлеровцы уже подошли к Луполову, Сергей решил немедленно вернуться в свой истребительный батальон. Вера поменяла повязку на затянувшейся ране и залепила ее пластырем. Мать собирала в узелки и обшивала клеенкой книги, которые собиралась зарыть на огороде, и впавшими тоскливыми глазами смотрела на сына и невестку.

Сели перед дорогой. Потом мать поцеловала Веру, Сергея и молча кивнула на прощанье. Александр Степанович проводил молодых во двор, хотел что-то сказать, а потом махнул рукой и слабо улыбнулся.

Передний край проходил в каком-нибудь километре от дома, за нефтебазой. Деревянные дома железнодорожников горели и днем и ночью. Дым пожаров стлался по Ульяновской огромными сизо-серыми змеями. Станция замерла — ни одного паровозного гудка, ни рожка стрелочника. На путях методично рвались мины, и то вспыхивала, то угасала ружейно-автоматная стрельба у нефтебазы.

За неделю, которую Сергей пролежал дома, город преобразился — с чердаков уцелевших кирпичных зданий смотрели на улицу пулеметные стволы. Во дворах стояли машины и повозки, а на небольшой площадке за виадуком — батарея зениток. — Эти тоже скоро уйдут на передовую, — кивнула Вера на зенитки. — На валу они бьют прямой наводкой.

— Мост еще наш? — спросил Сергей.

— И наш и не наш... Пойдут в атаку они — наши заставляют откатиться. Попробуют наши прорваться на Луполово — они отбивают атаки и теснят к валу...

Еще с театральной площади Сергей увидел на башне старой ратуши у Дома офицеров — красное знамя. Оно чудом держалось на самой верхотуре и переливалось на солнце кроваво-красным отблеском.

— Что за праздник?

— Это им назло, — озорно сверкнула глазами Вера. — С самого утра они начинают бить по этой башне из пушек. Ну и черт с ними. Расход боеприпасов...

Сергей улыбнулся. Вера все еще не могла понять, как не понимал долгое время и Сергей, что они готовились к этой войне основательно и боеприпасов им хватит надолго, может быть, даже на несколько лет, потому что все заводы Европы работали на них...

Советская площадь лежала в развалинах. Большое кирпичное здание областной типографии зияло пустыми окнами, был сожжен и разрушен Дом пионеров, примыкавший к парку.

Появлению Веры и Сергея ребята не придали особого значения — как будто те и не отлучались на целых семь дней. Лишь какой-то студент, кажется, с истфака, обтрепавшийся за эти дни и сменивший брюки на красные шаровары от лыжного костюма, обнял Сергея и кивнул на плечо:

— Болит?

— Терпеть можно... — Сергей улыбнулся, глянув на необычный костюм студента. — Ты что, специально для фрицев вырядился?

— Они, как быки, ненавидят красное... — Студент сказал это без тени усмешки, с каким-то упрямым ожесточением, потом достал из кармана шаровар пачку сигарет. — Идем, я тебе передам свою стрелковую ячейку... в полный рост... и патронов дам... перехожу на четверенный «максим».

Но занять стрелковую ячейку Сергею не пришлось. Устин Адамович, которому доложил он о своем возвращении в строй, устало улыбнулся, взял Веру и Сергея под руки и отвел в сторону. Сели на поваленное дерево.

Сергей заметил, как изменился за эти дни Устин Адамович. Отросла небольшая рыжая бородка — бриться, конечно, было некогда, да и негде, лихорадочно горели ввалившиеся глаза, обрамленные сетью морщинок.

Устин Адамович расстегнул планшет. Там, где должна была находиться карта, лежали папиросы «Казбек».

— Вот, пионеры принесли из какого-то магазина.

Курили молча, изредка бросая взгляды друг на друга. Вера отмахивалась от табачного дыма, тербила застежку санитарной сумки. Пахло гарью и свежеспиленным деревом. Стояла непривычная тишина.

— У них что, выходной? — кивнул в сторону Луполова Сергей.

— Обед, — ответил Устин Адамович, снял фуражку и положил рядом с собой на дерево. — Как только обед — нам передышка... — Устин Адамович вытер лысину платочком не первой свежести. — Вот что, ребята. Вы тут выросли, знаете каждую улочку, да и пригороды, наверно, знакомы вам.

— Конечно, — сказала за себя и за Сергея Вера.

— На высотах деревни Гаи держит оборону со своим батальоном милиции капитан Владимиров. У городского штаба третий день с ним нет никакой связи. То ли его посыльные не добираются до города, то ли посыльные штаба...

Сергею хотелось спросить, что же будет дальше — кольцо окружения сжимается все туже и туже, но вместо этого он сказал:

— Мы найдем капитана Владимирова.

— Ну, ни пуха ни пера... — Устин Адамович обнял Веру, Сергея. — Передайте, что отступать некуда...

С Луполова начался артиллерийский обстрел. Снаряды рвались на площади, на валу, у ратуши. Вера оставила санитарную сумку на перевязочном пункте, оборудованном в кирпичном подвальчике летнего кафе. Самого кафе уже не существовало — остались только кирпичные стены подвала.

Вера достала из сумки пистолет, сунула его в карман стеганки и, не пригибаясь, побежала по ходам сообщений вниз к Дубровенке, где ее ожидал Сергей.

Словно сговорившись, гитлеровцы вели огонь не только со стороны Луполова, но и со стороны шелковой фабрики и нефтебазы. Горели и рушились дома, на улицах лежали неубранные трупы, куда-то спешили вооруженные люди в гражданской и военной форме, ревели грузовики, таща на прицепе артиллерийские орудия. Тяжело раненный, город еще жил, еще не сдавался.

Сергей и Вера вышли к мостику через Дубровенку, тому самому, с которым были связаны воспоминания о довоенных счастливых днях, кажущихся сегодня такими далекими и безвозвратными. Сергей взял Веру за руку, и они стали подниматься вверх по Виленской, спотыкаясь о булыжник развороченной мостовой. И вдруг совсем рядом Сергей услышал автоматную очередь. Он потянул Веру за руку и прижался с ней к стене дома. Осмотрелся. Никого. Только попытался шагнуть на тротуар, как снова раздалась очередь и у ног прозвенели, ударившись о булыжник, пули. Вера рванула Сергея за руку и потянула за угол дома. Стреляли по ним. Но кто?

Скрываясь за домами, они поднялись по Виленской выше и снова слышали стрельбу из автомата. Кто-то бил из чердачного окошка двухэтажного кирпичного особняка. Сергей

вскинул винтовку, но Вера удержала его:

— Только обнаружишь себя. Подойдем поближе.

Они перебежали улицу и дворами, чтобы тому, с чердака, не было видно, стали пробираться к дому. Во дворе было безлюдно. Врезавшись в гору, стоял добротный погреб. Из-под земли возвышалась серая бетонированная стена с обитой жестью дверью. Окна дома были крест-накрест заклеены полосками газетной бумаги и уцелели. Со двора в подъезд вела покосившаяся от старости дверь. И только Сергей взялся за ручку, чтобы открыть ее, как услышал позади знакомый голос:

— Петрович, вы куда?

Сергей обернулся и увидел Милявского в потертом темно-сером костюме, лакированных туфлях, изрезанных трещинами, в неизменном пенсне. Он стоял, распахнув дверь бетонированного погреба, и с нескрываемым удивлением смотрел на Сергея и Веру.

— Это вы, Вера? Я вас сразу и не узнал в этом наряде.

С чердака снова прозвучала автоматная очередь.

— Слышите? Там диверсант, — сказал Сергей и снова взялся за ручку двери.

Милявский с неожиданной ловкостью подбежал и заслонил собою вход в подъезд.

— Вы с ума сошли! Зачем вам, такому юнцу, лезть под пули? У вас впереди вся жизнь.

— Ростислав Иванович, — с трудом сдерживая себя, заговорил Сергей. — Отойдите. Там враг. Он убивает наших людей по-воровски, из-за угла.

— Его уберут без вас... есть на это регулярные войска... наконец НКВД... а вы... зачем вы встречаете в это страшное дело...

— Это наш долг, — твердо сказала Вера, оправившись от смущения, вызванного неожиданным появлением Милявского. — И мы его выполним. Не мешайте.

— Дети!... Разве вы в силах бороться с этой машиной? Бросьте оружие и идите домой. Вы никому не нужны, и вас никто не тронет, можете быть уверены.

Сергей оттолкнул Милявского и, перепрыгивая сразу через две-три ступеньки, бросился по лестнице вверх, где должен был находиться выход на чердак. А снизу до него долетали голоса Милявского и Веры:

— Отойдите, Ростислав Иванович!

— Верочка, я не пушу вас!

— Отойдите, я буду стрелять! — Вы с ума сошли...

— Отойдите!

Верины каблучки застучали по лестнице.

Выход на чердак был свободен. Сергей сгоряча без всякой предосторожности высунулся в люк по пояс и увидел у слухового окошка лежащего милиционера с автоматом. Услышав шорох, милиционер повернулся, но Сергей опередил его...

Вера вслед за Сергеем поднялась на чердак, глянула на убитого и скороговоркой произнесла свое привычное проклятие:

— Сволочи... сволочи... сволочи...

Сергей бросил винтовку, взял из рук убитого автомат, подобрал запасные обоймы и почти бегом, поддерживая Веру под руку, спустился вниз. В подъезде их ожидал побледневший Милявский.

— Что вы наделали? — дрожащим голосом сказал он Сергею. — Теперь, в случае чего, претензии будут ко мне.

— Не понимаю, — бросил Сергей.

— Здесь моя квартира...

До самого Печерска — излюбленного места отдыха горожан с пологими холмами и стройным молодым сосняком — Сергей и Вера молчали. И только когда вошли в лес, Сергей остановился, закурил и сказал серьезно:

— По-моему, он предатель.

— Просто трус, — не согласилась Вера.

— От трусости до предательства один шаг.

— Ты все еще ревнуешь, — Вера улыбнулась краешком губ. Большие серые глаза ее лукаво сверкнули.

— Наверное, — ответил с улыбкой Сергей.

И снова шли и молчали. Начались перелески, изрезанные крутыми высотками. Где-то здесь у поселка Гай был рубеж батальона Владимиров. И не успел Сергей об этом подумать, как услышал окрик:

— Стой! Руки вверх!

Из кустарника вышли два милиционера с винтовками наперевес. Были они уже немолодые. Один худощавый, маленький, стриженный под машинку, второй повыше ростом, покрупнее, с белесой шапкой волос.

В первое мгновение Сергей схватился за автомат — кто знает, что за милиционеры тебя задерживают, когда в городе то и дело ловят ракетчиков и диверсантов в милицейской форме.

— Мы из студенческого ополчения, — спокойно сказал Сергей, не поднимая рук. — Идем на связь к капитану Владимирову.

— Оружие на всякий случай отдайте, — тоже мирно сказал худощавый и снял с плеча Сергея немецкий автомат. Вера протянула белокурому пистолет.

Худощавый повертел в руках автомат и спросил Сергея:

— Трофей?

— На Виленской взял у одного типа, — неохотно ответил Сергей.

Белокурый пошел вперед, за ним Вера, потом Сергей, и замыкал шествие худощавый.

Странное ощущение испытывал Сергей в эти минуты. Откровенно говоря, он не верил, что милиция способна сражаться с регулярными частями гитлеровцев. Откуда шло это неверие — он и сам не мог объяснить, — просто он привык видеть милиционера чаще всего без оружия на улице города, как строгого блюстителя порядка. В будни он усмирлял буйство какого-нибудь хватившего через край гуляки, руководил несложным уличным движением, в праздники при полном параде следил за тем, чтобы ничто не мешало шествию колонн. К этому примешивалось чувство некоторой иронии, вызванной отношением к конкретному человеку, известному во всем городе милиционеру Глазову.

Глазов, очевидно, знал службу и был на хорошем счету у начальства, потому что стоял на посту ответственном — на самой центральной площади города. Он бдительно следил здесь за порядком и чистотой — никто не смел на виду у Глазова бросить на мостовую или тротуар окурки, никто не решался сквернословить — Глазов был беспощаден. Рассказывали, что однажды он оштрафовал собственную жену.

Воскресным днем возвращалась она с Быховского рынка через площадь с тяжелой покупкой — снопом соломы на подстилку поросенку. Поскольку на весу этот сноп держать было тяжело, женщина тянула его по тротуару. Отдельные соломины ускользали из-под ее руки и застревали на тротуаре. Глазов, заметив нарушение, схватился за свисток. Услышав знакомую трель, женщина не остановилась. Глазов вынужден был бежать к ней через всю площадь.

Тут же собралась толпа любопытных.

Глазов взял жену за рукав:

— Гражданка, вы нарушаете...

— Отстань, — устало ответила ему жена. — Лучше помог бы нести, чем стоять да посвистывать.

— Я не посвистываю, а нахожусь при исполнении служебных обязанностей.

— Ну и находишься.

— Немедленно уберите за собой солому!

— На это у тебя дворники есть, — невозмутимо ответила жена.

— Гражданка! В таком случае платите штраф!

— Ты что, сдурел? С законной супруги штраф.

— Вы слышите? — строго спросил Глазов. — Мне все одно, что вы супруга, а раз нарушаете — платите.

Женщина выставила Глазову кукиш.

— А этого ты не хотел? Вот тебе штраф. А вернешься домой — я тебе это припомню.

Глазов невозмутимо растегнул планшет, выписал квитанцию, достал из правого нагрудного кармана три рубля и переложил в левый.

Рассказ об этом поступке Глазова многие годы передавался из уст в уста, и Сергей

припомнил его, шагая вслед за белокурым милиционером...

Сергей сразу узнал капитана Владимирова, хотя видел его только однажды в последних числах июня. Со стороны Луполова по Первомайской в колонне по четыре шел милицейский батальон. Люди разных возрастов, по одинаково подтянутые и строгие. Впереди был капитан чуть выше среднего роста, стройный, молодцеватый, с трофейным автоматом через плечо и планшетом на длинных ремнях, отчего планшет раскачивался и бил по ногам. Но капитан не обращал на это никакого внимания. Сергей стоял тогда на тротуаре, смотрел на колонну и любовался командиром.

Теперь, в глубокой траншее, он выглядел не так бодро. Планшет его лежал в стороне, сам он сидел на песчаном уступе окопа и не встал, когда к нему привели задержанных. Он проверил комсомольские билеты ребят, спокойно распорядился, чтобы им вернули оружие, отпустил дозорных и посмотрел на Сергея:

— Мост еще наш?

Сергей нарисовал обстановку на валу, в районе шелковой фабрики, передал распоряжение городского штаба обороны.

Владимиров устало посмотрел на ребят.

— Я и так знаю, что отступить некуда... — Он посмотрел на часы. — Вот сейчас двадцать с хвостиком, а они готовят очередную атаку... пятую по счету... а у меня уже полбатальона, да и то вместе с ранеными... вы садитесь, ребята, отдохните. — Владимирова прикрыл глаза, и мелкие морщинки сбежали у переносицы. Казалось, он о чем-то мучительно думал в эту минуту.

Сергей и Вера опустились на дно траншеи и смотрели на этого усталого красивого человека со следами тяжелой бессонницы.

— Самое трудное, — продолжал капитан, — началось с 17 июля... — Он вздохнул, не открывая глаз. — Навалились они на нас с танками и пехотой. Отбили. Бутылками с горючей смесью да гранатами. С тех пор деремся без передышки. Вчера даже контратаковали. Выбили их из Пашкова, Там меня слегка царапнуло... — Владимирова открыл глаза, поднялся, и Сергей увидел прежнего энергичного человека. Словно в те минуты, что он говорил с ними, Владимирова отдохнул. — Хлопцы у меня в батальоне что надо, да и позиция уж больно хороша. Вот смотрите...

Траншеи тянулись по гребню высоты, словно специально приготовленной для обороны. Впереди за перелеском виднелась деревня.

— Вот это самое Пашково, а вон там поселок Гай... Вдруг недалеко ударила пушка, и за спиной Сергея в овраге вырос столб земли.

— Начинается, — зло сказал Владимирова. — Да не выставляйтесь вы! — крикнул он ребятам.

Вера и Сергей, как по команде, опустились на дно траншеи. Вера взялась за руку Сергея и крепко сжала ее. Может, она вспомнила тот злополучный день на Буйничском поле? Сергей посмотрел на нее и молча кивнул — обойдется. А обстрел все нарастал. Били орудия и минометы разных калибров. Над высотой стоял сплошной гул и вой. Потом, словно по мановению волшебной палочки, этот гул сменился треском автоматов.

— Без моей команды не стрелять! — громко крикнул Владимирова, и над траншеями, как эстафету, люди передавали слова капитана.

Вера и Сергей приподнялись над бруствером и увидели, как по ложине бежали, стреляя на ходу, солдаты. Вот они все ближе и ближе. А Владимирова молчит.

Сергей поставил автомат на боевой взвод. Он уже слышит беспорядочные крики солдат, различает их лица, напряженные, красные, перекошенные злобой и испуганные.

— Огонь! — командует Владимирова.

Дрожит автомат в руках Сергея, и то ли от этой автоматной тряски, то ли от нервного напряжения начинает расти противная дрожь внутри, которую он никак не может унять.

Огонь с высоты, сильный и прицельный, остановил бегущих, но они еще не пятятся, а пытаются залечь. И тогда Владимирова вскакивает на бруствер, и его зычный голос эхом отдается на холме:

— За Родину!...

Этот голос поднял и Сергея, и Веру, и всех, кто мог встать из траншей. Мелькали синие милицейские гимнастерки, гремели выстрелы, стоял крик и стон, и в центре этой стремительной людской волны был Владимиров. Сергей видел только его, бежал вслед за ним, чувствуя неудержимую притягательную силу этого человека.

Гитлеровцы не выдержали. Они повернули в сторону Пашкова. А с фланга вдруг ударили крупнокалиберные пулеметы.

Сергей заметил, что с Владимировым что-то случилось. Он бежал вперед, преследуя отступающих, но уже как-то по инерции, выронив из рук трофейный автомат, Сергей рванулся к капитану, чувствуя рядом тяжелое дыхание Веры.

Сергей не успел подхватить Владимирова — тот с разбегу рухнул на землю. Сергей и Вера упали рядом — из перелеска все били эти проклятые крупнокалиберные. Вера повернула Владимирова на спину — в открытых глазах его навсегда застыла ненависть.

Атака захлебывалась. Отстреливаясь, отходили бойцы поредевшего батальона, унося на плащ-палатке тело капитана Владимирова.

Его положили на командном пункте, там, где недавно сидел он на песчаном выступе, беседа с Верой и Сергеем.

Пожилой сержант, принявший на себя командование, спросил ребят:

— Вы с чем приходили к капитану? Сергей рассказал.

— Скажите в штабе обороны, что нам до зарезу нужно подкрепление. Ночь мы еще продержимся...

На обратном пути Сергей почувствовал усталость — ныло плечо, подкашивались ноги, лихорадочно стучало в висках. Он присел в густом сосоннике Печерского леса, а потом лег на спину и лежал, глядя в высокое голубое небо, по которому плыли редкие белые облачка, по краям окрашенные заходящим солнцем. Были эти облачка похожи на вату, окрашенную пятнами крови, и Сергей прикрыл веки, чтобы не смотреть на небо.

Рядом сидела Вера и молчала.

— А он ведь уже мертвый бежал вперед, — задумчиво сказал Сергей.

— Кто? — спросила Вера.

— Владимиров.

Вера вдруг припала горячими губами к щеке Сергея.

Сергей погладил ее голову и поцеловал в щеку. Ощутил соленый привкус слез.

— Ты плачешь?

— Я боюсь за тебя, Сереженька, милый мой, родной ты мой... один ты у меня на всем белом свете... Раньше как-то не думала, а вот сегодня догнали мы в атаке Владимирова, а его уже нет, понимаешь... Ты сказал — его уже не было, а он еще бежал... — Вера всхлипнула и крепко прижалась к Сергею.

Проглатывая тугой комок, подкативший к горлу, Сергей целовал Верины глаза, щеки, губы, лоб, и щемящая нежность захлестывала его сердце...

Было поздно, но мать не спала. Стоило Сергею тихонько постучать в окно, как он услышал скрип двери из комнаты в кухню и мать, суетливая и какая-то испуганная, вышла на крыльцо.

— Живы, детки мои... живы... Ну, проходите, проходите...

Только тут, дома, Сергей почувствовал, что голоден.

— Мапочка, что-нибудь поесть, скорее...

— Господи, что же это будет? Вот и отца куда-то позвали. До сих пор нету, — ворчала мать и ставила на стол все, что осталось от обеда.

— Кто позвал? — Сергей поднял голову от тарелки.

— Не знаю. Какие-то военные. Приехали, пригласили в машину, и вот до сих пор.

— Может, что-нибудь связанное со школой? — стараясь успокоить мать, сказала Вера.

— А он не директор. Пускай директор думает, что станется со школой.

— Директора, по-моему, мобилизовали в армию... — поддержал Веру Сергей. — Успокойся, мама, ничего плохого не случится... — Он встал, взял со стола кусок хлеба и положил Вере в карман стеганки. — Это нам на ночь. Ну, береги себя...

— Кому я нужна... — расплакалась мать. — Если и погибну, то по глупой случайности, а вы все время под пулями... — Она прижалась к Вере, не отпуская ее. — Побудьте до утра. Я одна тут с ума сойду без отца.

— Нельзя, мама, там нас очень ждут... от этого зависит судьба многих людей... — Сергей освободил Веру из материнских объятий. Они вышли на крыльцо и шагнули в темноту, озаряемую близкими и далекими пожарами.

Возвращались на вал в тот момент, когда над Луполовом наши самолеты повесили «фонарь» и начали сбрасывать боеприпасы для осажденных. Штурмовая группа из ополченцев и красноармейцев бросилась по деревянному мосту через Днепр, но продвижение ее было остановлено. Под сильным огнем противника пришлось отступить, с горечью видя, что грузы в которых так нуждались защитники города, попали в руки врагу.

А потом произошло самое невероятное — в то время, когда Сергей рассказывал о последнем бое капитана Владимирова, в блиндаж к Устину Адамовичу привели мокрых, озябших, но счастливых от встречи со своими Ивана и Эдика.

Глава вторая ОДНИ

Днем и ночью шли бои за железнодорожную станцию Могилев-2, за предместье города Карабановку, за поселок шелковой фабрики, но главный удар в эти двадцатые числа июля гитлеровцы направили на деревянный мост через Днепр, соединяющий Луполово с западной частью города, где собрались все защитники Могилева. Увидев однажды ополченца в красных лыжных шароварах за счетверенным зенитным пулеметом во время боя за мост, Иван решил, что его место там, внизу, у самого моста, пусть даже вторым номером у этого отчаянного парня.

Устин Адамович выслушал просьбу Ивана, задумался, потом закурил и предложил Ивану.

— Спасибо, не курю, — отказался Иван.

— Черт бы побрал этот мост, — в сердцах сказал Устин Адамович. — Он ведь нам уже ни к чему. А взорвать не можем, хотя приказ уже есть. Говорят, перебит провод к зарядам, а как только кинутся подрывники срывать — гибнут. Вот и приходится драться. Потому что, если немцы захватят его, — нам крышка.

— Я знаю, — сказал Иван. — Потому и прошусь.

— А пулеметом владеешь?

— Научусь в деле.

Весь вечер он провозился с напарником у счетверенной установки, а утром их машина стояла уже внизу, прямо напротив моста, чтобы можно было простреливать весь настил.

Вначале гитлеровцы повели редкий минометный огонь по ополченцам, занявшим, позиции на валу, затем заговорила артиллерия. Гремели взрывы, трещали и валились деревья, но защитники моста молчали. И только когда с откосов насыпи с правой стороны Днепра на мост высыпали гитлеровцы, из траншей на валу открыли массированный огонь.

Перескакивая через трупы своих солдат, лежащих на мосту уже несколько дней, гитлеровцы рвались вперед. Все новые и новые цепи накатывались на мост. Казалось, огромный невидимый транспортер выбрасывал и выбрасывал их на мост, орущих, спотыкающихся, бешено стреляющих из автоматов.

Парень в красных шароварах не торопился, а у Ивана все сжалось внутри от напряжения.

— Давай, давай! — не выдержал он.

Парень негромко ответил — Иван не расслышал, что он сказал, пригнулся, почти слившись с пулеметами, и четыре «максима» шквалом свинца ударили по наступающим.

В неудержимом азарте Иван подавал ленты, видя, как мост покрывается сплошным мышинным цветом.

Гитлеровцы по-прежнему вели артиллерийский и минометный огонь по валу. Все чаще мины стали рваться возле счетверенной установки. Иван слышал эти противные квакающие взрывы, раздававшиеся совсем близко, и каждый раз инстинктивно падал на дно кузова. А парень в красных шароварах не обращал на эти мины никакого внимания. Отбив атаку, он

отпустил рукоятки пулемета и заметил, что установку взяли под обстрел. Он стукнул ладонью по кабине, давая знать шоферу, что пора менять позицию, и в этот момент Иван почувствовал, что падает вместе с машиной, с пулеметами, с этим отчаянным парнем в красных шароварах в какую-то багровую гремящую пустоту.

На валу все увидели этот взрыв под машиной. Эдик и Сергей бросились по откосу вниз, а Веру придержал Устин Адамович. — Справятся без тебя.

Мины падали возле омертвевшей машины методично, через равные промежутки, словно по ту сторону моста решили стереть установку с лица земли. Эдик и Сергей уловили эти небольшие промежутки и после очередного взрыва бросились вперед.

В разбитом кузове лежал парень в красных шароварах с расколотым черепом. Иван перевесился через борт, словно хотел и не успел спрыгнуть с машины. Ребята подхватили его и бегом потащили в укрытие. А сверху уже бежала Вера с санитарной сумкой.

Иван не открывал глаза. Лежал тихо, неподвижно и чуть слышно дышал. Пиджак и рубашка его на груди были окровавлены. Эдик разорвал рубаху, и ребята увидели глубокую кровоточащую рану. Стараясь остановить кровь, Вера наложила большой тампон и сделала перевязку. Сергей прибежал с носилками.

По рву, опоясывающему вал, они поднялись на площадь и направились в госпиталь.

Шли по Ленинской, шумной и тихой студенческой улице, и каждый думал о том, чтобы спасти друга.

— Хоть бы слово сказал, — громко прошептал Эдик.

— Он без сознания, — ответила Вера. — Скорее, ребята, боюсь, что мы опоздаем.

У почты они повернули вправо. И тут, как некогда на Виленской, по ребятам открыли огонь из автомата с какого-то чердака.

— На другую сторону улицы! — скомандовала Вера.

Ребята бросились под защиту домов и почти побежали вниз по Пожарному переулку в сторону областной больницы.

Их встретила Маша в белом халате поверх армейской формы. Словно знала, что придет Эдик или кто-нибудь из его друзей.

— Скорее врача! — крикнул Эдик, даже не поздоровавшись с Машей.

— Поставьте носилки, я сейчас! — Маша юркнула в коридор больницы, уставленный койками с тяжелоранеными, и вскоре вернулась с военврачом со шпалой в петлице.

Отвернув повязку на груди Ивана, он скомандовал:

— В операционную!

По знаку Маши Сергей и Эдик подхватили носилки и, лавируя между койками, направились по лабиринтам коридоров.

— Скажите Паршину — будет мне ассистировать! — обернулся к Маше шагающий впереди военврач.

У входа в палату, дверь которой была плотно обита дерматином, носилки у ребят приняли санитары — пожилые красноармейцы в белых халатах, Сергей и Эдик торопливо покинули коридор, наполненный запахами лекарств, стонами раненых, и вышли на больничный двор, где их ждала Вера. Молча прошли под деревья и сели на скамейку. Говорить не хотелось. Эдик достал папиросы, протянул Сергею. Вернулась Маша.

— Ну, как он? — тревожно спросил Эдик.

— Тяжелый... — вздохнула Маша. — Но у Владимира Петровича золотые руки.

— Это кто — Владимир Петрович?

— Кузнецов. Который принял Ивана... Он такие делал операции, такие, просто чудо... А Паршин его друг... Может, все и обойдется... — Маша замолчала и посмотрела на ребят. — Что вы притихли? Не хотите прощаться?

— Почему — прощаться? — удивилась Вера. — Разве ты куда-нибудь уезжаешь?

— Да вы, оказывается, еще ничего не знаете, — горько улыбнулась Маша. — Сегодня ночью гарнизон будет пробиваться из окружения.

В стороне Днепра раздался взрыв, от которого вздрогнула земля и зазвенели больничные стекла.

— Мост! — воскликнул Сергей. — Наконец-то взорвали мост.

— А как же ты, как госпиталь? — спросил Эдик.

— Легкораненные и выздоравливающие пойдут с вами, а мы остаемся — здесь еще тысячи наших людей.

Сообщение Маши было таким неожиданным, что ребята растерялись. В суматохе трудных боевых будней они не задумывались о том, что будет дальше, как сложится их судьба, судьба всего города. Чаще всего приходило ожидание перемены к лучшему. Оно поддерживалось многими командирами и прежде всего Устином Адамовичем. Он был уверен, как и Эдик, что Могилев станет рубежом, на котором произойдет решительное сражение с гитлеровцами. Ничего, что гарнизон города пока остался в окружении. Он приковал к себе огромные силы противника, наступление его захлебнулось, а тем временем подойдут наши резервы с танками, авиацией, артиллерией, и судьба войны будет решена в нашу пользу. Сообщение Маши разом опрокинуло все эти надежды и поставило перед каждым из них вопрос: что делать? Идти с войсками на прорыв или оставаться здесь?

Эдик бросил окурок и потянулся за новой папиросой. Маша взяла его за руку. Эдик с тревогой посмотрел на нее.

— Тебе нельзя. Ты комсомолка, военный врач, — упавшим голосом сказал он.

— Разве я одна? А Кузнецов, а Паршин, а Пашанин, а политработники и командиры в палатах? Это же коммунисты и комсомольцы...

Наступило молчание.

— Совсем забыли про Ивана, — спокойно упрекнула Вера. — Маша, пошла бы ты посмотрела, что там.

— Сидите. Там работы часа на два. И снова все замолчали.

— Надо же что-то делать, — встал со скамейки Сергей. — Пока Иван в операционной, пошли к Устину Адамовичу.

— Мы не прощаемся, Маша... — сказал Эдик. — Мы еще вернемся, вот только решим как и что...

На углу Ленинской и Пожарного переулка их опять обстреляли.

— Сволочи... сволочи... сволочи... — повторяла второпях свое ругательство Вера, скрываясь вместе с ребятами за стенами домов.

С площади увидели они обломки моста, свисающие в Днепр. Три центральных пролета были снесены взрывом начисто. Остались только опоры. Они торчали словно одинокие печи в сожженной деревне.

Устина Адамовича ребята застали у блиндажа. Он давал распоряжения командирам рот.

— Сборный пункт на театральной площади! — закончил он.

— Мы уходим? — спросил Эдик.

— Есть приказ, — спокойно ответил Устин Адамович. — Сегодня в 24.00 — прорыв из окружения. В бой идут регулярные части и бойцы ополчения...

— А где же обещанные резервы? — не унимался Эдик.

— Нет резервов, нет... и не скоро будут...

— Значит, мы зря тут...

Устин Адамович молча посмотрел на Эдика, на Сергея, на Веру и тихо ответил;

— Нет, не зря. Эта оборона останется в веках... Эдик скептически улыбнулся.

— И не надо улыбаться, Эдик. Я говорю вполне серьезно. А теперь шагом марш за мной...

На башне ратуши по-прежнему развевалось красное знамя, но с Луполова почему-то не стреляли. Видно, после взрыва моста выжидали, что предпримут защитники города.

Устин Адамович вел ребят в институт. Эдик хотел предупредить, что в институте уже, наверное, диверсанты, потому что дважды ребят обстреляли с той стороны, но вот они достигли Пожарного переулка, а стрельбы не было. Только миновали почту, увидели — дверь института распахнулась и показался знакомый милицейский начальник с ромбом в петлице. За ним вышел молодой стройный немец в расстегнутом кителе, без фуражки, веселый, улыбающийся. За ним показались три курсанта из школы НКВД.

Милицейский начальник узнал студентов и, кивнув в сторону диверсанта, громко сказал:

— Даже не считает должным маскироваться...

— Зачем его брали? — зло спросил Сергей. — Чтобы переправить на Луполово?

Милицейский начальник ничего не ответил, а гитлеровец бросил на Сергея быстрый взгляд, и улыбка его тут же погасла.

В вестибюле Устин Адамович достал из кармана связку ключей.

— Откройте сейфы в партбюро, в комсомольском комитете, списки коммунистов и комсомольцев, ведомости там разные сжечь, чтобы ни одной фамилии нигде не осталось. Я в кабинет директора. Там тоже кое-что есть...

— А дальше что? — спросил Эдик.

— Дальше от имени горкома партии предлагаю вам оставаться в городе.

— Как? — взорвался Сергей. — Наши войска будут прорываться к своим, а мы дезертируем?

— У нас тут тоже будет фронт.

— Вы предлагаете сдать? — наступал Сергей. — Нет. Просто мы меняем форму борьбы. — Значит, о помощи нечего и помышлять? — взялся за свое Эдик.

— Враг рвется к Москве... — глухо произнес Устин Адамович. — Думаю, что там резервы сейчас нужнее. Потому что без Москвы...

— Понятно... — нахмурился Эдик и закурил.

— Есть над чем подумать... — Сергей взял у Эдика папиросу, прикурил и посмотрел на Веру. — Мы, наверное, пойдем со своими войсками. Правда?

— Нет, не пойдем, — неожиданно отрезала Вера. — А здесь что, чужие? Маша, Иван, тысячи наших людей в госпиталях... А твои отец и мать разве чужие? Как они будут здесь одни, без нашей помощи?

Сергей молчал. Слова Веры били по самому больному. Действительно, а что же будет с Иваном? Бросить его одного и уйти? Хорош союз, нечего сказать. Маша остается с госпиталем. Значит, Эдик знает, что ему делать... Сергей благодарно посмотрел на Веру, подхватил ее под руку и, перепрыгивая через две-три ступеньки, побежал в комнату комсомольского комитета...

Прощались в вестибюле.

— Я не могу быть советчиком, — признавался Устин Адамович. — Потому что сам никогда не работал в подполье. Одно скажу — мне поручено держать с вами постоянную связь. Когда мы свидимся — не знаю. Устраивайтесь, работайте. И главное — не лезьте на рожон. Осторожность и еще раз осторожность. Помните, как говорят в народе — береженого бог бережет... Обнимите за меня Ивана, помогите ему встать на ноги. Ну, Верочка, прощайте.

— Не прощайте, а до свидания.

— Виноват... — Устин Адамович пожал руку Веры, а потом обнял и поцеловал ее в щеку.

— Ну, Сережа, только без горячности...

— Постараюсь, Устин Адамович.

Эдик растрогался и стоял в стороне с повлажневшими глазами. Устин Адамович положил ему руки на плечи: — Если я в чем-нибудь был неправ, прости. — Ну что вы...

— Нет, нет, наверное, не надо было отговаривать тебя от военного училища... видишь, какая ноша легла на наши плечи... надо быть грамотным, хорошо подготовленным военным...

— А что же стихи?

— Волнуюсь и опять говорю не то... Обязательно пиши... Сейчас это твое самое главное оружие...

Вышли на улицу.

— Не провожайте, — сказал Устин Адамович. — Я один. Кстати, если кому из вас понадобится квартира — вот ключ... — Устин Адамович передал его Эдику и еще раз пожал ему руку. — Берегите себя, ребята...

— Счастливо...

Устин Адамович скрылся за углом Пожарного переулка, а ребята стояли возле института как оглушенные. Вступая в ополчение, сражаясь на Буйничском поле и на валу, они готовы были на все, даже на смерть, чтобы отстоять родной город, на который они возлагали столько надежд. Но отдать его врагу и вдобавок самим остаться... Нет, этого они еще понять не могли, и не столько разумом, сколько сердцем.

Не сговариваясь, повернули они к госпиталю, вошли во двор и молча уселись на скамье под деревьями. Только теперь они заметили, что в городе стало тише. Как будто обе стороны

притомились от бесконечной пальбы. В воздухе пахло гарью от старых и новых пожаров, и, словно вобрав в себя их огонь, пылало щедрое июльское солнце.

— Как же мы будем жить рядом с ними? — вдруг сказал Сергей не столько Эдику и Вере, сколько себе.

— Боишься? — спросила Вера. Сергей задумался.

— Ты угадала. Боюсь, что не выдержу одного их присутствия и буду уничтожать, как бешеных крыс.

— Это пожалуйста, — одобрил Эдик без тени улыбки. — Лишь бы толково, по всем правилам конспирации. А глупо лезть в петлю — какая от этого польза? Ни себе, ни людям.

— Слушаю тебя и удивляюсь, — усмехнулся Сергей, — ну чистой воды подпольщик. И откуда это у тебя?

— Историю надо было учить...

— А у него отличная оценка, — вступилась Вера, — Милявский нахвалиться не мог его успехами.

Сергей поежился, а Эдик заметил с иронией:

— Он увлеклся всеобщей историей, а историю СССР сдавал по чужому конспекту.

— Ты прав, — согласился Сергей, словно желая замять разговор, в котором неожиданно всплыл Милявский, — давай перекурим это дело.

Эдик почувствовал настроение Сергея и замолчал. А Вера не догадалась.

— Милявский, наверное, и не подумает уходить из города, — сказала она.

— Да ну его к черту, — махнул рукой Сергей. — Гнида этот твой Милявский.

— Почему — мой? — порозовела Вера.

— А потому что ты его вспомнила. — Сергей затаился и выпустил облако дыма.

— Его забывать нельзя, — сказал Эдик. — Если он останется в городе да подружится с немцами — нам придется туго. Он знает и про комсомол и про ополчение...

— Я у него на чердаке диверсанта прикончил, — глухо сообщил Сергей.

— Вот видишь... — продолжал Эдик. — Если он с нами, то лишний раз убедился, что на тебя можно положиться, если против нас, то надо подумать.

— Уберем его, — предложил Сергей. — И не надо будет голову ломать.

— Ты анархист, и лучше тебе из города уйти. А то действительно наломаешь дров...

— Я пошутил... — зло усмехнулся Сергей. На крыльцо госпиталя вышла Маша.

— Как долго вас не было! — с упреком произнесла Она. — Я уже испугалась.

— Что с Иваном? — спросил Эдик.

Маша подошла, прислонилась устало к Эдику плечом;

— Я же говорила, что у Владимира Петровича золотые руки... Иван спит в послеоперационной.

— Пройдем к нему, — предложил Сергей.

— Нельзя, — мягко сказала Маша. — Он ведь под наркозом. Проснется под утро.

Эдик взял Машу за руку, усадил рядом на скамейку,

— Вы не уходите? — спросила Маша.

— Нет, — ответил за всех Эдик.

— Тогда помогите. За ночь мы должны переписать сотни историй болезни командиров, политработников и красноармейцев-коммунистов. Они должны стать рядовыми и беспартийными. Завтра уже будет поздно. Я поручусь за вас перед Кузнецовым потому, что сами знаете — это жизнь или смерть,

Эдик с гордостью посмотрел на Машу и бросил Сергею:

— А ты говорил, как будешь жить..., Маша деловито распорядилась:

— Прежде всего надо разоружиться. У нас во дворе несколько тайников. Идите за мной.

Тропинка привела их в дровяной сарай, затерявшийся в углу больничного двора. Дверь его уже не закрывалась, а, покосившаяся, висела на ржавых завесах. Маша зашла за штабель непиленых дров, разгрела старые опилки и щепки и подняла крышку подпола. На большом куске замасленного брезента лежали винтовки, карабины, ручные пулеметы, пистолеты и револьверы, подсумки и ленты с патронами.

— Настоящий арсенал... — прошептал Эдик.

— Верочка, постой, пожалуйста, за дверью на всякий случай, — попросила Маша и распорядилась: — Давайте сюда ваше оружие и забудьте, что вы были ополченцами.

Вера бросила в подпол пистолет и вышла за дверь.

— Это временно, правда? — спросила она Машу, будто она знала наверняка, как будут дальше разворачиваться события.

— Не знаю, Верочка, — простодушно призналась Маша. — Наверно, временно... — Она закрыла подпол, замаскировала его старыми опилками и щепой.

— Таких тайников много? — спросил Эдик.

— Хватит на целый батальон. Раненых доставляли с оружием, а куда его девать? Не будешь оставлять в палатах... Ну, а теперь давайте комсомольские билеты...

— Мы даже во время боев за город не сдавали их, — недовольно заметил Сергей.

— Не ворчи, не ворчи, Сережа, — улыбнулась Маша. — Я здесь хозяйка и прошу мне подчиняться. Билет Ивана я уже взяла.

— Куда ж ты их? — поинтересовался Эдик. — Надо, чтобы все мы знали. Случись с кем-нибудь несчастье, другой достанет.

— Пошли... — Маша была такой деловитой, что Эдик не переставал удивляться, откуда только все это бралось. Он вспоминал ее наивной и робкой школьницей, свой первый выход с Машей в кино. Все это сегодня казалось таким далеким и милым.

Маша требовала безоговорочного повиновения. Эдики Вера не сводили с нее влюбленных глаз. Строптивый Сергей ворчал, но все-таки делал так, как требовала Маша.

Она раздобыла три халата, давно потерявших свою белизну, научила их надевать, проводила ребят в небольшую сырую комнатку подвального помещения в углу двора, оставила одних и вскоре возвратилась с мужчиной средних лет, тоже в белом халате. Он нес под мышками два толстых пакета с бумажными папками. Положив их на стол, мужчина пристально посмотрел на ребят.

Маша успокоила:

— Вы не волнуйтесь, Федор Ионович, ребята надежные. Ручаюсь как за себя.

Мужчина улыбнулся, и сразу лицо его стало приветливым, располагающим.

— Ну, что ж, — сказал он. — Рад. Весьма рад нашему знакомству. — Он подал руку Вере: — Доктор Пашанин.

— Вера...

— Хорошо, — опять улыбнулся Федор Ионович. — Вера, Надежда, Любовь... А вас как зовут, мушкетеры?

— Откуда вы знаете? — вырвалось у Эдика.

— Что именно?

— Что мы мушкетеры... то есть что мы были однажды мушкетерами, а потом нас так и называли.

— Конечно, я этого не знал, — засмеялся Пашанин. — Но как только глянул на вас, понял — вылитые мушкетеры.

Ребята засмеялись. Федор Ионович как-то сразу снял тревожное напряжение обстановки, принес веселую улыбку, по которой так соскучились ребята.

— Спасибо вам, Федор Ионович, а то мы совсем приуныли, — сказала Вера.

— Веселого во всем этом мало, — нахмурился Пашанин, — но насколько я понимаю в медицине — война затягивается и на пути Гитлера будет еще не один такой Могилев. А у нас страна — десять Германий уместится и силы хватит. Так что, пожалуйста, носы не вешайте, мушкетеры...

После ухода Пашанина в комнатке, освещенной керосиновой лампой, воцарилось спокойствие. Четыре ручки, одна чернильница, тощие бумажные папки историй. Никто из ребят не мог предположить, что за скупыми словами документа можно увидеть жизнь человека с ее радостями и болями. Люди мелькали перед ними, как при замедленной съемке, — пожилые и молодые, кадровые военные и призванные из запаса, участники войны с белофиннами и молодежь из военных училищ, впервые обстрелянная под Могилевом. Были коммунисты, принятые в партию в далеком 1924 году по ленинскому призыву, были принятые в партию во время могилевской обороны.

Около полуночи Эдик взмолился:

— Маша, объяви перекур, сил нет.,

— Только не здесь. Выйдите за дверь.

Эдик взял папиросу, чиркнул спичкой, открыл соседнюю дверь и отшатнулся:

— Там люди... лежат.

— Ну и что? — спокойно сказала Маша, — Это морг. Их еще не успели похоронить.

— Глупые шутки... — проворчал Эдик.

— Не можете там, выйдите на улицу...

Эдик и Сергей вышли во двор, встали у стены, закурили. В городе было по-прежнему тихо. Только изредка вспыхивала ожесточенная перестрелка в стороне железнодорожного вокзала.

— Что они, не собираются уходить? — сказал Эдик.

— Говорят, у завода «Возрождение» гитлеровцы перерезали город по минскому шоссе. Там сводный полк Катюшина бьется самостоятельно...

— А в центре пока тихо... — Эдик прислушался. Где-то на валу и в районе Виленской раздавались редкие винтовочные выстрелы.

Вдруг со стороны Луполова ударила пушка. Раз, второй. На театральной площади, у областного военкомата, послышались взрывы.

— Сволочи, там ведь сборный пункт всех выходящих из окружения. Неужели узнали?

— Нет, это дело ракетчиков, — возразил Эдик. — Заметили скопление и дали сигнал. — Он бросил окурочек и собрался уходить. В это время на Быховской загремели пушки, разорвались гранаты, небо прочертили трассирующие пули.

— Ну, вот, пошли. Счастливо вам... — Голос Эдика дрогнул.

Сергей молча смотрел на эту зловещую иллюминацию, вслушивался в грохот этого необычного боя и жалел в душе, что он не там, что он не рядом с друзьями-ополченцами, рвущими сейчас возле шелковой фабрики железное кольцо окружения,

Сергей докуривал папиросу и поглядывал на Эдика. «Наверное, в такие вот минуты и пишутся стихи», — подумал он. Глаза Эдика блеснули в багровом отсвете боя, он напряженно вглядывался в край полыхающего неба, словно хотел увидеть на его фоне колонны уходящих в леса защитников города.

— Как думаешь, — тихо спросил он Сергея, — вырвется Устин Адамович?

— Трудно сказать, кто уцелеет сегодня. Пусть поможет им ночь... — как молитву, произнес последние слова Сергей, повернулся и молча пошел в помещение.

— Что-то вы долго... — недовольно заметила Маша. Вместо ответа Эдик попросил:

— Посмотри на часы.

— Двенадцать с минутами.

— Наши покидают город.

— А нам нельзя, — спокойно сказала Маша. — И давайте работать. К утру все должно быть готово.

Писали молча, прислушиваясь к бою, уходящему все дальше и дальше.

— Ребята, — вдруг сказал Сергей, — посмотрите, дневник...

Маша взяла из его рук ученическую тетрадку, исписанную мелким почерком.

— Действительно. Отложи в сторону. Это к истории болезни никакого отношения не имеет.

— Давайте почитаем, — предложила Вера.

Маша укоризненно посмотрела на подругу, но ничего не сказала. Вера открыла тетрадь:

— «Шестого июля. Наш эшелон разгрузился на станции Буйничи. По сторонам от железной дороги зрел обильный урожай. Хлеба выше человеческого роста. Скрепя сердце мы уничтожали их, рыли окопы, траншеи. День и ночь создавали линию обороны. Часто у нас бывал командир полка полковник Семен Федорович Кутепов. Он нас подбадривал — тяжело в учении, легко в бою. И вот началась наша „легкая“ жизнь...

Девятого июля. Мой день рождения. По этому поводу повар налил котелок клюквенного киселя, но когда уходил от полевой кухни, у меня из рук его выбила шальная пуля.

Одиннадцатого июля. Сутра началась бомбежка. Артиллерийский обстрел перенесен в

глубину обороны. Поднимая облако пыли, приближались танки. За ними во весь рост, будто на параде, шла пехота. Мундиры мышинового цвета расстегнуты, рукава закатаны выше локтя... Перед нашими окопами осталось лежать до трехсот трупов и застыло двадцать четыре танка. Мы убедились, что можем бить фашистских молодчиков.

Двенадцатого июля. Пьяные гитлеровцы лезут как очумелые, не считаясь с потерями. Когда им удалось немного потеснить нас, весь полк во главе с Кутеповым поднялся в контратаку.

Четырнадцатого июля. За ночь на опушке леса выросло громадное кладбище с крестами, на которых надеты каски гитлеровцев.

Пятнадцатого июля. Прямо в окопе, во время передышки, меня принимала в партию, говорили хорошие слова, ободряли. Комиссар Зобнин поздравил меня. Я стал коммунистом. В батальоне побывало два московских корреспондента. Один с фотоаппаратом пополз на ничейную полосу снимать подбитые фашистские танки, а другой беседовал с нами и что-то записывал в блокнот. Странно, взрослый человек, а не научился выговаривать ни «л», ни «р».

Двадцатого июля. Прямо на позиции приехала делегация могилевских рабочих и работниц. Вручали нам подарки, рассказывали, что с врагом будут сражаться все горожане от мала до велика, просили крепко бить фашистских гадов.

Двадцать второго июля. Удерживаем свои рубежи. Бойцы, устали. Не помню, после какой по счету атаки, гитлеровцы ворвались в траншеи первой стрелковой роты. Винтовки и пулеметы молчали — не было патронов.

Двадцать третьего июля. Ночью полковник Кутепов приказал отойти на юго-западную окраину Могилева, в район шелковой фабрики, и, используя каменные здания и бараки, вновь организовать оборону.

Двадцать четвертого июля. Моя последняя контратака. Более двух часов продолжался налет авиации. Затем атака танков и пехоты. Связками гранат и бутылками с зажигательной жидкостью уничтожили десять танков, но пехоте удалось захватить отдельные здания, Я ранен осколком мины и лежу в госпитале...»

— Оказывается, мы были рядом с кутеповцами, тихо сказал Эдик.

— Дневник уничтожить, — распорядилась Маша. — Чтобы никаких следов.

Закончили работу, когда окна посветлели. На столе аккуратной стопкой лежали исправленные истории.

— Ой, ребята, как я устала... — как-то совсем по-домашнему сказала Маша. — Умираю спать. Эдик, я лягу к тебе на колени... — Она свернулась калачиком. Эдик обнял ее худенькие плечи и почувствовал, что Маша уже спит. Он облокотился на стол и сразу провалился в темную сладкую пропасть...

Сергей погасил лампу и сел рядом с Верой. Она лихорадочно обняла его за шею.

— Сереженька, сама не знаю почему, но после Владимирова очень боюсь... за тебя, родненький... — шептала она. — Эдик с Машей спят, счастливые, а я не могу... Сейчас думаю о тех, что лежат за дверью. Они тоже любили, надеялись, строили планы, а завтра их вывезут за город в братскую могилу... Ты не слушай меня, глупую... — Вера целовала щеки Сергея, губы, лоб, руки. — Ты не слушай, на меня иногда находит такое, что просто ужас... Жалость какая-то или что другое...

Сергей, как заколдованный, слушал горячий шепот Веры, и ее внутреннее волнение передалось ему. Он, как в ознобе, дрожал мелкой дрожью и с жаром отвечал на Верины ласки.

— Сереженька, выйдем во двор... Не могу я смотреть на эту дверь. Мне кажется, оттуда дух какой-то... — Она встала.

В это время в комнатку вошел Пашанин. Увидев спящих у стола Машу и Эдика, он взял исправленные истории и кивнул Вере и Сергею, чтобы шли за ним.

— Слушайте, — сказал он во дворе. — У нас, оказывается, есть еще один мушкетер, да такой настырный — никакого с ним сладу. Проснулся после операции, узнал, где он и что с ним, и потребовал Машу. А она... пусть отдохнет. Девочка совсем замучилась.

— Проводите нас, пожалуйста, — попросил Сергей. Комнатка при морге была райским уголком по сравнению с палатами и коридорами госпиталя — бредили и стонали тяжелораненые, пахло йодом, карболкой и еще какими-то медикаментами. Воздух,

пропитанный этими запахами; казался непроницаемым.

Вслед за Пашаниным Сергей и Вера вошли в послеоперационную, где стояло шесть коек»

— Ребята! — каким-то дрожащим хриплым голосом позвал Иван. — Я здесь.

Койка Ивана стояла у самого окна,

— Откройте, дышать нечем, — попросил он.

Вера открыла окно. Иван обвел глазами палату. На койках спали или притворялись, что спят.

— Значит, наши ушли? — громким шепотом спросил Иван.

— Ушли, — вздохнул Сергей. — Сегодня ночью прорывались.

— А как же вы?

— А мы остались с тобой, — улыбнулась Вера.

— Вы эти шуточки бросьте, — громко прошептал Иван. — Вы что, струсили?

— Перестань, — нахмурился Сергей. — Вечно ты хватаешь через край. Да и не тот разговор в палате. Понял?

— Нет, не понял, — не успокаивался Иван. — Бросить своих в такую минуту...

— Если ты еще раз упрекнешь нас, — вспылал Сергей, переходя на едва слышный шепот, — мы встанем и уйдем.

Иван некоторое время молча рассматривал Веру и Сергея. Вера ободряюще кивала ему головой, подавая знаки, что в палате не все можно говорить, и он наконец успокоился. Сергей молча пожал его руку, лежащую поверх серого солдатского одеяла.

— Ты скорей поправляйся. Мы будем тебя навещать.

— Зайдите к маме, скажите, что живой... А то она, наверное, меня давно похоронила.

— А ты разве не был дома после возвращения из-под Чаус?

— Там уже были немцы.

Тихо вошла Маша, молча поздоровалась с Иваном и без слов потянула Сергея и Веру за собой. В коридоре шепнула:

— Быстрее на склад. Там еще гимнастерки командиров и политруков... — Ну и что? — бросил Сергей, — Тех, чьи гимнастерки остались, давно уже нет.

— На всякий случай Владимир Петрович приказал сжечь.

Костер из окровавленной порванной одежды уже догорал, когда во дворе госпиталя остановилась крытая темным брезентом грузовая машина гитлеровцев.

На крыльцо вышла медсестра с флагом Красного Креста в руках, за нею врачи Кузнецов и Пашанин...

К двенадцати часам ночи на театральной площади у облвоенкомата собрались войска и отряды ополченцев. Никаких команд не поступало, и люди толпились в томительном ожидании. Потом со стороны Виленской через площадь торопливо прошли какие-то люди, и в темноте Устин Адамович услышал голоса:

— Доложи генералу — полковник Кутепов убит. Выследили его диверсанты.

— А кто же возглавит ударную группу?

Устин Адамович обошел молчаливые ряды ополченцев. На душе было беспокойно. Полковник Кутепов... Устин Адамович встречал его под Буйничами, много хороших слов слышал о нем от бойцов и командиров. «Душа могилевской обороны», — сказали как-то о нем в городском штабе ополчения.

Наконец колонна двинулась. Где-то впереди взревели моторы машин, раздалась какие-то команды. Только прошли площадь, как услышали — с Луполова ударила пушка и снаряд разорвался в самой гуще людей. Крики, стоны... Кое-кто бросился в укрытие.

— Вперед! Вперед! — торопит Устин Адамович.

И, словно подгоняемые снарядами, которые методично падали на площади, колонны пошли быстрее.

Спустились к Днепру. В сумерках июльской ночи чернели фермы взорванного моста. Поднялись по Быховской, И вот уже на пути к поселку шелковой фабрики завязался бой.

Кажется, гитлеровцы не ожидали такого массивного удара.

— Вперед! Вперед!

Нет уже никаких колонн. Смешались машины, войска, ополченцы. Все спешат в образовавшуюся брешь.

Но вот гитлеровцы приходят в себя. У железнодорожного переезда ополченцев накрывает сильный автоматный и минометный огонь. Спасаясь от него, люди шарахаются в сторону, где возвышается крутая насыпь железной дороги. На переезде горят наши машины.

«Только вперед, только вперед», — думает Устин Адамович. Он чувствует — стоит только завязнуть за этой спасительной насыпью и прорыв захлебнется. Он вскакивает на насыпь и зычно командует:

— За мной, ребята, вперед!

Он не оглядывается и слышит, как позади, тяжело дыша, бегут люди. Кто они — студенты или красноармейцы, сейчас безразлично. Главное — не останавливаться.

Перед Устином Адамовичем в темноте вырастает фигура в каске. В одно мгновение Устин Адамович сбивает ее с ног и, перепрыгнув, мчится дальше. Хрипы, вздохи и крики рукопашной.

— Вперед! Вперед!

Устин Адамович уже не слышит собственного голоса. Сейчас ему хочется, чтобы перед ним выросла еще раз тяжелая фигура в каске. Он вцепился бы руками в горло врагу, он бил бы его рукоятью револьвера, он выместил бы на нем всю злость, что накопилась с самого начала войны.

За ним бежит небольшая группа людей. Но там, позади, еще есть воинские части, они тоже спешат в прорыв. И он не останавливается.

За мелким кустарником открывается светлая полоса хлебного поля. Устин Адамович с ходу врывается в эту пахнущую теплом, щекочущую колосьями волну, запутывается в ней и падает в изнеможении. Над ним вспыхивает яркий электрический свет. Устин Адамович догадывается, что гитлеровцы зажгли прожекторы, но не может шевельнуться. Сердце лихорадочно бьется не в груди, а где-то под самым горлом, и пот заливает глаза.

Автоматы и пулеметы косят несжатую рожь. Устин Адамович, не поднимая головы, начинает ползти вперед. Метр за метром, метр за метром. И снова им овладевает знакомая бесшабашная злость, а вместе с ней приходят новые силы. Он ползет вслепую, не зная, что его ждет там, впереди.

Прожекторы переметнулись правее. Устин Адамович встает и пытается бежать. А рожь, как назло, упрямо путается под ногами, лезет в лицо, держит за руки, тугими пряслами связывает ноги.

Позади никого не слышно. Погибли или отстали ополченцы, а может, он один отбил от всех. Едва держась на ногах, он выходит из хлебного поля на лесную опушку. Начинает светать,

Устин Адамович различает в лесу группы людей. Как будто свои. Вон старший политрук, опираясь спиной о сосну, закатал гимнастерку, перевязывает раненую руку. Он без фуражки. Густые русые волосы спадают ему на глаза.

Увидев Устина Адамовича, не удивляется. Слово знает, что из этих хлебов еще будут появляться люди.

— Скажите, товарищ, — обращается он к Устину Адамовичу, — это не Тишовский лес?

— Думаю, нет... — Устин Адамович устало опускается на землю недалеко от политрука. — Тут где-то должно быть Бобруйское шоссе...

— Вы кто? — спрашивает старший политрук, осторожно опуская забинтованную руку на запыленные колени.

— Комиссар без батальона, — горько улыбается Устин Адамович. — Найду ли своих ополченцев?

— У меня тоже считанные люди.

Правее, где час тому назад горели прожекторы, снова вспыхнула перестрелка. Старший политрук приказал:

— Подъем, ребята, а то они нам наступят на пятки. Встал и Устин Адамович.

— Вы с нами? — спросил старший политрук.

— Временно, — сказал Устин Адамович.

— И за это спасибо. Сейчас нам нужен проводник.

Устин Адамович шел впереди и узнавал знакомые места. Вон, слева, небольшое лесное озерцо, а справа остался дом отдыха шелковой фабрики, а там за холмом будут летние палаты пионерского лагеря. Устин Адамович находит тропу, чтобы обойти лагерь, потому что неизвестно, что там и кто там сейчас.

— Куда путь держите? — Устин Адамович поворачивается к старшему политруку.

— На Рогачев. Там, говорят, сражаются войска генерала Петровского.

— Надо пересечь шоссе, — Это далеко?

— Метров двести, — прикинул Устин Адамович.

Он вывел группу на заросшую густым ельником высотку. Отсюда как на ладони виднелось шоссе. Совершенно пустынное. Словно все, что накапливалось на этой бойкой дороге весь июль, разом вошло и въехало в Могилев. И только Устин Адамович хотел шагнуть с откоса вниз, как увидел — из-за поворота появилась колонна. Ее заметили все. Колонна двигалась медленно, словно арестанты по тюремному двору.

— Нашего брата ведут, — зло сказал старший политрук. — Человек двести. И охрана невелика... Рассредоточиться! — приказал он своим. — По моей команде уничтожить конвой!

Колонна растянулась. Конвоиры, словно нехотя, держали наготове автоматы, подгоняли отстающих. Впереди шагал рослый гитлеровец в расстегнутом мундире и курил. Автомат висел у него на шее.

И снова, как во время прорыва из окружения, Устин Адамович почувствовал прилив злости. Он неотрывно смотрел на этого рослого, который шел впереди. Он шел, переваливаясь с ноги на ногу, самоуверенный, спокойный, словно выполнял любимую, хорошо знакомую работу.

— Дайте мне первого... — шепнул Устин Адамович старшему политруку.

— Берите хоть всех... — в голосе старшего политрука послышалась улыбка.

Колонна подошла совсем близко, стоило только спрыгнуть с откоса, и конвоиров можно было достать руками.

— Бей гадов! — крикнул старший политрук и первым бросился вниз.

Устин Адамович выстрелил и увидел, как, недоуменно повернувшись в его сторону, упал рослый, которого он все время держал на мушке.

Громкая команда старшего политрука, эхом прозвучавшая в лесу, была сигналом не только для его бойцов, но и для пленных. Они навалились на гитлеровцев, обезоружили, и лишь один из них увернулся и хотел бежать. Его догнала красноармейская пуля.

После короткого успешного боя все углубились в лес и расположились на отдых. Пошли расспросы и знакомства. Обрадованные неожиданным освобождением, пленные шутили, перевязывали друг другу раны, просто лежали на теплой мшистой земле. Старший политрук угостил Устину Адамовича трофейными сигаретами:

— А может, с нами, комиссар?

— Нет. Счастливого пути, — пожелал Устин Адамович. — У меня тут другие дела.

— Понимаю, — улыбнулся старший политрук. — Ну что ж. Земля круглая. Может, и свидимся...

Из кабины крытого брезентом грузовика вылез офицер и пошел к крыльцу. Из кузова высыпали солдаты и остановились поодаль, ожидая команды.

— Это госпиталь? — спросил офицер на, чистом русском языке.

— Так точно, — ответил Кузнецов.

— Проводите меня к главному врачу,

— Пожалуйста, — сказал Кузнецов. — Вон туда.

Он шел к двухэтажному деревянному зданию, где находилась канцелярия. Офицер шагал вслед за ним, с любопытством поглядывая вокруг. Заметив ребят, он спросил Кузнецова:

— Кто такие?

— Врач с санитарями производит дезинфекцию. Когда дверь за офицером закрылась, Маша прошептала:

— Я же говорила вам, что Владимир Петрович золотой человек.

Ребята промолчали. Впервые так близко видели они врага и с тревожным любопытством

наблюдали за ним, как наблюдают за поведением диковинного зверя. Солдаты курили, смеялись, не обращая на ребят никакого внимания. Были они, как на подбор, крепкие и плечистые, на вид не старше тридцати лет. В сторонке держался, очевидно, их командир, упитанный коренастый мужчина в мундире, который с трудом застегивался на животе. Он покровительственно посматривал на солдат, улыбался их шуткам и поглядывал в сторону канцелярии, куда ушли офицер с Кузнецовым.

Ребята сгребли золу и, не зная, что делать дальше, стояли притихшие и настороженные.

Открылась дверь канцелярии. Первым вышел офицер, за ним Кузнецов.

— Вы так говорите, — сердито бросил офицер, — словно у вас не госпиталь, а больница.

— Под госпиталем у нас остался один только корпус... — Кузнецов показал на трехэтажное здание, стоявшее особняком, — а остальные — с гражданским населением... оно страдает от войны не меньше военных.

— Допустим, — согласился офицер. — Значит, нет у вас ни комиссаров, ни евреев?

— Вы ведь познакомились с историями болезни.

— Куда же они подевались? — Офицер достал сигарету, закурил и вопросительно посмотрел на Кузнецова.

— Нынешней ночью они ушли из города. Офицер расхохотался.

— Тогда все в порядке, — громко сказал он. — Из Могилева никто не вышел живым...

Покажите ваши палаты.

Кузнецов поднялся на крыльцо. Офицер кивнул упитанному командиру. Тот отдал какие-то распоряжения, и вслед за Кузнецовым в помещение вошло человек пять солдат. У машины осталась еще одна группа.

— Надо бежать, — сказал Сергей. — Пока не поздно.

— Здесь вас никто не тронет... — прошептала Маша. — Останетесь санитарями. Будете работать под началом Владимира Петровича.

— Как ты все легко решила, — сказал Сергей, ковыряя лопатой золу от костра. — Еще неизвестно, чем кончится ревизия этого офицера.

— Пока все идет хорошо.

— Если повезет, я останусь, — Эдик с нежностью посмотрел на Машу.

— На твоём месте я поступил бы точно так, — продолжал Сергей. — А нам с Верой... не собираться же всем в госпитале. Хорошо, если устроится, один из нас...

В коридоре корпуса, куда вошли солдаты, раздался крик, а потом гомерический хохот. Забыв о предосторожности, ребята бросились на крыльцо, но им перегородил дорогу солдат. А в коридоре гитлеровцы избивали щуплого худощавого мужчину в белом халате. Они встали по обе стены коридора и ударами кулаков перебрасывали его, как мяч, от стены к стене.

— Юде! Юде! — горланили солдаты, багровые от удовольствия и гнева.

— Это доктор Сердубович, — тихо сказала Маша. — Он еврей. Не послушался Кузнецова и остался.

Офицер, с улыбкой наблюдавший эту сцену, что-то сказал упитанному командиру. Тот опрометью бросился по коридору, выскочил на крыльцо, оттолкнул ребят, достал из кузова грузовика толстую пеньковую веревку и вернулся.

Доктор уже лежал на полу. Солдат затянул веревку на его шею и потянул по коридору на двор. Позади с хохотом, криком и свистом шла процессия во главе с офицером.

— Юде! Юде фарен зи!...

Безжизненное тело Сердубовича билось на ступеньках крыльца. Его вытянули во двор и пытались поставить на ноги. Сердубович был без сознания. Офицер кивнул упитанному командиру. Тот выхватил парабеллум и выстрелил несколько раз в грудь доктору.

Ребята сгрудились испуганной стайкой. А на крыльце стоял белый, как вата, доктор Кузнецов и молчал. Губы его вздрагивали, но он сдерживал себя огромным усилием воли.

Офицер посмотрел на него и зло усмехнулся}

— Доктор Кузнецов, подойдите сюда!

Владимир Петрович медленно спустился с крыльца и подошел к офицеру, который продолжал улыбаться.

— За первый небольшой обман мы делаем вот так! — Офицер размахнулся и ударил

Кузнецова по лицу.

Маша вскрикнула.

Кузнецов стоял не шелохнувшись. Только желваки нервно двигались на щеках.

— Из гуманных соображений, — важно сказал офицер, — германское командование временно разрешает функционировать госпиталю. Как госпиталю военнопленных. Корпус с ранеными будет немедленно взят под охрану. Вы и остальной медперсонал у нас в плену. Понятно?

— Не совсем, — глухо произнес Кузнецов. — У нас много вольнонаемных из гражданского населения. Персонал больницы.

— Эти не в счет. А за пленных отвечает головой.

— И за умирающих? — спросил Кузнецов.

— Будете предоставлять документы. — Офицер перешагнул труп Сердубовича, сел в кабину и захлопнул дверцу. Солдаты заняли места в кузове. Машина взревела и, круто развернувшись, выехала в ворота госпиталя. На крыльцо вышел Пашанин с незнакомым человеком в белом халате.

— Это Паршин, — сказала Маша. — Друг Владимира Петровича.

Кузнецов наклонился над Сердубовичем, снял с шеи пеньковую веревку. Подошли Пашанин и Паршин. Они подняли тело своего товарища и понесли в морг.

Сергей снял с себя халат и отдал Маше:

— Нам пора.

— Счастливо, ребята... — сказала Маша, взяв под мышку халаты Сергея и Веры, — Счастливо.

В глазах ее стояли слезы.

Глава третья ЗАПАДНЯ

Пока за Днепром гремели орудия и полыхало зарево, Федор надеялся на перемены. Он торопился и торопил Нину, как будто от нее зависело его выздоровление. На счастье, рана быстро затягивалась, как утверждала Нина, потому что пуля не задела кости. Федор уже ходил по двору, правда, с палочкой, но ходил ежедневно, чтобы тренировать ногу. Нина ссорилась с ним за эти тренировки, но ничего поделать не могла — Федор оказался на редкость упрямым.

С Ниной у них сложились странные отношения — поначалу полуофициальные, как у секретаря комитета с комсомольцем своей организации. Она часто вспоминала институт, чтобышний раз показать Федору, что она принимала участие во всех мероприятиях комитета, а он ломал голову и никак не мог вспомнить эту девушку среди активистов. Нина замечала это и переводила разговор в другое русло — высказывала свое отношение к поведению некоторых студентов и студенток, которых знал весь институт. И первой, конечно, подверглась критике Вера.

Федор вспылил:

— Ты даже не догадываешься, какой это человек!

В голосе Федора прозвучало восхищение, и Нина не то смущенно, не то иронически заметила:

— Любопытно..., Было в этом и едва уловимое чувство ревности, которое вызвало у Федора улыбку.

— Лично я к этой истории не имею никакого отношения.

— А почему защищаешь?

— Чтобы судить о человеке, надо с ним пуд соли съесть.

— Значит, которые осуждали ее, ошибаются, а ты один прав?

— Во-первых, я не одинок. Во-вторых, пережевывать старые сплетни невкусно.

Разговора не получалось.

И так изо дня в день. Другая бы махнула рукой, а Нине очень нравился Федор. Она боялась признаться себе в том, что любит его, и не могла представить, как она будет жить одна,

когда Федор выздоровеет и уйдет из дому.

Мать Нины, Евдокия Михайловна, видела, как мается дочь, и не вмешивалась — сами разберутся. Но время шло, сами они не разбирались, а матери больно было слышать среди ночи приглушенные рыдания Нины.

Однажды, когда Федор вышел на очередную тренировку, мать сказала Нине:

— Дочюшка, не страдай ты за ним. Видно, другая у него на душе, коль он как слепой рядом ходит.

Нина зарделась и, стараясь придать голосу игривость, бросила:

— И откуда вы это взяли, мама? Очень он нужен. Вот пройдет у него нога — и на все четыре стороны.

Мать набросила косынку на гладко причесанную седеющую голову и улыбнулась:

— Ну, раз такое дело, тогда конечно... А то жалко мне глядеть на тебя со стороны...

И вот наступил день, когда рухнули надежды Федора на перемены. За Днепром наступила томительная тишина. Федор все ждал, что она взорвется ожесточенной перестрелкой и это будет означать, что гарнизон борется, что он живет. Но перестрелки не было, и Федор сник.

Ни с Ниной, ни с ее матерью он почти не разговаривал. Односложно отвечал на вопросы о самочувствии, успокаивал, что вполне здоров, а сам терзался мучительной мыслью — что делать?

Нина не выдержала. Ночью, когда мать уснула, она тихонько прошла на сеновал к Федору.

— Не спишь?

— Нет.

Нина бросилась Федору на грудь и зарыдала. Тяжело, горько, по-бабьи.

— Ну что ты... ну что ты... — неумело успокаивал девушку Федор.

— Неужели я чужая тебе?... — всхлипывала Нина. — Что ты носишь на сердце и не хочешь поделиться? Я уже совсем извелась, Феденька...

— Поделиться... это ты хорошо сказала. — Федор вздохнул, положил Нине руку на плечо.

От этого прикосновения она вся съежилась, насторожилась, словно собираясь прыгнуть с высокого берега.

— Хорошо сказала, — продолжал Федор. — Ты заметила, что в городе стало тихо?

— Неужели хлопцы погибли? — вопросом на вопрос ответила Нина.

— Они не отступили, не сдались... я знаю... — вздохнул Федор. — А я?

— Что ты? — ласково прошептала Нина. — Ты раненый.

— Был. А теперь здоров. И что теперь, куда мне теперь?

— В город тебе нельзя, — предупредила Нина. — Мало ли что, может, кто из наших бывших студентов остался. Знают, что ты секретарь комитета. Нячиться не будут.

— Ну хорошо, — согласился Федор. — Допустим, что в город нельзя. А здесь я что?

— Как что? — удивилась Нина. — Человек. Будешь жить, как все будут.

— Не могу я и не хочу. Война еще не закончена, и теперь неизвестно, когда кончится, раз не получилось на Днестре. А я что ж, буду тут сидеть и ждать, пока меня придавят, как клопа, или придут и освободят наши? Нет, Ниночка, так дело не пойдет. К фронту двинусь. Не дотопаю, так доползу.

— Сумасшедший. Ты знаешь, что они уже взяли Смоленск?

— Кто тебе говорил? — Мама. — Это еще неточная информация. А если даже и так, Все равно, мне другого пути нету.

— Загубишь ты себя, — снова всхлинула Нина. — Пропадешь.

— А что мне в жизни за интерес, если нету института, нету хлопцев моих, никого нету?..

— Не можешь любить меня, так хоть пожалей... — дрожащим голосом вдруг сказала Нина.

Федор молчал. Только теперь понял он, сколько боли причинил девушке своим равнодушием, своим невниманием. Каждая попытка Нины проникнуть в его душу встречала барьер отчужденности, о который разбивались ее самые сокровенные мечты и желания.

— Ниночка, — как можно мягче сказал Федор. — Жалостью я не хочу унижать тебя. А любить... Понимаешь, я давно люблю другую, давно... — Федор вспомнил о Кате и задохнулся

от мысли, что с ней случилось что-нибудь страшное.

— Неправда, — не поверила Нина. — Ты это нарочно говоришь, чтобы опять оттолкнуть меня, чтобы... я даже не знаю. Ты боишься, что я стану обузой, что свяжу тебя по рукам и ногам?...

— Честное слово я говорю правду, — продолжал Федор. — Может быть, горькую, но правду.

— Нет, нет, — горячо шептала Нина. — Нет, ты это нарочно. Поклянись жизнью...

— Клянусь жизнью, — тихо сказал Федор.

— Кто она? — чуть слышно спросила Нина. Слезы не давали ей говорить, и Федор чувствовал это.

— Женщина... — уклончиво сказал он. — С ребенком. — Твоим?

— Нет.

— Ты страдаешь, а может, они давно уже... — Нина не решилась произнести вслух свою мысль, и Федор был благодарен ей за это.

— Потому и мучаюсь, что не знаю.

— Все равно... — в каком-то иступлении торопливо зашептала Нина, — все равно никому не отдам тебя... никому... ты мой... мой... мой... — Она целовала его руки, шею, грудь, и столько ласки было в этих поцелуях, что сердце Федора оттаяло и он обнял девушку, чувствуя молодую силу и беспредельную нежность ее тела...

Проснулся Федор от яркого солнечного света. Открыл глаза — луч пробивался в щель между бревнами и, как длинный клинок, резал серый полумрак гумна. В свете луча мелькали, как живые, пылинки.

Нины рядом не было. Он вспомнил сегодняшнюю ночь, и чувство вины перед девушкой кольнуло его в сердце. Он встал и вышел во двор. Как и вчера, копошились во дворе куры, ходил между ними важный, специально вырядившийся в пестрые цвета петух, возилась в огороде Евдокия Михайловна, Нина стирала в корыте белье. Все было, как вчера, но что-то уже изменилось. Это было видно по взгляду девичьих глаз, из которых так и светилась радость.

— Доброе утро, — поздоровался Федор, как будто ничего не случилось, но голос выдал его. Нина для него была уже не та, что вчера, хотя оттеснить Катю у нее еще не было сил.

Нина набрала кружку воды, стала поливать Федору. Он вздрагивал от прозрачной струйки, которая щипала холодом его плечи, руки, лицо, а Нина смеялась звонко и озорно.

Евдокия Михайловна встала над грядками, поправила косынку, удивленно и вместе с тем радостно посмотрела на дочь.

Потом завтракали.

И тоже не так, как вчера или позавчера. Первые зеленые огурчики пахли свежим июльским солнечным днем.

Евдокия Михайловна не поднимала головы от тарелки, чтобы не мешать молодым вести разговор глазами. Она не забыла свои юные годы, не забыла, что есть на свете и такой, бессловесный, но понятный двоим разговор.

День выдался таким необыкновенным, что можно было подумать — нет на свете войны, а Нина и Федор приехали, из города на летние каникулы, чтобы осенью, предчувствуя радость встреч с друзьями, снова спешить в аудитории, в конференц-зал института...

Вечером во дворе дома появилось два человека — среднего роста, худощавый в форме старшего лейтенанта Красной Армии и совсем юный сержант, вооруженные трофейными автоматами.

— Нам бы поесть, если можно, — попросил старший лейтенант и поправил выдавшую виды гимнастерку.

Нина мельком глянула на Федора, пригласила:

— Заходите в дом. Федор вошел вслед за ними и, когда Нина накрыла на стол, сел в сторонке, наблюдая, с какой жадностью едят люди. «Это свои, — думал о них Федор, — диверсанты под Могилевом сегодня сыты по горло, да и что им делать здесь, в ближайшей от города деревушке».

— Нина, подежурь там, пожалуйста, во дворе, чтобы в случае чего... — попросил Федор.

Нина с готовностью набросила платок и вышла. — Спасибо тебе, парень, — сказал

старший лейтенант. — Может быть, дашь нам кусок хлеба с собой?

— Я тут не хозяин, — ответил Федор. — Но думаю, что кусок хлеба найдется.

— Добро...

— А куда ж вы идете? — спросил Федор.

— К своим, — с уверенностью сказал сержант.

— А где они?

— А вот этого, — вздохнул старший лейтенант, — мы и сами не знаем. Говорят, дерутся наши под Смоленском и Рославлем. Нам, видать, к Рославлю ближе. Через Чаусы, Кричев.

— Товарищи, возьмите меня с собой, — взволнованно сказал Федор. — Я из студенческого ополчения. Был ранен, и ребята оставили меня здесь... А теперь дорога у меня одна — вместе с вами на восток.

Старший лейтенант внимательно посмотрел на Федора.

— Такая компания нам подойдет.

— А вы, — предложил Федор, — хорошенько выспитесь на сеновале, а там и в дорогу.

— Признаться, — сказал старший лейтенант, — уже забыли, что такое сон...

Ночь была беспокойная. Федор вставал, выходил из гумна на двор, курил, снова возвращался на сеновал. Старший лейтенант с сержантом спали как убитые. Лишь под утро старший лейтенант спохватился, сел, осмотрелся, тронул Федора за плечо:

— Спишь?

— Не могу.

— Может, двинемся?

— Куда спешешь? Позавтракаем, попросим на дорогу.

— Тебя как звать?

— Федор.

— А меня Костя. Константин Зайчик.

— Вы про студенческое, ополчение не слыхали в Могилеве?

— Хорошо на валу дрались ребята.

— А они что, все погибли?

— Не думаю, — усомнился Зайчик, — Они ведь шли вместе с нами на прорыв.

— Расскажите.

— А что рассказывать? Вечером двадцать пятого в штабе дивизии собрались руководители могилевской обороны, командиры, комиссары и начальники штабов. Все уже знали, что по закрытой связи генерал Романов получил короткий приказ из Генштаба на отход. «Гитлеровцы овладели Смоленском, — сказал Романов. — Подошли к Ельне и угрожают Вязьме. Части, обороняющие Могилев, находятся в глубоком тылу врага и лишены возможности получить поддержку людьми и боеприпасами...» Ну, все, конечно, стали предлагать свои варианты выхода из окружения... — Зайчик замолчал, словно что-то вспоминая. — А я сидел и думал, что будет с моими бойцами — почти все они в тяжелом состоянии лежали в госпитале. И таких раненых было больше четырех тысяч.

— Вы их оставили? — перебил Федор.

— А что было делать? — сердито заговорил Зайчик. — Мы уничтожали свои обозы, орудия без боеприпасов... Как пробиться с таким количеством раненых?... Генерал Романов предложил из полка Кутепова, вернее из остатков полка, составить две ударные группы, за ними должны были идти ополченцы, тыловые части и раненые, способные передвигаться. Прорыв был назначен в ночь на 26 июля.

— Я слышал отсюда этот бой, — признался Федор.

— Дрались мы остервенело. — Голос Зайчика дрогнул. — Но у них минометы, пушки, танки... Нас расчленили, и пробивались мы отдельными группами. Мы вот с сержантом махнули через Днепр...

Федор молчал. Он думал о ребятах. Удалось ли Ивану и Эдику переправиться? Вышли они из окружения или сложили свои головы где-нибудь на валу?

В гумно пробилось солнце. Зайчик толкнул сержанта:

— Подъем.

— А? Что?... — вскочил встревоженный сержант, — Спокойно, мы у своих, — улыбнулся

старший лейтенант. — Ну что ж, Федор, действуй. Надо собираться.

В доме все уже было готово к завтраку. Нина встретила Федора веселой улыбкой и распорядилась, чтобы он пригласил военных, да поскорее, а то остынет молодая картошка.

После завтрака, стараясь не глядеть в глаза Нине, он обратился к Евдокии Михайловне:

— Можно товарищам что-нибудь на дорогу? Евдокия Михайловна не отказала:

— Хлеба трохи дам да сырых яиц пару. — И на мою долю, — попросил Федор.

Евдокия Михайловна остановилась у порога, удивленно посмотрела на Федора:

— А ты куда?

— Со старшим лейтенантом.

Нина вспыхнула, глаза ее заблестели:

— Ты ж не военный, зачем тебе с ними? Их могут в плен взять, а ты дома...

— Нина... — Федору было неловко перед Зайчиком. Он уже пожалел, что попросил у Евдокии Михайловны харчей на себя. Надо было молча уйти, чтобы указать военным безопасную дорогу. А теперь..., Евдокия Михайловна не стала вмешиваться и вышла. Направились к двери и Зайчик с сержантом.

— Погодите... — попросил Федор, чтобы не оставаться наедине с Ниной. — А то во дворе кто-нибудь заметит...

Нина ушла в угол хаты, села у окошка и положила голову на руки. Плечи ее беззвучно вздрагивали.

Федору было жаль Нину, Он хотел подойти к ней, успокоить, но чувствовал, что будет хуже — Нина разрыдается вслух и Зайчик с сержантом подумают невесть что. Ну даже если б и была любовь... так что ж выходит— сиди возле любимой и загорай, пока твои друзья, пока весь народ бьется с фашистами. Нет, нога у него уже не болит и больше он тут ни одного дня не останется.

Вернулась Евдокия Михайловна с холщовой торбочкой, туго набитой продуктами:

— Чем богаты, тем и рады, — и, бросив взгляд на Нину, сидящую у окошка, добавила: — Счастливого пути. Чтоб все было добро, чтоб миновала вас пуля...

И все, наверное, обошлось бы тихо, если бы Федор промолчал. Но он не мог молча уйти из этого дома, где, рискуя жизнью, приняли его, выходили, поставили на ноги.

— Спасибо вам, Евдокия Михайловна, за все, — сказал Федор. — Простите, если что не так.

— Бог простит. — Она вытерла ладонью повлажневшие глаза. — Если что какое — вертайся...

Нина подошла к Федору. Глаза ее были воспаленными, словно от бессонницы.

— Не простит его бог, мама, — дрожащим голосом сказала она. — Я просила, я уговаривала его не идти добровольно на смерть, а он не послушался. Ну что ж, иди. Я провожу...

Федор достал из тайника винтовку и пошел с Ниной впереди. Чуть поодаль за ними шли Зайчик и сержант. На глухой, поросшей можжевельником тропе Нина остановилась. Подошли Зайчик и сержант.

— Ни в коем случае не выходите на шлях — обязательно на кого-нибудь нарветесь.

— Это известно, — успокоил ее Зайчик. — Ну ладно. Вы попрощайтесь, а мы подождем... — Он пошел по тропе дальше и скоро пропал из виду.

— Я знала, что ты рано или поздно уйдешь, — сказала Нина, — но так хотелось оттянуть эту минуту,

— Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону, — вспомнил, слабо улыбнувшись, Федор.

— Плохо знаешь географию, — ответила улыбкой Нина. — Ты ведь уходишь на восток.

— Из песни слова не выкинешь. Ну, прощай, не поминай лихом, пожалуйста.

Нина бросилась Федору на шею и повисла, зацепившись тоненькими, как ивовые прутики, руками.

— Только не погибай, только не погибай, сердцем прошу, а я... я тебя найду... обязательно найду... Даже если надо будет полземли пешком обойти...

Федор гладил ее льняные мягкие волосы и улыбался. Только сегодня увидел он, какие

красивые волосы у Нины.

— Ниночка, прости меня... я виноват перед тобой... ты знаешь, о чем я говорю... — Он снял ее руки со своих плеч.

— Что ты, Федя, я сама... сама виновата во всем и ни капельки не жалею...

Федор поцеловал Нину и пошел. На спине своей он долго чувствовал ее взгляд, и от этого на душе становилось теплее и чище.

Опершись о ствол могучей развесистой сосны, Зайчик ждал его и молчал. Когда Федор подошел, он вздохнул;

— Эх, Федя, каких девчат покидаем мы. Моя из-под Тулы прислала весточку прямо на передовую. Только-только мы заняли оборону. Там между поцелуями такие слова о Родине — ни один политрук не придумает. Хорошие у нас девчата. Настоящие боевые подруги.

Федор промолчал. Он не хотел рассказывать Зайчику о своей любви — Кате, о которой столько передумал за эти дни. Вот и сейчас — он все дальше и дальше уходит от нее, и неизвестно, когда состоится их встреча, если она вообще состоится.

Шли день и ночь и еще день, минуя деревни и бойкие дороги, преодолевая топи и лесные заросли. Ботинки Федора, и без того поношенные, прохудились совершенно — отстала подошва, лопнула кожа на передках. Ноги были мокрыми, и ночью Федор чувствовал, как противный озноб ползет по телу. Федор хотел было просто выбросить ботинки, но более опытный Зайчик предупредил:

— Ни в коем случае. Собьешь ноги, тогда пропал... Привяжи подошвы какой-нибудь тряпкой.

Вечером второго дня перед ними открылся большой пойменный луг, а за лугом серебристая лента реки.

— Сож, — сказал Зайчик. — Вот перемахнем на ту сторону, а там уже недалеко...

Сержант усмехнулся. Зайчик почувствовал иронию в этой усмешке:

— И нечего зубы сушить. До Рославля там действительно рукой подать.

Брод найти не удалось. Решили плыть.

— Я, ребята, не очень владею... — признался сержант, — так вы за мной поглядывайте.

Вошли в воду не раздеваясь. Зайчик взял оружие у сержанта и держал два автомата в одной руке над водой, а второй греб. Федор плыл рядом с сержантом, чтобы в случае чего помочь. Но помощь не потребовалась. Быстрое течение вынесло их на противоположный берег.

Они вышли на освещенную солнцем крутизну, разделись, выкрутили мокрую одежду, развесили ее по кустам, чтобы скорее высохла, и блаженно растянулись на теплой зеленой траве.

— Вот, бывало, до войны, — мечтательно заговорил Зайчик, — я каждое воскресенье на реку. И Зойка тоже. Плаваем, барахтаемся в воде, хохочем, как маленькие дети. У Зойки на глаз в это время всегда падал мокрый белесый локон. Она взмахивала головой, пытаясь отбросить его, чтобы не мешал, а локон держался, мокрый, пока я не снимал его с ее лица. Зойка смеялась, а на лице сверкали изумрудные капельки воды...

Федор не заметил, как уснул под этот разговор Зайчика, а проснулся оттого, что кто-то больно ударил в бок. Федор, недовольный, открыл глаза.

— Хенде хох! — услышал он приказ и громкий хохот. Федор вскочил и увидел гитлеровцев. Их было пять человек. Увидел и Зайчика с сержантом, которые, недоумевая, посматривали вокруг. Были они, как и Федор, в трусах. Одежда висела тут же. Оружие солдаты уже подобрали и кивали на одежду:

— Шнель! Шнель!

«Как глупо получилось, — подумал Федор, — обрадовались, что переплыли Сож, и распустили уши. Как глупо». Он надевал теплую от солнца, но еще сырую одежду и проклинал себя за то, что уснул. Спали, наверное, и Зайчик с сержантом.

— Влипли, — тихо сказал, одеваясь, Зайчик.

Два солдата долго вели их по лесу. На поляне, запруженной машинами, нашли начальство. Офицер с холеным лицом выслушал одного из конвоиров и спокойно махнул рукой:

— Шиссен... — и добавил: — Вайтер... вайтер. Федор и Зайчик переглянулись. Они все

поняли.

Их повели опять к Сожу. Только теперь у одного из конвоиров, кроме оружия, была и лопата. У опушки леса, на крутом берегу, были полузасыпанные траншеи. Солдаты приказали отрыть их глубже.

Сержант растерянно посмотрел на Зайчика, потом на Федора и прошептал:

— Значит, нам крышка?

Зайчик не ответил. Он первый с каким-то остервенением начал рыть, далеко отбрасывая землю. Солдаты курили, посмеивались, разговаривали между собой. Наконец Зайчик выпрямился и, смахивая пот с лица, зло сказал солдатам!

— Одна лопата — мало. Я буду работать, а они что, — указал он в сторону Федора и сержанта, — лясы точить? Давайте еще хотя бы одну лопату.

Солдаты пока ничего не понимали.

— Надо цвай лопат, — отчетливо повторил Зайчик с помощью жестов. — Будет быстро, шнель. Надо цвай лопат... — Он хлопнул рукой по лопате и показал два пальца.

Один из солдат закивал головой, заулыбался и ушел. Федор чувствовал, что Зайчик что-то затевает, но что именно — догадаться не мог. Зайчик по-прежнему держал в руке лопату, словно раздумывая, что предпринять. В этот момент из-за леса на небольшой высоте вынырнули самолеты. Зайчик крикнул солдату, и тот поднял вверх голову. Зайчик с размаху ударил его лопатой по виску. Солдат качнулся и, не успев выстрелить, упал возле траншеи. Зайчик выхватил у него автомат, Федор столкнул солдата в траншею, и они бросились в лес вдоль берега. Услышав далеко позади выстрелы, они пробежали еще немного и, попав в какое-то болото, поросшее мелким ольшаником, остановились. Прислушались — погони не было. Выбрались на сухой островок и упали, обессиленные.

— Спасибо вам, товарищ старший лейтенант, — задыхаясь, сказал Федор. — Думал я, что наша песенка уже спета.

— Повоюем еще, — чуть слышно сказал Зайчик. — Выдержать такую оборону в Могилеве и так глупо погибнуть... Жалко...

На этом островке доели последний кусок хлеба, выданный им на дорогу Евдокией Михайловной.

— Может, изменим тактику, товарищ старший лейтенант? — предложил Федор. — Днем будем отсиживаться, а ночью идти. Все-таки больше шансов проскользнуть незамеченными.

Зайчик некоторое время помолчал, а потом сказал:

— Ты прав, Федор. Я как-то об этом не подумал.

До самого вечера бродили они по островку, густо поросшему высоким черничником, на котором свисали гроздья зрелых ягод. Среди черничника вдруг показывалась красная шапка молодого подосиновика, и Федор радовался находке, как радовался мальчишкой, когда вместе с ребятами на зорьке ходил он по своим излюбленным грибным местам под Барсуками.

— А у нас нет грибов... Я даже не знаю, как они называются, — признался сержант.

— Ты что, на луне жил? — удивился Федор.

— Нет, под станицей Тихорецкой. Там у нас степи... В сумерках тронулись в путь. Двигались на восток, стараясь обходить населенные пункты и дороги. На рассвете остановились у лесного ручья. Ботинки Федора изорвались окончательно. Никакие подвязки им уже не помогали. Федор вымыл ноги, сел на траву и с тоской посмотрел на рвань, которая некогда называлась ботинками.

— Сорвать бы у немца какого-нибудь, — посочувствовал Федору сержант.

— Ты сейчас с ним совсем не хочешь встречаться, — улыбнулся Зайчик. Он напился из ручья и потянулся. — Ой, как жрать хочется, сил нет. Да и обувка Федору нужна.

— Вы на что намекаете? — насторожился Федор.

— А что тут намекать — придется просить у людей. Куда ж ты босой? Сразу пишишь в инвалиды...

Они вышли на опушку и увидели недалеко то ли хутор, то ли маленькую деревушку. В зелени садов утопали три или четыре хаты, к самому лесу прижимались хозяйственные постройки.

— Пойду в разведку, — сказал Зайчик. — В случае чего идите дальше без меня.

— Нет, — возразил Федор. — Пойду я. Вы в форме, а я человек гражданский...

Зайчик подумал и согласился.

Федор вышел на лесную дорогу и внимательно посмотрел по сторонам. Дорога была бойкой, наезженной. Он хотел было повернуть обратно, но кругом стояла такая тишина, что тревога его понемногу утихла, и он почти без опаски подошел к крайней хате. Во дворе, подоткнув подол широченной юбки, пожилая женщина замешивала в корыте свиньям.

Увидев Федора, она выпрямилась, вытерла руки о край фартука.

— Добрый день, — поздоровался Федор. — Добрый день, хлопча, — ответила женщина и бросила взгляд на босые ноги Федора.

— Тетенька, не найдется ли у вас что-нибудь на ноги? — попросил Федор. — Ботинки совсем разбились, бросил их у ручья.

— А куда, далеко идешь? — поинтересовалась женщина, еще раз окинув Федора с ног до головы.

— Куда все, туда и я, — уклончиво ответил Федор.

— А сейчас не поймешь, — хмуро заметила женщина. — Одни к фронту, другие от фронта.

— Я к фронту, — признался Федор.

— Тогда проходи, садись. Что-нибудь пошукаю. От хлопца моего где-то осталось. А он, наверное, как и ты, бедолага, где-то вот так шатается... — Она хотела было идти в хату, но Федор остановил ее:

— В лесу мои два друга дожидаются. Можно им зайти на ваш двор?

— Можно, сынок, можно. Сення у нас тихо. А вчерась ворвались, як з голодного краю. Матка, яйка, куры. Чуть откупились. Одного поросенка припрятала в соломе... — Женщина пошла в хату, а Федор вышел на дорогу и подал рукою условный знак.

Вскоре за длинным, добела выскобленным столом в хате сидели Зайчик, Федор и сержант. Федор успел на мягкие холщовые портянки надеть поношенные, но еще крепкие ботинки, и сейчас от тепла, окутавшего ноги, от пара, которым дышал варенный в мундирах картофель, его клонило ко сну. Он старался раскрывать глаза пошире, а они, как назло, слипались.

Женщина принесла миску малосольных огурцов и обратилась к Зайчику:

— Ты, я вижу, среди своих старший, командир нашей Армии. Ответь ты мне, кали ласка, докуда вы бежать собираетесь от этого самого супостата. Чула я, что он вас в Сибирь хочет загнать, а сам станет на Уральских горах.

— Ну, что вы, мамаша, — спокойно сказал Зайчик. — Сказки все это.

— Ну, тогда расскажи мне не сказку, а быль. Старший лейтенант отложил почищенную картофелину, задумался.

— Если бы правда давалась так легко, ее все давным бы давно знали. Вижу только, что война затягивается.

Ему, гаду, хотелось с утра начать войну, а к вечеру кончить. Поэтому он бросил сразу все самое лучшее, что собрал в Европе. Да не тут-то было. Вот, к примеру, Брест. Сколько он там солдат уложил своих. А теперь Могилев. Целый месяц мы его там трепали, посмотрели б вы, сколько его танков дымится под Могилевом.

— Ты сам видел? Зайчик улыбнулся.

— Да я командовал отдельным разведбатальоном. Мы встретили их передовые части еще на Друти. Горели их танки как миленькие. Даже от простой бутылки с горючим.

— Так, говоришь, побьете вы их? — не унималась взволнованная женщина.

— Обязательно побьем. Дайте только срок.

— Ну что ж, спасибо тебе за доброе слово, — сказала женщина и подвинула Зайчику миску с огурцами. — Дорога неблизкая. Может, перебудете у меня день-другой?

— Нет, мы лучше где-нибудь в лесу. А то, знаете, мало ли что в деревне...

— Ну, как хотите, детки, как хотите... — Она высыпала оставшийся картофель в холщовую тряпку, положила туда буханку хлеба. — Ни пуха вам ни пера, сыночки. Дай бог, чтобы все у нас получилось, как вы говорили...

Решили через деревню не идти, чтобы не вызывать подозрений. Вернулись на лесную

дорогу. И не успели сделать сотню шагов, как прямо на них вышел дозор гитлеровцев.

— Хенде хох! — услышали они знакомую команду. Бежать было бесполезно. Зайчик со злостью бросил

трофейный автомат на землю и поднял руки. За ним подняли руки Федор и сержант.

Их ни о чем не спрашивали, с ними не разговаривали. Подталкивая прикладами, вели по лесной дороге. На опушке леса Федор увидел большую черную грузовую машину, в кузове которой сидело и лежало несколько красноармейцев — раненых, оборванных, измученных тяжелой дорогой отступления. По краям сидели конвоиры.

Федору, Зайчику и сержанту приказали лезть в кузов. Петом сели солдаты, и машина тронулась.

Никто не знал, куда их везли. Но вот переехали понтонный мост через Сож, повернули на большак, и Зайчик удивленно сказал:— Неужели в Могилев?

Он сказал так, словно спросил себя, но все в машине поняли — он сообщил пункт назначения.

Миновали деревушку Нины. Федор пониже опустил голову, чтобы его не заметили, — было горько и обидно, что поход к фронту не удался, что он в числе других стал военнопленным.

На месте Луполовского аэродрома был разбит огромный лагерь, обнесенный колючей проволокой. Подъехали к центральным воротам. Старший вылез из кабины, приказал всем слезть с кузова и передал каждого охране лагеря. Он так и считал, как считают передаваемые вещи:

— Айн, цвай, драй, фир...

Такого Федор никогда не видел и предположить не мог, что когда-нибудь доведется увидеть. Все огромное поле аэродрома было заполнено людьми. Они сидели, лежали, толпились группками, обросшие, перевязанные выдавшими виды бинтами, больные и изможденные. Прямо под открытым небом кутались они в какое-то тряпье, отдаленно напоминающее серые солдатские шинели.

Федор с Зайчиком и сержантом выбрали место недалеко от колючей проволоки. Зайчик бросил быстрый взгляд на сторожевые вышки, матерно выругался и сказал:

— Вы как хотите, а я тут не задержусь...

По мере приближения фронта Катя не однажды вспомнила свой последний разговор с Федором и пожалела, что послушалась мать и осталась в деревне. Ей казалось, что там, за Днепром, куда звал ее Федор, было относительно спокойно и можно было переждать все эти страшные бои за город. А они начались еще километрах в десяти от деревни и медленно, но настойчиво приближались к их дому.

Покоя не было ни днем ни ночью. Как только начинался минометный или артиллерийский обстрел, Катя хватала дочурку и бежала на огород, где вдвоем с матерью они вырыли глубокую траншею, которую считали спасением от всех бед и несчастий.

Начались пожары. Сперва сгорело колхозное гумно, потом два дома, стоявшие ближе к противотанковому рву, потом еще амбар и еще дом. Катя с матерью считали дни, сколько простоит их дом с выбитыми окнами и порванной осколками крыши, но фронт неожиданно подвинулся ближе к Могилеву, оставив за деревней нетронутый, желтеющий свежим песком противотанковый ров.

— Я же говорила, — напоминала матери Катя, — что этот ров поможет, как мертвому припарка. Их танки просто-напросто обошли его и теперь уже где-то на улицах города.

При этом она невольно вспоминала Федора, его горячее участие при ее поступлении в институт, беспокойство за ее судьбу, вспоминала свой прощальный равнодушный поцелуй на крыльце, и чувство жалости подступало к сердцу. А тут еще известие — у железнодорожной будки на Буйничском переезде убит отец Федора. Почему он оказался именно там во время самого ожесточенного боя с немецкими танками — никто не знал, но мать Федора достала чудом уцелевшую подводу, привезла мужа домой и похоронила.

В деревню пришли гитлеровцы. Деловито обошли уцелевшие хаты, искали коммунистов и евреев, потом застрелили у соседки кабана, поймали несколько кур, сели на машину и уехали.

— Вот видишь, ничего страшного, — сказала Кате Ксения Кондратьевна. — Ну, ограбили слегка, нахамили, так на это ж война, а когда станет тихо — все пойдет по-другому. Рассказывали, что в империалистическую... — И мать долго убеждала Катю, приводя примеры почти тридцатилетней давности о том, что немцы дисциплинированы, лишнего не позволяют и вообще не такие уж звери, как про них говорят.

Катя с матерью перебрались в дом, застеклили как могли окна. Там, где не хватило осколков стекла, прибили куски фанеры или доски, и дом с виду стал похож на покинутый, запущенный, из которого давным-давно ушел хозяин.

Долго еще в стороне Могилева горело зарево пожаров и слышалась оружейная стрельба. Над деревней проплывали одна за другой эскадрильи желтобрюхих самолетов, и далекие взрывы бомб отдавались в земле глухими толчками.

И снова мысли Кати невольно возвращались к Федору. Она была уверена, что Федя не вернется из этого ада, и старалась разобраться в прошлом — был для нее Федор посторонним человеком, товарищем детства или она все-таки его любила? С категоричностью, присущей Кате, она хотела отбросить последнюю мысль, как чуждую, случайную, но память возвращала ее в милые и далекие школьные годы. Почему-то именно сейчас записочка Федора, сложенная в виде фармацевтического порошочка, в которой содержалось только три слова «я тебя люблю», встала так живо перед ее глазами, будто она прочитала ее совсем недавно.

Катя уезжала на Дальний Восток не только потому, что Владимир разбудил в ней женщину, не только потому, что он ей действительно понравился, но и потому, что своим отъездом она бросала вызов робкому Федору и своим подругам, которые, она была уверена, втайне завидовали ей. Теперь все позади. Она уже не чувствовала себя героиней, на которую с восторгом и восхищением смотрят в деревне, а чуткое сердце ее угадывало в Федоре беспредельно любившего человека. Ну что ж, видно, не судьба ей быть счастливой. Потеряла Владимира и не нашла Федора. Жаль его, жаль себя, жаль-матери Федора, глаза которой не просыхают от слез...

Поздней ночью в окно постучали. Тихонько, так, чтобы не услышали на улице. Катя подхватила, подскочила к окну, отвернула край байкового одеяла, которым было завешено окно.

Она увидела совсем близко небритое лицо человека в форме командира Красной Армии. Спросила:

— Кто там?

— Свои, — ответил тихий голос человека.

— Теперь не поймешь, где свои, где чужие, — сказала, присматриваясь, Катя.

— Откройте, — попросил командир. — Нам с вами обязательно поговорить надо.

— Что там? — спросила, насторожившись, Ксения Кондратьевна.

— Да вот какой-то командир Красной Армии обязательно хочет поговорить.

— Какие там еще разговоры. Пускай убирается, пока его не поймали.

Катя стояла у окна, держась за край байкового одеяла, и не знала, что делать.

— Отворите, пожалуйста, — просил у окна командир. — Тут вопрос жизни и смерти.

Встала с кровати мать.

— Я открою, — сказала Катя. — Мало ли что с человеком... — набросила платье и пошла к двери. Вслед за ней оделась Ксения Кондратьевна.

Ночь была звездная. На дворе они увидели носилки, на которых неподвижно лежал накрытый шинелью человек. Рядом стояли командиры, один из которых подошел к Кате:

— Простите, пожалуйста, что я поднял вас среди ночи... Умирает человек... Если можно, помогите.

— А почему вы пришли именно к нам? — спросила Катя и в ответ услышала голос матери Федора — тети Клавы. Она почти незаметно прошла в калитку и встала рядом с командиром.

— Это я указала, — извиняющимся тоном произнесла тетя Клава. — Я в этом деле — цеп цепом. А ты, Ксения, можно сказать, у нас единственная медицина.

— Несите в хату, — приказала Ксения Кондратьевна. — Что вы стоите на дворе?

Завесили кроватку Катиной малышки простынью, зажгли две керосиновые лампы. Один из командиров остался дежурить во дворе.

При свете лампы женщины увидели восковое лицо совершенно лысого человека. В петлице расстегнутой гимнастерки темнел красный металлический ромбик.

— Генерал, — тихо определила Катя...

— Да. Это командир дивизии, которая обороняла Могилев.

— Где его так? — спросила Ксения Кондратьевна, снимая с помощью тети Клавы и Кати окровавленную гимнастерку.

— Мы прорывались из окружения, — громким шепотом ответил командир, словно боялся разбудить раненого генерала.

— Сколько крови потерял, — вздохнула Ксения Кондратьевна. — Не знаю, выживет ли.

— Сделайте что-нибудь, — умолял командир. — Это такой человек... вы даже не представляете... Мы ведь столько продержались в городе благодаря ему... сделайте что-нибудь... — Командир твердил эти слова, как заклинание.

Ксения Кондратьевна молча вымыла руки, молча вытянула из-под кровати чемодан с медикаментами, молча принялась перевязывать генерала, который не приходил в себя. Иногда она давала тихие команды Кате:

— Тампон... ножницы... йод... еще тампон... Перевязку закончили, когда уже начало светать. Генерал лежал весь в бинтах и слабо дышал.

— Вот и все, — деловито сказала Ксения Кондратьевна. — Больше ничего сделать не могу. Ему бы сейчас переливание крови... да где уж в наших условиях. Авось организм справится.

— Спасибо, — сказал командир, и тут все увидели, какой он еще молодой. Может, и бриться-то начал недавно. — Спасибо. Мы пойдем.

— Куда ж вы пойдете, — спросила тетя Клава, — среди бела дня? Нарветесь на фашистов. Они сейчас шастают вокруг Могилева, ловят, кому удалось вырваться.

— Здесь нам тоже нельзя, — твердо сказал командир. — Каждую минуту они могут нагрянуть в деревню.

— Занесем ко мне в амбар, — предложила тетя Клава. — Сеном прикроем. Кто его будет искать?

Наступило молчание.

— Зачем же к тебе через всю деревню, чтобы люди видели, — задумчиво сказала Ксения Кондратьевна. — У нас тоже амбар, слава богу, уцелел. Мы вас всех туда. И немедленно, пока деревня спит...

День прошел в тревоге. Кате все время казалось, что про генерала знает, по крайней мере, вся округа. Когда кто-нибудь из соседей приходил в этот день поделиться новостью или одолжить щепотку соли, Катя пристально всматривалась в человека: знает он или не знает? А после полудня их навестил сам Кузьма Кузьмич — бывший колхозный счетовод, назначенный властями старостой.

Кузьма Кузьмич слыл в деревне человеком странным — не слишком умным и не слишком глупым, не то чтобы пьяницей, но и не трезвенником. Характера он был покладистого — люди не помнили, чтоб он причинил кому-нибудь вред или нанес незаслуженную обиду. Кузьма Кузьмич считал себя в деревне человеком умственного труда и тянулся к компании сельской интеллигенции. Любил захаживать в медпункт к Ксении Кондратьевне, чтобы побеседовать о сложной и трудной жизни в этом мире, Одно бросалось в глаза — Кузьма Кузьмич был трусоват. Он боялся очередной ревизии, боялся председателя колхоза, боялся каждого, кто мог чем-нибудь угрожать ему. Когда соседи пытались пристыдить его за это, он отвечал:

— Детей у меня нет. Хочу на старости жить спокойно, чтобы свой кусок всегда в хате был...

Посещение Кузьмича вызвало у Кати подозрение, но он взял на руки маленькую Аленку, которая возилась на полу с тряпичными куклами, посмотрел на окна, возле которых на гвоздях висели одеяла, и сказал:

— Все, Катюша. Разрешено снять эту маскировку. Могилев уже под немцем, и говорят, даже сама Москва...

Слова Кузьмы Кузьмича больно кольнули в сердце, но Катя сдержалась. А так хотелось сказать, что это неправда, что гитлеровцы нарочно лгут, чтобы люди поверили в их победу,

чтобы такие, как Кузьмич, из-за своей трусости были холоуями.

Кузьма Кузьмич опустил на пол девочку и, словно между прочим, заметил:

— Говорят, весь Могилев завалили трупами. А в плен набрали — видимо-невидимо... — Он помолчал, словно обдумывая что-то, и глубокомысленно заключил: — Ничего не поделаешь — сила...

Посещение Кузьмича не обеспокоило Ксению Кондратьевну. Она завернула в полотенце обед и понесла в амбар.

Генерал был совсем плох. С ночи он так и не приходил в сознание, но дышал ровно и спокойно, и это давало какую-то надежду. Только теперь Ксения Кондратьевна рассмотрела и второго командира — мужчину средних лет, с густыми рыжеватыми бровями, спускающимися на самые глаза, и квадратной челюстью, выдававшей сильного упрямого человека.

Ксения Кондратьевна пыталась с ложечки влить в рот генералу несколько капель молока, но ложечка упиралась в крепко сжатые зубы и молоко стекало по щекам на бинты. Командиры молча наблюдали за этими попытками Ксении Кондратьевны, пока молодой не выдержал:

— Не жилец, наверное, наш генерал... Дайте, если можно, какой-нибудь сундучок, спрячем его форму, документы и зароем в амбаре...

— А может, возьмем с собой? — глухо спросил командир средних лет, и Ксения Кондратьевна поняла, что он тоже не намерен оставаться в деревне.

— Зачем же с собой? — спросила Ксения Кондратьевна и сообщила, словно давно решенное: — Стемнеет, вы идите, здесь лишних свидетелей не надо... Если выздоровеет он, куда ж без документов?

— С его документами только под расстрел, — хмуро сказал молодой.

— А наши вернутся? — возразила Ксения Кондратьевна.

Командир средних лет с каким-то удивлением и радостью посмотрел на Ксению Кондратьевну, потом скупно улыбнулся:

— Да, действительно, а если вернутся наши? Ксения Кондратьевна разыскала в клети сбитый из добротных дощечек ящик, сложила туда гимнастерку, медаль «XX лет РККА», партийный билет, пропуск в наркомат обороны, дала молодому лопату и указала место:

— Ройте вот здесь, чтобы я знала, где все лежит. Вечером пришла тетя Клава. Она принесла узелок белья, что осталось от мужа, плотную, в клеточку рубашку и брюки. А в сумерках командиры уходили. Продуктов им на дорогу принесла в амбар Катя. Молодой молча пожал ей руку, потом склонился над носилками и, хотя генерал лежал с закрытыми глазами и, наверное, ничего не слышал, торопливо говорил ему:

— Прощайте, Михаил Тимофеевич, иначе нельзя. Мы пробьемся к своим, обязательно. Расскажем о нашей обороне и, может, главное командование пришлет за вами самолет... Я первый сяду в него, потому что хорошо помню эту деревню... Главное, были б вы живы... Прощайте.

Катя вслушивалась в молодой, дрожащий от волнения голос, и слезы душили ее. Она судорожно проглатывала подступающий к горлу комок и молча стояла, опершись о стенку амбара.

Командир с квадратными челюстями опустил на колени и без единого слова поцеловал генерала в лоб.

— Пошли, — глухо сказал он, направляясь к воротам.

— А как же нам благодарить хозяев? — громким шепотом воскликнул молодой. — Вы ж тоже каждый день рискуете жизнью, — сказал он, обращаясь к Кате. — Старайтесь сохранить все это в глубокой тайне. Чтоб ни одна живая душа, кроме вас троих. Случится — похороните его, как человека неизвестного, а после войны такой памятник ему отгрохаем, чтобы потомки наши знали, какой был человек и военачальник Михаил Тимофеевич Романов...

У Кати с матерью и тети Клавы началась новая жизнь, наполненная каждодневными малыши, но очень опасными заботами. Они не могли оставить тяжелораненого человека на произвол судьбы. Каждую ночь кто-то из троих должен был дежурить возле генерала. Дежурить тайно, чтобы никто не только не видел, но даже и не догадывался, что в амбаре тщательно завешен тряпьем и заложен сеном укромный угол, что там четверть света горит по ночам фонарь «летучая мышь», что каждый стон раненого отзывается не только болью, но и

страхом— как бы кто не услышал. И, пожалуй, самым трудным делом оказалось сохранить тайну от Аленки. Девочка возилась во дворе, бегала вслед за бабушкой и мамой и каждую минуту могла заглянуть в амбар. Катя стала чаще уводить ее к тете Клаве, которая радовалась девочке, как собственному ребенку.

Катя никогда прежде не бывала у Осмоловских. Ей нравились чистота и порядок, которые поддерживали в доме руки тети Клавы. Катя обратила внимание на семейные фотографии, вывешенные на стене. Вот Федор, совсем еще мальчишка, стоит между отцом и матерью и удивленно смотрит перед собой, а вот групповая фотография, когда всем классом они ездили в Могилев смотреть «Бесприданницу». Федор тогда хотел стать рядом с Катей, но фотограф усадил его впереди прямо на пол. Здесь у Федора какое-то обиженное и даже недовольное лицо.

Катя задумалась. Картины такого далекого и вместе с тем близкого детства встали перед глазами... Очнулась оттого, что услышала позади тихие всхлипывания тети Клавы.

— Одна я на свете осталась, Катенька... Зачем, для чего? Пусть бы меня прибило этой самой бомбой. А так и глаза некому было закрыть... Феденьке моему... — Тетя Клава не выдержала, упала на кровать и запричитала с таким надрывом, что Катю охватил озноб. Она дрожала мелкой дрожью, обняв за плечи тетю Клаву, а из глаз сами текли слезы, и Катя не могла себе ответить почему, то ли жаль было тетю Клаву, то ли Федора, то ли свое детство, ушедшее в безвозвратное прошлое...

Однажды ночью, во время дежурства Кати, Михаил Тимофеевич открыл глаза. Он, кажется, не удивился, увидев чуть мерцающий огонек фонаря, одеяла и сено вокруг. Он долго смотрел на Катю изучающим пытливым взглядом, словно хотел что-то вспомнить, а потом спросил хриплым прерывающимся голосом:

— Где я?

— В деревне Барсуки. У надежных людей. — А мои разведчики?

— Вы кого имеете в виду?

— Были ведь со мной люди... — неуверенно произнес Михаил Тимофеевич. — Где они?

— Они ушли, товарищ генерал, — тихо сказала Катя. — Может быть, даже к фронту. Обещали вернуться за вами на самолете.

— Не называйте меня генералом, — попросил Романов. — А что касается самолета... — он горько улыбнулся. — Кажется, взрослые люди, а в обстановке не разбираются. Фронт уже где-то под Москвой. Сейчас командованию не до меня...

— А фашисты говорят, что Москву уже взяли, что наше правительство убежало в Сибирь.

— Враки. Я не знаю, сколько здесь нахожусь... Может быть... уже началось наше контрнаступление, которое неизбежно должно начаться... — Ему трудно было говорить — он жадно хватал воздух, тяжело дышал и хрипел.

— Вам нельзя говорить, — попросила Катя. — Потерпите, я сейчас позову маму. Она у меня сельская фельдшерица.

Катя разбудила мать, и Ксения Кондратьевна, захватив с собой бутылку молока, заторопилась в амбар. Когда Катя пошла вслед за ней, остановила:

— Мы и так слишком часто ходим туда. Останься, а то проснется Аленка — испугается, что нас нет.

Зайчик, собиравшийся в самые ближайшие дни бежать из лагеря военнопленных, никак не мог сдержать своего слова, Немцы нарастили забор из колючей проволоки, поставили дополнительные вышки для охраны. Словом, устраивались капитально и надолго.

Лагерь представлял страшное зрелище, которое казалось Федору неправдоподобным кошмарным сном. Сколько их было, раненых, больных, умирающих. Кто-то уверял — двести тысяч, Кто-то называл — сто, но все видели — было тесно на этом огромном поле. За несколько дней люди съели всю траву на аэродроме. Поле стало черным и серым от обнажившейся земли. Каждого, кто пытался достать щепотку травы за колючей проволокой, расстреливали со сторожевой вышки из пулемета.

Умирали сотнями, а может, тысячами. Федор видел, как с утра до вечера по территории лагеря сновали черные грузовики, доверху наполненные трупами. Всегда уверенный в себе и отчаянный, Зайчик сник и затосковал. А тут еще тяжело заболел и слег сержант. Все, что хранилось съестного в карманах, было съедено. Сержант умирал от болезни и голода.

Пробиться к полевым кухням, которые раз в сутки привозили пленным похлебку из чечевицы, было невозможно. Но Зайчику это однажды удалось. Он протиснулся сквозь тысячную толпу голодных обозленных людей и принес для сержанта на дне котелка поварешку какого-то черного варева.

Сержант поел с ложки, свернулся в клубок у самой проволоки и как будто уснул. Федор с Зайчиком доели остальное и, прижавшись друг к другу, чтобы согреться, тоже задремали. А к вечеру холодное тело сержанта было брошено в кузов грузовика,

— Не уйдем — и нам будет крышка, — зло и тихо сказал Зайчик Федору. — Лучше пуля, чем такая смерть.

Каждый день они ходили вдоль колючей проволоки, чтобы найти какой-нибудь лаз. Но гитлеровцы предусмотрели, казалось, все до мелочей. Любая ложбинка, по которой можно было проползти, оплеталась проволокой дополнительно.

И вот однажды у ворот лагеря Федор с Зайчиком стали свидетелями события, которое перевернуло все их планы.

К охранникам подошла немолодая женщина, видать, горожанка, и стала просить, чтобы ей разрешили разыскать среди пленных своего мужа. Ее пытались отогнать от ворот, но женщина стояла на своем, и ее наконец пропустили. Со слезами на глазах ходила она между пленными, присматриваясь к ним, а между тем доставала из холщового мешочка куски хлеба и раздавала тем, кто был поблизости. Наконец женщина задержала взгляд на изможденном, раненом красноармейце, который сидел на земле, придерживая, как ребенка, забинтованную левую руку. Женщина бросилась перед ним на колени, запричитала, обняв красноармейца за плечи:

— Родненький мой, муженек мой дорогой, что ж ты умираешь тут без роду, без племени, а я по тебе все глаза выплакала. Одна с детьми пропадаю...

Раненый недоуменно смотрел на женщину. Он, видно, хотел что-то сказать, но женщина опять заплакала:

— Вставай, родненький, вставай и пойдем домой... Немцы, слава богу, разрешают забирать родственников...

Раненый, кажется, понял, в чем дело. Он поднялся с земли и, поддерживаемый незнакомой женщиной, вышел за ворота. Старший вахтер махнул им вслед:

— Нах хаузе. Война капут. Домой...

Такие посещения участились. Кто признавал в пленном своего сына, кто мужа, кто отца, кто близкого родственника.

— Молодцы могилевчанки, выручают нашего брата, — вздыхал Зайчик. — Жаль только, что нам не везет. Может, сами кого-нибудь признаем?

Они старались держаться поближе к воротам, но шли дни, а их никто не выручал. Забирали наиболее слабых и больных.

Но вот однажды сердце Федора екнуло. Он увидел, что к воротам приближаются родители Маши — Григорий Саввич и Светлана Ильинична. Мелькнула мысль, кого им искать здесь — не Эдика ли, но он отбросил эту мысль, как бредовую.

— Ну, старший лейтенант, — шепнул Федор, — кажется, наступило наше время. Вон видишь тех старичков? Это мои знакомые. А теперь мы их сыновья, понял?

В глазах Зайчика вспыхнули веселые огоньки. Он подвинулся вместе с Федором поближе к воротам. Вот Светлана Ильинична прошла сторожевую будку и ступила на территорию лагеря. Федор решительно шагнул к ней, так, что Светлана Ильинична даже отшатнулась от неожиданности.

— Светлана Ильинична, это же я, Федор, — тихо сказал он. — Помните, я Катю на квартиру к вам устраивал? Светлана Ильинична всплеснула руками:

— Боже мой, сыночек, что они с тобой сделали! — Она обняла Федора, а тот торопливо шептал:

— Рядом со мной мой друг старший лейтенант, пусть Григорий Саввич признает его...

Когда был разыгран этот несложный спектакль, старший вахтер отпустил их «нах хаузе», объявив, что войне капут, на что Зайчик зло пробормотал:

— Зануда. Война только начинается...

— Тише, ребята, тише, — спокойно говорил Григорий Саввич. — Нынче другие времена.

Думать думай, а говорить не спеши.

— Вы что-нибудь знаете про наших?... — дрогнувшим голосом спросил Федор и в ответ услышал спокойный баритон Григория Саввича:

— Все знаем. Встречаемся. Беседуем вот так, как с тобой. Они тоже собирались в твою деревушку. Никто и подумать не мог, что ты попал в лагерь.

— Все живы?

— Все, все. Вот придем домой, вернутся из госпиталя Эдик с Машей, сам и узнаешь...

Они перешли наспех отремонтированный деревянный мост через Днепр. На валу лежали изрубленные снарядами деревья, стояли черные от копоти обломки областной типографии и Дома пионеров. Высокая башня ратуши уцелела, но вся была испещрена следами пуль и осколков. С самого верха ее свисал флаг с фашистской свастикой. Федор и Зайчик почти одновременно подняли глаза, переглянулись и промолчали.

— Я так думаю, — тихо говорил Григорий Саввич, — что черт с ними, пусть потешатся пока. Хотят всех со свету сжить, чтоб самим, значит, господствовать всюду. Не выйдет, потому как природа человеческая создана для того, чтобы свободно радоваться этой самой жизни, а не жить и подыхать, как, простите, собака бездомная под забором...

— Других учишь, а сам болтаешь невесть что. Ты ж на улице, философ, и если плохой человек услышит...

— Вы знаете, наверное, пословицу, — не унимался Григорий Саввич, — все девушки хороши, откуда плохие жены берутся. Вот и у нас до войны. Казалось, кругом тебя сплошные друзья — товарищи. Попадалось иногда и дерьмо. Но редко. А пришли эти — и вчерашний дружок врагом обернулся. До войны вроде только хорошие были, а теперь черт знает что...

Вышли на Первомайскую. Оттого, что многие дома были разбиты и сожжены, улица казалась необыкновенно широкой и пустынной. Изредка проезжали военные машины да проходили одинокие прохожие, торопливые и озабоченные. Казалось, не будь у них каких-то неотложных дел, они бы и не показались на улице.

Из Пожарного переулка показалась странная процессия. В повозку для вывоза нечистот было запряжено человек десять женщин, стариков и подростков. Не поднимая глаз, тянули они изо всех сил длинную зловонную бочку по улице, а колеса ее стучали по булыжнику, словно барабанная дробь у эшафота. И было в этой людской упряжке что-то жуткое и унижительное, такое, что заставляло встречных тоже опускать глаза.

Федор, Светлана Ильинична, Григорий Саввич и Зайчик остановились, чтобы пропустить эту процессию, которая пересекала Первомайскую. Федору показалось, что он узнал маленькую щуплую девушку, державшуюся за оглоблю повозки. Она училась в институте, была гимнасткой и постоянной участницей студенческих вечеров самодеятельности.

— Евреи... — глухо сказал Григорий Саввич.

— Господи, зачем так издеваться над людьми, — вздохнула Светлана Ильинична.

Федор, видавший виды в лагере, был потрясен В стороне, наблюдая за этой процессией, шел человек с нарукавной повязкой и винтовкой через плечо.

— Знакомьтесь, — шепнул Григорий Саввич, — могилевская полиция при исполнении служебных обязанностей...

До самой нефтебазы шли молча. Каждый думал о своем. Думал и Федор. Он вспоминал свой последний разговор с Катей. Тогда он только по газетам знал, как ведут себя гитлеровцы в захваченных странах, и, боясь за Катю, уговаривал ее уйти за Днепр. Но то, что он увидел собственными глазами, превосходило все. Ненависть к врагу, жившая в его душе накануне войны рядом с другими чувствами, стала теперь самым главным, овладела всем его существом. Там, на перекрестке Пожарного переулка и Первомайской, он готов был броситься и освободить этих несчастных из позорной упряжки, и сдержаться себя стоило огромных усилий. Он шел рядом с Зайчиком и давал себе молчаливую клятву — мстить на каждом шагу, при малейшей возможности.

За нефтебазой их задержал патруль. Григорий Саввич предъявил документ. Унтер-офицер повертел его в руках, потом вопросительно глянул на Федора и Зайчика.

— Из лагеря военнопленных, — спокойно сказал Григорий Саввич. — Специалисты. Арбайтен, арбайтен. Мне очень нужны специалисты. Форштеен?

Унтер закивал одобрительно головой и отпустил. Когда отошли подальше, Григорий Саввич проворчал:

— Мы тебе наработаем...

Дома, когда хлопотливая Светлана Ильинична подала на стол дымящийся паром картофель и соленые огурцы, Федор спросил:

— А что у вас за документ такой авторитетный?

— Я, Федя, везучий, — улыбнулся Григорий Саввич. — До войны все по ремонтным работам да по ремонтным. Частенько приходилось в районах, в МТС бывать. Встретил тут меня однажды подлец один — ему немцы поручили восстановить МТС, и говорит: «Иди ко мне на работу — не пожалеешь. Свободный пропуск и днем и ночью, машину грузовую, шофера дам, будешь ездить по Могилевскому району». Я подумал, посоветовался с Эдиком и согласился.

Федору хотелось расспросить об Эдике более подробно, но он подумал, что Эдик при встрече сам обо всем расскажет.

Когда перекусили, Григорий Саввич распорядился:

— Все дела вечером. А пока отдыхайте после своего «рая»... В соседней комнате Светлана Ильинична кой-какую одежку приготовила. Посмотрите, примерьте, может, подойдет... Старую суньте в мешок — он в сених. Вода у нас во дворе, мыло на кухне. Одним словом, хозяйничайте.

— А вы куда? — спросил Федор.

— Опять в лагерь. Еще людей приведем...

Когда в сених стукнула дверь и Зайчик с Федором остались одни, Зайчик громко сказал:

— Видал, какие у нас люди? Да разве таких можно победить? Они же все, от мала до велика, за свою землю любому горло перегрызут...

Федор промолчал.

— Нет, ты только подумай, — продолжал Зайчик, — до чего безмозглый этот Гитлер. Насадил он тут перед войной своих шпионов, а они все-таки сбrehали ему, не увидели, что с нами связываться не стоит.

— Выскочил ты случайно из лагеря, а теперь храбришься, — впервые на «ты» назвал старшего лейтенанта Федор.

— Не выскочил бы я, выскочил другой. Дело не в этом. Не во мне одном, а, так сказать, в мировом масштабе.

— Эх, — вздохнул Федор, — давай за столько времени в чистом белье да на чистой кровати. — Они долго плескались во дворе, радуясь воде, мылу, солнышку, свободе, которая неожиданно свалилась на них...

В комнате Зайчик еще что-то говорил, высказывал, наверное, самые сокровенные мысли и важные наблюдения, но Федор уже не слышал. Он лег и провалился в мягкую спокойную темноту и поплыл на зыбких убаюкивающих волнах... И приснился Федору сон, будто идет он по широкому полю, сплошь заросшему цветущими ромашками. И видно ему далеко-далеко, до самого горизонта. Оттуда, из далекой сине-белой дали, кто-то идет ему навстречу. Нет, не идет, а бежит изо всех сил, только платье трепещет на ветру. Он сразу узнал — навстречу бежала Катя, вся в белом, сливаясь с белым ковром ромашек. Она держала на руках девочку — это он теперь видел отчетливо — и бежала. Даже как будто что-то выкрикивала, но Федор не мог слышать. Катя все ближе и ближе, и теперь начинает понимать Федор, что она спасается от погони. Какие-то люди в черном с немецкими автоматами в руках гонятся за ней. Федор рвется к ней навстречу, хватая за руку и увлекает в лощину, где стелется густой туман. И вдруг он видит, что девочки на руках у Кати нет, что Катя уже не бежит, а плывет рядом с ним в тумане и плачет. Федор хочет спросить о девочке, но не решается. А туман все гуще и гуще, и вот уже совсем темно, и Федор даже не видит Катиного лица, и ему становится страшно.

Он вскрикивает и просыпается.

Глава четвертая ПОИСКИ

Сергей и Вера молча вышли со двора больницы, повернули за угол, чтобы не появляться на Первомайской, по которой громыхали танки и грузовики.

— Сволочи... сволочи... сволочи... — шептала Вера свое привычное проклятие. — Этот врач им ничего плохого не сделал... так издеваться, так мучить... нет в них ни капельки человеческого, ни капельки.

Сергей слушал Веру и молчал. Улица была пустынна. Изредка проезжали мотоциклисты. Сергей не обращал на них никакого внимания. После того что он увидел во дворе больницы, он потерял ощущение тревожного любопытства. «Стреляйте, если вам вздумается, — думал Сергей, — плевать я хотел на вас всех вместе взятых. Вы зверствуете, чтобы запугать, а мне, наоборот, становится не страшно, и если бы не Вера, которая дороже мне всего на свете, я не знаю, что натворил бы... Ну, ничего, впереди еще уйма времени».

Их никто не остановил в пути. Солдаты обыскивали дома, выгоняли на улицу раненых красноармейцев и командиров, а тех, кто сопротивлялся, расстреливали прямо во дворах и подъездах.

Сергей боялся за Веру. Лицо ее побледнело, большие глаза горели нездоровым огнем, она, как затравленный зверек, бросала осторожные взгляды по сторонам, готовая ко всяким неожиданностям. Сергей мягко пожимал ее руку, и Вера на некоторое время успокаивалась.

Ульяновская улица за переездом напоминала поле, на котором нерадивый хозяин разбросал груды черного обгоревшего кирпича. Она уже не была улицей в том значении, к которому Сергей привык. Это была беспорядочно заваленная развороченным булыжником дорога.

За пожарным кирпичным сараем стоял дом Сергея. От железнодорожного переезда он его не видел и почувствовал, как часто-часто застучало сердце. Страх перед тем, что могло случиться с отцом и матерью, вдруг заслонил все остальное. Он прибавил шагу. Вера почти бежала рядом.

— погоди, не волнуйся, — пыталась она успокоить Сергея. — Все будет хорошо. Они же могли укрыться.

Среди редких уцелевших домов стоял среди высоченных тополей и дом Сергея. Прежде Сергей не замечал, что дом был типовой, как все остальные дома железнодорожных рабочих и служащих с двумя подъездами на три-четыре квартиры. Он был даже красивым, этот дом, заросший зеленью. Правда, не сохранилось ни одного стекла в окнах, но судя по занавескам, в доме жили.

Сергей и Вера проскочили палисадник, заваленный какими-то разбитыми ящиками, среди которых, понурив голову, стояла войсковая лошадь, запряженная в повозку, помеченную красным крестом. Открыли дверь на кухню, в гостиную и остолбенели — посреди гостиной, вещи в которой были разбросаны словно после погрома, на составленных вместе стульях лежала, скрестив на груди руки, в темном нарядном платье мать Сергея. У изголовья на маленьком табурете сидел Александр Степанович, обхватив голову руками. Он сидел один и на стук двери поднял воспаленные, поблекшие от горя глаза.

Сергей почти на цыпочках прошел к отцу, не отрывая глаз от матери — лицо ее было спокойным, словно она сделала свое дело на земле и попросту решила отдохнуть.

Сергей присел на корточки возле отца и обнял его за плечи. Александр Степанович, которого Сергей никогда в жизни не видел плачущим, вдруг положил голову на плечо сыну и заплакал тяжелыми мужскими слезами. Тело его вздрагивало от рыданий, но плакал он молча, изредка тяжело вздыхая на плече Сергея.

— Как это случилось? — спросил Сергей.

— Я и сам не знаю, сынок. Помню, что только выскочила она за чем-то в коридор, а тут во дворе разорвалась мина. Я вначале не обратил внимания, что мама долго не возвращается, затем открыл дверь и увидел ее на полу. Помочь уже было невозможно...

Вера поправила платье на покойной, зачесала волосы своим гребешком и молча опустила на краешек стула.

— Не могу простить себе, — тихим дрожащим голосом говорил Александр Степанович, — что не заставил ее укрыться в подвале...

— Не казни себя, — успокаивал его Сергей. — Если уж кто виноват, так это я. Из-за меня

вы не поехали в эвакуацию, из-за меня каждый день подвергались опасности...

— Зачем вы всё это говорите, — как-то очень спокойно и твердо сказала Вера. — Маму надо хоронить, а не терзаться...

Александр Степанович молчал, тоскливо глядя в разбитое окно, на котором ветер колыхал занавеску. Сергей кивнул Вере, и они вышли во двор,

— Как будем хоронить?

— Как всех теперь хоронят...

Сергей вспомнил о повозке и вышел в палисадник. Лошадь по-прежнему стояла, понунив голову, безразличная и усталая. Возле повозки лежало несколько открытых ящиков с ватой, бинтами, какими-то мешочками и бутылочками, от которых исходил специфический больничный запах. Увидев Сергея возле повозки, лошадь покосилась на него большим влажным глазом и тихонько заржала.

Сергей вернулся к Вере, которая все еще стояла на крыльце. Они вдвоем перенесли уцелевшие ящики в погреб, стоящий в углу двора, и вошли в дом. Александр Степанович сидел на том же табурете, молчаливый и осунувшийся. Он ни о чем не спросил, когда Сергей и Вера взяли на руки и понесли мать из квартиры, не закрыл даже дверь за собой, когда мать положили на повозку. Только когда тронулись с места, глянул на сына.

— Поедем на Карабановку. Здесь ближе...

Они оставили подводу возле кладбища и пешком возвращались домой. Вера вытирала мокрые от слез глаза, а Сергей словно окаменел. Он видел в последнее время столько смертей, нелепых и страшных, что смерть матери ранила его меньше, чем он предполагал. В детстве ему казалось, что родители будут у него всегда. Он и мысли не допускал, что может со временем потерять кого-нибудь из них, и случись это в другое время, до войны, горе Сергея было бы безграничным. Сейчас он шел, еще не понимая всей горечи утраты. Ему казалось, что он хоронил не свою, а чью-то мать. При этом он вспомнил, что обещал Ивану встретиться с его матерью, и со страхом подумал, что, может быть, и другу придется сообщить страшную весть.

Они вернулись домой и увидели на ступеньках крыльца худенькую женщину в темном платье, с гладко зачесанными седыми волосами. Положив голову на колени, она, казалось, дремала.

Сергей узнал мать Ивана и легонько тронул ее за плечо.

Женщина испуганно вздрогнула, посмотрела на Сергея и расплакалась.

— Не надо, успокойтесь, — как можно мягче говорил Сергей и гладил женщину, как ребенка, по голове. — Живой Ваня, живой. Только ранен он. Лежит в Первой Советской. Там Эдик рядом с ним. Не беспокойтесь.

— Живой? — переспросила женщина. — Ты сам видел, Сережа?

— Сам. Я на носилках его нес. Я знаю, что ему хороший врач сделал операцию. Ваня просил, чтобы я забежал сразу к вам, но тут так получилось...

— Я знаю... — сочувственно сказала женщина, а глаза ее излучали радость оттого, что жив ее сын, жив, и она не могла сдержать этой радости. — Так я пойду... к нему...

— Да, да, он очень просил...

Мать Ивана торопливо зашагала со двора, от волнения даже не простившись.

Дня через три к Александру Степановичу пришел незнакомый человек в летнем легком плаще. Сергей проводил незнакомца в комнату отца. Александр Степанович встал, молча поздоровался и попросил Сергея оставить их.

Сергей был удивлен. Он ни разу не видел в доме этого человека, а отец встретил его, как старого знакомого...

Когда Вера накрывала на стол к обеду, вышел Александр Степанович и молча сел на свое привычное место возле буфета. Откусив кусочек черствого хлеба, Сергей спросил:

— Кто это приходил, отец?

Александр Степанович не ответил, сделав вид, что не расслышал вопроса. Вера с любопытством посмотрела на Сергея.

— Это секрет? — спросил Сергей.

— Ты о чем? — проглатывая ложку горячего супа, поднял голову Александр Степанович.

Сергей хорошо знал отца. Когда он не хотел быть откровенным, он всегда вот так

поднимал брови, делал безучастное лицо и задавал дежурный вопрос.

Сергей молча поел, встал из-за стола и закурил.

— Ты же знаешь, что я не люблю, когда за столом курят, — недовольно пробормотал Александр Степанович.

— А я не люблю, когда в доме начинают заводить секреты от своих.

— Секреты? — Отец опять поднял брови. — Чепуха. Это мой коллега, педагог.

— Что-то этого коллегу я никогда прежде у нас не видел? — спросил Сергей.

— Не знаю, — отрезал отец и встал из-за стола, давая понять, что разговор окончен.

— Как ты можешь? — вспыхнул Сергей. — В городе чужие. Сколько времени это продлится — неизвестно. Мы должны жить совсем другой жизнью, чем жили до сих пор. Между нами должна быть полная ясность. Иначе и жить не стоит.

— Зачем же все мерять такой большой мерой?

— Иначе нельзя. Я должен знать, с кем мой отец.

— В противном случае? — поднял брови Александр Степанович.

Отец вышел в свою комнату, потом вернулся и неожиданно попросил у Сергея закурить.

— У меня трофейные сигареты...

— Шут с ними... — Отец прикурил не затягиваясь, выпустил облако табачного дыма и начал ходить по гостиной из угла в угол. Сергей терпеливо ждал.

Вера вынесла посуду на кухню, вернулась, вытерла стол, застлала льняную скатерть.

— Вот что, дети, — заговорил наконец Александр Степанович. — Нам действительно надо начинать все по-новому. В этом Сережа прав. Буду откровенным — я б не хотел, чтоб вы снова жертвовали своей жизнью. У вас все впереди. Вы станете сами отцом и матерью и тогда, может быть, поймете меня.

— Мы никогда этого не пойдем, — тихо сказала Вера и посмотрела на Сергея.

— Значит, этот твой новый знакомый не враг?

— Нет.

— Тогда я больше ни о чем спрашивать не буду.

— Зато буду спрашивать я. — Александр Степанович погасил папиросу, положил окурочек в пепельницу и встал возле этажерки, на которой остались лежать считанные книги. — Что ты теперь собираешься делать?

— Уничтожать их, как бешеных собак.

— Каким образом?

— Пока не знаю.

— Вот об этом нам надо поговорить серьезно. Новые власти предпринимают ряд мер.

— Вводится комендантский час, — начал перечислять Сергей. — За укрывательство коммунистов и евреев — расстрел.

— За саботаже действия, направленные против германской армии, — расстрел, — добавила Вера.

— Я вижу, что вы уже кое-что знаете, но не знаете, что люди без определенных занятий тоже будут подвергаться репрессиям. Значит, чтобы жить и действовать, как хочешь ты, — стал хмурым Александр Степанович, — надо немедленно идти к ним на работу.

— Это уж простите, — ухмыльнулся Сергей. — Ради чего мы тогда воевали в ополчении, ради чего наши хлопцы сложили свои головы? Чтобы мы трудились на благо Гитлера?

— Тот, кто сражался в ополчении, ушел из города. А почему остался ты?

Вопрос Александра Степановича был настолько неожиданным, что Сергей не нашелся сразу что ответить.

— Теперь я, — продолжал Александр Степанович, — в свою очередь, могу спросить тебя — с кем ты, мой сын. На словах — наш, а на деле неизвестно кто?

— Как это неизвестно? — вмешалась Вера. — Да если бы нас пустили, мы тоже пошли бы на прорыв...

— Ладно, допрос окончен, — улыбнулся Александр Степанович. — А теперь слушайте меня внимательно. С нами, с городом, с тысячами людей случилась беда. Временно, я повторяю, временно, мы попали под оккупацию. Сейчас надо менять тактику. От открытой борьбы переходить к скрытой. Может быть, не менее уязвимой. А для этого надо работать. Там,

где ты больше принесешь вреда. Я считаю, что одна из самых главных работ — работа на железной дороге.

— Что я умею? — вздохнул Сергей, — Ни машинистом, ни помощником, ни кочегаром...

— А просто путевым рабочим?

— С высшим образованием?

— Забудь, — твердо сказал Александр Степанович. — Забудь, что ты почти кончил высшее учебное заведение, тебя, может быть, хотели исключить из комсомола и из института за дружбу с парнем, отец которого был арестован как враг народа...

— Папа, что ты говоришь?

— Я говорю к тому, что ты должен начинать новую биографию. Сторонником нового режима. Притворяться. Быть артистом. И притом хорошим. Вот в чем дело, ребята.

— А ты будешь работать? — спросил Сергей.

— Только не в школе... Мне в юности приходилось заниматься бухгалтерией...

Ночь была беспокойная. То и дело где-то раздавались то винтовочные, то автоматные выстрелы. Сжавшись в комочек, Вера прижималась в постели к Сергею, чувствуя на себе его нежную крепкую руку.

— Ты не спишь? — спрашивала шепотом Вера, прислушиваясь к ровному дыханию Сергея.

— Нет.

— Тебе не кажется, что отец что-то знает?

— Не понимаю.

— Ну, что он имеет какое-то поручение?

— Я уверен, — прошептал Сергей. — Ты заметила, каким тоном он говорит? Приказывает. Это, по-моему, произошло в день гибели Владимира. Мы пришли, а его дома не было. Мать тогда говорила, что за ним приезжали.

— Это хорошо, — вздохнула Вера, — что отец у нас такой... только опасно.

— Как тебе не стыдно. — Сергей поцеловал ее в плечо. — Мы ведь должны уже привыкнуть к этому. Вот мы сегодня шли с тобой из больницы. Мне даже хотелось, чтобы кто-нибудь из этих мотоциклистов зацепил меня. Я бы плюнул ему в рожу.

— Дурачок ты мой. Совсем дурачок. Отец правильно говорил — улыбайся им, а про себя думай что угодно.

— Ты уж слишком. Никогда в жизни не был подхалимом.

— А ты понарошке.

— И понарошке не был.

— Ладно, спи, мушкетер, — прошептала Вера, и Сергей услышал в ее голосе улыбку, — надо начинать биографию совсем другую. Понял?

— Понял... — прошептал Сергей и задышал ровно и спокойно...

Направляясь в контору службы пути, Сергей вышел на перрон и неожиданно увидел своего одноклассника в форменном железнодорожном кителе, который довольно бойко разговаривал с каким-то офицером по-немецки. «Вот те раз», — подумал Сергей и хотел было пройти мимо, но одноклассник попрощался с офицером и окликнул Сергея:

— Что, своих не узнаешь? Сергей сделал удивленное лицо:

— Ольгерд?

— Я самый...

Сергей знал, что в школе Ольгерда называли просто Горохом, но сейчас посчитал неуместным вспоминать об этом.

— Ну как ты? — задал дежурный вопрос Ольгерд.

— Ничего, — уклончиво ответил Сергей. — А ты как?

— Я? — Ольгерд улыбнулся. — Живу, как горох у дороги, кто захочет, тот и щиплет.

— Не скажи, — возразил Сергей, — видел я, как тебя легко ущипнуть.

Ольгерд опять улыбнулся:

— Да, пока что я пришелся ко двору. Железнодорожное начальство хочет наладить работу узла, а кадров нет. Практикант Московского института инженеров железнодорожного транспорта кое-что да значит.

— А ты разве был здесь, когда все началось?

— Здесь. А ты закончил педагогический? — Так же, как ты железнодорожный.

— Слушай, пойдем куда-нибудь поговорим, а то на перроне, как перед расставанием, спешишь.

Они шли через многочисленные пути, стрелки, по замасленным шпалам. Станция будто вымерла. Правда, где-то в тупике шипела паром одинокая «овечка», с трудом вытягивая хвост нагруженных лесом платформ.

Вошли в широко открытые высокие ворота паровозного депо. На ремонтных канавах стояло три холодных паровоза. Никто не ремонтировал их. Было пусто и в механической мастерской.

— Вот видишь, — сказал Ольгерд, — как мы их встретили, а им железная дорога, как хлеб, нужна.

— Ты считаешь, что мы их плохо встретили? — спросил Сергей, стараясь говорить спокойно, хотя в душе у него закипала ненависть к этому довольному собой Гороху.

— Могли бы лучше, — загадочно сказал Ольгерд, и Сергей не понял, что именно хотел он сказать этими словами. — Этот паровоз, — он поднялся по металлическим ступенькам, — безнадежно больной. Иди сюда, — он помог Сергею, потом осмотрел будку, приборы и вздохнул. — Хотелось быть просто машинистом. Знаешь, как это здорово? Паровоз набрал пара. Я берусь за реверс, вот видишь эту ручку, поворачиваю ее влево. Паровоз идет все быстрее и быстрее, а за ним, как игрушечные, постукивают вагоны. Ты выглядываешь в окно, и встречный ветер бьет тебе в лицо то запахом леса, то поля, то прохладной реки...

Сергей, стоявший у противоположного окна, слушал Ольгерда и чувствовал, что каждую минуту может сорваться и наговорить ему мерзостей. Ольгерд, очевидно, уловил во взгляде Сергея нечто такое, что заставило его замолчать.

— Ты не думай, — сказал он после некоторой паузы, — что я захлебываюсь от радостей новой жизни. Просто вспомнилась давняя детская мечта, которая, к сожалению, не сбылась.

— Ты сейчас можешь управлять паровозом? — любопытно спросил Сергей.

— Конечно, — скупой улыбнулся Ольгерд. — Но теперь я ничего не хочу.

— Так уж и ничего? — подозрительно посмотрел Сергей.

Ольгерд выглянул в окно и, убедившись, что в депо пусто, шепотом произнес:

— Одного хочу — поскорее уничтожить этих гадов. Неожиданный поворот в разговоре поставил Сергея в тупик. Что это? Провокация или чистосердечное признание? Сергей молчал, глядя исподлобья на Ольгерда. А тот ждал, как поведет себя Сергей, и волновался. То снимал форменную фуражку и причесывал белокурые красивые волосы, то ощупывал пуговицы кителя, хотя все они были на месте.

— А где ты так здорово научился немецкому? — равнодушно спросил Сергей, словно перед этим Ольгерд не признался ему в самом сокровенном.

— Был у нас в институте кружок. Читали немецкую литературу в подлиннике, тренировали разговорную речь.

— Готовились? — ехидно улыбнулся Сергей.

— Готовились, — признался Ольгерд и усмехнулся. — Куда же ты направлял стопы, педагог?

— Пойду в путевые рабочие, — ответил Сергей. — Может, заработаю на кусок хлеба.

— Слушай, Сережка, — тепло, по-приятельски сказал Ольгерд. — Конечно, путевой рабочий тоже очень нужный человек. А если бы ты решился пойти повыше. Дело в том, что по заданию генерала — начальника отделения дороги, я сейчас подбираю людей в технический отдел. Как у тебя с черчением?

— Не очень, — солгал Сергей. Он никак не мог отделаться от чувства неприязни к Гороху, которое родилось на перроне.

— Жаль, — искренне произнес Ольгерд. — Там мы с тобой были бы в курсе всех дел на дороге.

— А я не любопытен, — отрезал Сергей.

— Напрасно, — заметил Ольгерд. — Жалею, что разговора у нас не получилось. Не поверил ты мне, и правильно. Как поверить человеку, которого знал только в школе, а теперь

встретил в компании фашистского офицера. Ну что ж иди в путевые рабочие. Нам они тоже сгодятся. В конторе можешь сослаться на мою рекомендацию...

Молча спустились они с паровоза, молча вышли из депо.

— Пока, — холодно попрощался Сергей.

— До свидания. — Ольгерд крепко пожал ему руку. — Контора в старом здании. Ну, ни пуха тебе ни пера.

— К черту... — пробормотал Сергей и направился к одноэтажному кирпичному зданию за пакгаузом.

Сейчас он пытался разобраться в том, что произошло, вспомнить еще раз все, о чем говорил Горох, проверить, насколько правильно вел он себя при встрече с этим человеком. Он встретил Ольгерда с офицером. Ну и что ж? Он, очевидно, пользуется у немцев доверием и может советоваться по служебным делам со своим начальством. Такие беседы только укрепляют взаимоотношения и сближают людей. Если Ольгерд действительно наш, то это просто здорово. Во-первых, без пяти минут выпускник московского института и дело свое, конечно, знает, во-вторых, почти свободно владеет немецким, в-третьих, живой энергичный парень. Каким был живчиком, таким и остался. Одно слово — горошек.

Тут Сергей прерывал свои мысли о достоинствах Ольгерда. А что, если, думал он, Ольгерд провокатор из тех, которые умеют это делать мастерски. Он собирает вокруг себя нужных людей и сам активно участвует в деле, а в один прекрасный момент всех выдает врагу? Нет, от этого Гороха лучше держаться подальше...

А в это время у дома Сергея остановился грузовик. Из кабины степенно вышел Григорий Саввич, постучал из палисадника в окошко, и Александр Степанович, услышав этот стук, заторопился в сени. Вера не слышала разговора, но когда Александр Степанович вернулся, поняла, что он принес какую-то весть для нее, хотя говорил совсем о другом:

— Как думаешь, устроишься Сережа?

Вера ответила утвердительно и смотрела в глаза Александру Степановичу, ждала.

— Знаешь, Верочка, — заговорил наконец о главном Александр Степанович. — Ты будешь работать в моей, заготовительной конторе и иногда выезжать в район,

— Зачем? — спросила Вера.

— Для виду сменять тряпки на продукты, а на самом деле для связи с Березняком.

— Это что еще за Березняк?

— Подпольная кличка одного товарища. Ты ему расскажешь все, что тебе сообщат, перед отъездом или в дороге и привезешь его указания. А пока собирайся. Вот у меня кое-что из поношенной одежды нашлось. Сделаешь узелок, получишь у меня временное удостоверение, и в путь.

— Удостоверение настоящее?

— Не беспокойся, подписано самим начальником, скреплено печатью.

К обеду сборы были закончены,

— Садись, поешь на дорогу...

— Без Сережи?

— Вот что, милая моя, — нахмурился Александр Степанович. — Так переживать за своего близкого, как ты переживаешь, никакого здоровья не хватит. Приготовься к разлукам, всегда опасным, которых будет много на твоем пути. А Сережа — он тоже не на посиделках. Такая уж наша судьба... Кстати, вот и он, — услышав стук двери в сенях, сказал Александр Степанович.

— Ты куда собралась? — кивнул на узелок Сергей.

Вера оживилась. Налила в тарелки и, когда все сели за стол, сказала:

— Обо мне потом. Что у тебя?

— Представьте, особых трудностей не встретил. Удивились, конечно, что студент просится в путевые рабочие, но зачислили. Людей, видно, мало пока, вот и хватают первого попавшегося.

После обеда Александр Степанович давал Вере последние наставления:

— Слушайся Григория Саввича. В поездках он для тебя самый большой авторитет. Он вывезет из города группу пленных, перевязочный материал, который я ему передал из ваших

ящиков, помните, которые вы сложили в погреб, и укажет дорогу в отряд, в партизанский отряд Березняка.

— Отец, пошли нас обоих, — попросил Сергей. — И безвозвратно. Отряд — это то, что нам надо.

— А я должен один? — спросил Александр Степанович. — Отряд не может без нас, мы без отряда. Будешь находиться там, где приказано.

— Кем?

— Мною...

Наступило молчание, которое прервал Александр Степанович:

— Вот и все. Знаешь, где живет Григорий Саввич?

— Я провожу, — сказал Сергей.

Александр Степанович поцеловал Веру в щеку.

Сергей вел Веру под руку и весело шутил, словно ничего не случилось, словно так же, как и до войны, шли они вдвоем по извилистым улочкам Дубровенки.

— Ай да папка, — шептал на ухо Вере Сергей. — Я ведь чувствовал, что он знает что-то такое, чего не знаем мы.

— А ты волновался на своей службе?

— Не очень. Захожу в контору. Сидит какой-то сердитый тип с усиками. Я спрашиваю насчет работы, а он молчит, словно глухой, и смотрит на меня в упор. Я молчу, и он молчит.

— Ты чей? — спрашивает наконец. Отвечаю.

— Значит, учительский сынок?

— Значит.

Сердитый тип подумал немного и вздохнул:

— Чудны дела твои, господи. Один учительский сынок у самого генерала, начальника отделения, в доверенных ходит, а другой в чернорабочие метит... Ладно. Приходи завтра с утра. Пока комплектуем бригаду.

— Сумеешь? — спросила Вера.

— Да я ж вырос на этих путях. Каждый день в школу туда и обратно обязательно на маневровом паровозе подъезжал, наблюдал эту нехитрую, но тяжелую работу путейцев...

Незаметно дошли до Машиного дома. Низенькие воротца во двор были открыты, Григорий Саввич и шофер кончали загружать машину. На солому, которая торчала из кузова, взваливали длинные детали машин — то ли сеялок, то ли жнеек.

— Пришла? — торопливо бросил Григорий Саввич. — Садись в кабину. Пора.

Вера молча повернулась к Сергею, обняла его и крепко поцеловала в губы. У Сергея что-то екнуло в груди, но он не подал виду, открыл пошире воротца, шофер, Вера и Григорий Саввич втроем сели в широкую кабину, и машина тронулась. Сергей стоял и смотрел вслед, пока машина не повернула на Ульяновскую и дальше на Шкловский шлях.

— Сережа, — вдруг услышал он знакомый голос. На крыльце стояла Светлана Ильинична. — Помоги-ка мне закрыть ворота. А потом, может, зайдешь? Правда, молодых моих еще нету. Глядишь, и время быстрее пролетит. А то пока дождусь их, вся душа наизнанку.

— Зря, — успокоил ее Сергей. — Работа не бей лежачего.

— Ты мне сказки не рассказывай, — вздохнула Светлана Ильинична. — Будто я ничего не знаю. Да я вот этими руками, — она оглянулась по сторонам, — уже больше десятка командиров из госпиталя одела и отправила в лес... — и, словно между прочим, добавила: — Вашего Ивана мать недавно из больницы забрала.

Сергей заулыбался.

— Вот видишь, — продолжала Светлана Ильинична, — знаю, чем тебя ободрить. А то проводил свою голубку и нос повесил. Ступай...

— Спасибо!

Сергей весело зашагал по переулку...

Когда открыл дверь, Иван, бледный и осунувшийся, стоял посреди комнаты, держась за спинку стула,

— Сережка! — радостно выдохнул он.

Сергей бросился к другу, тихонько обнял его за плечи и повел к дивану.

— Вот учусь ходить, — смущенно улыбнулся Иван. — Сегодня уже полчаса провел на ногах без отдыха. Ты извини, брат, я немного прилягу...

Сергей поправил подушку, что лежала на спинке дивана, и присел рядом. Некоторое время смотрел на лицо друга, прорезанное первыми морщинками.

— Не нравлюсь я тебе? — спросил Иван.

— А ты не девушка... — улыбнулся Сергей. — Смотрю потому, что давно не видел.

— Если б не вы... — дрогнувшим голосом сказал Иван и замолчал, словно ему не хватило дыхания.

— Ладно, — снова улыбнулся Сергей и положил свою руку на исхудавшие пальцы Ивана. — Это закон союза...

— Ну, рассказывай, — попросил Иван. — А то мать сообщает все какие-то слухи.

— Например? — поинтересовался Сергей.

— Что недавно нашли на улице двух убитых офицеров, а на Ленинской кто-то нарисовал карикатуру на Гитлера и подписал ругательные слова.

— Я и этого не знаю, — признался Сергей. Лицо Ивана покрылось розовыми пятнами, — Спрятался за Верину юбку и притих? Сергей не выдержал:

— Если б ты был здоров, смазал бы я тебе по физиономии.

Наступило неловкое молчание. Сергей с нарастающим раздражением вспоминал резкие повороты в характере Ивана, его нетерпимость к малейшим человеческим слабостям. Сергей хотел было подняться и уйти, но посмотрел на еще более побледневшее строгое лицо друга и остался. Начал ходить по комнате из угла в угол.

— Ты, наверное, — зло заговорил Сергей, — хотел, чтобы я тебе доложил о том, что я лично создал в городе многотысячное подполье, еще более могучую партизанскую армию и что не сегодня-завтра мы снова освободим Могилев, освободим тысячи наших людей, томящихся за колючей проволокой в лагере военнопленных... Ты, наверное, хотел...

— Сережа, прости меня, — тихо сказал Иван. — Я не хотел тебя обидеть. Просто наше бессилие становится невыносимым.

— Терпение, Иван, терпение...

— Толстовское непотворение злу?

— Нет, совсем другое терпение. В том смысле, что не сразу Москва строилась. По камешку, по кирпичику.

— Смотри ты, какой осторожный строитель, — усмехнулся Иван. — Ты ведь еще и места для этого не выбрал.

— Выбрал, — уверенно ответил Сергей, — Пошел на железную дорогу путевым рабочим, — Легко приняли?

— Легче, чем я думал. Люди им нужны позарез. Мне даже предлагали более квалифицированную работу в самом отделении дороги.

— Ври больше.

— Честное слово. И знаешь кто? Помнишь, был в десятом «б» Горох с четвертого кирпичного переулка. С громким таким именем Ольгерд, Приехал в июне из московского института на практику.

— Предатель?

— Кто его знает, — неопределенно сказал Сергей. — Шел со мной в открытую, предлагал сотрудничество.

— Хитрая штука сейчас узнать человека, — задумчиво произнес Иван.

— Я тоже сообразил и ушел от прямого разговора. Он так здорово чесал по-немецки с офицером на перроне...

— Надо посмотреть к нему. Может, как раз хороший хлопец. Вот скоро поднимусь и махну вслед за тобой.

— И еще... — Сергей присел на диван и сказал шепотом:— Вера будет связной между нами и партизанским отрядом какого-то Березняка. Сегодня уехала с Григорием Саввичем.

— Еще раз прости... — глухо сказал Иван и взял Сергея за руку.

На выезде из города машину остановили два полица и один немец. Григорий Саввич предъявил удостоверение и путевой лист.

— Что везете? — спросил полицаи.

— Ты что, милый, не видишь — детали в МТС тяну. А то придет весна и пахать нечем будет.

Солдат вопросительно смотрел в рот Григорию Саввичу.

— Хлеб, хлеб, — повторил ему Григорий Саввич, — пахать надо землю... хлеб.

— О, брот... я, я... — понимающе кивнул немец. Полицай бросил взгляд на Веру.

— Это со мной, — сказал Григорий Саввич. Полицай обошел машину, потом встал на заднее колесо, заглянул в кузов.

— Жадный ты, дядька, — сказал он. — Ишь как укутал соломой это паршивое железо.

— А оно, как человек, заботу любит. Ты его досмотришь как следует, оно тебя и отблагодарит. Вот, бывало, до войны ездил я по районам с ремонтной бригадой...

— Ладно. Хватит, — махнул рукой полицаи, — будешь еще тут довоенные сказки рассказывать.

Григорий Саввич сел в кабину, кивнул шоферу и вздохнул облегченно.

Вера не понимала беспокойства Григория Саввича. Документы были в порядке, груз не ахти какой...

Григорий Саввич повернулся к Вере и заговорил в самое ухо:

— Вот теперь слушай меня внимательно. В кузове машины под соломой шесть пленных и оружие. Завезу я тебя за Жуково, а там в лесу тебя встретят и проводят с людьми в отряд... Расскажешь командиру, что наладили связь с хлебозаводом, надеемся и на железную дорогу. Приемника и пишущей машинки пока не отыскали. Одним словом, с этим пока туго. А людей будем подбрасывать. И медикаменты разные тоже. Поняла?

— Поняла, — улыбнулась Вера. — А почему вы так долго беседовали с полицейским, если у вас в кузове такой груз?

— А потому, милая, чтобы глаза отвести. Если человек торопится, он, значит, того... хочет избавиться от лишнего взгляда, а если он уверен, что у него все в порядке, ему спешить некуда, он может и поговорить.

Долго петляли по проселочной дороге, оставив в стороне какие-то деревни, и наконец въехали в густой сосновый бор.

— Тормози, — распорядился Григорий Саввич. Остановились. Узкая лесная дорога поворачивала куда-то вправо и вверх. Григорий Саввич, Вера и шофер вылезли из кабины. Вера медленно пошла вперед по этой дороге, давно не еженной, поросшей муравой. Кроны деревьев сплелись над ней и образовали густую тенистую аллею, пахнущую живицей. У машины раздавались голоса, но Вера думала о своем — нелегко будет пробираться в такую даль для связи. Она услышала за собой торопливые шаги и не успела оглянуться, как сзади чьи-то крепкие ладони закрыли ей глаза.

— Угадать? — воскликнула Вера.

— Да, — односложно ответил притворный басовитый голос.

Вера растерялась. Никого из знакомых в этой поездке встретить не предполагала.

— Честное слово, не узнаю.

Ладони соскользнули с ее глаз, Вера стремительно обернулась и увидела перед собою Федора, такого же черноглазого и чернобрового, с прежней улыбкой, только, может, похудевшего и какого-то усталого. Нет, не прежним был Федя. В глазах его, всегда живых и беспокойных, светилась какая-то тоска.

— Федя! — Вера бросилась ему на шею. — Боже мой, откуда ты свалился?

— С кузова, — улыбнулся Федор. — Я твой голос узнал еще на дворе Григория Саввича... и Сережин тоже... Ну, как ты, как он?

— Я — вот видишь, а Сергей ничего, поправился после ранения, но в душе у него черт знает что... иногда боюсь, как бы не сорвался...

Подошел вихрастый улыбающийся Зайчик.

— На Федора девушки, как мухи на мед. Ну, давайте познакомимся — старший лейтенант Зайчик,

Вера глянула на пустые петлицы.

— Это в лагере разжаловали...

В стороне приводили себя в порядок еще четыре человека. По следам повязок видно было, что люди бежали из госпиталя.

Шофер полез под машину и достал из брезентового мешка ручной пулемет.

— Эй, команда, держи! Подошел Григорий Саввич.

— Нашлись знакомые? — спросил он Веру и взял ее за руку. — Пройдем немного вперед, а хлопцы погуляют... Хочу тебе сказать, что такие поездки не всегда представляются. Придется тебе самой идти сюда с людьми или одной. Дорогу запомнила?

— Приблизительно.

— Из города мы повернули левее Шкловского шляха, потом мимо Жукова, потом слева остается Заречье и начинается вот эта лесная дорога... А наша МТС еще километра четыре отсюда. Проводник проведет сегодня на базу, а завтра до полудня ты выйдешь на проселочную, дойдешь до МТС и я захвачу тебя обратно. Еще раз проедешь и запомнишь. А сейчас стоять нам тут не с руки. Отведи хлопцев поглубже в лес по этой дорожке. С минуты на минуту, — Григорий Саввич посмотрел на часы, — должен появиться проводник.

В это время из зарослей на дорогу шагнул невысокий пожилой человек с широкой, но коротко подстриженной бородкой в кирзовых сапогах и стеганке военного покроя. На плече у него была березовая палка, на которой болталась пустая холщовая торбочка.

— Вот он и я, — улыбнулся старик, обнажив ровный ряд желтоватых крепких зубов. — Добрый день, Саввич. Ты нам сегодня одну невесту привез?

Саввич поздоровался со стариком за руку,

— Женихи возле машины. Вот знакомься. Твоя напарница из города. Верой кличут.

Старик окинул быстрыми глазами Веру, кивнул и пошел к машине:

— Ну, покажи мне женихов... — Он подходил к каждому, пожимал руку, бросал оценивающий взгляд. — Ну, за сегодняшних спасибо. Орлы, настоящие орлы. Небось, все командиры?

Григорий Саввич попрощался. Машина выехала из леса, повернула вправо и скрылась на пыльном проселке. Старик сказал:

— Слушать мою команду. Идем цепочкой. Я, значит, впереди, за мной вот эта девчина, а потом уже вы. Далеко не растягиваться, чтобы, значит, не искать друг друга. Вот такая моя речь. Кто что хочет спросить?

Все молчали, с любопытством рассматривая подвижного приветливого дядьку, а он погладил бороду и заключил:

— Может, кто хочет знать, как меня кличут, Так в церковной книге поп, чтоб ему ни дна ни покрывки, записал Фелицианом, а в деревне зовут Фелей. Ну, шагом арш... — старик довольно резво зашагал по лесной дороге, потом свернул на едва различимую тропу.

— Ты примечай, красавица, — поворачивался старик к Вере. — Вот эта кривая береза одна такая в наших краях. Будто кто нарочно ее согнул, а там вон на опушке будет приметная семейка молодых елочек, а когда выйдем на полянку, с левой стороны будет такой дуб — загляденье. Ему, может, сто, а может, и все двести годков.

— А вам сколько? — не удержалась Вера.

— Сватов к тебе не пришлю, — улыбнулся старик. — Нет, правда...

— Семьдесят пять стукнуло, с гаком.

— Не может быть, — отозвался шедший вслед за Верой Федор. — Моему батьке шестьдесят, так он выглядит намного старше.

— А кто твой батька?

— Председатель колхоза... был.

— Видишь ли, — сказал старик, — он правил людьми, а я лесом. Разница. Сосенка или, скажем, березка какие мне неприятности учинят? Наоборот, Березка соком напоит, сосна в тени укроет, пошумят меж собой про житье-бытье, а мне радость одна. От радостей ни морщин, ни седого волоса. А человек, он, брат, и глазом, и словом, и ножом, и пулей может тебя...

— Психология... — проворчал Федор.

— Чего? — не понял старик.

— Говорит — чистая правда, — перевела непонятное слово Вера.

Федор улыбнулся. Вера оглянулась, спросила! — А как ты попал в эту машину? С того

света?

— Из лагеря военнопленных,

— А в лагерь?

— О, это длинная история. Ты лучше о себе скажи.

— Моя история тоже не короткая. Пока вы ездили под Чаусы, моих стариков и сестренку разбомбило. Поженились с Серезжкой, и живу у него. Мать его недавно похоронили.

Некоторое время шли молча.

— Большую цену заплатят они нам за все, ой, большую... — сказал Федор.

— А пока ты прячешься от них, а не они от тебя... — заметил старик.

— Вот именно — пока, — зло продолжал Федор. Он хотел еще что-то сказать и замолчал.

Так всю дорогу до базы он не проронил ни слова. Вера тоже молчала. Один Фелициан что-то ворчал про себя, но ни Вера, ни Федор не могли разобрать что именно.

По едва заметным кладочкам перешли большое болото, а за ним снова открылся сухой боровой лес с солнечными земляничными полянами. На одной из них пришельцев остановил вооруженный наряд.

— Стой, кто такие? — спросил, очевидно, старший, а партизан помоложе воскликнул:

— Вы что, дядьку Фелю не узнали?

— Не узнал. Проходите...

Вокруг поляны были вырыты добротные землянки. Дверь одной из них открылась, и Вера с Федором сразу узнали вышедшего из землянки Устина Адамовича. Был он в серой клетчатой кепке, стеганке, перетянутой широким офицерским ремнем, на котором держалась кобура револьвера. В добротных сапогах и брюках Устин Адамович выглядел молодцевато.

— А, Фелициан, добро пожаловать. Мы уж беспокоиться начали... — Он пожал руку старику, а увидев Веру и Федора, остановился на мгновение и удивленно произнес: — То, что придет Вера, я знал, а что будет и Федор... ну, обрадовал, спасибо. Веди, Фелициан, хлопцев к начальнику штаба, пускай оформляются...

Вера осталась.

— Устала? — посмотрел ей в глаза Устин Адамович.

— Вы и есть Березняк? — спросила в свою очередь Вера.

— Нет. Он погиб в одном из первых боев. Но название отряда Березняка так и осталось...

Пойдем-ка сперва на кухню, а потом говорить будем.

Встретила ее моложавая повариха в цветастой косынке и таком же переднике.

— Вот наша гостья, Анна Степановна. Прошу любить и жаловать. А я к новичкам.

Анна Степановна поставила на стол из неструганых досок железную миску дымящегося борща, подала кусок хлеба и сама села напротив Веры.

— Вы не стесняйтесь. Как вас зовут? Вера назвалась.

— Не стесняйтесь, Вера. В городе, небось, голодно.

— Туговато... — согласилась Вера, взяла ложку и отхлебнула из миски.

— Мамочка, какая вкуснятина!

— Льстите?

— Честное слово. Я вот готовлю свекру и мужу и каждый раз боюсь, что они откажутся есть.

— Скромничаете.

— Я ведь никогда этим дома не занималась, а потом так случилось, что...

— А я любила повозиться на кухне, — призналась Анна Степановна. — И, — знаете, какое-то особое удовольствие видеть, как приготовленное тобой едят с аппетитом. Мы с мужем до войны оба работали, но я успевала готовить и не разрешала ему ходить в столовую. Даже иногда скандалили из-за этого.

— А он кто у вас?

— Секретарь райкома партии.

— А разве и теперь?... — удивилась Вера.

— Да, и теперь работает райком. Да еще как. Ни дня, ни ночи. Теперь об обеде некогда scandalить. Где перекусит, а где и поголодает. Всякое случается. То фашисты прижмут, то полицаи. А народ за нас. Есть, конечно, и подлецы. Так они и до войны были, ничего

удивительного...

— Анна Степановна, какие же сейчас могут быть собрания или, скажем, беседы с населением?

— Обыкновенные. Как и до войны, Только под охраной наших партизан.

— А сами вы кто?

— Учительница. Кончала могилевский институт в тридцать седьмом...

— А я в тридцать седьмом только поступила.

— Да мы с вами родственницы! — воскликнула Анна Степановна. — Вы знаете, как хочется в школу, — иной раз даже во сне вижу, что веду урок... Устин Адамович обещает дать мне со временем школу и здесь в лесу.

— Вы давно его знаете? — спросила Вера.

— Давно. Еще при жизни жены его... Такая красавица была, ну, вроде вас.

— Ну, что вы... — смутилась Вера.

— Да, да, — продолжала Анна Степановна, — мы, девчонки, бывало, специально приходили любоваться ею, когда она появлялась с Устином Адамовичем в институте...

Из-за деревьев показался Устин Адамович. Он молча сел за стол, вынул кисет, свернул сигарку и закурил. «Наверное, слышал наш разговор», — подумала Вера.

— Может, и вы заодно пообедаете? — предложила Устину Адамовичу Анна Степановна.

— Нет. Не хочется... Вам скоро пополнение приведут, Так вы уж осторожно их кормите. Люди из лагеря военнопленных... Золотые хлопцы. Спасибо вам, — он глянул на Веру, и глаза его заблестели.

Вера не нашлась, что сказать в ответ. Она отодвинула пустую миску, поблагодарила Анну Степановну и сказала:

— Я должна вам кое-что передать.

Устин Адамович проводил Веру в землянку, Было здесь уютно, чисто — на нарах еловые лапки, пахнущие свежей смолой.

Вера пересказала сообщения Григория Саввича, Устин Адамович снял кепку и вытер платочком лысину.

— Ну что ж, пока все идет нормально. Если с хлебозаводом и железной дорогой наладится прочная связь — будет превосходно. Машинку и приемник надо доставать теперь, потому что скоро немцы наладят такую слежку, что будет во сто крат труднее. Кстати, передашь Григорию Саввичу, что нашим в госпитале надо быть осторожнее. Уж больно смело они списывают раненых в покойники, да, еще и оружием снабжают. Пусть Эдик с Кузнецовым смотрят в четыре глаза — как бы не нарваться на провокатора.

— А как на фронте? — спросила Вера.

— На фронте пока тяжело. Враг под Москвой. Вот последнее сообщение... — Устин Адамович расстегнул планшет и протянул Вере листок бумаги, на котором бисерным почерком была записана сводка Совинформбюро.

— А они пишут, что Москву уже взяли...

— Нельзя, чтобы люди подумали, что это правда. Правду должны нести мы — ты, Григорий Саввич, Сергей, Маша, Эдик, Александр Степанович и все наши группы в городе. Но еще раз повторяю — никаких собраний, никаких списков, записок. Все надо помнить наизусть, как стихи. Каждого нового человека проверять, не знакомить его ни с кем из своих товарищей, не сообщать никаких сведений секретного характера. Тебе тоже придется нелегко — немцы насаждают в деревнях своих старост и полицейских. Мимо Жукова просто так не пройдешь..., Дадим тебе явку в соседней деревне на всякий случай.

— Я понимаю, — тихо сказала Вера,

— Ребятам передай, что это наш государственный экзамен, который мы не успели сдать в июне... скажи, что тоскую без них и вообще, что очень их люблю... — Устин Адамович задумался, потом свернул сигарку и, не прикуривая, продолжал: — Мне уходить надо, а ты переночуешь в землянке у Анны Степановны, а утром Фелициан проводит тебя до проселочной дороги.

Они вышли. Устин Адамович надел кепку, улыбнулся и крепко пожал на прощанье Верину руку.

Глава пятая ПЕРВЫЕ ГОРЕСТИ

Вскоре трехэтажный хирургический корпус, который занимал медсанбат Кутеповского полка, был обнесен колючей проволокой. Охрана контролировала вход и выход медперсонала. Командиры и политработники, которых удалось перевести в общие палаты больницы, избежали участи военнопленных. Больница стала жить тревогой за судьбу раненых, оставшихся в огражденном корпусе, и спасением тех, кто лечился в общих палатах с гражданскими.

Положение Эдика осложнилось — оставаться на должности санитаря медсанбата и быть все время под охраной гитлеровцев или работать в больнице и сохранить за собой относительную свободу действий? Выбор был сделан Кузнецовым — на работу в больницу перешли врачи медсанбата, а вместе с ними и Эдик.

Тактический шаг, предпринятый Кузнецовым, не ослабил внимания к хирургическому корпусу, Наоборот, Медперсонал чаще прежнего стал навещать этот лагерь военнопленных, расположенный на территории больницы. По мере того как улучшалось здоровье раненых, росло беспокойство Кузнецова. Он откровенно делился с Машей и Эдиком.

— Допустим, я их спишу, как покойников. Допустим, мы вывезем их вместе с трупами на кладбище. А дальше?

Маша просила Владимира Петровича повременить, а Эдик разрабатывал план, в осуществлении которого должны были принять участие и Сергей и Вера. Но события повернулись иначе.

Однажды вечером в ординаторскую заглянул Григорий Саввич и вызвал Машу и Эдика в коридор:

— Вот что, ребята. Мать места себе не находит. Три дня никто дома не показывается. Давайте в машину и поехали.

— В какую машину? — удивилась Маша.

— А вот увидишь, — загадочно улыбнулся Григорий Саввич.

Отпросились до утра у дежурившего Пашанина. Вышли на улицу. У больничных ворот стоял тупоносый темно-серый грузовик.

— Вот, персональный, — сказал Григорий Саввич и полез в кабину. — А вы наверх, там доски для сиденья положены.

Времени для расспросов не было. Эдик помог взобраться в кузов Маше, потом вскочил сам, и они затряслись по булыжнику улицы, спрятавшись от ветра за стеной кабины...

Увидев на пороге Машу и Эдика, Светлана Ильинична всплакнула, потом торопливо накрыла на стол. Пришел со двора Григорий Саввич, вымыл руки и устало опустился на диван.

— Папа, что все это значит? — спросила Маша.

— Это значит, доченька, что я теперь не просто ремонтник, а шишка на ровном месте.

— Значит, ты предатель?

— Сумасшедшая. Так можно и оскорбить, между прочим, родного отца. Ни за что ни про что. Просто один тип командует в районе сельхозуправлением, а мне доверил восстановление МТС.

— И вы их будете восстанавливать? — Эдик бросил взгляд на Григория Саввича.

— Как бы не так, — возмутился Григорий Саввич. — Я и согласился только для того, чтобы это дело завалить.

— Вас расстреляют, — спокойно заметил Эдик, — За что? — притворился Григорий Саввич.

— За саботаж.

— А я буду в стороне, потому что партизаны...

— Где они? С ними еще надо установить связь, — наступал Эдик.

— И свяжусь, — твердо обещал Григорий Саввич. — Что я, хуже других, или мне советская власть не дорога... Где-то за Гуслищанской МТС объявился какой-то Березняк.

Маша в халатике выскочила из соседней комнаты, — где она переодевалась, и бросилась

целовать отца:

— Папочка, ты золото, ты находка, ты самый... самый замечательный...

— Да ты что, егоза? — смущенно улыбнулся Григорий Саввич. — Я пока только предполагаю, а как оно будет, кто его знает...

— Нам надо людей спасать, — нахмурился Эдик. — Куда им деваться после бегства из больницы?

— Понял, все понял, — серьезно сказал Григорий Саввич и встал с дивана. — Дайте мне срока два-три дня...

— Ну, садитесь, садитесь за стол! — звала Светлана Ильинична. — За этими вашими делами и поесть будет некогда.

За столом Эдик спросил:

— А что у вас шофер? Молчун какой-то...

— Теперь, сынок, — сказал Григорий Саввич, — самое дорогое в человеке. Думаешь, я так, с бухты-барухты схватил лишь бы кого? Шутишь. Я ведь знал, что если дают машину, значит, можно будет выезжать из города, раз выезжать, мало ли что может случиться. А тут в нашем переулке пригрела одна вдова военного шофера. Он вместе с машиной горел, раненый. Она спасла его, выходила. Он так и прижился. Встретился я с ним пару раз — чую, рвется он из дому, то ли к фронту, то ли куда в лес. Наши, говорит, скоро вернуться, а я, выходит, под вдовьим подолом отсиживался. От фронта я его отговорил, а на работу взял. Ты не смотри, что он молчун, — за дело в огонь и в воду...

Эдик поужинал и стал прощаться. Маша вышла с ним за калитку. Была она в легком тонком халатике, такая домашняя и близкая. Эдик прижал ее к себе и поцеловал.

— Машенька, — шепнул он, — давай еще раз поговорим с матерью. Это ж просто издевательство.

Маша улыбнулась, провела маленькой ладонью по его небритой щеке, поднялась на цыпочки и поцеловала Эдика.

— Родненький мой, — горячо зашептала она. — Ты видишь, какая она упрямая? Давай поговорим, но не знаю, что из этого будет, не знаю.

— Феодализм, самый настоящий феодализм, — усмехнулся Эдик...

С тех пор как Маша вернулась в Могилев, Светлана Ильинична, которая души не чаяла в Эдике и неизменно называла его любимым зятем, вдруг категорически заявила, что не позволит Маше и Эдику быть вместе. Когда Эдик, смущаясь и заикаясь, намекнул Светлане Ильиничне, что Маша не возражает против того, чтобы они стали мужем и женой, та снисходительно улыбнулась:

— Вы любите друг друга, и слава богу, А чтобы строить семью по нынешним временам, так я против, и больше об этом ни слова. Теперь никаких загсов нету, сходятся, расходятся, как кто вздумает, И не забывайте главного — идет война, над каждым из вас такая опасность, что страшно подумать, а вы про семью. Пойдут дети, а с ними куда в холод и голод. Нет, нет, и не думайте. По-прежнему приходи, провожай, береги ее, Эдик, но живи в своем доме. Небось, мать замаялась без тебя...

Эдик шел домой, а в душе жила обида на Светлану Ильиничну. Вот уж действительно правду сказала когда-то Маша—человечество делится на два враждующих класса — молодых и стариков. Неужели Светлана Ильинична не понимает, что он не может без Маши, а Маша без него. На эту дурацкую работу в больнице он никогда бы не пошел, если бы там не было Маши. Видеть ее, говорить с ней, заботиться о ней, оберегать — было счастьем, если могло существовать счастье с приходом тех, кого Эдик и Маша ненавидели всей душой.

Мать привыкла к тому, что Эдик приходил поздно, а уходил рано — она видела, как ему нелегко, и сочувствовала сыну и тревожилась за него. Два брата Эдика эвакуировались на восток с паровозными бригадами, меньший Митька смотрел на Эдика волчонком — он презирал брата за то, что он работал у фашистов, а значит, служил им и был против своих. Митька не мог думать по-другому — в его сознании люди были за или против своего народа. Эдик старался объяснить брату, что и работая у врага можно быть за своих, но Митька ничего не признавал. Несмотря на предложения, он ни за что не хотел идти слесарить в депо, где его знали до войны как мастера на все руки...

Григорий Саввич свое слово сдержал. Ровно через три дня он сообщил, что готов к выполнению задания. Долго, со всеми подробностями он рассказывал о том, как встретился в Гуслищанской МТС с бывшим парторгом, как тот не признавался, что имеет связь с партизанами, а ночью в контору МТС, где спали Григорий Саввич с шофером, пришел лысый человек в военной стеганке и они просидели с ним почти до утра. Он не назвал, этот лысый, с приятной улыбкой, немолодой уже незнакомец, но говорил от имени райкома партии и в конце дал адрес Александра Степановича, с которым советовал поддерживать связь. Что касается пленных, оружия и медикаментов, которые мог привозить Григорий Саввич, то человек в стеганке советовал доставлять на Сухую Грядку за Жуковым. Григорий Саввич не преминул добавить с некоторым недоумением, что человек этот хорошо знает Эдика как талантливого литератора.

— Это Устин Адамович, — сказал Эдик. — Он один все время напоминает мне о поэзии.

— Ты разве хотел этим заниматься всерьез? — спросила удивленная Маша.

— Не знаю, — задумчиво ответил Эдик. — Сейчас не об этом. Завтра вывозим из хирургического первую группу пленных. Надо достать для них одежду, потому что на кладбище их вывезем в одном белье...

— Какой ужас... — прошептала Светлана Ильинична. — Господи, чтобы только все обошлось хорошо... А если кто заметит, что вы грузите живых?

— Перестань, — глухо проворчал Григорий Саввич.

— Эдичек, может, они бы сами как-нибудь под колючую проволоку?... — чуть не плакала Светлана Ильинична. — А я тут в сарайчике место приготовлю и одежонку кое-какую.

— Мама, не могут они сами, — ласково сказала Маша.

— А вы можете свои головы под петлю подставлять? — всхлинула Светлана Ильинична. — Я тебя, доченька, раз уже похоронила, а второй — не выдержу.

— Ну что ты, мать, нюни распустила, — недовольно гудел Григорий Саввич. — По твоему характеру век нам вековать под Гитлером? Ты лучше поищи что-нибудь из барахла, чтобы хлопцам было чем прикрыть тело на первый случай...

За время работы санитаром Эдик посмотрелся всякого. Но то, что пришлось пережить ему назавтра вечером, было страшно.

На дворе больницы Эдик приготовил специальную повозку с высокими бортами, застланную большим куском грязного брезента. В повозку был впряжен гнедой артиллерийский конь, оставленный в больнице защитниками города. В назначенное время солдаты открыли ворота, оплетенные колючей проволокой. Эдик тронул коня, мельком глянул в окно ординаторской, откуда смотрела на него Маша, незаметно кивнул ей и поехал во двор хирургического корпуса.

Вышедший навстречу Кузнецов взял коня под уздцы, отвел подальше от охраны, приказал Эдику развернуть брезент, края которого опустились на землю по обе стороны повозки, и позвал Эдика с собой.

На третьем этаже их ждал Пашанин. Он повел Эдика по коридору, открыл дверь палаты. На трех койках лежали накрытые с головой люди. Босые, с посиневшими пальцами ног. Эдик успел заметить, что на троих покойников было всего четыре ноги. На угловой койке сидел раненый с перевязанной головой и тревожным взглядом смотрел на вошедших.

— Вы не волнуйтесь, Демченко, — сказал ему Пашанин. — Вот мы этих троих на дно повозки, а потом вас...

Пришел санитар, которого Эдик встречал в медсанбате, чернявый, коренастый, похожий на грузина. Вынесли троих. Потом вернулись, поставили носилки посреди палаты.

— Ну, Демченко, давай, — сказал Пашанин. Демченко соскочил с койки, лег на носилки и закрыл глаза. Пашанин набросил ему на лицо простыню не первой свежести.

— Не вздумай, дорогой, дышать, чихать и вообще замри, пока не вывезем за ворота, — сказала санитар, похожий на грузина. — Пока мы везем, ты труп...

На дворе хирургического стоял и курил Паршин. «Сегодня все на посту, — подумал Эдик. — Авось пронесет».

Они опрокинули парня в повозку вниз лицом и по команде Паршина поднялись на второй этаж, а затем в морг. Так вынесли они шесть человек живых и четырех умерших, накрыли

повозку брезентом, и Эдик тронул коня. Вот миновали охрану, вот закрылись за ними ворота, В окне ординаторской Эдик увидел веселое лицо Маши, но улыбнуться в ответ уже не было сил...

Ехали к ближайшему кладбищу на Мышаковку. Сперва дорога вела круто вниз. Оглобли били в хомут, конь упирался, шагал неторопливо, а Эдик шел рядом с повозкой и прислушивался. Под брезентом было спокойно, Потом дорога поднялась круто вверх, и Эдик увидел, как брезент, которым была накрыта повозка, начал сползать вместе с живыми и мертвыми. Он крикнул чернявого санитара. Вдвоем поддерживали они брезент, пока лошадь не поднялась наверх и сама не повернула по наезженной дороге.

Въехали на кладбище, густо поросшее старыми ветвистыми деревьями и кустарником. Эдик дернул за вожжи. Лошадь пошла быстрее и скоро остановилась у свежевырытой могилы. Эдик и санитар, торопливо оглянувшись, сняли брезент:

— Товарищи, кто живой, вставайте, но не разбегайтесь. Сейчас переоденетесь в кустах и будете ждать. За вами придут.

Раненых словно ветром сдуло с повозки. Кто в нательном белье, кто в трусах, укрылись они по кустам. Эдик с санитаром опустили в могилу покойных, и, пока санитар орудовал лопатой, Эдик достал из-под брезента старые брюки, рубашки, поношенные гимнастерки, ботинки и сапоги и все это понес в кусты.

Хотя на дворе стояло начало сентября и грело еще яркое солнце, раненые зябли. Один из них в нательном белье, покрытом темными пятнами старой крови, сидел на поросшей травой могилке и дрожал. Эдику казалось, что он слышал даже, как у этого мужественного на вид человека стучали зубы.

— Вот разбирайте, что кому подойдет для начала... — Эдик вывалил одежду и обувь на траву, и в мгновение ока все исчезло в кустах тихо и незаметно.

А потом пришел кладбищенский сторож дядя Вася и увел освобожденных. Демченко, одетый в рубашку и брюки и не по росту, возвратился, пожал Эдику и чернявому санитару руки:

— Спасибо, товарищи, спасибо. Век помнить буду... — Ладно, дорогой, поторопись... — сказал с явным кавказским акцентом чернявый санитар, присыпая свежую яму. — Нам ведь тоже некогда... Демченко убежал, а санитар заметил:

— Слушай, может, не надо совсем закапывать... Оставлю на завтра...

— Как бы не было подозрений.

— Да? — спросил санитар и посмотрел лукавым глазом на Эдика, — А ты, оказывается, хитрый, как горный козел...

... Эдик нашел Машу во дворе больницы. Ода сидела на скамейке под деревьями и горько плакала. Эдик подошел, тихонько тронул ее за плечо.

— Что случилось?

Маша подняла голову, посмотрела на Эдика каким-то отсутствующим взглядом, словно даже не обрадовалась его счастливому возвращению.

Эдик сел рядом и закурил.

— Ты понимаешь, — заговорила, всхлипывая, Маша. — Прямо страшно становится. Неужели можно до такого дожить?

— Что ты загадки задаешь? — мягко, но с оттенком недовольства сказал Эдик.

— Дней десять тому назад в третью палату положили тяжелую. Она учительница. Молодая еще женщина. Еврейка. Узнала, что гитлеровцы начинают сгонять всех евреев в гетто, и решила покончить с детьми и с собой. Спали еще малыши, когда она бритвой... А потом и себя... Привезли без сознания. Спас ее Кузнецов... А сегодня только ты выехал за ворота, я заглянула к ней в палату. Смотрю — нет ее на койке. Пошла по коридору — нет. Слышу, кто-то в женской душевой плачет. Захожу. А она, учительница эта, зацепила за трубу пояс от халата, сделала петлю и надевает себе на шею. Я крикнула, бросилась к ней. А она чуть стоит на табурете. Перестала плакать и заслонила от меня руками. «Девушка, милая, не мешайте мне умереть...» Пока я привела санитарку, все было кончено.

— Ты что, первый раз видишь смерть?

— Не в этом дело, Эдик. Человек всегда, в самом трудном положении, цепляется за жизнь. Без рук, без ног. Все равно. Пока бьется сердце... Слепой, глухой, все равно... А тут: «Девушка,

милая, не мешайте мне умереть». Неужели я тоже могла бы дожить до такого отчаяния?

Эдик взял Машу за руку.

— Тебе надо успокоиться, моя маленькая... — неожиданно для самого себя по-новому назвал Эдик Машу. Она действительно была маленькой, хрупкой, и когда плакала, ее было жаль, как ребенка.

Маша вытерла ладошками глаза и посмотрела на Эдика долгим пытливym взглядом, словно увидела его после разлуки.

— Эдичек, мы не пойдем сегодня домой. Пусть мама думает, что я осталась на ночное дежурство. Мы ни разу не были на квартире Устина Адамовича...

Эдик промолчал. Только еще раз пожал маленькую руку Маши. Он не признался, что заходил туда несколько раз лишь для того, чтобы побыть немного наедине с книгами любимого учителя, мысленно поговорить с ним, посоветоваться. Когда стеклили окна в больнице, он снял мерку и вставил стекла Устину Адамовичу. В квартире все оставалось на месте, как будто хозяин и не отлучался никуда...

Когда Эдик задернул шторы и зажег керосиновую лампу, Маша осмотрела гостиную и догадалась,

— Ты уже был здесь?

— Да.

— Один?

— Ну, конечно.

Маша погрозила пальчиком, — И ничего не сказал?

— Не придавал особого значения. Просто неловко как-то — он оставил ключ, а я не удосужился даже проверить, что тут и как.

— Ладно оправдываться. Есть будешь? — Маша достала из сумочки два ломтика хлеба и кусочек отварного мяса.

Вместо ответа Эдик обнял Машу, легко поднял ее на руки и начал носить ее по квартире, как ребенка, которого надо убаюкать перед сном. Маша обхватила Эдика за шею тоненькими гибкими руками и закрыла глаза, Эдик носил ее и целовал, целовал, целовал, а Маша не открывала глаз и слабо улыбалась. Иногда губы ее вздрагивали, и Эдик, боясь, что Маша расплачется, снова начинал целовать ее...

Они уснули за полночь. Потом снова проснулись и снова уснули. А под утро Эдик встал и тихонько, чтобы не разбудить Машу, вышел на кухню покурить.

— А мне одной тоскливо, — сказала громко и весело Маша.

— Я только покурю...

— А ты иди сюда и кури.

Эдик бросил сигарету, вернулся и сел на краешек кровати, положив руку на белое плечико Маши.

— Хочешь, я тебе скажу что-то очень важное? — спросила она.

— Конечно.

— Никогда не предполагала, что ты будешь таким... — Плохо, что ты не обладаешь даром предвидения.

— Я тебе не нравлюсь? — кокетливо улыбнулась Маша.

— Конечно... — Эдик выхватил ее из-под одеяла, обнял и снова начал носить по квартире.

Сквозь шторы пробивалось неяркое сентябрьское утро.

— Мне холодно, — сказала Маша. — Давай оденемся.

Они сидели за столом, на который падали первые лучи солнца, и ели, откусывая по крошке от ломтиков хлеба, разрезав кусочек мяса на две половины.

— Ты мужчина, тебе надо больше, — сказала Маша и отломала от своего хлеба.

— Не делай этого, если не хочешь поссориться, — строго заметил Эдик.

— Не хочу... — Маша проглотила сама кусочек, который предлагала Эдику и пожаловалась: — Вот уж действительно нет на земле справедливости. Все друзья знают тебя как хорошего поэта, а я не слышала ни одного стихотворения. Не любишь ты меня.

— Ошибочный диагноз, — улыбнулся Эдик,

— Тогда прочти, что ты мне посвятил.

— Все, — серьезно сказал Эдик и встал из-за стола. — Все, что я написал, а написал я немного, все посвятил тебе. Собственно, если б не ты, не было бы этих стихов вовсе, Я пишу потому, что ты есть на свете... А про любовь... Я потом расскажу людям про нашу любовь... позже. Хорошо? А сейчас хочешь, я прочитаю Маяковского. Помнишь «Флейту-позвоночник»?

Из тела в тело
веселье лейте.
Пусть не забудется
эта ночь никем.
Я сегодня буду
играть на флейте
на собственном позвоночнике.

— Мне это не нравится, — сказала Маша, — Разве это поэзия? Хирургия...

Спасение первой группы выздоравливающих бойцов и командиров воодушевило Кузнецова и его друзей. Если первая, а затем и вторая группы ушли к партизанам с помощью Григория Саввича, то позже повозку Эдика встречали на Мышаковке совсем незнакомые мужчины и женщины. Они называли пароль, установленный Кузнецовым, и уводили раненых в укромные места, где они могли переодеться, а затем с помощью связных уйти к партизанам в окрестные леса.

Были и такие, что оставались в городе. Для них Кузнецов доставал через своих товарищей паспорта и передавал Эдику. Эдик вручал их кладбищенскому сторожу дяде Васе или прямо в руки освобожденному.

К услугам Григория Саввича прибегали еще раз, когда надо было вывезти самый крупный тайник оружия из дровяного сарая.

Поздним сентябрьском вечером Григорий Саввич привез во двор больницы машину дров. Эдик показал, как лучше подъехать к сараю, и работа закипела. Сброшенные за какие-нибудь полчаса дрова не вызвали ни у кого интереса. Между тем наступил самый ответственный момент, когда оружие надо было из подпола перегрузить в кузов. Эдик с Машей заранее сложили его в мешки. Они были тяжелыми и горбатыми — сразу бросалось в глаза, что в мешках не картошка и не зерно. Пришлось набивать их еще и соломой, которую привез с собой Григорий Саввич. Шофер с Эдиком затянули мешки в кузов, присыпали оставшейся соломой, и Григорий Саввич уехал. Оставалось еще оружие на чердаке хирургического корпуса, который находился под охраной.

А назавтра в полдень пришло событие, которое весьма озадачило Эдика. Из приемного покоя в палаты первого корпуса терапии в сопровождении Маши прошел Милявский. Он почти не изменился. По-прежнему четким полувоенным был его шаг, голову он держал высоко, горделиво сверкая стеклышками пенсне. Эдик хотел было подойти и поздороваться с Ростиславом Ивановичем, но сдержался, А вдруг это знакомство в больнице будет неприятным для Милявского или для Эдика? Чтобы не встретиться с Милявским, Эдик повернулся спиной и закурил. Он вспомнил, что в ночь, когда они переписывали истории болезни, Сергей бросил в адрес Милявского уничтожающую реплику. Может, в ней отразилось ревнивое отношение Сергея, который не мог простить Милявскому его увлечение Верой. Может, Сергей был прав, подозревая Милявского в предательстве. Так или иначе Эдик решил, что поступил правильно, не бросившись приветствовать Милявского на территории больницы. Он забеспокоился, чтобы не проговорила Маша, узнав, что больной — в прошлом преподаватель института. Он нетерпеливо ждал ее на скамье.

Маша вышла на крыльцо и сразу заметила, что Эдик чем-то обеспокоен. Она села рядом, осмотрелась и тихо спросила:

— Что случилось?

— Ты только что проводила в палату одного человека.

— Ростислава Ивановича Милявского — сотрудника городской управы.

— Он бывший преподаватель института.

— Ну и что?

— Мне кажется, будет лучше, если мы с ним здесь не встретимся...

— Почему?

— Видишь ли, Сергей о нем говорил плохо. Он болен?

— Чепуха. Обострение холецистита. Съел что-то жирное. Ложиться с этим в переполненную больницу глупо.

— Он не так глуп, как ты думаешь. Давай условимся— ты о нем ничего не знаешь, меня здесь нет, а понаблюдать за ним придется...

Первое время Маша ничего интересного не сообщала. Говорила только, что Милявский категорически отказался от больничного белья и носил домашнюю полушерстяную пижаму темно-серого цвета. Чаще всего она видела его за чтением или во время бесед с соседом по палате Юровым.

— Он не знает, что Юров капитан Красной Армии?

— Думаю, нет.

— А что он читает?

— Дюма. «Трех мушкетеров».

На этом о Милявском забыли. Надо было вывезти очередную группу выздоравливающих из хирургического корпуса. Все шло как обычно, если не считать, что повозку нагружали из морга. Тот, кто должен был выйти за колючую проволоку, был вынесен из палаты еще с вечера и отлеживался ночь среди умерших.

Когда повозка была заполнена и санитар Гогия набросил брезент, из-за угла корпуса Эдик увидел, что на дворе больницы под деревьями сидит Милявский и читает. Ехать надо было мимо, и Эдик неизбежно встретился бы с Милявским лицом к лицу. Он заскочил в перевязочную, почти вырвал из рук незнакомого санитара кусок марли и сделал себе повязку на лицо.

— Что, брат, дух идет от нашего брата? — сочувственно бросил санитар.

— Спасу нет! — ответил Эдик,

Как всегда, повозка медленно выехала через оплетенные проволокой ворота, как всегда, Эдик степенно шагал вслед.

Милявский оторвался от книги и провожал печальное шествие долгим пытливым взглядом. Узнал или не узнал? Что думал он, кандидат наук, глядя на этих людей, ушедших из жизни?

Эдик услышал, как Милявский обратился к Гогия, который шагал позади:

— Послушай, голубчик, это покойники?

— Так точно, — бросил Гогия.

— А сколько человек вы грузите на такую повозку?

— Не деньги, не считал, — огрызнулся санитар.

«И зачем это ему? — подумал Эдик. — Везут и везут. Читай себе своих „Трех мушкетеров“ да поправляйся от холецистита. А что, если... — Эдик похолодел от мысли, которая неожиданно пришла к нему. — Что, если кто-нибудь проверит, сколько вывезено и сколько похоронено? Надо обязательно сказать Маше, посоветоваться с Кузнецовым — способ спасения выздоравливающих становится весьма рискованным».

В тот день Эдик был угрюм и неразговорчив. Гогия, который возвращался с Мышаковки в хорошем расположении духа, все допытывался:— Что нос повесил, дорогой? Ты считал, — снижал он голос до шепота, — сколько людей спасли мы с тобой под руководством главного врача? Придет время — они нас обязательно вспомнят. Правда, удобств при этом не было, но все-таки... Не забудут нас ребята, обязательно вспомнят.

Эдик сидел на повозке, свесив ноги. Колеса трясло на булыжнике. В другое время Эдик шел бы пешком, а сейчас вопрос Милявского, с которым он обратился к Гогия, лег неожиданной тяжестью. Хотелось отдохнуть и подумать.

А Гогия словно прорвало:

— Представляешь, что кто-нибудь из наших крестников станет за войну известным генералом. Весь мир будет знать, что мы с тобой спасли ему жизнь. Ты спросишь откуда? Он напишет об этом в своих воспоминаниях. Нас разыщут и, наверное, наградят. А?

— Ох, и болтун ты, Гогия!

— Не обижай меня, дорогой. Хотел тебя немножко расшевелить. Но вижу — не помогает...

В больнице Эдика ждали новости еще более тревожные.

Капитан Юров рассказал Маше, что новый больной оказался очень интересным собеседником и по характеру человеком общительным.

— Что между ними произошло?

— Ничего особенного. Милявский перед обедом достал из тумбочки пузырек спирта, поделился с Юровым, рассказал ему о себе, очень хвалил город, в котором жил и работал. Жалел, что война многое разрушила. Спросил Юрова, уцелел ли его дом и на какой улице живет он в Могилеве. Юров ответил, что нет у него, наверное, ни дома, ни семьи, потому что в противном случае к нему давно пришла бы жена. Адреса своего он не назвал, потому что плохо знает город.

— Милявский мог догадаться, что Юров не местный, — предположил Эдик. — А раз не местный, значит, военный, а если военный, то почему в общей палате. Начинается серия вопросов, на которые отвечают только после ареста.

— А что, если ты вообще ошибаешься в этом своем преподавателе? Милявский любопытствовал насчет груженной повозки, ты насторожился. Угостил спиртом соседа по палате — ты определил крамолу.

— А почему он, такой здоровый лоб, не был вместе с нами в ополчении? Где он отсиживался, когда Устин Адамович держал с ребятами оборону на валу? А теперь, видите ли, он жалеет, что погибли многие достопримечательности города. Нет, нет, сегодня же расскажу Владимиру Петровичу об этом холецистите. Я думаю, пока он здесь, надо ухо остро держать...

Вечером Эдик и Маша зашли к Сергею. Вера поставила чай, положила на блюде по хлебному сухарю. Эдик не знал, с чего начать.

— Ой, ребята, как вы похудели! — всплеснула руками Вера.

— Похудеешь... — Проворчал Эдик. — Работы с утра до позднего вечера, а тут еще один наш общий знакомый объявился — вот мы и пришли посоветоваться.

— Кто такой? — спросил Сергей.

— Милявский.

Вера и Сергей переглянулись.

— В истории болезни записался работником городской управы, — сообщила Маша.

Сергей задумался.

— Это не столь важно, — заметил он. — Важно знать, опасен он или не опасен.

— Вот именно, — согласился Эдик.

— Держитесь от него подальше, — вспыхнула Вера. — Такой человек, как он, способен на любую подлость.

Сергей вспомнил:

— Мы с Верой ликвидировали на чердаке его дома диверсанта. Так знаете, что он нам сказал? Что мы это сделали напрасно, потому что, когда город возьмут, у него могут быть из-за этого неприятности.

— Все ясно, — хмуро сказал Эдик. — Лучше всего его убрать.

— Не горячись, — успокоила его Маша. — Я предупредила Кузнецова, попросила Юрова быть осторожнее.

— Может быть, ты и права, — согласился Сергей. — Тут у меня тоже закавыка с одним типом. И пока не знаю, свой он или не свой. Так что потеряем.

— А ты поправились, — уходя, шепнула Вере Маша. — Боюсь, не ко времени все это... — Волков бояться — в лес не ходить. — Маша крепко пожала Верину руку...

Прошло несколько дней, Милявский не вызывал особых подозрений. Он по-прежнему почитывал своих мушкетеров, иногда болтал со смазливой статисткой из регистратуры, слесарем-водопроводчиком, пробовал поговорить с Юровым о жизни.

По рассказу капитана это выглядело приблизительно так.

— Я несколько лет подряд читал своим студентам всеобщую историю. Естественно, знал ее на зубок. И для себя лично сделал один вывод — во все времена и эпохи историю делала

сила.

— Например? — интересовался Юров.

— Возьмем французскую революцию 1871 года. Парижская коммуна пала, потому что сила была на стороне Тьера. В Отечественную войну 1812 года Кутузову удалось сохранить свои силы и он победил Наполеона. В Октябрьскую революцию 1917 года Ленин создал превосходство в силе. А вот нынешний вождь проморгал. У Гитлера огромное преимущество? А наша сила где? На одном только Луполове, говорят, более двухсот тысяч. Вот так...

— Значит, все? — спрашивал Юров, сдерживая закипающий гнев.

— Значит, все, — резюмировал Милявский. — Москва и Ленинград пали. Наша песенка спета...

Эдик терпеливо выслушивал Машу.

— Все ясно с Милявским.

— И, кажется, ясно с хирургическим корпусом, — говорила Маша. — Кузнецов сообщил — закрывают его. Кого можно было — списали, остальных переводят в Луполово.

— Это смерть.

— Кузнецов хочет вывезти последнюю партию, Эдик задумался.

— Найди Юрову пузырек спирта, пусть в этот день угощает Милявского, чтоб не торчал у ворот...

Дня через два Милявский выписался, а на третий день пришел кладбищенский сторож дядя Вася и рассказал, что гитлеровцы раскопали последнюю могилу и, обнаружив только два трупа, сделали снимок и уехали.

Эдик нашел в палате Машу и вызвал в коридор,

— Провал, моя маленькая. Немедленно передай Кузнецову, чтобы уходил. Немцы обнаружили, что на кладбище...

Маша как-то съежилась, собралась в комочек, словно зверек, приготовившийся к прыжку.

— Быстрее домой, — сказала она. — Быстрее, Только возьми из тайника комсомольские билеты,

— А ты? — спросил Эдик.

— Я ничего не знаю и к хирургическому корпусу отношения не имею. Быстрее домой. А я к Владимиру Петровичу... там же вычеркнем тебя из числа санитаров больницы. Чтоб никаких следов...

Они торопливо шли по двору,

— Я буду вечером у тебя дома.

— Жди, — бросила Маша, направляясь в контору. — И уходи. Чтобы духу твоего не было...

Светлана Ильинична встретила Эдика настороженно. Она привыкла, что молодые всегда приходили вместе. Тогда она накрывала на стол, садилась на диван за вязанье, а сама краешком глаза наблюдала за Машей и Эдиком.

— Ты что ж это сегодня так рано и один?

— Надоела эта больница до чертиков. Что, я места себе не найду? Возись с больными да покойниками. Сил нет.

Светлана Ильинична внимательно посмотрела на Эдика.

— Ой, что-то ты крутишь... Не случилось ли чего с Машей?

— Ну, что вы!... — воскликнул Эдик, и в голосе его прозвучал испуг. — Вот пришел, чтобы дожидаться ее с работы.

— Ну, ну... — успокоилась Светлана Ильинична, — Ужином не угощаю. Вдвоем вам будет веселей.

Эдик вышел на кухню и закурил.

— Да ладно уж, кури в гостиной, — позвала Светлана Ильинична.

Эдик взял на кухне старое блюдо под пепельницу, снял с этажерки первую попавшуюся книгу и сел на диван. Курил, молча листая страницы. Кажется, это были мифы древней Греции.

Светлана Ильинична посмотрела на ходики, потом на Эдика, — Вот так и будем молчать?

Эдик погасил папиросу, встал, положил на этажерку книгу:

— Я пойду встречу.

— Бежишь? Не пущу. Вдвоем и ждать и горевать легче.

— Поймал вас на слове, — слабо улыбнулся Эдик, стараясь перевести разговор в другое русло. — А почему вы против того, чтобы мы поженились?

Светлана Ильинична подошла к Эдику, обняла его за плечи и расплакалась.

— Вы и без моего дозволения... что я, слепая или не мать своей дочери? Только сам посудите, разве сейчас такая пора, чтобы свадьбы играть? Вот сижу, а сердце кровью обливается... знаешь ведь, что дороже Маши у меня никого на свете нету...

В сенях стукнула дверь. Светлана Ильинична торопливо вытерла глаза ладонями, точь-в-точь как Маша, и бросилась навстречу. Маша вошла нахохлившаяся, даже сердитая.

— А мы заждались! — бодро воскликнула Светлана Ильинична.

— Вижу, — сказала Маша, — по глазам...

— Это от керосиновой лампы, — улыбнулась Светлана Ильинична. — Никак привыкнуть не могу. Глаза режет... — и вышла на кухню.

— А у тебя почему глаза сухие? — Маша прильнула к Эдику.

— Ну что там?

— Поздно. Взяли Юрова, Кузнецова и Пашанина.

— Неужели Милявский?

— Это надо проверить.

— Ну, голубки, хватит ворковать. Идите к столу. — Светлана Ильинична поставила картошку в мундирах и сковороду мелко порезанного жареного сала.

— Королевский ужин! — воскликнул Эдик, потирая руки.

— Перестань! — Маша укоризненно посмотрела на него.

— А ты не шипи на моего любимого зятя, — вступилась Светлана Ильинична. — Подумаешь, обиделась, что не захотел работать в твоей больнице. И правильно сделал. Здоровый парень с высшим образованием и в санитарях...

Маша посмотрела на Эдика, на мать и догадалась:

— Я ему давно говорила. Не уходил. Ревновал, наверное...

— Ох, какие ж вы еще дети! — вздохнула Светлана Ильинична. — Думаете, я поверила вашим сказкам? Говорите начистоту — кого надо выручать — Эдика или тебя?

— Мы пока в стороне, — хмуро сказала Маша, — а вот наших врачей сегодня взяли в ЕЛ.

— Зачем тебе рисковать? Продали их, продадут и тебя. Уходи, доченька, пока не поздно.

— Нет, мама, я сейчас не уйду. Арестованные не выдадут никого. Я уверена.

— Что ты молчишь, Эдик? Твоя любовь сама лезет в петлю, а ты молчишь?

— Маша права. Стоит ей только уйти, как в гестапо сразу поймут, что она тоже...

— А ты? Ты ведь ушел?

— Мама, я была там с самого начала, а Эдик — человек случайный. Там даже фамилия его нигде не числится. Поняла?

... Утром Эдик проснулся и с облегчением подумал, что сегодня торопиться некуда. Он лежал и смотрел на старые потемневшие обои. Поблекшие цветочки, ромбики, кружочки создавали фигуры фантастических животных, людей, неестественных, с причудливыми очертаниями головы, лица. Эдик любил эту старую стену и этот созданный его воображением мир, который всякий раз возвращал его в детство. Именно тогда, лежа на этой кровати во время болезни, он открыл этот мир и молчаливо входил в него, смущенный и тревожный. Сейчас ему было хорошо и спокойно. Он смотрел на эти знакомые обои со снисходительной улыбкой повзрослевшего человека.

— Ты чего это валяешься? — окликнул его Митька. — А на работу?

— Все. Отработал я свое.

— И правильно, — сказал Митька. — Нечего в холуях ходить.

— А что ты есть будешь? — спросил Эдик. — Ждешь, пока мама все продаст за бесценок?

Митька молчал. Эдик отметил про себя, что прежде за такие слова брат обзывал его всячески, клялся, что продаст последние кальсоны, но на работу «к ним» не пойдет. Эдик решил наступать.

— Пора за ум братья, — спокойно сказал он. — На любой работе можно приносить пользу не «им», а нам,

— Кому это — нам?

— Не задавай глупых вопросов.

Митька опять замолчал. Наверное, думал. Зачем-то выходил во двор, возвращался, возился с каким-то железом на кухне,

Эдик встал, вышел умыться.

— Между прочим, — сказал Митька, — вчера интересный случай у меня был. Встречает меня на Ульяновской дядька один и говорит — или я чокнулся или Эдик Стасевич помолодел лет на десять. Я поправил человека, не Эдик я, а Митька Стасевич. Тогда дядька спросил про тебя. Я, конечно, сказал.

— Что сказал?

— Ну, что ты в больнице работаешь.

— Дурак.

— А что, это секрет?

— А может быть, и секрет.

— Я не знал.

— Ну и что тот дядька? — любопытствовал Эдик.

— Тот дядька сказал — передай братухе, что просит его Шпаковский зайти в мастерскую, что в подвале детского сада.

Эдик хорошо знал это старое кирпичное здание. Долго держалось оно под бомбежками, и казалось, перенесет все, что выпало на его долю. Но доконали снаряды. Обрушились толстые стены красного кирпича. Уцелел, наверное, только подвал.

— Что ж ты раньше молчал! — воскликнул Эдик.

— Ты же убежал к своей... а вернулся, я уже спал.

— Интересно, что тут делает этот самый старый монтер железнодорожного радиоузла, — весело говорил Эдик, энергично растираясь полотенцем. — Интересно...

— Хороший дядька?

— Был ничего... я с ним начинал свою трудовую биографию, а теперь кто знает...

Над входом в полуподвал на почерневшем куске фанеры неровными буквами было выведено: «Ремонт жестяных предметов», Эдик прочитал, улыбнулся и открыл дверь. В нос ударил запах керосина, канифоли, серной кислоты. В просторном низком помещении валялись ведра, тазы, чайники. В углу на табурете шипел примус, и в пламени его накалялся паяльник с толстой ручкой.

На стук двери из соседней комнаты вышел Шпаковский — был он в черном переднике, небритый, осунувшийся и показался Эдику старым. Но глаза, живые и озорные, были по-прежнему молодыми.

— Здравствуй, бывший монтер, — весело протянул он руку. — Извини, что нестерильная, так, кажется, говорят у вас в больнице... Вот видишь, только гора с горой не сходятся...

— Это точно.

— А раз точно, садись. Братуха твой говорил, что ты в медицину ударился...

— Ушел я оттуда...

— Сам или ушли?

— Немножко сам, немножко ушли,

— Хитро, — улыбнулся Шпаковский.

— А вы почему... здесь? — Эдик хотел спросить, почему Шпаковский не эвакуировался, но раздумал.

— Я знаю, что ты хотел спросить, — нахмурился Шпаковский. — И отвечу. Потому что не боюсь тебя. Видел — ты в ополчении был. И правильно. Я бы, конечно, тоже вступил, но надо было демонтировать узел. Сам знаешь, какая там аппаратура была... Ну, вот, демонтирую я, значит, всю эту штуку, чтобы успеть с последним поездом. Да не вышло. Бабахнул он бомбу в наш клуб. Все на куски, а меня трюхи оглушило. Пока отлежался — ехать некуда. Накрылся Могилев.

Эдик проворчал:

— Держались больше месяца...

— Знаю, — согласился Шпаковский. — Разве я кого виню? Будешь курить?

— Буду.

— На, угощайся германским табачком.

Закурили. Эдик подумал; что поступил опрометчиво, с первой встречи доверившись Шпаковскому. Глупо поступил, как мальчишка. Да и он не очень остерегается. Режет напрямую, как до войны.

— Ты ничего не сомневайся про меня, — каким-то потускневшим голосом сказал Шпаковский. — Мне ховаться от тебя нечего, Продашь, ну и черт со мной. Живу один, как бобыль, в своей хате. Узнал, что ты тоже остался, и аж на душе полегчало... — Шпаковский встал, снял с полки табличку с надписью «закррито», вывесил ее за дверь, шелкнул ключом. — Пойдем в соседнюю комнату, я тебе что-то покажу.

В соседней комнате стояло два стола, заваленных кусками жести, медной и железной проволоки.

Шпаковский достал из под стола выдавшее виды оцинкованное ведро, полное мусора, поднял его, поддел дно отверткой, и на руке у него осталось днище с круглой панелью радиоприемника.

— Вот монтирую потихоньку двухламповый, да деталей не хватает.

— Здорово! — воскликнул Эдик. — А то живешь как на том свете...

Шпаковский закрыл дно и поставил ведро под стол.

— Рискованно, — заметил Эдик.

— А что сейчас не рискованно? — разозлился Шпаковский. — Ходить без документа — рискованно, встретиться со знакомым — рискованно, поговорить с ним по душам опять же... одним словом, даже до ветру сходить и то...

— Все-таки держать прямо в мастерской...

— Это от злости. Давай сегодня ж отнесем ко мне домой. Посмотришь на мое логово...

Дом Шпаковского, ничем не лучше и не хуже других, стоял в поселке железнодорожников, огороженный аккуратным заборчиком. На участке было несколько яблонь, груш, а у дровяного сарая росла одинокая береза.

— Она тут всегда была? — кивнул на березу Эдик.

— Откуда тут березке взяться? — улыбнулся Шпаковский. — Начал строиться и принес ее из лесу. Я бы ими весь, участок засадил, да баба моя такой шум подняла — чуть эту отстоял.

«Логово» Шпаковского было чистым, аккуратно прибранным. На стене в самодельных, покрашенных под бронзу рамочках висели семейные фотографии.

— Отправил на Рославль свою с двумя дочками, а сам...

— Ничего, скоро встретитесь, — успокоил Эдик.

— Скоро? — недоверчиво посмотрел Шпаковский. Он поставил оцинкованное ведро у порога, снял старенький, поношенный плащ.

— Я думаю, скоро, — повторил Эдик более твердо. — Отступать уже некуда.

— Некуда? До Дальнего Востока сколько тысяч километров? Вот и считай...

— Не будет этого, — сердито сказал Эдик. — Если за Могилев так дрались, то дальше...

— Да не успокаивай ты меня, хлопче. Я сам себя тоже вот так успокаиваю, а душа болит...

Садись к столу, перекусим, чтоб наши не журились...

Шпаковский все делал быстро, сноровисто, как заправская хозяйка. Эдик почему-то вспомнил, как они проводили со Шпаковским радиоточку в дом Маши, как Шпаковский вот так же непринужденно держался за столом. Эдик не заметил, как рядом с тарелкой квашеной капусты выросла поллитровая бутылка фиолетовой жидкости.

— Марочный денатурат.

— Страшный больно...

— А ты не бойся. Наверное, не в таких переделках бывал?

— Случалось... — Эдик взял в руки стакан, подозрительно посмотрел на содержимое, понюхал.

— Да брось ты присматриваться. Давай одним духом...

Эдик залпом выпил полстакана и задохнулся. Шпаковский сунул ему в рот ложку квашеной капусты и рассмеялся...

— А я думал, что за время нашей разлуки ты испортился, а выходит... вот как...

Эдик закурил, почувствовал, что хмелеет, и достал из кармана махорку.

— Э, нет, — запротестовал Шпаковский. — Тут, брат, сперва надо утрамбовать эту синьку закусью, а то обалдеешь... — Он подложил в тарелку Эдику тушеного в русской печи картофеля и соленый огурец.

Эдик послушно доел все, поблагодарил, встал из-за стола и свернул папиросу.

— А что та девочка, помнишь, с которой ты встретился... как ее... Маша, что ли?

— Здесь она. В больнице работает.

— Все ясно, — одобрительно улыбнулся Шпаковский. — Ну, а теперь о деле. Пойдешь ко мне в мастерскую?

Эдик молчал. — Конечно, — развеселился Шпаковский, — хозяин из меня никудышный. Другой тебя бы на порог не пустил. Как прежде работника брали? Сажали за стол давали пить и есть. Если человек ел за двоих — значит, и работал за двоих, а ты, одно слово, — студент. Но все-таки я тебя прошу — давай работать вместе. Поможешь мне, а там и наловчишься. Подумаешь, хитрость — ведро запаять. А то одному не вмоготу. Хоть вешайся. Ну?

— Мне деваться некуда, — согласился Эдик. — Я Думаю, не взять ли еще моего брата Митьку в компанию. Слесарь шестого разряда.

— Подойдет, — одобрил Шпаковский... Так началась для Эдика новая работа.

Со Шпаковским было легко и свободно. Где шуткой, где прибауткой он советовал, помогал, встречал добрым словом своих заказчиков. Разговаривал с людьми осторожно, так, все больше о мелочах, не касаясь новых порядков и новой власти. Каждый вечер он беспокоился о том, чтобы Эдик не опоздал встретить Машу, на что Митька — золотые руки — зло говорил:

— Ты бы женился, что ли...

— Не хочет он гитлеровской печатки в паспорте, — возражал Шпаковский. — И правильно. С этим всегда успеется...

Иногда Эдик приходил к самым воротам больницы, и тогда они с Машей навешали квартиру Устина Адамовича. Эдик носил на руках свою маленькую жену и все целовал ее... А потом они шептались до утра. Маша рассказывала, что из больницы при помощи женщин — знакомых Кузнецова, ушли в город и в партизаны выздоровевшие командиры и политработники. Хирургический корпус еще не закрыли, но чуть ли не каждый день увозят оттуда людей на Луполово. Обнаружили на чердаке хирургического тайник с оружием. Появились слухи, что Кузнецов и Пашанин отравили раненых фашистских летчиков, которые в самом начале обороны Могилева были сбиты и взяты в плен.

— Нарочно это, — возмущался Эдик. — Хотят выставить перед народом врачей подлецами.

— Как ты думаешь, что с ними будет? — шептала Маша, и Эдик чувствовал, как она вся сжимается в комочек.

— Ты же догадываешься...

— Если б можно было им чем-нибудь помочь... Утром Эдик появлялся в мастерской задумчивый. Он перебирал в памяти все, о чем говорили они в эту ночь с Машей, и в нем росло беспокойство. Ему казалось, что не сегодня-завтра ее тоже арестуют, а сейчас следят за каждым шагом.

— Ты бы хоть предупреждал, что не придешь ночевать, — упрекал его Митька. — Мама, по-моему, глаз не сомкнула.

— Виноват, — простодушно признавался Эдик. — Так получилось. В следующий раз обязательно скажу...

Через неделю Маша сообщила об аресте Паршина и санитары Гогия. Маша шла с Эдиком под руку по Ульяновской подавленная и встревоженная. Услышав сообщение, Эдик инстинктивно оглянулся. Нет, за Машей никто не шел.

— Ты чего? — не поняла Маша.

— Уходи ты оттуда. Дождешься, что и тебя... — Нет, — твердо сказала Маша. — Не уйду до тех пор, пока не узнаю предателя.

— А как ты его узнаешь?

— Паршина понесет передачу мужу. А вдруг удастся какую-нибудь записочку передать? На допросах ведь понятно, откуда какие обвинения, кто донес.

— Жди. Только...

— Ты за меня не бойся. Никого не хоронила, оружие не выдавала, в хирургическом корпусе не была, а что касается историй болезни, которые мы переписывали, там концов не найдут...

Однажды Шпаковский и Митька ушли на добычу кислоты и олова. Эдик остался один. Здесь, в задымленной примусом мастерской, Эдику было легче, чем в больнице, где работа часто угнетала и унижала его. Но там он был участником первого подполья, рискуя ежедневно попасть в гестапо, а здесь... Он усмехнулся — заурядный кустарь-одиночка, халтурщик, живущий на средства трудящихся. Что сказал бы об этом Устин Адамович? При воспоминании об учителе Эдик почувствовал острый прилив стыда. Чем он сейчас помогает родной Красной Армии и партизанам? Тем, что починит ведро, из которого преспокойно будет пить воду какой-нибудь гитлеровец? Приемник до сих пор смонтировать не удалось...

Хлопнула входная дверь. Не расставаясь со своими мыслями, Эдик стоял над примусом и ждал, когда нагреется докрасна паяльник. Он даже не повернулся и неглянул на вошедшего и вдруг услышал до боли знакомый голос;

— Здравствуйте. Не примете ли в работу мой чайник? Эдик повернулся и увидел дядю Мотю, того самого контролера дядю Мотю, который некогда в железнодорожном клубе так выручил его. Он совсем осунулся, постарел, волосы и брови были белыми, словно припудренные. Из-под поношенного пальто и старенького свитера не видно было привычной глазу матросской тельняшки.

— Здравствуйте, дядя Мотя! — повеселевшим голосом ответил Эдик. — Проходите, вот табурет, а мы посмотрим, на что годится ваш чайник.

Дядя Мотя привык, что его все вокруг знали, называя по имени, и не обратил на радостный возглас Эдика никакого внимания.

Эдик взял в руки жестяной чайник, посмотрел на свет — в дне виднелась маленькая дырочка.

— Поможем вашей беде, — сказал Эдик и, не выпуская чайника из рук, сел на табурет напротив дяди Моти.

Старик посмотрел на Эдика, и какой-то огонек загорелся в его поблекших глазах.

— Вы меня не узнали? — спросил Эдик.

— Постой, постой, это же Эдик, ах, такую твою разэтакую, сразу не признал. Вырос, окреп, настоящий мужчина. Помню, помню, как ты проводил без билета свою барышню... — Дядя Мотя рассмеялся, и сетка морщин на лице его отодвинулась к вискам.

— Стыдно вспомнить, — признался Эдик.

— Ничего стыдного. Все было в аккурате. Ну, вырос ты, вырос. Встрел бы на улице — не признал, ей-богу. Вот таким молодцом я служил на Балтике. — Дядя Мотя вздохнул, достал кисет и стал сворачивать козью ножку. — Куришь? — спросил он Эдика и, не ожидая ответа, протянул ему кисет. — Как подумаю — не верится, столько годов прошло, а жизнь как один день пролетела. Да, да, ты не улыбайся, хлопец, проживешь с мое — увидишь, что говорю правду. Молодому время тянется, а где-то там, за сорок как перевалит, и покатилося и покатилося, волна за волной, день за днем, год за годом, оглядываться не успеваешь... Но ничего, повидал я на своем веку.

Вот ты Ленина только в книжках встречал, а я на Финляндском вокзале в Петрограде видел его вот так, как тебя. Был в цепи охранения. Стоял возле самого броневика, когда он речь про революцию говорил... — При этом дядя Мотя затянулся табачным дымом и начал кашлять долго, старчески.

— Надо бросить курить, — тихо посоветовал Эдик. — Беречься? Для кого? Кому моя драгоценная жизнь нужна?

— Надо дожить до победы.

— Дядя Мотя бросил окурочек на пол, растер его сапогом. — Не знаю, доживу ли.

— Не верите?

— Верю. И не такое в гражданскую случалось. Он дурак, этот Гитлер, истинный крест дурак, что с нашим народом связался. Не знает он нашего народа.

Скрипнула дверь, и в мастерскую вошли Шпаковский и Митька. Шпаковский так и застыл

у порога.

— Дядя Мотя! А ты разве не уехал?

— Как видишь...

— Ты ж намечался первым эшелонам,

— Свалилась моя старуха с сердцем. Нельзя ее было с места трогать. А потом померла...

В мастерской наступило молчание.

— Как живешь?—спросил Шпаковский, прошел в мастерскую, снял стеганку и повесил на гвоздь.

— Доживаю... — проворчал дядя Мотя. — Пока есть какое-нибудь барахлишко — тащу на базар за кусок хлеба к чаю.

— Я тоже не успел, — сообщил Шпаковский, сел напротив дяди Моти и положил ему руку на колено, — Значит, один-одинешенек в квартире?

— Один.

— Слушай, перебирайся в мою хату, а то мне одному хоть собак гоняй. Что осталось из барахла — забирай и ко мне. Займешь отдельную комнату и будешь за хозяйку. Мы тут частный капитал будем зашибать, а ты подметешь, картошку сварить. Можешь картошку варить, чтоб она румянькая выходила из печи?

— Дело знакомое, — улыбнулся дядя Мотя.

— Ах, черт возьми, — засмеялся Шпаковский, — как мне повезло, что тебя встретил. Теперь у нас настоящий здоровый советский коллектив.

— Здоровый? — улыбнулся Эдик. — Ты бы слышал, как дядя Мотя кашляет!

— А Маша? У нас же есть доктор Маша! Будет он у нас, как июльский огурчик...

Эдик увидел Машу за железнодорожным переездом. Шла она быстро, энергично размахивая руками. В красном берете и темном демисезонном пальто она казалась издали игрушечной, ненастоящей. Подойдя поближе и встретившись с глазами Маши, Эдик перестал улыбаться. Он понял — произошло что-то очень важное.

— У Паршиной передачу не взяли. Но зато она видела, как увезли на Луполово санитаря Гогия. Она упростила терапевтическую сестру. Та бросилась в лагерь, признала в грузине своего мужа и вывела на свободу. Гогия сказал, что агент — человек в пенсне, с бородкой, тот самый, которого он видел во дворе больницы,

— Значит, я не ошибся.

— Да, это Милявский.

— Вот карьера — от преподавателя до провокатора. Какая подлость! — Эдик задыхался от злости. Почему-то сейчас он вспомнил деревенский ясный вечер, когда Милявский проводил Веру, и хлесткую характеристику, которую выдал Иван кандидату наук.

Они поравнялись с домом Сергея.

— Зайдем? — спросил Эдик. — Решим насчет Милявского.

— Теперь он не уйдет. Успеет и завтра, — спокойно сказала Маша. — Тем более что Сергей на работе.

А назавтра весь город всполошился, поднятый по тревоге. Полиция и жандармерия были на ногах — могилевчан сгоняли на центральную площадь города, к валу.

Стоял холодный ноябрьский день. Со всех концов города люди шли небольшими группами на Первомайскую. Здесь группы сливались в толпу, молчаливую, настороженную, угрюмо плывущую к центральной площади. Необычной была эта ноябрьская демонстрация. По тротуарам, и справа и слева, шли полицейские и жандармы. Не было знамен и песен, не было радости на лицах людей.

Эдик, Маша, Шпаковский, Митька, Александр Степанович, Сергей, Вера и Светлана Ильинична с Григорием Саввичем и шофером Сашкой держались вместе. Из-за того, что дома вдоль Первомайской были сожжены и разрушены, площадь открылась издали. В центре ее белели четыре виселицы. Это было так невероятно, так непривычно, что люди с испугом и удивлением оглядывались вокруг — не почудилось ли. Но виселицы упрямо белели свежеструганным лесом, окруженные густой цепью солдат.

— Новая власть учит, как надо жить... — пробормотал Григорий Саввич.

Ему никто не ответил. Светлана Ильинична предупреждающе дернула его за рукав.

Люди прибывали и прибывали. На площади становилось тесно. С Днепра дул холодный пронзительный ветер. Люди плотнее жались друг к другу, ставили воротники, нахлобучивали шапки и кепки, потуже завязывали платки, а со стороны казалось — закрываются они, чтобы не видеть того, что произойдет на этой площади, близкой сердцу каждого горожанина. По ней гуляли они с детства, любуясь широким разливом Днепра в половодье, по ней шли в свой небольшой, но уютный парк на валу, стояли в почетном карауле у могил бойцов гражданской войны, собирались на ней перед тем, как вылиться стройными колоннами в первомайской или ноябрьской демонстрации.

Под виселицы въехало четыре черных грузовика. Маша, приподнявшись на цыпочки, увидела, как встали в грузовиках Кузнецов, Пашанин, Паршин и капитан Юров. Увидела и спрятала лицо на груди у Эдика.

Какой-то фашистский чин прямо с кузова начал громко читать по-русски приговор, в котором шла речь об оружии, обнаруженном в госпитале, о подделках историй болезни, о содействии советским военнопленным и о тех фашистских летчиках, которых якобы отравили врачи.

Никто из обреченных не проронил ни слова. Избитые, они едва держались на ногах, но смотрели гордо и с какой-то невыносимой тоской на людей, на пустынную Первомайскую, на разрушенный, израненный город...

Им набросили петли на шеи. Машины взревели и тронулись с места. Кто-то в толпе вскрикнул, кто-то громко заплакал. Маша вздрогнула и еще плотнее прижалась к Эдику, по-прежнему уткнув свое лицо в его стеганку.

— В школе это называется открытый урок... — тихо сказал Александр Степанович, — Ну, что ж, пошли... Расходились торопливо, желая поскорее уйти от того страшного, что случилось на площади, что рождало в душе не растерянность, а гнев и желание мести.

Глава шестая ПУТИ-ДОРОГИ

Убрать Милявского было делом не простым. Он работал в городской управе, аккуратно являлся утром и уходил в шесть вечера. Иногда он пропадал на несколько дней, и ребята терялись в догадках — сидел Милявский дома или выполнял очередное задание немцев. Был изучен маршрут из дому на работу, места, куда он мог заглянуть по пути — в рабочее время тут всегда было много свидетелей. Еще больше было их по воскресным дням — этой улицей шли и ехали на рынок и с рынка.

Для того чтобы выработать окончательный план, решено было собраться у Сергея в ближайшее время, чтобы «отметить день рождения» Веры...

Вера собрала на стол, пришел Иван, надел свой лучший костюм Александр Степанович. Назначенный час миновал, а Эдика с Машей все не было.

— Не случилось ли чего? — осторожно бросила Вера. Александр Степанович молчал, но ходил по комнате больше обычного. Сергей с Иваном в который раз уже возвращались к разговору о своем дорожном мастере, который верой и правдой служил своим новым хозяевам. Наконец дверь в сенях хлопнула, и не успела Вера выйти навстречу, как в квартиру буквально ворвались Эдик и Маша. Эдик держал в руках буханку хлеба, из кармана стеганки торчало горлышко бутылки.

— Ура! — громко крикнул он. — Ура! Наши разбили гитлеровцев под Москвой и перешли в наступление.

В первую минуту все замерли. Потом хотели крикнуть «ура» вслед за Эдиком, но Александр Степанович подал предупреждающий знак, и тогда начали молча радостно поздравлять друг друга.

— Я всегда говорил, что победим, — захлёбывался от восторга Эдик. — Немножко не угадал в сроках.

— Ах, какой провидец! — улыбнулся Иван. — А кто нам дурил голову, что немецкие

рабочие и крестьяне не пойдут против государства рабочих и крестьян?

— Ладно... — примирительно сказал Эдик. — Злопамятный ты, Иван.

— Садитесь за стол, — вмешался Александр Степанович. — И расскажи нам, Эдик, все по порядку. Откуда ты принес эту весть, не сообщила ли об этом городская комендатура?

Все рассмеялись.

— Только, пожалуйста, со всеми подробностями.

— А может, сначала нальем? — предложил Сергей.

— Господи, — притворно вздохнул Александр Степанович. — Кого я воспитал в своем доме?

— Яблоко от яблони недалеко падает, — смеялся Сергей, разливая по рюмкам принесенную Эдиком бутылку. — Что это?

— Очищенный спиритус денатуратус!

— Ты что, отравить нас хочешь? — отодвинула рюмку Вера.

— Дорогая именинница, — заметил Эдик. — Я пробовал его в первоизданном фиолетовом виде и остался жив.

— Эдик, не тяни, — попросил Александр Степанович.

— Так вот, — сказал Эдик. — Вы знаете, что мой Шпаковский давно мучается, собирая двухламповый приемник. Вчера он мне сообщил, что сделал последнее сопротивление. Я пришел к нему вечером, мы провозились над приемником всю ночь, а он молчал как рыба. В схеме все было нормально. Пало подозрение на лампу. Шпаковский порылся в своих тайниках, заменил ее, и утром приемник заговорил. Передавали сообщение об итогах трехдневных наступательных боев Красной Армии. Я хотел записать, но не успевал за диктором. Одним словом, отбросили их больше, чем на сто километров, разгромили много войск врага, захвачены огромные трофеи. Наступление наших войск продолжается.

— Добавил от себя? — уточнил Александр Степанович.

— Нет. Так было сказано. Точно. Наступление наших войск продолжается.

— Ну, вот теперь выпьем, — сказал Александр Степанович и, когда рюмка опустела, добавил: — И немедленно листовку. Немедленно. Я передам в город, и ее размножат на гектографе. Об этом должны знать все. Сергей достал из письменного стола лист бумаги, взял чернильницу, ручку. Тарелки и рюмки отодвинули в сторону.

— Кто пишет разборчиво? — спросил Александр Степанович.

Все промолчали.

— Я так и знал, — сказал Александр Степанович, — что институты не прививают вкуса к чистописанию. Дайте сюда, — он взял бумагу и ручку. — А сочинять вместе будем...

— Дорогие товарищи! — громко сказал Эдик, и все замерли. Голос его дрогнул, словно Эдик выступал перед большой аудиторией.

— На днях, — продолжал Иван, — под Москвой разгромлены отборные гитлеровские части.

— Нет, надо вначале сказать о контрнаступлении наших войск, — заметил Сергей.

— Правильно. — Александр Степанович зачеркнул написанное и начал сначала: — На днях под Москвой началось контрнаступление Красной Армии. Разгромлены отборные гитлеровские части, захвачены огромные трофеи.

— Красная Армия стремительно идет на запад, — добавила Маша.

— Правильно, — кивнул Александр Степанович. — Близок час нашего освобождения.

— Бейте фашистскую нечисть, — продолжала Вера. — Помогайте нашей родной Красной Армии.

— Все, — сказал Александр Степанович. — Словам тесно, и мыслям просторно. Теперь подпишем: райком КП(б)Б.

— А мы имеем право? — усомнился Эдик.

— А как же! — сказал Александр Степанович. — Все, что ты делаешь в городе против оккупантов, — делаешь по указанию и согласию райкома. За листовку нам только спасибо скажут, — Александр Степанович сложил листок вчетверо, сунул его под стельку ботинка. — Ну, вот что, Эдик. Свое задание в госпитале ты выполнил с честью. А теперь будешь раз в неделю принимать сводку Совинформбюро. Сам иногда принесешь, иногда через Митьку

передашь, иногда через дядю Мотю, а то и Вера забежит к тебе с какой-нибудь кастрюлей, да и Маша по

пути заглянет... А насчет Милявского решайте сами. Я пошел.

Дверь в сенях закрылась.

— Ну и старик у тебя, — заметил Иван. — Я его таким никогда прежде не видел.

— Он весь в Сергея, ты просто не замечал, — улыбнулась Вера.

— Давайте отмечать день рождения и думать, — напомнила Маша.

— А что тут думать, — зло сказал Иван. — Пустить ему пулю в затылок, и дело с концом.

— Когда, где — на работе, прямо в кабинете, где тебя сразу схватят, или на улице, где он появляется два раза в день, да и то, наверное, не один.

— Почему — наверное? — спросил Иван.

— Мне так показалось, — заметил Сергей. — Рядом с ним вроде никого нету. Оглянешься — то впереди, то сзади появляется какой-нибудь тип.

— Эта история слишком затянулась, — вспылил Эдик. — И я из сотни вариантов предлагаю один, самый верный. Только чур, не таить на меня обиду. Предлагаю использовать неравнодушные Милявского к Вере.

Наступило неловкое молчание. Сергей порозовел, Вера смотрела куда-то в сторону, словно то, о чем сейчас говорили, не имело к ней никакого отношения.

— Надо, чтобы Вера назначила Милявскому свидание, — продолжал Эдик, — и привела на квартиру Устина Адамовича. А там мы его встретим. Ну, как?

— Стоящее предложение, — сказал Иван. — Надо только следить за ним. Чтобы не привел помощь.

— Сомневаюсь, что он сообщит кому-нибудь об этом свидании.

— Гадко все это... — не выдержала Вера.

— А если другого выхода нет? — согласился Сергей. — Сама видела, что все другие варианты слишком рискованные.

— В день рождения положено преподносить подарки, — строго сказала Маша. — От меня и от Эдика прими, Верочка... — Маша достала из сумочки миниатюрный пистолетик, помещающийся на ладони. — Очень удобно. Необходимая деталь туалета. Положишь в муфту вместе с носовым платком.

— Детская игрушка... — Хочешь, продемонстрирую? — Эдик встал из-за стола. — Дубовую доску в три пальца навывлет. Жаль только, патронов маловато.

— Операция назначается на следующее воскресенье, — заключил Сергей. — Вера будет в упре в пятницу или субботу. Обязанности распределим позже...

Понедельник начался необычно. Иван почувствовал это сразу, как только раскрыл глаза. Начался совсем другой понедельник. Не такой, каким он был на прошлой и позапрошлой неделе. Это был понедельник нашего наступления под Москвой, приближавший день победы. «Наступление теперь остановиться не может, — рассуждал Иван. — И получится, как в Отечественную войну 1812 года. Вот и скажи, что история не повторяется».

Он встал веселый и бодрый, даже сделал несколько упражнений утренней гимнастики. Наскоро позавтракав, побежал на работу...

Бригада путейцев молча разбирала лопаты, молотки, грузила на ручную дрезинку ящики с костылями. Иван поздоровался с Сергеем, посмотрел на угрюмых молчаливых людей. Вот если бы сказать им сейчас о нашей победе под Москвой, о том, что Красная Армия неудержимо идет на запад. Вот если бы сказать... Что случилось бы? Неужели вот эти пожилые небритые мужчины в замасленных спецовках, злые и голодные, радуются новой власти? Наверное, не радуются. Но сказать об этом открыто нельзя... погоди, Иван, не торопись. Посмотри на Сергея. Вон как он спокойно и деловито готовится выйти на пути. Прежде я его сдерживал, а теперь... сдали нервишки после ранения, сдали.

Вышли на оршанскую сторону, густо порезанную рельсами. Здесь всегда стояли готовые к отправке составы. Ждали паровоз или меняли его. Вот и сейчас на восьмом или десятом пути выстроился длиннющий состав. Наверное, не с новогодними подарками для германской армии. Подложить бы под вагон какую-нибудь гранату или мину...

Мастер приказал поменять три шпалы под стрелкой. Огляделись — не хватает

инструмента. Иван сам вызвался сходить за ним в далекий сарай за конторой дистанции пути. Сергей вопросительно глянул на друга, но Иван молча кивнул — все будет в порядке...

Стояла первая декада декабря, а снегу не было, и, может быть, поэтому ветер казался таким пронзительным. Иван поставил воротник спецовки и, отворачиваясь от ветра, шел вдоль состава. И вдруг натолкнулся на ящик с песком, стоящий возле небольшого штабеля старых шпал. Он потер ушибленную ногу, и неожиданная мысль пришла ему в голову. Он знал, что вагонники как зеницу ока берегут буксы колес, следят за тем, чтобы они были всегда смазаны и ни в коем случае не засорялись, особенно песком. А если сейчас весь этот ящик высыпать в буксы воинского эшелона?...

Иван оглянулся. Никого. Он торопливо сунул руку в ящик, и она натолкнулась на твердую корку — песок сверху прихватило морозом. Он поднял валявшийся у штабеля ржавый костыль и легко пробил верхнюю корку. Схватил горсть песка, отодвинул задвижку буксы, сыпанул. Осмотрелся. И снова бросился к ящику...

Вагон за вагоном, вагон за вагоном. В висках стучало, ветер не казался таким пронзительным. Забыв об осторожности, Иван бежал вдоль эшелона...

Остановил его выстрел. Пуля просвистела где-то рядом. Иван поднял голову и увидел — к нему бежал солдат немецкой железнодорожной охраны. Он что-то кричал, размахивая карабином.

Иван метнулся в сторону депо, но увидел, что до самого поворотного круга не было ни одного вагона или паровоза, за которым можно было укрыться. Он бросился под колеса воинского эшелона, перемахнул на другую сторону и пошел шагом, словно ничего не случилось. Но и охранник пролез под вагонами и, увидев Ивана, опять закричал, размахивая карабином.

На путях были военные. Они обратили внимание на крики, и один худенький юркий гитлеровец бросился Ивану навстречу. Иван снова нырнул под вагоны и снова увидел своих преследователей.

Дело приняло серьезный оборот.

Иван петлял между составами, пробежал под вагонами. Преследователи не отставали. Кто-то из них выстрелил. На путях поднялась паника. Иван бросился еще под один состав и замер. Вагоны стояли у бетонной стенки пакгауза под погрузкой.

Иван подполз поближе и в зазор между вагоном и стенкой увидел тысячи ног — в солдатских ботинках, изорванных командирских сапогах, обмотанных каким-то тряпьем и почти босых. В вагоны заталкивали пленных. Со стороны пакгауза раздавались команды, поторапливающие погрузку, а на путях началась пальба — кольцо вокруг Ивана сжалось.

Другого выхода не было. Иван одним махом вскочил на бетонную стенку, прямо под ноги пленным, и вместе с ними вкатился в вагон. На него посмотрели с удивлением, но ничего не сказали, потому что рядом, за стеной вагона, раздавались выстрелы и крики. Потом все смолкло. Гитлеровцы, очевидно, потеряли след.

А в вагон все входили и входили люди — изможденные, со впалыми щеками, воспаленными глазами, многие хромали, не оправившись от ранения, многие держали подвязанную грязным бинтом правую или левую руки. Вагон был полон. Но снаружи вталкивали еще и еще. Раненые вздыхали, стонали, матерились. Наконец набилось столько, что нельзя было подвинуться. Иван стоял, прижатый к стенке вагона, еще не понимая, что случилось. Единственное, что он твердо знал, — ему удалось скрыться. Совсем рядом раздалась немецкая речь, кто-то кого-то громко хлопнул по плечу;

— Гут, гут!

Вагонная дверь скрипнула, заскрежетала, звякнул засов, и наступил полумрак.

— Куда ж они нас гонят в этом телятнике, братцы? — раздался чей-то злой голос.

— Ты что, ослеп? Не видел, на вагонах мелом написано — Освенцим.

— А где этот Освенцим?

— Хрен его знает...

— Географию забыли.

— Лыхо з ими, — произнес кто-то из угла по-украински. — Абы гириш не було, як на Луполови. Може, бараки якиясь найдуться. А то душа примезрла до тила...

Наступила тишина. Пленные прислушивались к тому, что происходит за дверью на площадке пакгауза. По-прежнему раздавались команды, топот ног, скрежет вагонных дверей.

Потом высокий в командирском френче и обожженной шинели, давно небритый пленный, который стоял рядом с Иваном, сказал неожиданно молодым голосом:

— Вы видели, ребята, что в наш вагон попал парень с воли? Ты что, добровольно или как?

— Вы же слышали, — сказал Иван. — За мной гнались.

— Борешься с новой властью? — В голосе небритого прозвучала ирония.

Ивану не понравился тон командира.

— А что, лучше, чтоб тебя загоняли, как скот, в телятник?

Слова Ивана больно ударили небритого. Замер, услышав их, весь вагон.

— Сопляк, — как-то равнодушно сказал небритый. — Что ты знаешь о войне? Ни фиги. Тебе бы только поиграть в нее со своими пацанами.

Иван почувствовал, что разговор становится резким. Он замолчал и задумался. Только теперь он начал понимать, что добровольно попал в ловушку, из которой никогда не выбраться. Вместе с этими людьми будет умирать он медленной смертью, если удастся выжить в этом забитом до отказа вагоне. Уставший от погони, Иван хотел было присесть, но сделать это не было никакой возможности: люди тесно упирались друг в друга.

Кажется, подали паровоз. Вагоны лязгнули буферами, дернулись и поплыли. «Вот и все, — подумал Иван, — прощайте, ребята, ах как глупо все это получилось. Надо было бежать в сторону депо, там было пустынно. А ось охранник промахнулся бы. Зато там начинался угольный склад, за складом в овраге поселок, а за поселком спасительный Печорский лес».

Он смотрел на этих измученных озлобленных людей, и ему хотелось сделать что-то такое, чтобы помочь им, чтоб они снова почувствовали себя участниками этой грандиозной битвы с врагом.

— Товарищи! — громко сказал Иван, и голос его дрогнул. — Товарищи! На днях под Москвой разгромлены отборные гитлеровские части и Красная Армия перешла в решительное контрнаступление!

В вагоне установилась такая тишина, что слышно было тяжелое дыхание людей.

— Ребята, вы слышали, что сказал этот парень с воли? — громко спросил небритый.

— Що вин там бормоче? Хай скаже як трэба, каб уси чулы!

И опять слышно было только дыхание.

— Ну, — ласково подтолкнул Ивана небритый. — Объяви еще раз. Только так, чтобы все мы поняли. Иван пожал плечами — кажется, в том, что он говорил, было все понятно, но люди, наверное, были оглушены этим сообщением и никак не могли прийти в себя.

— На днях мы приняли сообщение Московского радио о том, что в первых числах декабря в ожесточенных боях под Москвой разгромлены отборные гитлеровские дивизии и Красная Армия перешла в контрнаступление... — Иван говорил громко, медленно, чеканя каждое слово, будто давал диктант этому необычному классу.

В вагоне стояла гнетущая тишина, такая напряженная, что Ивану стало страшно.

— Тихо! — приказал небритый. — Давайте тихо крикнем «ура».

— А почему тихо? — спросил из угла басовитый голос. — Пусть этим гадам станет известно, что мы знаем о победе под Москвой.

— Зачем? Чтоб они обнаружили нашего паренька и бросили его в тюрьму?

Иван заметил, как по небритой щеке соседа скатилась слеза. Иван посмотрел в его веселые повлажневшие глаза и улыбнулся.

— Спасибо тебе, парень. Кстати, как тебя зовут?

— Иван.

— Запомните, ребята, — обратился к пленным командир. — Зовут его Ваня.

— Гарное имя, хлопче, — сказал украинец.

— А меня зовут Михаил, — представился небритый командир. — Я перед войной Минское пехотное окончил. Служил в Бобруйске. Дрался за переправу на Березине. Кто уцелел из наших — добрались до Могилева, а тут влились в 388-й полк.

— Кутеповский... — сказал Иван.

— А ты откуда знаешь? — спросил Михаил.

— Оттуда, что я дрался в ополчении, потом был ранен, потом мать забрала домой из госпиталя.

— Еще раз прости... — попросил Михаил. — Знаешь, я думал, ты так...

Наступило молчание.

— Кто казав, що бога немає? — заговорил украинец. — А хто нам послав этого хлопца, этого парубка дорогого. Ось гналы нас до станции — жить не хотелось, хай бы кончалы конвоиры просто на майдани, а теперь...

— Надо что-то придумать, — тоном приказа произнес

Михаил. — Посмотрите там вдоль стен. Может, доска послабее найдется.

Вдоль стен прошло движение.

— Черта с два, — сказал из угла басовитый голос.

— Ломик бы какой-нибудь... — сказал кто-то.

— От дурень, — незлобно упрекнул украинец. — Какой ломик, когда в кармане даже гвоздя нету.

«В, кармане?» Ивану стало жарко при одной мысли. У него в кармане был перочинный ножик. Он носил его при себе с той поры, как пошел работать в бригаду путейцев вместе с Сергеем. Он со страхом ощупал карман — а вдруг потерял, когда бегал, пригибаясь, под вагонами? Нет, ножик был на месте.

Иван с трудом пошевелился, сунул руку в карман, взял нож, теплый и гладкий, и протянул его Михаилу.

— Сгодится?

Михаил стиснул Ивана в объятиях, щекоча своей рыжеватой небритой бородой.

— Ребята! — объявил он, чтобы всем было слышно. — У нас на всех есть один перочинный нож. Давайте помозгуем, что можно им сделать.

— Распороть брюхо Гитлеру, — зло произнес басовитый голос.

— А еще?

— Воткнуть его себе в задницу, — проворчал украинец.

— В нашем положении такими кусками не бросаются, — рассердился Михаил. — А ну-ка, Ваня, отодвинься от двери.

— Легко сказать...

— Ребята, пожмите немного, дайте глянуть, что на этих дверях творится... — Михаил уцепился за болт, который проходил стенку насквозь и крепился в середине вагона гайкой и контргайкой. — Как думаешь, что это за штука? — спросил он Ивана.

Иван посмотрел на дверь. На уровне болта, продетого сквозь стену, находился второй, закрепленный на двери.

— Это крюк, на который опускается задвижка...

Михаил задумался. В вагоне было тихо. Все прислушивались к разговору Ивана и Михаила. Прислушивались затаив дыхание, боясь помешать осуществлению чего-то важного, что может решить их судьбу раз и навсегда. — А если этот крюк, к примеру, вытолкнуть?

— Дверь откроется, — улыбнулся Иван.

— Вот именно. Дверь откроется, — задумчиво повторил Михаил. — Но для того чтобы его вытолкнуть, надо вырезать толстый слой дерева вокруг болта, на котором держится крюк... Слыхали, ребята?

— Слыхали... — пришел в движение вагон.

Михаил повертел в руках ножик, раскрыл его, обнажив два довольно крепких лезвия, и крякнул:

— Ну, ребята, за работу. Начнем мы с Иваном, а потом каждый кто сколько сумеет. Кроме раненых и больных. Главное, чтоб мы работали день и ночь, день и ночь без отдыха. Иначе нам хана...

Они решили поменяться местами с Иваном. Сделать это было нелегко. Для того чтобы уступить свое место Михаилу, Иван должен был упереться руками в дверь, чтобы отодвинуть своих соседей. Послышался стон, кто-то громко и матерно выругался.

— Ничего, браток, потерпи, — мягко сказал Михаил. — Ради такого дела...

Иван увидел, как Михаил ловко обвел лезвием поле вокруг болта, как начал резать

наискось, как первые мелкие стружки упали на пол. Дерево оказалось твердым и темным, словно его пропитали каким-то составом.

Михаил отломал щепочку и пустил ее по рукам.

— Кто угадает, знатоки, что за дерево?

Вагоны дернулись и покатались. Сперва в одну сторону, потом в другую, потом снова дернулись, и колеса покатались по стрелкам со скрежетом и визгом.

«Готовят эшелон к отправке, — подумал Иван. — А где-то тут на путях ходит с бригадой Сергей и не знает, что Иван катается мимо него в вагоне военнопленных, что скоро, наверное, его отправят в какой-то Освенцим, и если даже удастся бежать, то встретится ли он когда-нибудь снова со своими друзьями, дорожке которых, кажется, нет никого на свете. Подать бы сейчас, пока состав формируется, какую-нибудь весточку о себе. Выбросить в зарешеченное окно какую-нибудь свою вещь, чтобы Сергей догадался, что это знак, оставленный для него... Ну и что? Просто подумает, что бежал и потерял нечаянно. Никому в голову не придет, как прежде не приходило Ивану, что он попадет в добровольный страшный плен и навсегда покинет родной город и друзей».

Михаил медленно снимал стружку за стружкой и ждал от товарищей ответа. Те передавали щепочку из рук в руки.

— Обыкновенная сосна, — сказал басовитый голос, который принадлежал худому, среднего роста человеку в рваной грязной стеганке. На голове у него была комсоставская фуражка без козырька. Продолговатое лицо от худобы казалось еще длиннее. На лице выделялся большой крючковатый, как у птицы, нос.

— Это ты, Семенов? — спросил, не прекращая работы, Михаил. — А почему ж эта сосна твердая, как дуб, и такая же темная?

— Видно, ножик липовый, — спокойно сказал Семенов, — а темная сосна от красок, да и масло было вокруг этого болта, пока его завинчивали.

— Зараз один черт — дуб чи береза. Главное, абы швидче резалось...

— Правильно толкует Гречиха, — сказал Семенов. — Нам эти исследования что мертвому клизма.

— А я, слышите... не хочу умирать... Я есть хочу... есть... А что, кухня еще не приехала?

Иван впервые услышал этот дрожащий голос, и мурашки побежали по его спине.

— Хороший парень, старший лейтенант-танкист, — сказал Ивану Михаил, — но немного того... Мы скрываем его от лагерного начальства, а то расстреляют.

— Я есть, есть хочу, — снова послышался голос старшего лейтенанта, и кто-то рядом с ним тихо сказал:

— Ты успокойся Славик, приедет кухня, мы сбегает с твоим котелком. Потерпи...

Славик умолк. Иван посмотрел на Михаила — капельки пота свисали на рыжеватой щетине. Он работал тяжело, нож уже едва слушался. «Сил нет у людей», — подумал Иван и сказал Михаилу:

— Моя очередь.

Михаил поднял глаза, охотно протянул нож Ивану и вздохнул:

— Так мы год будем резать.

Они снова поменялись местами с Иваном, и опять кто-то застонал и матерно выругался. Иван не обратил на это никакого внимания. Он держал нагретый в руках Михаила нож и думал о том, как бы ускорить работу. Он открыл лезвие покороче и стал им, как стамеской, откалывать кусочки дерева. При этом был слышен легкий, но все-таки стук, и Михаил забеспокоился:

— Нет, Ваня, так мы можем засыпаться раньше времени. Давай по-прежнему, пусть потихоньку, но все-таки вперед.

По примеру Михаила Иван начал срезать мелкую темную стружку все глубже и глубже, и почему-то в этот момент ему припомнился вечер из далекого детства, когда его брат Виктор выстругивал для Виталика ту самую палочку, из-за которой им пришлось бежать с польской стороны на советскую. Стружка сначала была ярко-зеленой, потом вялой и беленькой. Она цеплялась за лезвие ножа, и Виктор пальцами снимал ее. В хате пахло свежим резаным деревом. А здесь сосна была твердой и упругой, лезвие с трудом входило в нее, но Иван

отыскивал уязвимые места, чтобы поддеть тонкий слой и отколоть щепочку. Но вот на пути лезвия попало что-то твердое, похожее на гвоздь. Иван расчистил это место и увидел тонкий и острый сучок. Пустив по сторонам смолистые жилки, он уходил в глубь доски. Резать стало еще труднее. Иван почувствовал, что если будет работать с таким напряжением, на руке быстро нагонит мозоли. Он снял с головы старую ушанку и попытался завернуть рукоятку ножа в шапку, чтобы стало мягче руке. От этого стало не легче. Клапаны шапки болтались под лезвием. Иван рассердился, оторвал один клапан, завернул в него нож, а шапку нахлобучил на голову.

— Замерзнешь с одним ухом, — заметил Михаил.

— Сейчас не об этом забота, — спокойно сказал Иван. — Перегрызть бы это проклятое дерево...

Эшелон долго стоял на путях. Потом где-то далеко послышался паровозный гудок, вагоны дернуло, они звякнули буферными тарелками и медленно покатались, постукивая на стыках. Этот стук становился все чаще и чаще.

Вагоны начало раскачивать из стороны в сторону. Вместе с ним покачивались плотно прижатые друг к другу люди. Это движение мешало Ивану. Он злился, и нож переставал слушаться его. Нож соскакивал со злополучного сучка, не сняв даже мелкой стружки.

Иван поднял голову и встретился с глазами Михаила. Он смотрел сочувственно и спокойно. Это спокойствие подействовало на Ивана ободряюще. Он ударил лезвием по сучку раз, второй и услышал хруст. Обрадовавшись, он рукою ощупал сучок — тот, по-прежнему крепкий и острый, стоял на месте. Сломалось лезвие. Ровно наполовину. Обломок уже не мог так снимать стружку, как снимало лезвие, и Иван утопил его в рукоятку.

Михаил не заметил этого — в вагоне стоял полумрак, стучали колеса, вагон трясло, и он громыхал, как пустая бочка, которую катили по булыжнику.

Потом принялся за работу Михаил, а Иван, стоя у стены, забылся коротким сном. Очнувшись, он увидел украинца Гречиху, который сменил Михаила, а потом снова уснул.

Странен был этот сон на ногах. Ивану казалось, что он не засыпал вовсе, так явственно различал он все, что происходило в вагоне. Он слышал слабые стоны раненых, слышал голос танкиста Славика, который по-прежнему просил есть, а сам покачивался то ли в вагоне, то ли в лодке на Днестре. А в лодке сидела Виктория и весело смеялась. Иван хотел спросить, как же она, погибшая, снова вернулась в родной город, а Виктория отворачивалась и, озоруя, раскачивала лодку все больше и больше. Иван хотел крикнуть, чтоб она этого не делала, потому что лодка опрокинется и они могут утонуть посреди реки и... проснулся.

В вагоне сумрак понемногу рассеялся, люди не знали, сколько прошло времени с той поры, как поезд тронулся. Эшелон замедлил ход. Удары колес на стыках становились все реже. Потом состав дернуло, и поезд остановился.

В вагоне светило только одно, основательно зарешеченное и оплетенное колючей проволокой окно. Кто-то кому-то взобрался на спину, чтобы узнать, какая станция, но за вагонами, стоящими рядом, ничего не увидел. Потом, постукивая молоточком по колесам, стал приближаться осматрщик вагонов, и когда он ударил по колесу совсем близко, Михаил крикнул:

— Скажи, пожалуйста, где стоим?

Стук молоточка прекратился, но ответа не было.

— Где стоим? — ещё раз спросил Михаил.

Некоторое время человек молчал — то ли не расслышал вопроса, то ли оглядывался, нет ли поблизости охраны. — В Жлобине, — произнес наконец приглушенный голос пожилого человека.

— А кухня еще не приезжала? — дребезжащим голосом спросил Славик. — Так хочется есть, подохнуть можно... Ребята, что же вы молчите? А может, вы уже поели, а меня не разбудили, а? Что же вы молчите?...

— Успокойся, Славик, — сказал, наверное, его сосед, — еще никому ничего не давали.

Михаил оттеснил от двери низенького и крепкого еще человека и сказал Ивану:

— Подбери стружки, чтоб не валялись тут. Вдруг охрана откроет дверь... А работы нам еще суток на трое.

Иван попытался присесть, но не мог. Люди стояли так плотно, что он мог опуститься на корточки только вместе со своими соседями. А один из них, кажется, еще спал. Он стоял, зажатый своими товарищами, свесив голову, и почти не дышал. Спал спокойно и глубоко.

Боясь разбудить его, Иван заглянул в лицо человеку и замер. Глаза его были широко раскрыты, испуганные и неподвижные.

— Он умер? — не веря себе, не то воскликнул, не то спросил Иван, и услышал в ответ гневный голос Михаила:

— Это они так задумали, гады. Задушить и заморить нас голодом на колесах.

— Кто там умер? — крикнул Семенов.

— Капитан Феоктистов, — ответил Михаил.

— Добрый був мужик, — сказал Гречиха. — Знимитэ, хлопци, шапки...

— Может, крикнем конвой, пусть заберут умершего и по глотку воды дадут... — Этот голос Иван услышал впервые.

— Не смейте, — строго предупредил Михаил. — Они будут стрелять.

— Как стрелять? — возмутился тот же пленный. — За что? Мы только просим снять труп товарища и выдать по глотку воды.

— Вы слышали, что я сказал? — крикнул Михаил, но люди уже стучали в дверь и настойчиво требовали:

— Эй, вы, оглоеды, снимите нашего товарища и дайте воды... Васер, васер, васер!

Послышался скрип шагов, а потом автоматная очередь в дверь.

— Убили, сволочи. Петьку Злобина убили! — простонал кто-то у двери.

— Тихо вы! — громким шепотом прошипел Гречиха. — Щоб без Михала ничего такого не робылы. Вин лагерную жизнь добре знае и хвашистов тоже...

Чуть ли не весь день стояли на запасных путях или в тупике.

Царила такая тишина, что слышно было, как скрипел снег под ногами конвойных, которые прогуливались вдоль состава.

Иван стал ощущать голод. Он противно подкатывался под ложечку, вызывая тошноту. Сначала обильно выделялась слюна, которую Иван проглатывал с удовольствием.

Потом во рту пересохло, и к вечеру появилась жажда...

Подали паровоз, и вагоны, покатавшись взад и вперед по станции, снова закачались и загремели в пути.

За работу взялись еще злее. Первым приступил Иван. Он углублял выемку вокруг болта, стараясь не оглядываться на труп капитана Феоктистова, который по-прежнему стоял, зажатый между своими товарищами.

Ночью его сменил Михаил. Иван снова забывался коротким сном, но Виктории больше не видел. Падал в какую-то черную пропасть и ничего не помнил. Разве что боль, вызываемую судорожными глотками, жесткими и безводными.

Потом был еще день, который странно ворочался и кружился у него перед глазами, потом еще ночь. А поезд уже не останавливался. Он неистово гремел, словно боялся опоздать к месту назначения, а сердце Ивана сжималось от тревоги, что они не успеют открыть эту проклятую дверь и пропадут в каком-то неизвестном лагере не то с немецким, не то с польским названием.

Он уже потерял счет времени и больше не оглядывался на капитана Феоктистова, потому что таких Феоктистовых в вагоне было уже много. Иногда ему казалось, что и он уже Феоктистов и голова его тоже безжизненно опускается на плечо. Он испуганно спохватывался и принимался за работу.

«Какой сегодня день? — думал Иван. — Может, воскресенье? Удалась ли ребятам эта операция с Милявским?». Сергей поначалу не придавал значения ни крикам, ни выстрелам, которые слышал на путях. И прежде случалось, что охрана поездов открывала пальбу по подозрительному человеку, и прежде любой из гитлеровцев мог стрелять просто потому, что ему так хотелось. Но посланный за инструментом Иван не возвращался.

Сергей сам побывал в сарае путейцев, словно между прочим обошел окольные пути, но следов Ивана не обнаружил. Он постоял некоторое время у площадки пакгауза, наблюдая за погрузкой военнопленных, и ушел.

После работы он заглянул к Ивану домой. Увидев, что за Сергеем нет сына, мать сразу

заволновалась:

— Что с ним? Сергей пожал плечами:

— Вы только не волнуйтесь... Я и сам не знаю. Ушел за инструментами и как в воду канул. Я кругом все обошел, был даже на вокзале. Знакомые говорят — день прошел спокойно, никаких происшествий не случилось.

Мать обессиленно опустила на стул. В эту минуту она напонила Сергею его маму, и горький комок невольно подкатил к горлу.

— Вы не беспокойтесь, — мягко сказал Сергей. — Он объявится. Обязательно объявится. Не такой Иван человек, чтобы зря пропадать. Может, дело какое срочное подвернулось и он не успел предупредить...

Сергей видел, что эти слова не утешили мать, но говорил, чтобы этим предположением успокоить и себя...

Операция началась без Ивана.

Субботним днём Вера пришла в городскую управу и нашла кабинет Милявского. Она постучалась и услышала знакомый баритон Ростислава Ивановича:

— Входите.

Вера вошла и остановилась. Кабинет был просторный, вдоль стен стояли полумягкие стулья для посетителей, посредине традиционный дубовый стол, покрытый зеленым сукном. За столом сидел Милявский, а возле стула сверкали его начищенные до блеска туфли.

Увидев Веру, он ловко надел туфли, словно домашние шлепанцы, и пошел ей навстречу.

— Вера? Боже мой, какими судьбами? Я уж и надежду потерял увидеть вас...

— Ах, Ростислав Иванович, — вздохнула Вера, — Я разве думала, что найду вас в этом кабинете?

— Я и сам, знаете... — запнулся на мгновение Милявский. — Я и сам не предполагал, что мне будет оказана честь...

Кто-то открыл дверь без стука, но, увидев в кабинете Веру, снова закрыл. Так повторилось несколько раз. Милявский начал проявлять беспокойство.

— Мне надо с вами поговорить, — догадалась Вера, — но я вижу, что здесь это неудобно. Давайте встретимся завтра в Театральном скверике.

Милявский подумал и тут же улыбнулся: — Великолепно! В какое время?

— Днём. Часа в два. Пообедаем у меня.

— Да, да, — обрадовался Милявский, — это будет великолепно, голубчик.

Кто-то снова открыл и закрыл дверь. Вера встала, подала Милявскому руку.

— Боже мой, — говорил Милявский, провожая ее до двери, — неужели я снова буду держать в своих ладонях эти необыкновенные пальчики?

— До свидания, — улыбнулась Вера. — До свидания, моя радость...

На углу ее ожидал Сергей. Увидев, что Вера открыла дверь на улицу, Сергей медленно пошел вперед, ожидая, когда Вера его догонит. Миновав Дом Советов, Вера взяла Сергея под руку:

— Знаешь, он охотно согласился. Даже не верится.

— А он не заметил, — спросил Сергей, — что ты слегка поправилась?

— Кажется, нет... К нему в кабинет, без всякого стука, заглядывали какие-то люди, и он почему-то беспокоился. Как бы нам не допустить ошибки.

— Что ты имеешь в виду?

— Как бы нам не ошибиться и это согласие не посчитать за легкомыслие.

— Операцию отменять не будем. Как условились, Эдик наблюдает за вами и за тем, чтобы он не привел хвостов. Я буду ждать в квартире Устина Адамовича... Может, ты усложняешь, и все обойдется...

Когда Вера пришла в Театральный скверик, она еще издали заметила Милявского, который гулял по боковой аллее.

Был холодный декабрьский день. Бесснежный, ветреный, он поднимал мелкую пыль, клочки бумаги и мусор и кружил всем этим добром в воздухе, ослепляя прохожих.

Вера поглубже спрятала руки в муфту, где в кармашке, рядом с пудреницей, покоился миниатюрный подарок Маши. Милявский шел медленно, поставив от ветра каракулевый

воротник, пряча руки в карманах,

Вера поравнялась с ним, взяла под руку.

— Верочка? — повернулся Милявский. — Как я рад, вы даже не представляете себе, как я рад...

— Только бог против нас, — криво улыбнулась Вера. — Послал такую погоду.

— Дело не только в погоде, — заметил Милявский, — вы знаете, нам не придется сегодня с вами отобедать. Совсем неожиданно дела, связанные с выездом.

«Все, — подумала Вера. — Сорвалось. Сам догадался или кто предупредил, чтоб не ходил на подобные встречи?» Вера почувствовала, как сердце ее застучало чаще. Она вынула руку из муфты, поправила волосы, выбившиеся из-под шапочки, соображала, как поступить.

— Я не мог не прийти, — продолжал Милявский. — Слово, данное женщине, — свято.

— Ну что ж, — вздохнула Вера. — Такова моя судьба. Может, тогда просто пройдемся?

— С удовольствием, — обрадовался Милявский.

Они вышли мимо театра из скверика и пошли вниз по Виленской. Незаметно оглянувшись, Вера увидела, как вслед за ними на приличном расстоянии шел Эдик в демисезонном пальто с отцовского плеча и нахлобученной на уши кепке.

— У вас ко мне дело? — спросил Милявский.

— Я нуждаюсь в вашей помощи, — тихо произнесла Вера и чуть не заплакав оттого, что план их так просто и бездарно провалился. Наверное, с самого начала они все продумали не так, как надо было, понадеялись на старые знакомства.

Милявский услышал слезы в голосе Веры.

— Ну зачем же расстраиваться, голубчик... Я предупреждал, я знал, что все эти ребячества пройдут, как только город займут германские войска. Помните, как вы бегали с пистолетом в моем дворе? Не обижайтесь, но вспомнишь и становится смешно...

— А вы никогда не были ребенком? — Вера отвернулась, чтобы Милявский не заметил ее гневного взгляда.

— Ну, ладно, ладно... Какова же судьба вашего юного покровителя?

— Он погиб,

— Жаль. Такой талантливый мальчишка. Я хотел вместе с ним работать на одной кафедре.

— До войны?

— И до войны и теперь.

— Разве наш институт будет... — Вера искренне удивилась.

— Не педагогический, а медицинский. Дело в том, что в городе остались крупные научные кадры медработников. В управе возникла идея создать на базе бывшей областной больницы медицинский институт.

— Я видела медицинские кадры на виселице.

— Это не ученые, а солдаты, фанатики, не способные проявить свою лояльность к новой власти.

Вера замолчала. Она шла по своей привычной дороге вниз по Виленской, по мосту через Дубровенку, потом наверх, на холмы, где некогда стоял ее дом. Она еще не знала, что будет делать. Ненависть к Милявскому захлестнула все ее существо. Она помнила — там, наверху, были глухие, укромные переулки. Она повернулась, словно для того чтобы поправить съехавшую от ветра шапочку, и увидела — за ними неотступно шел Эдик. Значит, все будет как надо. Жаль только, Сережа переволнуется, ожидая ее и Милявского в квартире Устина Адамовича.

— Простите, куда мы идем? — спросил Милявский, и Вера почувствовала в его голосе беспокойство.

— Вы забыли этот переулок? — улыбнулась Вера. — Помните, вы меня проводили несколько раз домой вот по этому дощатому тротуару... Мне захотелось сегодня снова пройти с вами весь этот путь и вспомнить...

Они поднялись еще выше и вошли в аллею, густо поросшую молодыми тополями. Эти деревья сажала Вера с подружками еще в седьмом классе, а теперь они вытянулись и шумят голыми ветвями под холодным декабрьским ветром.

— Я помогу вам, — задумчиво сказал Милявский. — Больше того, возьму в свой отдел инспектором — у вас ведь законченное высшее образование. Только, пожалуйста, не проговоритесь, что вы некогда были связаны с этим комсомолом... — Ну что вы, — успокоила его Вера. — С прошлым покончено.

— Я вам так благодарен за сегодняшнюю прогулку, — улыбнулся Милявский, — и в этом смысле я не хотел, чтобы вы забывали прошлое, когда...

Вера остановилась. Место как будто подходящее. Здесь аллея уходила в сторону, а внизу желтел высокий обрыв и шумела непокорная Дубровенка.

Вера прислонилась спиной к стволу молодого тополя. Милявский взял ее руки и стал отогревать их своим дыханием.

Вера видела, как Эдик подошел совсем близко и стал за соседним деревом. Вера дала Эдику чуть заметный знак и оглянулась. Вокруг было безлюдно.

— Спасибо вам, Ростислав Иванович... — Вера положила руки на плечи Милявскому. Он обнял Веру и впился губами в ее шею.

Вера не сопротивлялась и ждала. Ей показалось, очень долго. Наконец почувствовала удар. Милявский ткнулся головой в ее плечо и обмяк.

— Помоги мне... — прошептал Эдик.

Они подтянули Милявского к обрыву и столкнули вниз. Эдик подхватил Веру под руку.

— Я тут каждую улочку знаю, — дрожащим голосом сказала Вера. — Идем сюда. А потом повернем на Виленскую, к Сергею.

— Ты успокойся, — прижимал ее руку Эдик. — Успокойся. Тебе теперь нельзя волноваться...

Эшелон долго стоял на какой-то небольшой станции. Иван слышал, как во сне, разговор конвоиров, которые ходили вдоль вагонов, сытые и веселые, и, прислонившись к стене, дремал в каком-то полузабытьи. День за днем, ночь за ночью... Сколько их было, этих изнурительных дней и ночей, Иван не помнил. В этом вагоне смертников никто не помнил. Никто не стучал в дверь, не просил пить и есть. Все знали — эти сытые и веселые ждут их смерти. От этого появлялось настойчивое непреодолимое желание жить. Оно поддерживалось надеждой на то, что им наконец удастся открыть эту заветную дверь.

Сегодня утром работа подошла к концу. Иван уже не чувствовал рук — ладони горели от лопнувших мозолей и ссадин. Оставалось только вытолкнуть болт с поржавевшими гайками, но эшелон стоял словно привязанный.

— Как бы они не надумались сами открыть дверь, — сказал про себя Михаил, и все живые еще насторожились. Они поняли, что пока эшелон не движется, может произойти самое страшное — каторжная, нечеловеческая работа их пропадет, как пропадают они в этой смрадной душегубке на колесах. Люди со страхом ловили каждый звук за дверь, не дышали, когда слышали приближающиеся голоса конвоиров.

В сумерках послышался паровозный гудок. Вагоны дернуло, колеса скрипнули на стыках.

— Михал, ну, що ты там?... — нетерпеливо сказал Гречиха.

— Погоди, дай хоть семафор миновать... — клапаном от Ивановой ушанки Михаил стал выталкивать болт.

— Ну?! — Иван прижался к Михаилу.

— Пошел, пошел, милый... вот так...

За стуком колес никто не услышал, как звякнул крючок, открыв ровное круглое отверстие. Михаил уперся в стенку руками, отодвинул соседей и посмотрел.

— Лес! — радостно объявил Михаил. — Кругом, как окинуть глазом, лес. Ну что ж, ребята, пришел наш черед. Не спешите, осторожно. Спасетесь — идите в деревни, ищите связи с партизанами. Ну, ни пуха ни пера! — Вдвоем с Иваном они сдвинули дверь с места, а потом из последних сил толкнули ее, и она распахнулась.

В вагон ударило ветром и запахом снега, свежего, белого, до боли в глазах. Почувствовав головокружение, Иван на минуту задержался, а потом прыгнул в эту ослепительную белизну.

Он долго катился по откосу. В рот набивался снег, а он ел, глотал его с жадностью, обжигая гортань.

Иван задержался у края большого рыхлого сугроба. Лежал на спине и смотрел в высокое

звездное небо, а оно перемещалось, как живое, — то пряталось за лес, перенося на свое место деревья, то снова появляясь над головой, отодвигая лес на горизонт. Было так хорошо и спокойно лежать, вдыхая свежий аромат леса. Лежать впервые за много дней.

Стало холодно затылку. Иван протянул руку и обнаружил, что потерял шапку. Он сел, осмотрелся. Шапки рядом не было.

«Шут с ней, с шапкой», — подумал Иван и стал вспоминать, кто прыгнул первым — он или Михаил. Так или иначе, они должны быть недалеко друг от друга. Иван встал, хотел закричать, но сдержался — фашисты патрулируют дорогу и можно попасть впросак. Тем более что убежать от них у Ивана нет никаких сил.

Он поднялся. В голове зашумело. На какое-то мгновение перед глазами поплыл лес с насыпью, но вот снова все вернулось на место, и Иван пошел какими-то чужими, не своими ногами, которые плохо слушались его. А тут еще эта вырубка. Он увидел торчащие из-под снега толстые и тонкие пни. Он старался обходить их, но они, как назло, цеплялись за ноги, задерживая его. Иван злился на себя, на свои ноги, на эти цепкие пни,

Уже далеко в лесу он осмелился крикнуть:

— Михаи-и-ил!

Крикнул и не узнал своего голоса — такой он был слабый и хриплый. Конечно, никто не услышит его в этом большом и дремучем густолесье. Иван остановился, обнял сосну, с жадностью вдыхая смолистый запах, который он любил с детства. Вспомнилось, как, возвращаясь с грибниками, он набивал карманы длинными еловыми шишками, а дома, разламывая их пополам, наполнял комнату неповторимым лесным воздухом.

Он держался за сосну, и кора ее, шершавая, мшистая, была теплой. Иван прижался щекой к этой коре и заговорил с деревом, как с другом:

— Здравствуй... Видишь, все-таки нам удалось... А многие так и остались в вагоне... остались навсегда... ты понимаешь меня... а нам удалось...

Рядом он заметил небольшую пушистую ель. Он отломал лапку и начал жевать хвою. Она была колкой, упругой и горькой. Ломило челюсти, а он жевал и жевал, с жадностью проглатывая горькую слюну. Когда хвоя превратилась в мягкий податливый комочек, он проглотил ее. От запаха леса, от приятной горечи во рту Ивану стало легче. Не так сильно кружилась голова, не подкашивались ноги. Но зато он стал ощущать холод. Мороз был, наверное, большой, потому что Иван слышал, как в лесу потрескивали деревья. Мерзли щеки, уши, нос, руки. Он поплотнее застегнул стеганку и начал растирать снегом уши и лицо. Тер, пока не почувствовал, что они начали гореть. Потом оторвался от сосны, у которой стоял, и пошел вглубь, чтобы найти какую-нибудь дорогу или тропу.

Он шел, спотыкался, падал. Во рту пересыхало. Он брал горсть снега и долго держал его под языком, пока он не таял. Жажда на некоторое время проходила. Потом появлялась вновь. Иван пытался сдерживаться, не есть так много снега, но руки сами тянулись к белым хлопьям, что висели на ветвях.

Ночь была светлой, и если бы он натолкнулся на тропку или дорогу, не прошел бы мимо. Но ни тропки, ни дороги не было. Выбившись из сил, он снова прислонился к шершавому стволу встречного дерева и начал жевать хвою. Какая-то тяжесть навалилась на веки. Хотелось сесть, прижаться к дереву и уснуть. Но он знал — уснуть на морозе — значит погибнуть. Он оттолкнулся от дерева и пошел. Сейчас путь его был не таким прямым, как прежде. Он начал петлять по лесу, и случалось, что возвращался на то место, где был раньше.

Иван остановился и замер. Он прислушивался к ночи. Если недалеко жилье — залает собака или запоет петух. Но ночь стояла безмолвная, глухая, и Ивану стало страшно.

— Ого-го-го! — крикнул он, и от этого хриплого эха, раздавшегося рядом, по спине пробежали мурашки.

«Неужели после всего, что пережил в Могилеве и в этом проклятом вагоне с пленными, — подумал Иван, — придется так бездарно погибнуть». Он вспомнил маму, которая не знает, куда пропал ее сын, вспомнил друзей, вспомнил брата Виктора. Вот кто, наверное, ничего на свете не боится и находит выход из любого, самого трудного положения. При воспоминании о Викторе ему стало стыдно за свою слабость.

«Нет, я буду идти, — говорил себе Иван, — только вперед. Не может быть, чтоб железная

дорога находилась бесконечно далеко от людей... Я буду идти только вперед...»

Он натолкнулся на просеку, прорубленную некогда лесниками. Это была ровная светлая полоса, уходящая к звездному горизонту. Иван пошел по ней, словно по дороге.

Он шел, стараясь беречь силы, а они, как назло, покидали его. Не хотелось ни снега, ни жеваной хвои. Отяжелели ноги, руки, голова. Все тело налилось свинцом.

— Не сдаваться! — шептал себе Иван. — Не сдаваться. Эх, ты, а еще мечтал о советской власти во всем мире. Да с такими хлюпиками, — ругал он себя, — мы не только ничего не добьемся, а растеряем то, что имеем. Не будет силы идти — ползи, но только не стой на месте...

Он зацепился за пенек, торчавший из-под снега, и упал. Лицом в снег. И он показался ему совсем не холодным. Только почему-то щипал лицо. Иван с трудом поднялся на четвереньки, потом встал на ноги и снова увидел над собой лес, а под собою небо. Он протер глаза — небо было над ним, лес — рядом. Шатаясь из стороны в сторону и шумно дыша, он снова поплелся по просеке.

И вдруг далеко впереди явственно услышал лай собаки. Этот лай прозвучал, как прекрасная бодрая песня, вернувшая его к жизни. Он зашагал увереннее, даже быстрее, хотя по-прежнему его, словно пьяного, водило из стороны в сторону.

Он еще раз упал и больно ударился коленом. Почувствовал, как ноют от холода пальцы правой ноги. Он сел, подтянул к себе ногу и увидел рваный ботинок без подошвы. Он пожалел, что не нашел у насыпи свою шапку, которая сейчас так бы ему пригодилась.

И снова он поднялся. И снова услышал лай собаки, которая словно звала его. Задышавшись, он вышел на поляну и увидел впереди темные ряды хат, от которых тянулись к небу первые утренние дымы.

Сердце его забилося часто-часто, и ноги сами подкосились. Он опустился на колени прямо в снег и смотрел на эти хаты, на эти дымы, как на картинку из необыкновенной сказки. Потом он снова поднялся, и хаты передвинулись на небо, а дымы шли в землю. Он закрыл глаза, постоял немного, снова открыл глаза — голова перестала кружиться.

Идти не было сил. Теперь, когда он был у цели, каждый шаг давался ему с огромным трудом. Болело ушибленное колено, ныла нога, та самая, которая была совсем босой.

Он не помнил, как добрался до крайней хаты, постучал в дверь и упал. Он слышал, как звякнула щеколда, открылась дверь и грудной женский голос позвал:

— Данута, нехта на нашем ганку ляжыць... Вышла та, которую звали Данутой, и Иван почувствовал, как его потянули в сени, а потом в хату.

— Божухна мой, — простонала женщина с грудным голосом. — Што зрабили з чалавекам!

Иван открыл глаза. Увидел низкий закопченный потолок, такие же почерневшие балки, маленькие окна, иконы в углу, обрамленные белым кружевным полотенцем. «Свои», — обрадовался Иван и хотел было сесть.

— Что ты, что ты! — подскочила к нему Данута — крепкая невысокая девушка с длинными толстыми косами, которые упали Ивану на лицо. — Я сейчас снегу принесу... Ты же весь обмороженный... Я сейчас... — Она схватила ведро и, как была, в одной кофточке и юбке выбежала на улицу.

Иван лежал и молчал. Не было сил ни шевелиться, ни говорить.

Вернулась Данута.

— Вот сейчас мы тебя разотрем... — сказала она. — Как следует...

— А можа, ён не разумее па-нашаму? — спросила женщина с грудным голосом, наверное, мать Дануты.

— Ты кто? — глядя в глаза Ивану, спросила Данута. — Русский, поляк? Как тебя зовут?

Он слабо улыбнулся:

— Иван...

— Ну, раз Иван, значит, русский, — говорила Данута, а сама оттирала снегом уши и лицо Ивану, потом сняла ботинки, или то, что осталось от них, и принялась за ноги.

Иван застонал.

— Вот это хорошо, — обрадовалась Данута, — значит, уцелели твои ноги, Иван. Пленный? — спросила она, продолжая растирать его ступни.

Иван кивнул.

— Мама, закройте дверь на всякий случай, а то кто-нибудь надумает зайти...

— Ах, божухна мой, — заторопилась мать. — Што гэта на свеце робицца. Свае сваих баяцца.

— У своих длинные языки, — сказала Данута и вынесла ведро в сени. — Сейчас же донесут войту... Ну, — обратилась она к Ивану, — живой? — Живой, — снова слабо улыбнулся Иван и попытался сесть.

Данута помогла ему, поддерживая Ивана под мышки, и подтянула к печи. Он прислонился спиной и сидел прямо на полу, молча рассматривая хату. Длинная лавка вдоль окон, стол возле лавки, тоже длинный. Стены оклеены пожелтевшими от времени обоями, на которых уже нельзя различить рисунка.

— Мама, где-то у нас капля самогонки стоит... — попросила Данута.

— Ты не спрабуй хлопцу налиць. Ен можа, тыдзень не еу.

— Что ты, мама! — воскликнула Данута. — Я хочу еще его ноги натереть.

До боли горели уши, лицо, руки и ноги.

— Ты когда ел? — спросила Данута. Иван подумал и хрипло ответил:

— Не помню.

— Тады дай яму Трохі малака, скарынку хлеба, і даволи.

Иван двумя руками схватил алюминиевую кружку молока, хлебнул, поперхнулся и закашлялся так, что чуть не разлил молоко.

— Ты спокойно, не хватай так, — сказала Данута и поднесла ему кружку ко рту, как маленькому.

Иван пил небольшими глотками и смотрел в лицо Дануте. Круглое, подвижное, с быстрыми, чуть раскосыми глазами и припухлым ртом, оно казалось Ивану каким-то знакомым, своим, словно он где-то когда-то встречал это веселое лицо.

Он выпил молоко и только теперь почувствовал голод. Он почти вырвал хлеб, протянутый Данутой, и начал торопливо запихивать в рот.

— Э, да ты так и помереть можешь, — вздохнула Данута. — Ешь аккуратно, по кусочку, пережевывай как человек... Мама, где это твой старый платок? — Она завязала голову Ивана большим шерстяным платком, как повязывают детей, когда они выходят на мороз, натянула на его ноги мягкие валенки, достала с печи старый дырявый кожух.

— Ты куды яго апранаеш? — спросила мать.

— Не будет же он сидеть посреди хаты, как пан какой. Пусть лезет пока на горище. Там солома, сено. Ты поднимешься? — спросила она Ивана.

— Поднимусь. — Опираясь о печку, Иван встал и, поддерживаемый Данутой, вышел в сени. Оттуда невысокая лестница вела на чердак.

— Давай помогу...

— Я сам... — Иван, едва переставляя ноги, пополз по лестнице наверх. Толкнул головой небольшую дощатую дверцу и увидел, что через слуховое окошко на чердак падает солнечный свет, освещая соломенную крышу и сено в углу чердака. Когда он в последний раз видел солнце? Кажется, в сентябре.

— Ну, чего остановился? — подтолкнула его Данута.

Иван перевалился с края лестницы на чердак и, не поднимаясь, дополз до охапки сена. Он не помнил, как Данута укрывала его, потому что сразу уснул тяжелым беспокойным сном. Ему мерещилось, что в темном непроходимом лесу его догоняли конвойные, а он, цепляясь за сучья и за пни, бежал и падал, бежал и падал... А потом, когда выбился из сил и хотел остановиться у сосны, увидел — на пути стоит капитан Феоктистов. Голова его упала набок, глаза смотрели испуганно и выжидающе. Иван бросился в сторону и почувствовал, что капитан Феоктистов не отстает — он слышит позади его тяжелое дыхание. Иван бросается в другую сторону и вдруг слышит, как Феоктистов говорит голосом Гречихи:

— Хто казав, що бога немає? А хто нам пріслаў этого парубка?

— Отпустите меня, отпустите домой, — просит Иван. Он падает в снег, а снег совсем не холодный, а мягкий и теплый, и Ивану не хочется вставать.

— Не трогайте его, пускай идет домой, — слышит он знакомый голос и видит у сосны

заросшего Михаила. Он стоит и режет кору перочинным ножиком, который дал ему Иван. Иван благодарен ему за эти слова и не решается попросить нож, а тут из зарослей появляется мать Ивана. «Как она постарела, а я и не заметил», — думает Иван. Он встает и идет навстречу матери, а она обнимает его за голову, и ему хорошо и тепло на груди матери и почему-то хочется плакать.

Когда он проснулся, на чердаке было темно. Лишь слегка синело слуховое окошко. Через него Иван увидел звездное небо и понял, что проспал весь день. А может, два или три? Он попытался повернуться и не мог — каждое движение отдавалось болью, все тело горело, как в огне. Дышать было трудно. Иван отвернул шерстяной платок, которым укутала его Данута, но облегчения не почувствовал.

«Ничего, самое страшное позади», — подумал Иван. Он успокоился и задышал ровнее. Разгреб сено и широко раскинул руки. Правой коснулся чего-то гладкого и холодного. Это была поллитровая бутылка с молоком. Значит, он спал, а сюда приходила Данута. Он поднес горлышко ко рту и стал пить. Молоко не освежало. Он отставил бутылку и закрыл глаза.

Да, с ним уже было такое в могилевской больнице. Вот так же нестерпимо ныло тело, такими же свинцовыми казались веки. Он лежал, и картины прошлого, как кадры старой киноленты, мелькали перед ним, расплывались и исчезали.

Вот в палату входит фашистский офицер. Он подтянут, чисто выбрит, даже элегантен.

— Это кто? — спрашивает офицер па чистом русском языке, указывая на Ивана.

— Подобран на улице после бомбежки, — спокойно говорит Кузнецов, который стоит в дверях палаты.

— Я спрашиваю, кто он. Коммунист, комсомолец, беспартийный?

— Несоюзная молодежь.

— Как?

— Несоюзная молодежь, — повторяет Кузнецов. — Так называли у нас тех, кто не состоял в комсомоле.

Иван смотрит на офицера сквозь прищуренные веки, и злость закипает в нем. Он чувствует, как приливает к голове кровь, как руки под серым солдатским одеялом сжимаются в кулаки. Еще минута, и он плюнет в это холеное, чисто выбритое лицо. Но офицер уже подходит к следующей койке...

А вот сидит у его изголовья Эдик. Странный, совсем не похожий на того Эдика, которого привык видеть Иван. В халате сомнительной белизны, которым прикрывает он потертые на коленях брюки. Сидит и молчит, двигая густыми темными бровями. Рука его лежит на руке Ивана. Говорить открыто нельзя — в палате свидетели, — и Эдик тихонько пожимает руку Ивана. Она, словно телеграфный ключ, принимает сигналы друга, и все становится ясно — ребята на месте, ни с кем ничего не случилось, он, Эдик, рядом и если потребуется — поможет. Иван растроган этим дружеским участием, и рука его благодарно пожимает руку Эдика.

Эдик не засиживается. Он молча встает и уходит, на мгновение останавливаясь в дверях, чтобы ободряюще подмигнуть Ивану...

Потом возникает перелесок у противотанкового рва. Иван чувствует теплое тело Виктории и запах ветра и солнца от ее волос, которые! мягко касаются его лица.

— Вам хорошо, Ваня? — спрашивает Виктория, а он еще крепче прижимается к ней, заколдованный этим запахом ветра и солнца, близостью, от которой так часто и сильно стучит сердце.

Иван хочет, чтоб на этом месте старая лента прошлого остановилась и он еще раз полюбовался бы своей Викторией, но она расплывается и рвется. Иван пытается крикнуть оскорбительные слова незнакомому киномеханику, но слова застревают в горле, а экран все темнеет и темнеет, пока не становится черным, как сажа. Иван падает в эту черноту и замирает...

Просыпается оттого, что кто-то толкает его в плечо. Он открывает глаза и видит Дануту, которая держит в руке недопитую бутылку молока.

— Так нельзя, Ваня, — с укором говорит Данута. — Так и умереть можно. Я ж оставила тут еще и кусочек хлеба.

Иван смотрит на Дануту и молчит. Она вскидывает голову, забрасывая за спину свои

толстые косы, и ждет, что скажет Иван. А Ивану хорошо вот так лежать и молчать, рассматривая свою новую знакомую, такую заботливую и беспокойную.

— Прости, — пробует улыбнуться Иван. — Мне было здорово не по себе...

— Мы с мамой слышали, как ты кричал во сне, и боялись, что кто-нибудь услышит. Неделю назад за советских пленных сожгли соседнюю Ляховку. Дотла. Вместе с людьми.

— Я уйду, — тихо говорит Иван. — Если вы с мамой дадите мне вот эти валенки...

Данута смеется. У нее красивые ровные зубы белее снега.

— Чудак ты. Честное слово, чудак. Ты ж сейчас как дитя малое. — Она присматривается к Ивану и с неожиданной тревогой говорит: — Постой, постой, что-то щеки у тебя слишком красные. — Она касается мягкой прохладной ладонью щеки Ивана, потом кладет ее на лоб, — Ого, да у тебя жар, мой миленький...

— Пройдет, — успокоил Иван.

— Я знаю, — согласилась Данута, — но держать тебя здесь не могу. Я тебе в гумне вырыла такую нору, что ни один староста не найдет. Да и теплее в норе, вот посмотришь.

Иван почувствовал, что Данута боится его обидеть.

— Конечно, теплее, — согласился Иван. — Мы в детстве делали такие убежища.

— А ты сам откуда?

Иван назвал городишко у бывшей границы.

— Ты почти дома! — воскликнула Данута.

— Лет пятнадцать тому назад я уехал отсюда.

— А мы остались, — вздохнула Данута. — Мама рассказывает, что беженкой в империалистическую была она в Поволжье, вышла там замуж и вернулась с мужем сюда.

— А я — то думаю, откуда такой русский язык...

— Это от отца. Знал он и разговаривал по-белорусски, а меня с детства учил русскому.

Мечтал побывать на родине и меня па Волгу свозить.

— Побывали?

— Папа умер в тридцать восьмом.

— Побываешь... — пообещал Иван. — Вот закончится война и первым делом съездишь на родину отца.

— Ты думаешь, она когда-нибудь кончится? — задумчиво спросила Данута, и на переносе ее круглого подвижного лица собрались складочки.

— Я не думаю, а знаю, — твердо сказал Иван

Глава седьмая В РОДНОЙ ДЕРЕВНЕ

Устин Адамович не давал хлопцам отсиживаться в лагере. Вскоре ушел с заданием под Гребенево Зайчик, а затем Устин Адамович позвал к себе Федора.

— Придется тебе продолжать свою комсомольскую работу в масштабе района. Начнешь с создания и восстановления первичных организаций в деревнях. В наших условиях даже два-три человека — большое подспорье. Начни со своей деревни.

Федор весело улыбнулся, сверкнув черными быстрыми глазами.

— Обрадовался?

— А как же, Устин Адамович. Не был с тех пор, как ушел в ополчение.

Сборы были короткими. Федор оставил винтовку, положив в нагрудный карман стеганки пистолет, попрощался и пошел знакомой проторенной тропинкой через болото.

«Удивительный человек этот Устин Адамович, — думал Федор. — Не иначе читал он мои мысли, если послал в родную деревню». Домой — это значит к Кате, думки о которой не покидали Федора ни во время ранения под Луполовом, ни в лагере военнопленных, ни здесь, на партизанской базе. Заговорить о ней с Устином Адамовичем Федор не решался — время было трудное, и кто знает, как истолкует этот разговор комиссар отряда — подумает еще, что Федор бежит из лесу под теплое родительское крылышко. И он молчал, выполняя одно задание за другим. Удалось захватить две подводы с мукой и консервами, награбленными полицией в

сельмаге, вывезти со склада потребсоюза несколько тысяч школьных тетрадей для партизанских листовок, отбить группу пленных, которых вывезли в лес для заготовки дров.

Приближалась зима, а с нею вести, одна тревожнее другой. Гитлеровцы подошли к самой Москве, и не сегодня-завтра бои начнутся на улицах города. Федор не слыл стратегом, но был уверен, что Москва выстоит. Откуда бралась эта уверенность — он и сам не знал, но чувствовал — отдать Москву, значит, отдать все, а ведь в такой огромной стране можно собрать силы, чтобы наконец остановить врага. Он рисовал в своем воображении Московский Кремль, где, наверное, заседает сейчас Генеральный штаб, колонны танков, идущих на помощь столице, эскадрильи наших самолетов над любимым городом. Нет, с Москвой ничего плохого не случится — говорил он себе. Потому что без Москвы — вечная оккупация, а как жить в вечном унижении, под вечными Пытками? Такую жизнь не скрасит даже Катя, милая и добрая Катя, ради которой. Федор мог пожертвовать жизнью. В дороге особых приключений не было, если не считать, что недалеко от родной деревни Федора задержал конный полицай. Лицо его, квадратное, молодое, было очень знакомо Федору, он даже мог поручиться, что с этим парнем они ходили в одну школу.

— Документы! — потребовал полицай, не снимая с плеча винтовку.

Федор мог запросто застрелить этого представителя власти, но решил, что спешить не надо, что парень этот, хоть и с повязкой полицая на рукаве поношенного немецкого мундира, может еще пригодиться.

— Какие документы?... — вздохнул Федор. — Вот иду домой, а там будут и документы.

— Откуда? — незлобно полюбопытствовал полицай.

— Отступал вместе со всеми, да немцы вернули назад — говорят, некуда уже отступить.

— Значит, правда, что они Москву и Ленинград взяли? — спросил полицай.

— Может, и правда, — уклончиво ответил Федор.

— А ты сомневаешься?

Федор посмотрел в глаза парню и увидел в них слабую искорку надежды. Казалось — скажи ему, что все это враки, и он сбросит повязку и придет с немецкой винтовкой к партизанам.

— Как тебе сказать, — опять уклонился от прямого ответа Федор. — Пока я не знаю так же, как и ты.

— А куда ты дошел? — спросил полицай. Он достал сигареты и протянул Федору. — Кури.

— Почти до Смоленска, — солгал Федор.

— Значит, точно... — Полицай закурил и тронул коня. — А я тебя помню, Осмоловский. А ты меня не признал.

Федор хотел признаться, что тоже припомнил его, но полицай прищпорил коня и завернул в перелесок.

Федор поднялся по дороге на холм и увидел издали хаты своей деревни. Сердце его радостно и тревожно забило. Он пытался отсюда угадать, на месте ли дом Кати и его дом, но с этой дороги он деревню видел впервые. Он торопливо спустился в лощину и едва сдержался, чтобы не побежать. «А если в деревне полицай из местных, которые хорошо знают его как студента и комсомольского секретаря института. Надо быть осторожнее». Он решил, что не пойдет по улице, а гумнами проберется к своему дому...

Тишина, царившая вокруг, поразила Федора. Тишина на колхозном дворе, на улицах, в домах. Деревня словно притаилась, испуганная и неуверенная. Притаился за стеной своего гумна и Федор. Осмотрелся и пошел через двор в хату.

Он не стал стучаться, а тихонько открыл дверь и вошел в сени.

— Кто там? — услышал Федор голос матери. — Проходите в хату!

Федор взялся за клямку, открыл дверь, шагнул за порог и остановился. Мать убирала со стола посуду. Она выронила из рук тарелку, и та со звоном разлетелась на мелкие кусочки.

— Федя! Феденька, сыночек, живой! — Мать бросилась на шею Федору, обняла и повисла на нем, обессиленная. Федор гладил мать по густо седеющей голове и молчал.

— А я все во сне тебя видела, маленьким совсем, когда ты по полу ползал... — Мать села с Федором на скамью у окна и крепко держала его за руку, то и дело заглядывая в глаза. — Ну,

думаю, раз снится дите, значит, будет какое-то диво с тобой... вот оно и есть диво... — Она снова обняла сына и заплакала тихо, спокойно, словно освобождаясь от пережитой тревоги.

— А где отец? — тихо спросил Федор. — Он эвакуировался?

Мать долго не отвечала. Только еще крепче сжала руки сына. Федор не стал повторять вопроса — он понял все.

— Схоронила я нашего отца, — чуть слышно прошептала мать. — Погиб он на Буйничском переезде. — Некоторое время она посидела на скамье рядом, а потом вдруг поднялась и торопливо начала собирать на стол.

— Я не голодный...

— Вон щеки как ввалились, одни глаза да брови... и обносился... Я покормлю тебя да истоплю баньку.

— Есть в деревне полиция?

— Бог миловал. Один Кузьма Кузьмич за все начальство. — Староста, что ли?

— Он остался в деревне со страху, согласился со страху быть старостой...

— Он со страху и продать может.

— Не думаю.

— А зря. Они, эти трусливые, на многое способны, а мы почему-то жалеем их за трусость.

— Не жалеем мы, сынок. А думаем, что супротив своих он все-таки не решится... Так я тогда баньку сперва... Отцовский костюм тебе достану, белье новое...

— А Катя с матерью живы, здоровы? — спросил Федор и отвернулся, чтобы мать не заметила, как краска залила его лицо.

— Живы, чего им станется. Когда фронт проходил, в ямах прятались, а теперь пока тихо...

Банька стояла за гумном, на берегу небольшого ручья, поросшего ольшаником. С ней было связано много детских воспоминаний. Мать перестала его купать дома и взяла впервые с собой в баню, когда ему было годика четыре. Пошел он охотно. Ему нравились камни в углу печи, которые из черных становились красными от огня, нравилась огромная деревянная бочка в другом углу, в которой было так много воды, что можно было напоить всю деревню, нравились беленькие дощатые полки, по которым можно было подняться до самого потолка.

Все это потеряло сразу свою привлекательность, когда мать плеснула на горячие камни ведро воды. Банька сразу наполнилась густым туманом, от которого стало трудно дышать, и в этом тумане пропали из виду печь, бочка и полки: Федя испугался и закричал. Мать пыталась успокоить его, но он кричал изо всех сил, пробуя прямо голышом выскочить на улицу. Мать торопливо набросила на него рубашонку, штанишки, и он босиком по теплой податливой пахоте помчался домой.

Федю еще долго не могли уговорить идти в баньку, пока отец не пристыдил его, что никто из ребят в деревне не будет с ним играть, а учитель не примет в школу того, кто не моется в бане. Последний аргумент был самым сильным, и Федор покорился. Правда, с отцом было не так страшно. Он даже забрался на третью или четвертую полку, но когда отец начал размахивать веником, Феде показалось, что его обдали огнем. Он скатился с полок вниз и начал плескаться в деревянной шайке с холодной водой, а отец хлестал себя веником и весело хохотал в густом облаке пара, где-то под самым потолком.

Федор вспомнил все это, когда надевал в предбаннике отцовский, почти не ношенный костюм. Набросив стеганку, подаренную Светланой Ильиничной, он не спеша пошел к дому.

Хотелось пить. В сенях он набрал из ведра алюминиевую поллитровую кружку. Вода колола холодком зубы и освежала. Федор открыл дверь в хату и остановился — у окна увидел Катю.

Катя ни капельки не изменилась. Может, только чуточку похорошела. Да глаза были не такими грустными, какими запомнил их Федор, прощаясь с Катей в конце июня.

Федор ждал этой встречи, часто думал о ней, а увидев Катю, растерялся. Он не знал, как поступить — подойти к ней и, как прежде, просто по-дружески подать руку или броситься к ней и обнять. Пока Федор стоял в нерешительности, Катя подошла к нему и улыбнулась:

— Живой?

— Я ведь тебе говорил — не прощай, а до свидания.

— Ну, ладно... — Катя протянула ему руку и, когда Федор взял ее в свою широкую

ладонь, прильнула на мгновение к нему и поцеловала в щеку. — Здравствуй, Федя. Я рада, что ты вернулся.

Федор хотел было обнять Катю, но она снова отошла к окну, с любопытством рассматривая Федора,

— А ты изменился. Повзрослел, что ли.

— Повзрослел... — криво улыбнулся Федор. — Если б не добрые люди — богу душу отдал бы.

— Я про Могилев знаю. Вы там были настоящими героями.

— Ты бы посмотрела на него сейчас, — вздохнул Федор. — Сердце кровью обливается. И не потому, что разрушены дома или целые улицы. Изменились люди. Ушли в себя, затаились, стали бояться друг друга. Каждый думает — кто тебя знает — может, ты теперь уже не тот, кем был раньше?

— А меня ты не боишься? — спросила Катя и улыбнулась. Федор повесил стеганку, подошел к Кате вплотную, взял ее за руку:

— Боюсь, Катюша... Честное слово. Мне казалось, что после всего пережитого тобой и мной я приду и обниму тебя... потому что... ты знаешь почему...

— Ну и обними, — шепнула Катя.

Федор не поверил своим ушам. Он посмотрел в повлажневшие теплые глаза Кати, и кровь бросилась ему в лицо. Он крепко прижал к себе Катю и неловко, торопливо, задыхаясь от радости, стал целовать ее губы, лицо, глаза, волосы.

Катя стояла притихшая, обессиленная, не отвечая на горячие ласки Федора.

— Катюша, милая... я люблю тебя...

Катя легонько отстранила Федора, села на скамью и, положив голову на стол, расплакалась. Она громко всхлипывала, вздрагивая всем телом, а Федор стоял рядом и не знал, как утешить ее.

— Катюша, что с тобой, ну не плачь... прошу тебя... я не могу видеть, как ты плачешь...

Эти неожиданные слезы снова поставили Федора в тупик. О ком сейчас плачет Катя? То ли, как прежде, при воспоминании о Владимире, то ли о себе и своей неудавшейся жизни, то ли... Он не знал, что думать, и от этого еще больше терялся.

— Ну что ты, ну успокойся...

Катя подняла голову, посмотрела на Федора покрасневшими глазами и сказала с дрожью в голосе:

— Я плачу, потому что... я потом тебе расскажу... потом... — Она поднялась и торопливо, словно боясь, что ее будут удерживать, вышла в сени, а потом на улицу.

Федор смотрел в окно. Катя шла не оборачиваясь, придерживая на груди незастегнутое тоненькое демисезонное пальто. Точно так ходила она к подругам, когда училась в школе. Только тогда у нее не было этого демисезонного пальто, а коротенький серый жакет, рукава и воротник которого были отделаны заячьим мехом. Именно в это окно смотрел тогда Федор, чтобы увидеть, как Катя будет возвращаться домой.

— Что же случилось?

Вернулась мать, пристально посмотрела на возбужденного Федора, предложила;

— Ты ляг, сынок, отдохни после баньки, а я тебе свежих картофельных оладей испеку.

— Спасибо, мама.

— Ты, наверное, уже забыл, какие они на вкус?

— Забыл.

Федор лежал за дощатой перегородкой на кровати и думал. Мать постукивала чепелой, наливая на горячую сковороду тертую картошку, а она шипела, потрескивая, напоминая Федору безмятежные дни детства, когда он, уже проснувшись, лежал с закрытыми глазами и слушал, как хлопотала в доме мать. Это было всегда, было привычно и вселяло спокойствие — раз мама хлопочет, значит, все в порядке, значит, ничего особенного не случилось.

За столом мать сидела задумчивая, не притрагиваясь к еде.

— А ты, мама?...

— Я сыта, сынок. Да ты же знаешь, что я эти самые draniki не очень уважаю... А ты без них никак не мог...

Федор улыбнулся и замолчал.

— Я вот что, Федя... — продолжала мать. — Встретила я Катю, когда она от нас шла... Глаза у нее были на мокром месте... Ты бы не обижал ее, сынок. У нее и так не получилась жизнь... Вдову каждый может обидеть, а заступиться некому, кроме родной матери, пока она есть... Так ты уж... не обижай ее, не надо этого тебе... да и время сейчас такое трудное, что не мне тебе рассказывать... а Катя...

Федор встал из-за стола, молча посмотрел в окно, потом свернул сигарку и закурил. Мать смотрела на него, ожидая ответа на свои слова, а Федор думал и не знал, что сказать матери. Неужели она никогда ничего не замечала?

Федор ушел за перегородку, снова лег и сказал тихо, но так, что мать его услышала:

— Я люблю Катю, мама. Давно. Еще до того как она уехала с Владимиром на Дальний Восток. И ничего не изменилось теперь, когда она возвратилась с ребенком. Ничего. Мне кажется, наоборот, она стала для меня еще ближе... — Федор впервые говорил с матерью об этом, и откровение сына тронуло мать.

— Ты не думай, — сказала она, — что я такая слепая... я давно замечала, но думала... детское, еще от школы... а ты, оказывается... Да разве я против? Она хорошая, умная, только разве сейчас время говорить об этом? Никто не знает, что будет завтра... Вот и ты... ты тоже не знаешь?

Федор не ответил. Он чувствовал, что мать говорит правду, от которой никуда не уйти, и от этого появлялись злость и обида. Какие планы строил он накануне войны... И все, казалось, выходило так, как спланировал Федор. Катя переехала в Могилев, стала учиться в институте. Они каждый день виделись, а на выходной ехали в родную деревню.

Федор докурив папиросу, вышел из боковушки и увидел, что мать сидит за столом и смотрит на семейные фотографии, которые висели на стене.

— Как погиб отец?... — спросил он. Мать вздохнула:

— Я и сама толком не знаю, сынок. Говорят только, что райком собрал весь актив коммунистов и поставил их вместе с красноармейцами в окопы... А потом мне передали через знакомых там, в Буйничах, моих подруг много... Я привезла его и похоронила, как могла, на нашем кладбище...

Федор надел стеганку.

— Я хочу сходить к нему, мама.

Мать достала из сундука отцовскую каракулеву шапку-ушанку с кожаным верхом и подала Федору:

— Ты один не найдешь... Там сейчас столько свежих могил.

Они медленно шли по улице, и Федор смотрел по сторонам, стараясь заметить, что изменилось в родной деревне. Нет, как будто ничего. Правда, видны пепелища двух-трех построек да сломанные снарядами деревья на околице. На месте колхозный гараж с запертыми воротами, колхозная канцелярия, окна которой крест-накрест забиты досками. Не было только людей на улице. Правда, и прежде в такую декабрьскую пору старики уже не сидели на завалинках, но молодежь и дети бегали из дома в дом, наполняя деревню веселыми голосами. Теперь Федор видел людские лица только в окнах — наблюдали за ними. Но никто не вышел, не поздоровался, словно Федор с матерью были чужими, не деревенскими.

Федор постоял у могилы, обложенной дерном, над которой возвышался деревянный крест.

— Крест надо убрать, мама, — тихо сказал Федор, — отец был коммунистом.

Мать помолчала, а потом так же тихо заметила:

— Когда вернутся наши... если они, дай бог, вернутся, тогда уберем крест и памятник со звездочкой как коммунисту поставим. А теперь... тот же Кузьмич доложит по начальству и разнесут эту могилку по косточкам. Нельзя сейчас, сыночек. Подождем. Авось дождемся.

Федора радовала уверенность матери. Он чувствовал, что в деревне она не одна верит в возвращение своих, и его уже не очень трогала замкнутость односельчан, которые поглядывали на них только из окон.

По пути домой мать сказала Федору:

— Да, совсем запамятовала. Катя просила, чтобы ты вечерком зашел к ним.

Горячая волна обдала сердце Федора.

— Я обязательно найду. Сейчас же... Ему открыла Ксения Кондратьевна.

Федор удивился, что дверь была заперта среди бела дня — такого в деревне никогда не бывало. Он поздоровался и остановился у порога.

— Проходи, проходи, Федя, — пригласила Ксения Кондратьевна, и в голосе ее Федор не услышал прежнего холодка.

В просторной Катиной хате было шумно и весело. Маленькая дочурка ее бегала вокруг стола, ступая по полу круглыми нетвердыми ножками, а в сторонке сидел на корточках незнакомый лысый человек с приветливыми живыми глазами и, хохоча, играл с девочкой.

— А я догоню Аленушку, вот сейчас догоню, — весело приговаривал он.

Аленушка визжала от удовольствия и топала вокруг стола мимо сидящего на корточках лысого дяди.

Катя вышла из-за перегородки, взяла девочку на руки:

— Балуете вы ее, дядя.

Федор внимательно посмотрел на Катю. Впервые слышал он, что у нее есть такой родственник. Много лет, после смерти отца, Катя с матерью живут одни, и Федору, который всегда хорошо знал их семью, ни разу не доводилось видеть у них кого-нибудь из близких. Кто знает, может, именно в войну случилось так, что кому-то из них понадобилось приехать сюда, в дом Кати. Федор решил не думать о родственнике, хотя любой человек, появившийся рядом с Катей, был для него не безразличен.

— Знакомься, Федя, — сказала Катя. — Михаил Тимофеевич... — и, немного запнувшись, добавила: — Брат отца. Пришел из-под Минска да так и остался у нас.

Федор заметил смущение на лице Кати и поспешил успокоить ее, протянув руку Михаилу Тимофеевичу.

— Зовите меня просто Федор. Мы с Катей старые друзья — одноклассники.

— Очень приятно, — сказал сочным грудным голосом Михаил Тимофеевич. — Друзья детства — это, по-моему, всегда настоящие друзья... — Он почему-то посмотрел в сторону Кати: — Правильно, я говорю, племянница?

Катя зарделась и не ответила, а только молча кивнула головой, унося Аленушку за перегородку.

— Мама, — позвала она Ксению Кондратьевну, — дай я ее покормлю да буду укладывать...

Михаил Тимофеевич пригласил жестом Федора за стол. Федор сел и вынул из кармана кiset, предложив закурить и Михаилу Тимофеевичу.

— Нет, нет, здесь нельзя — Аленушка, — сказал Михаил Тимофеевич и развел руками. — Спасем его от никотина. Вот поговорим, а потом выйдем в сени и надымимся в свое удовольствие.

Федору стало неловко, что он сам не догадался об этом. Он спрятал кiset и замолчал.

Михаил Тимофеевич пристально посмотрел Федору в глаза и спросил: — Слышал, ты был в ополчении?

— Был, — поторопился ответить Федор, обрадовавшись тому, что Михаил Тимофеевич сам ведет беседу. — Был, но когда уехал за оружием и боеприпасами под Чаусы, ранило в ногу. Лежал до излечения в деревне за Луполовом, а потом... — Он глянул на Михаила Тимофеевича и удивился — на лбу его от напряжения, с которым он слушал Федора, собрались густые морщинки, глаза горели живым беспокойным огнем. «Вот балда, — подумал про себя Федор, — первому встречному, пусть даже Катиному родственнику, я выкладываю все про себя. А если этот дядя...»

— Ты не беспокойся, — угадал его сомнения Михаил Тимофеевич. — Говори откровенно. Клянусь жизнью Аленушки — все останется между нами.

— Потом из Могилевского кольца пришло в деревню два человека — старший лейтенант с сержантом. Я вместе с ними пытался пробиться на восток, но нас схватили раз — мы бежали, затем второй — и в лагерь военнопленных на Луполово...

Михаил Тимофеевич встал и беспокойно заходил по горнице. В доме было тихо-тихо. Только слышно было, как за перегородкой, завешенной куском выцветшего сатина, Катя и

Ксения Кондратьевна кормили девочку.

— Ты помнишь, как звали того старшего лейтенанта? — неожиданно спросил Михаил Тимофеевич.

Федор удивленно посмотрел на него:

— Конечно, помню. Зайчик его фамилия. Он еще рассказывал мне, что присутствовал на последнем совещании у генерала Романова, перед тем как...

— Какого же рожна он перемахнул через Днепр, когда пункт сбора был назначен в Ямницких лесах?...

Федор посмотрел на возбужденного Михаила Тимофеевича, который, видимо, знал лучше его обстановку в окруженном Могилеве и, наверное, сам принимал в этих боях участие, и понял, что его обманули. И где? В доме любимого человека, к которому шел он всегда с открытой душой. Федор молчал, и горькая обида заполняла его душу. Молчал и Михаил Тимофеевич, смекнув, что сказал лишнее. «Ну, ладно, — подумал Федор, — он человек чужой, а Катя...»

Федор встал и предложил Михаилу Тимофеевичу:

— Выйдем в сени, подымим?

— Да, да, обязательно, — оживился Михаил Тимофеевич. — Самое время покурить.

Они вышли в сени. Федор молча достал кисет, кусок пожелтевшей немецкой газеты. Михаил Тимофеевич ловко свернул козью ножку, вынул из кармана кресало, ударил кусочком железа и стал раздувать искру.

Федор с восторгом посмотрел на такую радикальную замену спичек, прикурил и облокотился о косяк двери.

— Вы не обижайтесь на Катю, — вдруг на «вы» заговорил Михаил Тимофеевич. — Я вижу — у вас настоящая дружба. А Ксении Кондратьевне на каждом шагу мерещатся страхи — зайдет как-нибудь Кузьма Кузьмич и она же бог весть что подумает. А мы с ним поболтаем о жизни да разоидемся. Все он выпытывает у меня, где я жил да что делал. — Вы с Кузьмичом осторожно. Скользкий он человек, — предупредил Федор.

— Я знаю, — успокоил его Михаил Тимофеевич. — Так что же все-таки с Зайчиком? Боевой был командир. Его батальон первым завязал бои с противником, и довольно успешные бои.

— С Зайчиком все в порядке. А сержант умер в лагере. Нам с Зайчиком помогли уйти. Теперь он в безопасности.

Они покурили и вернулись в хату. Катя накрывала на стол. Ксения Кондратьевна, наверное, сидела возле дочки. Из-за перегородки слышен был ее убаюкивающий голос.

Катя подошла к Федору, положила ему руку на плечо:

— Ты прости, Федя, что так получилось. Мама у нас великий конспиратор. Михаил Тимофеевич — генерал, командовал 172-й Тульской дивизией, которая обороняла Могилев...

— Я бы тоже не отказался от такого дяди, — улыбнулся Федор. — А обиды тут не может быть. Ксения Кондратьевна права, — твердо сказал Федор, — сейчас даже самому близкому человеку и то...

Сели за стол. Михаил Тимофеевич сразу стал серьезным и задумчивым. Вышла из-за перегородки Ксения Кондратьевна.

— Спит. Ну, давайте ужинать, — предложила она. — Так ты, Федя, одобряешь мою осторожность?

— Безусловно, — ответил Федор. — Больше того. Я считаю, что дядя, который задерживается в гостях, тоже человек подозрительный. Особенно если учесть, что до войны о его существовании никто в деревне не знал.

— Да, да, — оживился Михаил Тимофеевич. — Мне бы найти связь с нужными людьми.

— У нас в деревне насчет этого глухо, — заметила Катя. — Уж я приложила все старания...

— Я и есть нужный человек, — улыбнулся Федор. — Пришел вот навестить родных, а потом опять в лес.

— Вы от партизан? — Михаил Тимофеевич не скрывал своей радости.

— Знаете, как вам обрадуются в лесу! — воскликнул Федор. — У нас самый опытный

командир — это Зайчик,

— Так он с вами? — Михаил Тимофеевич отложил вилку и встал из-за стола. — Ну, Федя, это просто здорово, что вы появились у нас. Это невероятно хорошо. А то от сознания, что ты стоишь в стороне, можно сойти с ума. Я и сам бы давно ушел, но куда? Один, как бродяга, от деревни до деревни? Нет, это отлично, что вы появились. Когда в обратный путь?

— Мне тут надо одно задание выполнить и тогда можно возвращаться...

Когда Федор встал из-за стола, Катя оделась и вышла его проводить. Она взяла его под руку, и они пошли по улице. Деревня словно вымерла. Ни огонька, ни голоса, ни скрипа калитки.

— Ты правду говорил о задании или просто так, чтоб не брать с собой Михаила Тимофеевича?

— Мне надо создать комсомольскую организацию, — прошептал Федор. — А я пока не знаю, что тут у вас и как с людьми.

— Помнишь шофера Николая? — спросила Катя. — До сих пор не может оправиться от ранения. Дома лежит. Вот тебе один комсомолец. Потом я — второй, потом Анисья Зотова — зоотехник, потом... — Катя задумалась. — Был один такой боевой паренек Венька Новиков, да ушел в полицаи...

— Рыжеватый такой с квадратным лицом?

— Точно.

— Значит, его я встретил, когда шел в деревню. Узнал он меня. А я вижу — что-то знакомое, а вспомнить не могу.

— Для начала уже неплохо... — сказала Катя,

— Где мы соберемся?

— Наверное, у Николая. Ходить ему трудно, а мы по твоему возвращению наладим вечеринку.

— Катюша, милая... — Федор остановился, и сердце его замерло от нахлынувшей нежности. — Спасибо, что ты есть на свете... Я не знаю, как бы я жил без тебя... — Он прижал к себе Катю и поцеловал.

Как и днем, в хате Федора, Катя не отвечала на его ласку. Стояла какая-то притихшая, слабая, и Федор боялся, что она опять горько расплчется.

— Что с тобой, Катя? — прошептал Федор. — Почему ты такая?

— Не знаю... Наверное, потому, что пытаюсь вспомнить Владимира. Прежде он стоял у меня перед глазами. А теперь нет. Я ругаю, проклинаю себя последними словами... плачу... а вспомнить не могу. Ты не обижайся, Федя, что я говорю о нем... Я нарочно... чтоб себя убедить, что любовь еще живет. Другой раз просто места себе не нахожу... Как ты можешь, говорю я себе, любить другого, когда у тебя был муж, когда у тебя ребенок от него... Я беру Аленушку на руки, пытаюсь в лице ее рассмотреть черты Владимира, и у меня ничего не получается.

— Ты сказала — другого? — с дрожью в голосе переспросил Федор. — Этот другой был первым, Катюша. И он с ума сходил оттого, что случилось. Он и до сих пор не понимает, что произошло тогда.

Катя положила голову на плечо Федора и молчала. Федор тоже молчал. Оба они словно ушли в прошлое, стали снова юными и беззаботными.

— Я это сделала назло, — вдруг сказала Катя. Федор замер.

— Да, да, назло всем. Девчонкам, которые помирили от зависти, классной и директору, которые считали меня глупым ребенком, тебе, который трусливо сбежал в день самого первого, пускай, детского свидания, когда в классе появилась техничка...

Федор весело рассмеялся. Он не мог сдержаться. Потому что радость, которую ждал он столько лет, пришла и заполнила его всего до краев. Она вырывалась веселым и безудержным смехом... Вот оно, пришло его время. И не надо писать записочек, не надо ходить в тревоге вокруг ее дома. Можно вот так прямо смотреть в ее повлажневшие глаза, целовать родное лицо.

— Только ты больше не плачь, Катюша... — просил Федор. — И не терзай себя. Жизнь нельзя остановить на каком-то определенном одном месте, чтобы, как на застывшую картину, смотреть на нее, отходить и возвращаться вновь...

— Я это понимаю... сердцем, а разум возмущается, потому что это несправедливо...

нельзя, чтобы жизнь была устроена таким образом. Любовь должна быть одна на всю жизнь, а не так, как у меня...

Ночь была беззвездной, холодной. Федор отогревал Катины руки в своих руках, целовал ее мягкие круглые пальцы. Они ходили по улице уснувшей деревни, потеряв счет времени, забыв обо всем на свете. Это были прежние Федор и Катя, которые случайно расстались на несколько лет, а потом снова встретились, чтобы уже никогда не расставаться...

... После того как Федор ушел с Зайчиком и сержантом в сторону Чаус, Нина жила как потерянная. Все у нее валилось из рук, по ночам она ворочалась в постели, не в силах сомкнуть глаз. Тревога, вошедшая в ее душу, не давала покоя. Нина рисовала самые страшные картины того, что может случиться в этой опасной дороге с Федором, и ругала себя, что так легко отпустила его из дому. Фронт, говорят, докатился до самой Москвы, и Федор с друзьями уже не догонят его. Возвращались же в их деревню некоторые из тех, кто принимал участие в обороне Могилева. Нина слышала даже, что в лесах появились первые партизаны. Значит, можно было воевать и здесь, а это для Федора было самым главным, и если бы он знал, он, конечно, остался бы.

Однажды утром мать сказала со вздохом:

— Ты бы не убивалась так... Молодая... Если все обойдется с войной, встретишь еще своего суженого.

— Не надо мне никого.

— Вот и хорошо. А я думала, что ты все по нем убиваешься. Недалеко ушел твой Федор с этим командиром. Недели две тому назад везли их немцы через деревню в машине.

— Что ж ты до сих пор молчала, мама?

— Не хотела тревожить. Да вижу — сходишь с ума.

— Ты это точно видела, мамочка?

— Вот как тебя. Сидят, головы поднять не могут. Там еще были пленные, а они сидели аккуратно с краю, рядом с конвойными.

— Я на Луполово пойду, — заторопилась Нина и стала собираться.

— Никуда не пойдешь, пока не поешь. И так уже сделалась — кожа да кости.

— Были бы кости, а мясо нарастет... — впервые за последнее время улыбнулась Нина и стала переодеваться.

— Ты не слишком старайся. Забыла, что не на свидание идешь? В городе солдатни много...

Торопливо перехватив отварной картошки с соленым огурцом, Нина нарезала хлеба с салом маленькими порциями и завернула все это в узелок, потому что в лагере, говорят, люди мрут от голода.

Она шла в своих мальчуковых ботинках по обочине пыльной разбитой дороги и представляла, как она сразу увидит Федю среди тысяч пленных, а он бросится к ней навстречу и будет плакать от радости, что она освободит его. Обязательно освободит. Это разрешается, если ты жена, мать или родственница. Зайчика и сержанта тоже, конечно, надо вывести на свободу, но это потом, позже. Они с Федором придумают, как это сделать. Федор вернется к ней, они свяжутся с партизанами, потому что он ни за что не будет сидеть сложа руки, и пойдут вместе в лес. Девушек, наверное, тоже принимают. Пусть только попробуют отказать. Идет война, и каждый, кто может держать оружие, должен бороться. А она не только может держать оружие, она еще и «ворошиловский стрелок», и если в отряде потребуют, она покажет значок и удостоверение к нему.

Нина вышла на перекресток дорог. Здесь главная улица Луполова поворачивала в сторону авторемонтного завода и дальше на Оршанское шоссе. Перекресток был на высотке, и пологое Луполово с его деревянными домишками, кое-где уцелевшими от пожара, просматривалось до самого Днепра. Но не эти домики привлекли внимание Нины. Весь огромный луг слева был огорожен колочей проволокой и заполнен людьми. Отсюда нельзя было различить отдельного человека — луг залило людское море то ли серого, то ли зеленого, то ли грязно-белого цвета. Это море колыхалось, двигалось, создавая причудливые волны, и на гребнях этих волн Нина явственно видела белые пенистые барашки.

Нине сперва стало холодно. Потом бросило в жар. Она поняла, что найти в этом море Федора было не только трудно, но почти невозможно. При этой мысли ею овладело отчаяние. Она почти бегом побежала по дощатому поломанному тротуару вдоль подслеповатых домиков, многие из которых были закрыты ставнями или просто забиты досками. Зачем? Чтобы ничего не видеть вокруг?

Нина остановилась и отдышалась. Чего она вдруг струсила? Ну и что ж, если в первый день она не найдет ни Федю, ни Зайчика, ни сержанта. Она придет еще раз и еще. Одним словом, будет ходить до тех пор, пока не обойдет весь этот страшный луг. А что, если уже поздно и умер от голода Федя и пропали его друзья? Мама видела их недели три назад. Ах мама, мама, как ты могла так долго молчать. Если бы сразу сказала, все, наверное, было бы хорошо. А теперь...

Нина с лихорадочно бьющимся сердцем подошла к главным воротам. Тут уже стояло несколько женщин из Быхова, Шклова, Круглого и окрестных деревень.

Вышел офицер и жестом показал, что разрешает войти на территорию лагеря. Нина проскочила первой, и то, что она увидела, привело ее в ужас. Большинство пленных было ранено. Одни могли передвигаться, другие лежали. От кровоточащих гниющих ран на лугу стоял удушливый запах. Нина спешила, заглядывала в незнакомые лица, но ни Федора, ни Зайчика среди них не было. Люди бросали жадные взгляды на ее узелок, просили:

— Девушка, родимая, кусочек хлеба...

Нина развязала узелок, и в мгновение ока дрожащие грязные пальцы расхватили хлеб и кусочки сала.

У колючей проволоки она увидела молодого командира. Он лежал на спине и отсутствующим взглядом смотрел в высокое голубое небо. Рука его от запястья до плеча была забинтована. Рядом с ним сидел пожилой, раненный в ногу красноармеец, молча обхватив голову руками. Заметив Нину, пожилой поднял голову и слабым голосом сказал:

— Друг умирает. От голода...

— Я все раздала... — растерянно произнесла Нина и тряхнула пустым платочком.

— Жаль... — Пожилой снова обхватил голову и молча посмотрел на своего товарища.

— Вы не видели здесь такого чернявого, коренастого в гражданском костюме и стеганке? — спросила Нина.

— Эх, милая, — вздохнул пожилой, — ты посмотри, сколько народу здесь. Разве запомнишь твоего чернявого?

— Федором его зовут.

— А ты не молчи. Чего ты ходишь и молчишь? Кричи о своем горе так, чтобы всем было слышно. Зови своего чернявого. — Федя! — негромко позвала Нина.

Пленные, что были рядом, даже не повернулись на этот голос.

— Федя-я! — уже громче крикнула Нина.

— Вот так, — тихо сказал пожилой. — Ходи и кричи. Ходи и кричи. Авось услышит.

Нина возвращалась домой уставшая и подавленная. Никогда в жизни она не видела ничего подобного, никогда не могла предположить, что такое вообще возможно. Мысль о Федоре тревожила, как ноющая рана. Но кроме него тут были еще люди, тысячи людей, и Нина думала — можно ли помочь всем им, попавшим в беду.

Увидев ее, мать не стала спрашивать. Нина прошла в спальню и, не раздеваясь, легла на койку. Лежала долго, закрыв глаза, а перед нею все мелькали и мелькали лица, давно небритые и совсем юные, искаженные болью и недоумением, безразличные и обозленные, гневные и жаждущие борьбы.

— Мама! — позвала она. — Если бы ты видела, что там в лагере творится!

— Не нашла? — Мать присела на край койки.

— Пока нет. Ты мне завтра дай холщовый мешочек, помнишь, в котором я учебники носила, и напеки картошки.

— Всех не накормишь, доченька.

— Не одна я хожу в лагерь. Там много женщин, и каждая что-нибудь да принесет...

Назавтра Нина начала окликать Федора от самых ворот. Она ходила, звала, а сама искала глазами вчерашнего пожилого пленного, который сидел возле умиравшего товарища. Кажется,

это было здесь, у самой проволоки. Она походила кругом, но не увидела ни пожилого красноармейца, ни командира, который лежал тут на спине и смотрел безучастно в небо.

Она раздавала печеную картошку, окликала Федора, но никто не оборачивался на ее зов. Она ходила долго. Так долго, что потеряла счет времени и потеряла надежду. Ходила уже просто так, чтобы не оставалось сомнений, чтобы убедиться в том, что Федора в лагере не было.

Сложные чувства овладели Ниной, когда она вышла за ворота, оплетенные колючей проволокой. Первым было чувство радости, что Федора не оказалось среди людей, обреченных на медленную смерть. Если мама не ошиблась и действительно видела в машине Федора, значит, его увезли не в лагерь, а куда-нибудь в другое место. А если его расстреляли? Могли ведь и расстрелять, а она, глупая, надеялась. Ноги ее подкосились, и она опустилась на грязную запыленную скамеечку у какого-то дома, на которой уже давно никто не сидел. Нет, мысль о расстреле пришла от страха за Федора. Не могли они везти его в город для этой цели. Конечно, не могли. Нина слыхала, что на расстрел возили в Польшковичи.

Она встала, отряхнула с пальтишка пыль и побрела. Мало ли что могло случиться. Есть еще больница, есть госпиталь для военнопленных на Виленской. Но это завтра, потому что сегодня кружится голова, отнимаются ноги, все тело стало свинцовым, не своим...

В больнице Нина нашла регистратуру. У окошка сидела худощавая женщина средних лет в роговых очках с толстыми стеклами. Нина объяснила, что ищет человека, который мог попасть в больницу не позже чем месяц тому назад. Назвала фамилию, имя и отчество.

Женщина взяла в руки толстую книгу, поднесла ее к самым очкам.

— Вот времечко пришло, — ворчала она. — Все ищут. То родных, то знакомых. Все сразу потерялись, как маленькие дети в большом городе...

— Вы на меня не обижайтесь, пожалуйста, — попросила Нина.

— Я не обижаюсь. Я жалуюсь... — Она просмотрела список и покачала головой. — Таковой, милая, не поступал. Нет такой фамилии в нашей книге.

— А может, он был раньше чем месяц назад? — усомнилась Нина.

— Может... может... — добродушно проворчала женщина и снова взялась за книгу.

Нина переступала с ноги на ногу, нетерпеливо наблюдая за регистраторшей. А она медленно переворачивала страницу за страницей, и Нине казалось, что этому перелистыванию не будет конца.

— И за два месяца не поступал этот твой Федор Михайлович, — вздохнула регистраторша. — Он гражданский у тебя?

— Не совсем, — ответила Нина. — Ополченец. Мама видела его недели три назад в машине с военнопленными.

— Так что ты мне голову морочишь? В нашей больнице только штатские, а военнопленного ищи на Луполове...

— Нет его там, — грустно сказала Нина.

— Ты поищи хорошенько. Там народу как во всем довоенном Могилеве.

— Весь лагерь обошла.

— Тогда посмотри в госпитале на Виленской. Если и там нет, значит, твой Федор Михайлович нашел другую родню.

— Как это?

— Кто-то признал его за брата или мужа или...

— Вы советуете на Виленскую? — не дала договорить регистраторше Нина.

— Гуляет где-то твой Федор... — ехидно улыбнулась регистраторша.

Нина вспыхнула, но ничего не сказала. Она прошла по Пожарному переулку, пересекла Первомайскую и спустилась на Виленскую. «Конечно, — думала она, — если была какая-нибудь возможность уйти из лагеря, Федор использовал ее. Не такой он человек, чтобы ждать у моря погоды. А что в словах регистраторши прозвучали нотки иронии, так что же? Главное, чтобы Федя жив был, а остальное...» Нина спустилась к мостику через Дубровенку, потом поднялась по улице вверх и вскоре увидела по левую руку утопающие в зелени дома, обрамленные высоким кирпичным забором с переплетами железных прутьев. До войны тут был гарнизонный госпиталь.

У проходной Нина увидела немца и полицейского. Они курили и над чем-то весело смеялись. Полицейский жестами дополнял свой рассказ, хохотал сам, а за ним смеялся солдат.

Нину в госпиталь не пустили. Полицейский, с безбровым пропитым лицом, на котором топорщились совсем реденькие усики, выслушал Нину, затянулся табачным дымом и сплюнул себе под ноги.

— Не будет тут твоего родственника, если он заболел или ранен недавно. Тут лежат с тех пор, как красные удрали. А твой, выходит, новенький. Нету здесь таких...

Круг замкнулся. Нина повернулась и медленно побрела обратно.

... Несколько дней она помогала матери убирать огород. Приближались заморозки. Когда подули холодные декабрьские ветры, Нина стала собираться в путь.

— Ты куда, доченька? Говорила ж, больше в город не пойдешь...

— А я в его деревню, мама.

— Ты с ума сошла?

— Родители, видно, давно его похоронили, А он у нас был. Должна я им все рассказать.

Мать поняла эту несложную хитрость Нины.

— Как хочешь, а в Барсуки не пушу. Ты сама подумай — близкий свет — верст сорок с гаком. Мало ли что может случиться в дороге. Нет, как хочешь, в Барсуки не пушу. Вот мое последнее материнское слово.

— Я пойду, мама, — твердо сказала Нина,

— Нет, не пойдешь.

— Пойду. Я не могу не пойти.

— Доченька...

— Пойми, а если бы я пропала вот так. Легко тебе было бы? А я им весточку принесу.

— Да не сворачивай ты на родителей... — уже мягче сказала мать. — Все равно не пушу.

Нина обняла мать, прижалась щекой к ее щеке:

— Мамочка, что хочешь со мной делай, — нету мне жизни без Федора. Дай испытаю последнюю надежду — авось дома что-нибудь про него знают...

Мать промолчала. Нина почувствовала, как по щеке ее скатилась слеза. Нина легонько отстранила мать, посмотрела в ее влажные глаза и поцеловала:

— Спасибо тебе, миленькая, родненькая, я знаю, что ты хочешь мне только добра...

Собирались в хате Николая. Опираясь на костыль, он ходил вокруг стола, на который мать выставила квашеную капусту, огурцы, хлеб, две бутылки самогона.

— Слухай, Федя, я думаю, что для разговора стол подходящий, як у людей...

Федор сидел у окна и ожидал Катю.

— Сколько же нас будет? — переспросил он Николая.

— Небогато, — вздохнул Николай. — Как говорится, ты да я да мы с тобой... Ну, Катя и еще моя двоюродная сестренка Степанида. Зоотехничка в Могилеве у родственников. Для начала хватит. А там присмотримся — и еще кого-нибудь примем... Вот, к примеру, в соседнем Заозерье молодежи в два раза больше, чем у нас.

— Ты считаешь, что организацию надо было создавать там?

— И там... Но это уже не твоя забота. — Николай сел рядом и свернул сигарку. — Они ж в нашу школу бегали. Мы их знаем и они нас. Там один такой хлопец есть — сорвиголова. Рискованный. Да ты должен его знать — Новиков... Кажись, вы учились с ним в одном классе?

— Так он же полицай.

— Слухай, с него полицай, как из меня китайский император. Приехал как-то ко мне с повязкой на рукаве, с винтовкой на плече и шепчет — ты меня не бойся, я бобиком не стал, просто пошел в глубокую разведку и буду знать — где, что и для чего...

Мать принесла из кладовки кусочек сала и положила на блюде.

— Сало сами порежете, а бульба в печке. Пойду к соседке, посижу трохи...

Потом пришла Степанида. Маленькая, кругленькая, усыпанная веснушками. Она широко улыбнулась и подала Федору маленькую жесткую руку:

— Сколько зим, сколько лет.

— А ты все не растешь? — ответил на улыбку Федор.

— Николай за всю родню вытянулся, как телеграфный столб...

Пришла Катя, запахнувшись в демисезонное пальто. У порога она сняла пальто, и Федор увидел ее в незнакомом нарядном платье с длинными рукавами и маленьким стоячим воротничком. Платье облегалo стройную Катину фигуру и очень было ей к лицу. Поймав на себе взгляд Федора, Катя слегка смутилась и поспешила сесть.

— Слухай, Степанида, будь за хозяйку, — попросил Николай. — Порежь вот это сало, да в печке бульба тушеная. Давай ее немедленно на стол.

— На ночь столько еды? — улыбнулась Катя.

— До ночи еще далеко. А на голодный живот какой разговор. Да и встречу со стажером надо обмыть. Это сколько мы с тобой не виделись, Федор? Ты с того свету, да я с того свету... Вот и считай — целую вечность.

Катя помогла Степаниде управиться с картошкой и салом, поставила на стол граненые стаканы. Федор понемногу налил каждому из поллитровой бутылки.

— Николай прав. Давайте сперва за встречу. Ее могло и не быть, — он мельком глянул на задумчивую Катю, — но, видно, везучие пока что мы...

Поели горячей картошки с соленым огурцом. Николай опять потянулся к бутылке.

— Нет, — придержал его Федор. — Теперь займемся делом. Начну с того, что пришел я к вам по направлению райкома партии, чтоб создать комсомольскую организацию.

Степанида посмотрела на Федора широко открытыми глазами. Веснушки на ее лице собрались еще гуще.

— Я что-то не пойму... Немцы уже в Москве и Ленинграде, а ты говоришь — райком...

— Брехня, — отрезал Федор. — Все это брехня. Я знаю последние сводки — под Ленинградом они завязли, как черт в болоте, под Москвой наши ведут жестокие оборонительные бои. Скоро положение изменится. А им выгодно запугать — чтобы никто не посмел поднять головы. Во всех захваченных врагом районах живут и работают подпольные партийные и комсомольские организации. Они делают все для того, чтобы приблизить нашу победу, — срывают заготовки продуктов, карают предателей, создают партизанские отряды, одним словом, действуют. А у вас тут тишь да гладь. Конечно, три комсомольца на всю деревню — это почти ничего, но если каждый возьмет на себя смелость привести в организацию несколько надежных парней и девчат — это уже будет сила, с которой придется считаться.

— А я думаю тоже идти в партизаны, — сказал Николай.

Федор снисходительно улыбнулся: — Чудак человек, подпольная комсомольская организация — это и есть партизаны. Они должны быть вооружены, тайно выходить на задания, а жить в деревне, среди своих...

В хате стало смеркаться. Николай встал, чиркнул спичкой, поднес к лампе, что висела над столом. Лампа зашаталась, и причудливые тени запрыгали по стене.

— Слухай, Степанида, завесь окна от любопытного глаза, — попросил Николай. Степанида встала из-за стола, подошла к окну и тихо простонала:

— Ой, кажется, до нас полицай.

— А ты чего испугалась? — спокойно сказал Федор, нащупывая в кармане пистолет. — У нас просто вечеринка.

Не успела Степанида завесить окно, как дверь отворилась и вошел Новиков.

— Добрый вечер в хату, — сказал он и широко улыбнулся. — Примите в компанию. — Он поставил в угол винтовку, снял шапку и повесил ее у порога.

— Проходи, садись, гостем будешь, — пригласил Николай. — Степанида, належ хлопцу штрафную.

— Штрафная не мне, а вам, — без тени улыбки сказал Новиков. — Вы тут разговоры разговариваете, а Кузьма Кузьмич наострил лыжи в город.

— Ну и что? — спокойно спросил Николай. Новиков выпил полстакана, звучно закусил огурцом!

— Сколько я за ним присматриваю — он почти никогда в город не отлучается, а сегодня против ночи на подводе укатил. Я ехал верхом и перегородил ему дорогу.

— Что случилось? — спрашиваю, а он, хитрая такая лиса, никогда правду не скажет, хоть мы с ним и в одной шкуре сейчас. — Хочу, говорит, с утра на Быховский рынок попасть,

выменять кой-какой одежонки. За кусок хлеба, говорят, можно целый костюм шевиотовый купить. Я, конечно, не верю, но поворачиваю коня и уступаю ему дорогу. Как бы не надумал чего этот Кузьма Кузьмич.

— Что это ты такой осторожный стал? — спросил Николай. — Я Кузьмича тоже не первый год знаю. Побойтся он против своих односельчан пойти.

— А может, он выполняет приказ. Тут он лоб расшибет, потому что побойтся не выполнить.

— Черт его знает... — усомнился Николай.

— А ты меня не признал, — обратился к Федору Новиков.

— Вижу, будто знакомый, — улыбнулся Федор, — а посмотрел на повязку твою и сразу забыл; что в одной школе учились.

— О повязке в другой раз, — нахмурился Новиков. — Я соображаю, что тебе, Федор, и этому Катиному дядьке надо быстрее сматывать удочки.

— Федор вернулся в родительский дом, а у дяди никого не осталось, — вмешалась Катя. — От этого новой власти никакого вреда.

— Я высказался... — Новиков встал из-за стола, поправил ремни па куртке немецкого покроя. — А вы продолжайте прения. Может, все-таки укрыться на время? — Он надел шапку, взял в углу винтовку и тихо прикрыл за собой дверь.

В хате наступило напряженное молчание. Первым нарушил его Николай..

— Ну, что скажете?

— Бобик, — заключила Степанида. — Виляет и нашим и вашим.

Катя молчала.

— Я помню, что этот Новиков был неглупым парнем, — сказал Федор. — И, видно, есть у него какие-то основания, если он пришел с предупреждением.

— Видно, есть, — согласился Николай. — Ну, давайте кончать нашу сходку,

— Я предлагаю, — сказал Федор, — избрать секретарем комсомольской организации нашей деревни Николая.

Кто против? Никого. Вот и хорошо... Уже у порога Николай посоветовал!

— Слухай, Федя, ты подумай про то, что говорил Новиков. Может, и правда махнешь куда-нибудь?

— А я разве зимовать собрался? — улыбнулся Федор. — У меня в районе деревень много.

Торопливо простилась Степанида. Федор и Катя взялись за руки и пошли по улице.

— Меня больше всего беспокоит, — сказала Катя, — что Михаил Тимофеевич вызывает подозрение. Не верят люди в наши родственные связи. А этот Кузьма Кузьмич одно время так зачистил, что мы с мамой не на шутку переполошились.

— Вот что, Катюша, — Федор крепко сжал Катину руку. — Утром я уведу Михаила Тимофеевича в отряд...

Подошли к дому Кати.

— Знаешь что, — предложила Катя, — давай пойдем в амбар и откопаем его документы.

Ворота были не заперты. Катя тихонько приоткрыла половину, придержала ее, и они проскользнули в середину без стука и скрипа. Запах сена и соломы напомнил аромат горячего осеннего поля. Катя попросила спички, зажгла висящий в углу фонарь, прикрутила фитиль на самый слабый огонек.

— Вот здесь Михаил Тимофеевич лежал около месяца. Мы думали, что не выживет, — она подала Федору лопату и указала место, где рыть.

Ящичек с документами оказался близко, на глубину лопаты. Федор достал сверток, подошел к фонарю, развернул.

— Тут вот партийный билет, — сказала Катя, — потом пропуск в наркомат обороны, удостоверение личности, а вот это медаль «XX лет РККА»...

— Ты возьми это домой, — попросил Федор, — а утром отдашь генералу... Гаси свой фонарь.

Катя подняла стекло, дунула на маленькое колеблющееся пламя. В амбаре стало темно и тихо. Эта тишина была какой-то таинственной и тревожной. Катя поймала в темноте Федину руку:

— Значит, опять прощаться?'

— Почему — прощаться? Не люблю я этого слова, просто терпеть не могу. Если мы уж пережили бои за Могилев, то теперь нас никакой черт не возьмет. И мы с тобой будем видеться чаще, чем ты думаешь. Во время походов по району я обязательно буду заглядывать сюда. Обязательно... потому что теперь... теперь мы не должны никогда разлучаться...

— Молчи... — прошептала Катя. Она закрыла его рот долгим и жарким поцелуем. Федор почувствовал, как ее тело обмякло у него на руках. Он поднял Катю и осторожно опустил на ворох свежей соломы. Губы их снова слились в поцелуе.

— Феденька... — жарко прижималась к нему Катя. — Прости меня, глупую... за все прости... родной мой...

Федя не мог говорить. Он задышался от нахлынувшего счастья. Дождался наконец, что Катя пожалела, что девчонкой убежала от него на Дальний Восток, надеясь, что юношеская любовь позабудется, как забываются многие детские привязанности. Не знала она, что первое чувство бывает и последним, которым живут всю жизнь...

Катя спохватилась, когда где-то по соседству громко пропел петух.

— Господи, — прошептала она, — мы с ума сошли, Федя. Домой, немедленно домой. А то мама подумает, что...

— И пусть думает, и пусть знает... — сказал Федор, помогая Кате подняться. — Я даже очень хочу, чтоб она знала, Я сам пойду и скажу, что ты и Аленушка будете жить в моем доме, потому что жена не может жить отдельно от мужа...

— Ах ты мой чернявенький, — тихо засмеялась Катя. — Не спеши. Придешь в следующий раз, и мы обязательно скажем маме...

Они вышли за ворота. Федор проводил Катю к дому и крепко обнял ее на крыльце.

— До свидания, — прошептала Катя, — До завтра, Ты рано зайдешь к нам?

— Рано, — пообещал Федор,

Катя неслышно открыла дверь и юркнула в хату...

Длинные декабрьские ночи. Мать разбудила Федора, когда на ходиках было восемь часов утра, а на дворе царил темень. Федор хотел сразу же идти к Михаилу Тимофеевичу, но мать упрекнула, что он не предупредил ее и она не успела собрать на дорогу и продукты и зимние вещи — в лесу не в гостях.

Федор послушался матери и, пока она возилась в чулане, лежал на кровати и думал. Думал о себе и о Кате. Может быть, ей тоже не следует оставаться в деревне. Если Кузьма Кузьмич что-нибудь узнает о генерале, ей несдобровать. А Ксению Кондратьевну с малым ребенком никто не тронет. В лагере Кате нашлась бы работа. Может быть, Устин Адамович посылал бы их на задание вдвоем...

Мать поставила на стол дымящуюся паром картошку прямо в чугушке и сковороду яичницы. Федор умылся, сел за стол и услышал на улице топот ног и голоса. Кто-то торопился, почти бежал, а голосов разобрать нельзя было.

Федор вскочил из-за стола, набросил стеганку, выхватил из кармана пистолет.

— Сыночек, спрячь оружие, ради бога. Если немцы — сейчас у тебя никакой вины. Живешь дома, у матери. Ты ж не командир и даже не красноармеец.

В дверь сильно постучали. Конечно, не деревенские, не свои. Федор сбросил стеганку, снова сел за стол, хотя есть совсем не хотелось.

Мать вышла в сени, чтобы открыть, и тут же ее грубо втокнули в хату. У порога стояли гитлеровцы с автоматами наготове. Вошел офицер, высокий, стройный, в черной кожаной куртке с погонами, сверкающих хромовых сапогах, брюках навыпуск. На чистом русском языке спросил:

— Мы не ошиблись адресом? Вы Федор Михайлович Осмоловский, а это ваша мать?

— Точно, — подтвердил Федор и встал из-за стола. — А в чем дело?

— Выходите. Оба.

Федор хотел было набросить стеганку, но офицер предупредил:

— Одежда не понадобится.

Их вывели с матерью на улицу. Светало, и Федор видел, как по всей деревне из хаты в хату шныряли гитлеровцы, видел, что у Катиного дома собралась толпа. Их подвели ближе, и

сердце Федора екнуло — у стены амбара стояла совершенно босая Катя с Аленушкой на руках. Ксения Кондратьевна, рыдая, висела у нее на плече. В стороне, опустив голову, стоял под охраной Михаил Тимофеевич.

Федора и мать толкнули к стене амбара. И вдруг стало совсем светло, словно вспыхнуло солнце, осветив улицу деревни, по которой солдаты вели под конвоем людей, сюда, к Федору и Кате, и строгий строй автоматчиков напротив амбара. Только небо почему-то стало не светлым, а темным. Федор посмотрел туда, откуда шел этот яркий свет — горел его дом. Мать тоже увидела пожар и, обняв Федора, запричитала:

— Сыночек мой родненький, что ж это с нами будет...

Катя молчала, крепко прижимая одной рукой Аленушку. Казалось, девочка еще спала. Федор взял Катю за руку и тихонько пожал ее. Не выпуская руки Федора, Катя отвечала мелким дрожащим пожатием. К амбару все шел и шел народ, а руки Кати и Федора торопились сообщить друг другу самое важное, самое заветное, потому что можно не успеть, потому что вон уже загорелся и Катин дом, и от этого света режет глаза и горло сжимается тугим узлом от горького дыма...

Нина не думала, что родная деревня Федора так далеко от нее. Боясь, что ночь застанет ее где-нибудь в лесу или в поле, Нина попросилась на ночь в ближайшей деревне, а раненько, чуть свет, спросив у хозяев дорогу на

Барсуки, встала и пошла. Ей сказали, что тут недалеко, километра четыре или все шесть, и теперь эту малость она пройдет быстро и ранним утром будет в Барсуках.

Кажется, ночью был ядреный морозец, и каблучки Нины стучали по твердой земле. В лощинках белел, словно осевший туман, иней. Она шла и чувствовала, как нарастает в ней беспокойство. А что, если Федора нету и дома? А что, если... она не хотела думать об этом, она не могла даже представить себе, что с ним может случиться что-то страшное. Она зашагала быстрее, а сердце стучало яростно и тревожно.

Нина вышла на опушку леса. Отсюда, далеко внизу, у маленькой речушки, виделось село. И — что такое? Один из домов вдруг вспыхнул ярким пламенем, словно его подожгли одновременно со всех сторон. А люди, наверное, не знают или еще спят?...

Нина бросилась вниз по дороге. Ей казалось, что если она успеет, дом еще можно спасти. Она была уверена, что пожар — это глупая случайность, что кто-то чего-то недоглядел и вот теперь останется без крова.

На околице деревни она поняла, что ошиблась. Вот подожгли и еще один дом. Ей бы лучше всего повернуться и подальше бежать отсюда, но какая-то непреодолимая сила тянула ее туда, где большим полукольцом стояли, освещенные пожаром, люди, где виднелся строй гитлеровцев, вооруженных автоматами.

Она подошла еще ближе и чуть не упала от страха и боли — у стены амбара стоял Федор в одной сорочке с расстегнутым воротом. Стоял и смотрел прямо перед собой, как будто хотел обязательно увидеть кого-то в толпе. Рядом была молодая женщина или девушка с ребенком на руках.

Нина прошла мимо солдата, топтавшегося позади людей, пробилась сквозь толпу вперед, и остановилась рядом с высоким парнем, который опирался на костыль.

— Федя, родной, я здесь! — хотела крикнуть Нина, но в горле пересохло и язык онемел во рту. Она поднялась на цыпочки, чтобы поймать взгляд Федора, но он смотрел куда-то выше ее, и Нина чуть не плакала от обиды.

На освещенную площадку вышел офицер и объявил, что за укрытие от германских властей советского генерала виновные будут казнены. Он даже не назвал ни одного имени, ни одной фамилии. По команде офицера из строя вышло несколько солдат. В это время громко расплакался ребенок на руках у девушки, которая стояла рядом с Федором. Расплакался так громко, что мороз пробежал по коже. Словно плачем своим хотел остановить карателей.

Офицер оглянулся на толпу и недовольно приказал:

— Возьмите кто-нибудь ребенка!

Нина испугалась, что люди опередят ее. Она выскочила из толпы и подбежала к девушке,

— Ты?! — спокойно удивился Федор.

— Я... — ответила Нина дрожащим голосом,

— Берегите Аленушку... — попросила чуть слышно Катя.

— Прощайте... прощайте... прощай... — не спуская глаз с Федора, Нина, пятясь, отошла в толпу...

Федор повернулся к Кате, но услышал громкую команду офицера и тяжелый удар в грудь. Он упал, но сознание еще не покинуло его. Цепляясь непослушными пальцами за бревенчатую стену амбара, он поднялся и тяжелым взглядом посмотрел вокруг.

Федор хотел сказать людям, что стояли и плакали, сказать Нине, Николаю, молодому полицая Новикову, который держался рядом с перепуганным Кузьмичом, что все равно скоро наступит день победы и Красная Армия отомстит за их смерть, но не успел.

Прозвучала автоматная очередь, и все потонуло в багровом тумане.

Глава восьмая ПРОЩАЙТЕ, ЛЮБИМЫЕ

Укрытие, оборудованное на сеновале Данутой, показалось Ивану роскошью. В него вел узкий ход, а дальше Данута так выкубла сено, что образовалось уютное и просторное логово. Тут можно было даже сидеть. Единственное неудобство — темнота. Она постоянно окружала Ивана, и трудно было сказать, когда наступала ночь, когда приходил день. Правда, день можно было отличить по тому, что в норе появлялась Данута и приносила поесть.

Иван не помнит, когда он почувствовал, что в укрытии стало слишком жарко. Казалось, сено кругом раскалилось и до него было больно дотронуться. Он перестал прислушиваться к тому, что происходило за стеной гумна, — тяжелый горячечный сон снова навалился на него. В этом сне он снова видел себя убегающим из эшелона пленных, и снова его мучила жажда, которую нельзя было утолить тугим горячим снегом. Он никак не мог понять, почему снег из холодного стал горячим, и разрывал сугробы поглубже, надеясь, что на глубине он найдет желанный холод. Но холода не было, а пальцы, которыми он рылся в сугробе, нестерпимо болели, и эта боль проникала, как по проводам, во все тело.

Ему начинало казаться, что укрытие, приготовленное Данутой, вдруг обвалилось и сено всей массой упало на него. Он искал выхода из своей норы, но никак не мог найти.

Потом он услышал голоса — один был знакомый, кажется, голос Дануты, другой басовитый, мужской. Он не мог понять, о чем говорили они, только запомнил слова, которые повторял мужской голос:

— Тут ему будут концы...

«Про кого это? — силился думать Иван. — Неужели про меня?» Он хотел проснуться, открыть глаза и сказать человеку с басовитым голосом, что смерть уже позади, а теперь он еще поборется. Вот только бы проснуться и уйти от этого палящего зноя.

Потом ему казалось, что его несли и кто-то больно держал за руки, к которым и без того нельзя было прикоснуться. На этом его страшный сон закончился, и он больше ничего не помнил...

Очнулся оттого, что где-то рядом звенел чугунок, в который засыпали что-то — то ли фасоль, то ли горох. Сначала он подумал, что это ему снится, и продолжал лежать с закрытыми глазами. Потом с трудом открыл глаза — чугунок звенел совсем близко. Этот звон был знакомым с самого детства. Мать, бывало, готовилась ставить чугунок с фасолью в печь, а Ваня крутился рядом, наблюдая за тем, как белые, желтые, красные, розовые фасолинки сыпались, позванивая о металл.

Он не понял, где находится. С одной стороны возвышалась побеленная стена русской печи, с другой почерневшие, неоштукатуренные бревна, наверху тоже черный закопченный потолок с массивными балками, а у ног была пестрая занавеска, как раз на уровне печи.

Иван молчал, прислушиваясь к себе и к тому, что происходило за занавеской. Ему было хорошо и покойно. Только когда поворачивал голову, как-то странно покачивалась печь и валилась набок бревенчатая стена. Тогда он решил лежать неподвижно и смотреть на балку, которая блестела, как отполированная.

На балке Иван заметил черного усатого таракана, тоже своего старого знакомого. Иван даже улыбнулся — у них в доме была пропасть этих беспокойных усатиков. Забравшись на печку, Иван и Виталик ловили их и прятали в спичечный коробок, а они там шуршали так, что слышно было на всю хату.

Таракан просеменил по балке, потом остановился, опустил усики вниз, словно присматриваясь к Ивану, и снова заторопился вперед за печь, где, наверное, ему было так же хорошо и уютно, как Ивану.

За занавеской стучали ухватом, скребли кочережкой — мать Дануты, наверное, кончает топить печь, сгребая в одну сторону угли, освобождая место для чугунков.

Звякнула щеколда — открылась и закрылась дверь в хату.

— Войт приказал сдавать теплые вещи для германцев, — сказала Данута, раздеваясь у порога.

— Каб ён задушыўся разам з германцам! — громко сказала мать и со звоном закрыла заслонку печи.

— Тише вы, мама...

— Чаму я у сваёй хаце павінна сядзець, як мыш пад венікам?

— Больной у нас.

— Лічы, што яго няма. Без прытомнасці амаль тыдзень. Клопату будзе хаваць яго сярод зімы.

— Мама...

— Ты што, сама не бачыш, што ён памірае. Шкада, што такі малады... А гэтаму войту дулю пад нос, а не цёплыя рэчы для германца. Выхваляліся, што да зімы Маскву захопяць, аж трасцу... Абагрэць іх трэба, каб іх грэла на тым свеце...

Иван слушал и улыбался. А когда ему захотелось что-то сказать и Дануте и матери, он вдруг закашлялся долгим удушливым кашлем, от которого что-то хрипело и булькало в груди.

Данута порывисто отдернула занавеску, подбежала к Ивану, подняла его голову, поднесла кружку с водой.

Иван сделал несколько глотков и успокоился. Он смотрел на Дануту, на ее живое лицо, толстые косы, спадающие на плечи, на морщинки, собравшиеся на переносице, и улыбался краешком губ.

— Дышишь? — спросила Данута.

— Дышу... — прошептал Иван.

— Мама, а он почувствовал нам с тобой. Знаешь, как тяжело было бы долбать мерзлую землю... — Данута широко улыбнулась и крикнула матери: — Живой!...

— Ну, то дзякуй богу, — сказала мать, подошла и встала рядом с Данутой. — А то у нас сэрца не на месцы. Кожны дзень чакаем, што прыйдуць і знойдуць цябе...

Поздним вечером с помощью Дануты Иван снова перебрался в свое укрытие. Данута оставила ему маленький кувшинчик с молоком, небольшой кусочек хлеба и ушла.

Впервые за много дней, оставшись один, Иван мог холодным разумом подумать о себе. Ну, хорошо, нашлись добрые люди и приютили. Больше того, вернули его к жизни, каждый день рискуя собой. А что дальше? Сколько можно сидеть на шее двух одиноких женщин, которым, конечно, нелегко самим в это трудное время. Нет, он не задержится здесь. Вот только поговорит с Данутой, может быть, она что-нибудь знает о партизанах. Вдруг пленные, бежавшие с эшелона, собрались в отряд? Теперь главное — поскорее набраться сил, а что касается одежды, которой снабдила его Данута, в ней можно зимовать и в землянке и на сеновале. Под стареньким, но еще крепким кожушком было тепло и уютно, а в ватных брюках и валенках можно было лежать прямо на снегу. Главное, скорее окрепнуть, потому что стоит резко повернуть головой, как перед глазами все начинает вертеться.

Он взял кувшинчик с молоком, откусил крошку хлеба, разжевал ее, почувствовал приятный кисловато-сладкий вкус и запил глотком молока. Даже если не хочется, он будет есть. Так надо. Не лежать же ему в этой норе до тех пор, пока придут сюда наступающие части Красной Армии. Что он, комсомолец, скажет командованию, как посмотрит в глаза своим товарищам? Они там, наверное, делают большие настоящие дела, а ты...

Он спал крепко, без сновидений. Проснулся оттого, что почувствовал, как чья-то рука

приглаживает ему волосы. Он открыл глаза и увидел рядом с собой Дануту. В укрытии было тесновато вдвоем. Данута сидела, прижавшись к мягкой стене норы, и улыбалась. Это хорошо видел Иван, потому что вход в укрытие, который Данута обычно забрасывала сеном, сейчас был открыт и оттуда, снаружи, пробивался солнечный свет.

— Уже скоро одиннадцать утра, а ты все спишь... — мягко пожурела она и опять улыбнулась.

— Я хотел с тобой поговорить. — Иван сел и снова закашлялся. Только сегодня кашель был не таким сухим, как вчера. — Я хотел поговорить с тобой, — продолжал Иван.

— Ты мне хочешь признаться в любви? — прикинулась Данута, и озорные искорки сверкнули в ее глазах.

— Я с тобой серьезно, а ты...

— Я тоже серьезно... — улыбалась Данута.

— Ты, конечно, понимаешь, что я у вас долго не задержусь... — нахмурился Иван.

— А мы тебя не гоним, — обиделась Данута.

— Спасибо вам за все. И тебе и маме. Я не могу отсиживаться, когда наши бьются не на жизнь, а на смерть... Может быть, ты что-нибудь узнаешь о партизанах?

— Во-первых, — загнув один палец на руке, сказала Данута, — ты еще совсем хворый. И какая от тебя будет польза Красной Армии — не знаю. Во-вторых, — она загнула еще один палец, — чтобы разобраться у нас что к чему — надо пуд соли съесть. Каких только отрядов нету. Как связаться и с кем? Попадешь из огня да в полымя.

— Во сне или наяву слышал я мужской голос, — сказал Иван. — Кто это был?

— Фельдшер наш. Добрый такой, пожилой уже человек.

— А он с кем?

— Кто его знает, — пожала плечами Данута. — Слыхала, к нему недавно аковцы привозили своего раненого и он лежал у него в медпункте. Мы так боялись приглашать его, но он ничего... помог и никому не сказал.

— Ты уверена?

— Я так думаю. — Данута подала Ивану сырое яйцо, кусочек хлеба. — Съешь.

— Не откажусь.

— От сырого больше пользы.

Иван выпил яйцо, закусил хлебом и, почувствовав внезапную слабость, прилег. На лбу выступил холодный пот.

Данута вынула из рукава плюшевого жакета носовой платочек и стала легким прикосновением вытирать лицо Ивана.

— Эх, ты, партизан... — тихонько говорила она. — Даже сидеть сил не хватает, а он в отряд рвется...

Иван молчал. От носового платочка Дануты исходил освежающий приятный запах не то выстиранного белья, не то знакомых с детства каких-то трав. Он придержал руку Дануты на лице. После долгого молчания Данута спросила.

— Ты женатый?

— Нет, конечно... — смутился Иван.

— А лет сколько?

— Двадцать два.

— По виду старик. Я думала, тебе все тридцать. Иван провел рукой по небритым щекам, по бородке, колючей и жесткой, которая успела вырасти за это время, и усмехнулся.

— В этой берлоге совсем зарастешь...

— А девушка у тебя есть? — продолжала свой озорной допрос Данута.

Иван помолчал и глухо ответил:

— Была.

— Ты бросил ее, да?

— Нет.

— Она тебя?

— Нет, Данута. Совсем не то. Погибла она... — Иван снова замолчал.

Молчала и Данута. Озорные огоньки погасли в ее глазах. Она тоже задумалась и

положила руку на лоб Ивану.

— Ну, вот, и нету у тебя температуры. Хочешь, я принесу тебе бритву?

— Хочу.

— Ну, тогда вылезай. Походи немного в гумне, а то совсем разучишься. Папа рассказывал, что он в империалистическую был ранен. Пролежал месяц. Потом его водили за руки по палате... — Данута выбралась из укрытия первой и, тихонько скрипнув воротами, исчезла.

Иван выполз, отдышался и попробовал встать на ноги. Ничего, только слегка кружится голова и противный липкий пот покрывает шею. А в гумне сухо, морозно, пахнет сеном и почему-то кожухом. За стеной жует и тяжело вздыхает корова. Сквозь щели настойчиво пробивается солнце и режет сумрак острыми лучами. Дышится легче, постепенно проходит потливость. Когда Данута приносит бритву, помазок и кружку горячей воды, он и вовсе приходит в себя.

Данута ставит все это на полочку у стены и вдруг вспоминает, что нужно зеркало. Приносит, запыхавшись, треугольный обломок.

Иван берет в руки зеркало и подносит к лицу. На него смотрит незнакомый, очень худой человек с ввалившимися глазами, обросший жидкой щетиной усов и бороды.

Иван намазывает помазок, потом лицо и берет в руки бритву. Откровенно говоря, такой он еще ни разу не брился. Дома у него был станочек ленинградского завода. Он аккуратно менял лезвия и горя не знал. А этой можно и порезаться. Надо точно угадать угол наклона острия, иначе срежешь кусок подбородка.

Данута смотрит на него со стороны и смеется.

— Да ты, наверное, еще ни разу не брился, — говорит она. — Отец делал совсем не так. Дай-ка сюда... — Она берет из рук Ивана бритву и ловко бреет его лицо.

Ивану приятно ощущать мягкий шорох бритвы и бархатные пальцы Дануты. Они ловко передвигаются по лицу, даже берут его за нос, чтобы чище сбрить усы. Ивану щекотно, и он хохочет.

Данута отходит на шаг в сторону и без тени улыбки говорит:

— А ты совсем ничего. Даже красивый. А я сразу и не заметила.

— Да брось ты... — улыбается Иван. — Плесни лучше вот этой воды. Я лицо обдам.

А Данута болтает не умолкая:

— Хочешь, я маму позову. Пускай она на тебя полюбуется. Сразу на человека стал похож.

— Не надо, — отмахивается Иван. — Я лучше спать пойду. Мне надо сил набираться.

— Иди, набирайся, — недовольно ворчит Данута. — Просто не верится, что тебя любила девушка. Ты же поговорить как следует не умеешь. А еще учителем хотел стать.

— Так то с детьми... — оправдался Иван и полез в свое укрытие.

— Мама отвару сделала от кашля, так я принесу.

— Неси.

Данута быстро вернулась и протянула в нору руку с кружкой. Рука белая-белая, как точеная. Сквозь кожу просвечивают тоненькие синие жилки. Иван взялся не за кружку, а за руку. Данута хотела отдернуть руку, а потом раздумала. Иван подержал ее пальцы, взял кружку, выпил коричневый настой, отдающий полынью, и возвратил кружку в красивую руку Дануты...

По утрам Иван вылезал из норы и разминался. Он размахивал руками, приседал, по небольшому току неслышно делал пробежки в мягких валенках и чувствовал, как тело наливается бодростью. Прошли удушливый кашель и противная потливость. Иван решил, что наступило время уходить.

Однажды, когда Данута по обыкновению принесла знакомый кувшинчик с молоком и кусочек хлеба, Иван сказал:

— Ну, все, Данута. Хватит, переводил я ваше добро... Пора и честь знать.

— Ты что, сдурел?... — пыталась отшутиться Данута. — Вот когда сгладятся на щеках эти ямочки... — она провела рукой по его лицу, — тогда пожалуйста.

— Я серьезно.

Наступило молчание. Данута насупила брови, и на переносице собрались складочки. Лицо

ее из улыбочивого стало хмурым и недовольным.

— А если серьезно, то это совсем не так надо делать. Во-первых, — она загнула на руке палец, — у тебя нет никакого оружия, а сейчас без оружия нельзя, а во-вторых, — она загнула второй палец, — ни ты, ни я не знаем, до кого надо идти.

— А в третьих, — сказал Иван, взял ее руку и загнул еще один палец, — ты у меня молодчина.

— Почему я у тебя? — улыбнулась Данута, не отнимая руки с загнутыми пальцами. — Я у себя.

— Ну, я не так выразился.

— А мне понравилось, что ты не так выразился... — Данута вырвала руку, взмахнула косами и исчезла за воротами.

А на следующий день она разбудила его, ткнув в бок дулом парабеллума.

— Ты что? — спохватился спросонья Иван. — Ренце до гуры!

— Перестань! — строго предупредил Иван. — Ты, наверное, не знаешь, что даже незаряженное оружие стреляет раз в год.

— Не бойся и не вылезай... Я сейчас... — Она юркнула в нору и прижалась плечом к Ивану. — Ой, как тут у тебя тепленько, а на улице мороз, прямо страхота. Чуть добежала до гумна.

Иван простил это преувеличение, снял с себя кожушок и набросил ей на плечи.

— И ты тоже не раскрывайся. Вот так посидим вдвоем. Да подвинься поближе, не укушу.

Иван вдруг вспомнил перелесок возле противотанкового рва, в котором они с Викторией просидели ночь под пиджаком. Вспомнил и разозлился на себя. Прошло каких-нибудь полгода, а Иван под кожушкой сидит с другой.

— Мне жарко, — сказал Иван и оставил кожушок на плечах Дануты. Он взял в руки парабеллум и спросил: — Ты где это достала?

— Тебе неинтересно, — грустно сказала Данута. — Достала, и конец.

— А все-таки?

— Выпросила у наших сопляков. Когда проходил фронт, они тут насобирали всякой всячины, только пушки не хватает. Я вспомнила и поклонилась им в ножки.

— Не разболтают?

— Им нельзя. Дознается войт, нагрянет с обыском, и могут быть большие неприятности. А я поклялась. Вот даже палец обожгла. Сказали — клянись на огне. Зажгли свечку. Я палец на огонь.

Чувство нежности и жалости вдруг охватило Ивана. Он взял руку Дануты, где на указательном пальце виднелся пузырек от ожога, и прижал эту руку к губам. Данута вздрогнула, снова набросила полу кожушка на плечи Ивану, и так они сидели молча, каждый думая о своем.

Нарушил молчание Иван.

— Спасибо тебе, Дана, — впервые назвал он ее ласково. — Спасибо. Теперь можно собираться в дорогу.

— Нельзя, — отрезала Данута, тряхнув косами. — Я еще не знаю, куда надо идти...

Два дня на молчаливые вопросы Ивана Данута отрицательно покачивала головой. Они будто условились не говорить об этом вслух. На третий день она пришла поздним вечером, когда в гумне было уже темно.

— Ты не спишь? — спросила она, отвернув сено. — Ну так вот. В лес нас повезет фельдшер Вечора.

— Ты ж говорила, что он лечил какого-то аковца.

— А нам что за дело? — возбужденно продолжала Данута. — Пускай лечит хоть самого черта, лишь бы помог нам.

— Вдруг завезет не туда?

— Мы убьем его, — спокойно сказала Данута. — А конь вывезет. Добрый у него конь. Остался на память от красного командира.

Иван не обратил внимания, что Данута говорила о предстоящем отъезде так, словно сама собиралась в лес. Но назавтра после обеда она завела его в хату и сказала матери:

— Прощайся, мама, наш крестник уезжает.

Мать подошла к Ивану, присмотрелась, и улыбка тронула ее широкоскулое лицо.

— А ладным ты стау на бульбе ды на малацэ. Ну, няхай будзе усё добра. Вось тут я табе чыстую бялізну даю і з сабой трохі... Можа, не адразу прыйдзеца дзе які кусок перахапіць... — Она достала из-под лавки небольшой мешочек грубого полотна с веревочными завязками, чтобы можно было надеть его на спину. — Ну, сядзь на дарогу, пасядзі. Калі застанешся жывы, пасля вайны прыезджай, госцем дарагім будзеш.

— Спасибо вам за все, — дрогнувшим голосом сказал Иван. — Спасибо, мама...

Мать не выдержала и всплакнула, вытирая глаза уголком косынки.

— Ты не плачь, мама, по нем. Я его сберегу до самого конца войны.

Мать улыбнулась сквозь слезы:

— Што ты такое гаворыш, дачушка?

— А то, что я его одного никуда не пушу, и в эту самую торбочку положи на дорогу хлеба и на мою долю.

— А божачка! — всплеснула руками мать. — Ты у сваім розуме?

— Я, мамочка, это давно решила, и не пробуй меня отговаривать. — Данута вышла из-за ширмы, где переодевалась, и Иван увидел, что она и в самом деле собралась в дорогу. На ней были почти новые белые валенки, шерстяной свитер ручной работы, завязанные узлом косы прикрывал небольшой шерстяной платок.

Увидев, что Данута говорит серьезно, мать обессиленно опустилась на лавку. Она растерянно мяла в руках рожок косынки да молча вытирала слезы, которые так и катились по щекам.

Данута подошла к матери, села рядом, обняла:

— Мамочка, ты ж у меня такая умница. Я всегда слушалась, а теперь хоть один разочек поверь мне. Я уже не маленькая. Сижу дома и дрожу — какому подлецу приглянусь, когда нагрянет в деревню германец или другой бандит. Буду вот вместе с Иваном... за свою молодость... Так что ты не плачь, а радуйся.

Неизвестно, чем бы кончился этот неожиданный для Ивана разговор, если бы не скрипнула дверь и не появился на пороге коренастый человек в шапке-ушанке, меховых рукавицах, со строгим усатым лицом.

— Пан Вечора! — воскликнула мать, торопливо утирая слезы. — Проше сядаць.

— Нам пора, — сказала за Вечору Данута. — Ну, до свидания, мамочка. Мы будем навещать тебя.

Мать словно онемела. Не было слез, не было слов. Она молча обняла Дануту, поцеловала ее в лоб, как покойницу, потом так же спокойно обняла Ивана и, когда они оба были у порога, осенила их крестом.

— Вот это да... — выдохнул Иван, усаживаясь рядом с Данутой в сани. — Ты просто чудо. Просто чудо...

Вечора тронул вожжи, и серый в яблоки конь вынес их за деревню. Данута прижалась к Ивану, потом взяла его руку и потянула в карман своего кобушка. Рука натолкнулась на револьвер.

— На всякий случай, — тихо сказала Данута и кивнула в сторону Вечоры, который за это время не проронил ни единого слова. Эта молчаливость насторожила Ивана. Да и лицо Вечоры было какое-то не располагающее. Строгие, даже злые глаза, твердая складка губ под усами. Данута уловила настороженность Ивана, и вдвоем они стали внимательно смотреть за дорогой. Вот пересекли большое холмистое поле, потом перелесок, потом въехали в лес, а когда лес кончился — увидели впереди небольшое село. Вечора не поехал по накатанной дороге через деревню, а повернул по другому санному пути в объезд. Иван и Данута переглянулись, но вопросов Вечоре задавать не стали.

Потом снова было поле, снова перелесок и снова сосновый бор, которому, казалось, не было конца.

— Куда мы едем? — не сдержался Иван.

— В Налибокскую пушу, — ответил, повернувшись, Вечора. Голос у него не был таким строгим, какими показались Ивану глаза его.

Спустя некоторое время Вечора пустил разгоряченного коня шагом. Иван сразу догадался почему — впереди на дороге маячили какие-то люди. Иван держал руку на рукоятке парабеллума и ждал. Вот сани проехали еще немного, и послышался окрик:

— Стой, кто едет?

— Пан доктор, — ответил Вечора.

К саням подошли два вооруженных человека. Один пожилой в черной суконной поддевке, валенках и шапке-ушанке и молодой в кирзовых сапогах, желтом полушубке и лихо сдвинутой на затылок кубанке, перечеркнутой спереди красной ленточкой.

Иван успокоился — Вечора привез к своим.

— Ну, слезайте, панове, — улыбнулся молодой. — Поведу вас на прием к начальству.

— Передай — люди из моего села, — хмуро сказал Вечора. Он подал руку Дануте, затем похлопал Ивана по плечу: — Гляди не хворай, а то опять попадешь ко мне.

— Спасибо, — поблагодарил Иван.

— Это мой долг, — сказал Вечора, поворачивая коня...

По узкой протоптанной тропинке Ивана и Дануту вел молодой. Ивану хотелось заговорить с ним, но парень энергично шагал впереди, не давая никакого повода для разговора. Может, тут так было заведено с чужими.

Вышли на большую лесную поляну, где в два ряда горбились покрытые снегом землянки. Поляна вдоль и поперек была вытоптана людьми. Молодой подвел к одной из землянок, постучал в дверь и, спросив разрешения, пропустил Дануту и Ивана вперед.

— Вот, товарищ командир, пан доктор привез пополнение.

Из-за столика поднялся человек с густо поседевшими висками, в военной гимнастерке, туго подпоясанной широким комсоставским ремнем. Иван сразу узнал Виктора, и сердце его радостно застучало. — Ну, посмотрим, кого он нам привез... — сказал Виктор и окинул Дануту с головы до ног. — Добро. Нам до зарезу нужны разведчицы. А ты? — спросил Виктор, посмотрел на Ивана, и брови его удивленно поползли вверх. — Не может быть... Ванюшка! Ваня! — Он бросился к брату и долго и крепко тискал его в своих объятиях,

... Вера по-прежнему аккуратно выполняла свои обязанности связной. Работы было много — городское подполье росло как на дрожжах, и какие только сведения ни переносила она в лес. О движении поездов и воинских частях, расположенных в городе, о формировании так называемой добровольческой освободительной армии из обманутых пленных советских бойцов и командиров и о диверсиях, совершенных и планируемых подпольем.

Работа стала привычной, как всякая другая работа. Вера ловила себя на том, что со временем притуплялось чувство опасности, которое преследовало ее вначале. Она считала, что причиной этому было два обстоятельства — опыт и вторая жизнь, которая зародилась и росла в ней, занимая безраздельно все ее внимание. Каждый день она находила что-то новое в поведении человека, который напоминал о себе легким толчком, таким ощутимым, что замирало сердце.

Сергей переговорил с отцом, и было решено, что Вера передаст свои обязанности другому связному, но приехал с очень важным сообщением Григорий Саввич, и его надо было передать в лес немедленно, потому что от этого зависела жизнь группы подпольщиков с авторемонтного завода. Вера решила съездить в последний раз.

С появлением снега Устин Адамович сократил маршрут Веры почти наполовину. Теперь она не шла на базу, а заходила в деревню Заречье, на явочную квартиру, передавала сведения хозяйке, а та переправляла их в лес. И все было бы хорошо, если бы не полицейский гарнизон в Жуково, который гитлеровцы посадили на пути к Устину Адамовичу.

Вера ухитрилась попадать в Заречье с другой стороны, чтобы не мозолить глаза полицейским, но в этот раз решила ехать через гарнизон, тем более что попалась подвода до самого Жукова.

Дорога была накатанной. Вдоль шляха росли березы и тополя. Словно в отместку за бесснежный декабрь и январь, зима в феврале покрыла сугробами поля и дороги. Стоял солнечный март, и в белом искрящемся мареве пахло близкой весной.

Как всегда, Вера взяла с собой неизменный мешочек с одеждой, чтобы обменять в деревне

на продукты. Возница — бородатый болтливый дядька, хвативший на базаре спиртного, предлагал муку и сало в обмен на ее вещи, но Вера сказала, что у нее в Заречье есть люди, которым она обещала, а слово надо держать.

Возница рассмеялся мелким хриплым смешком и ударил кнутом по лошади.

— Рассмешила ты, девка. Видно, скоро бабой будешь, а в жизни не разбираешься. Кто сейчас слово держит? Где ты видала или слыхала? Сейчас такое время, что про это самое слово люди забылись. Что урвал, то и твое. У нас в деревне каких-то пять вшивых полицаев. Так они сперва обобрали своих жуковских, а теперь чуть не каждый день выезжают на такую операцию в соседние села, а потом пьют с утра до ночи...

Не спеша проехали через деревню. Поравнялись с высоким зданием сельской школы.

— Тишина, — сказал возница, — значит, опять уехали на операцию. Ну, вот я и дома... Бывай.

Вера поблагодарила дядьку, слезла с саней, размяла затекшие ноги, поправила платок, муфту, с которой почти не расставалась, забросила за спину мешочек с одеждой и пошла, радуясь в душе тому, что полицаев не было на месте.

До Заречья оставалось километра четыре. Она знала—в крайней хате встретит ее тетка Степанида, моложавая, крепкая солдатка, и, если застанет вечер, оставит у себя ночевать. А потом долго и подробно будет рассказывать Вере о своей жизни. О том, как встретила на вечеринке вихрастого плясуна — тракториста из Жукова, как влюбилась в него без памяти, как встречались они в поле, как она сообщила ему под большим секретом, что у них будет ребенок. Расскажет, с каким страхом она сообщила ему этот секрет — боялась, что бросит ее тракторист. Нет, оказался хлопцем честным. Даже обрадовался новости, а потом поженились они, и все было бы хорошо, если бы не родился мертвый ребенок. Вера слушала женщину и сравнивала ее и свою жизнь. Несмотря на похожесть, жизнь Веры была значительно труднее. Но она не откровенничала — помнила наказ Александра Степановича — больше слушай, чем говори.

Она шла по узкой проселочной дороге, любуясь открывающимся слева полем, густой стеной леса по правую руку. Вот и опять толкнул ножками тот, кто готовился рядом с Верой войти в эту жизнь, полную невзгод.

Из-за высотки навстречу ей по дороге вышли два человека с винтовками за плечами. Она присмотрелась. Наверное, жуковские полицаи. Идут из Заречья или патрулируют дорогу. Она мысленно проверила себя — все как будто было в порядке, вплоть до паспорта, полученного в Могилеве вместо временной справки. Однако сердце ее застучало чаще. Она ощутила в муфте оружие и постаралась успокоить себя. Чего, собственно, волноваться? Станут обыскивать? Ну и пусть. Покажет им содержимое мешочка. Захотят себе что-нибудь взять — пускай берут. В конце концов, не первый раз она видит этих бобиков и не первый раз уходит от них.

Полицаи все ближе и ближе. По их не совсем твердой походке Вера догадывается, что они нетрезвые. Может быть, это даже к лучшему. Пьяный полицай — не такой бдительный. Но могут быть и неприятности — мало ли что взбредет в голову пьяному.

Поравнялись. Полицаи окинули ее с ног до головы.

— Стой, — приказал один из них. — Куда идешь? — Он вытер рукавом шинели влажный нос, посмотрел в упор на Веру рыбьими, навывкате, глазами.

— В Заречье, — спокойно ответила Вера. — Вот сменяю барахло на крупу или муку.

Полицай пониже ростом и полнее своего напарника молча стоял рядом, словно разговор, затеянный товарищем, не имел к нему никакого отношения.

— Документы! — потребовал полицай.

Вера вынула из муфты паспорт и подала ему. Полицай долго вертел в руках паспорт, вернул Вере и сказал:

— Вот что, бабонька. В Заречье сплошь партизаны, и ходишь ты туда неспроста.

— Бог с вами, — притворно взмолилась Вера, — мне до этих партизан нет никакого дела, а там, говорят, охотно меняют городской товар...

— Развязывай мешок!

— Пожалуйста...

Полицай не спеша выкладывал на снег поношенные платья, брюки, рубашки, придирчиво ощупывая каждую вещь. Потом сунул все обратно в мешочек и подал Вере.

— Ну и дерьмо. Кто у тебя возьмет это? «Кажется, пронесло», — вздохнула с облегчением Вера и хотела было поблагодарить и идти своей дорогой.

— Ты куда? Нет, красавица, придется тебя задержать. Вернемся в Жуково. Такой приказ начальства.

— Ваше начальство ест досыта! — взорвалась Вера. — Ему не приходится просить милостыню.

— Не твоего ума дело, — проворчал полицей. — Всех, кто идет в Заречье, велено задерживать для выяснения личности...

Вера оценила обстановку — вокруг никого, гарнизон неизвестно когда вернется. Если кто и услышит выстрелы — на помощь не придет, — к выстрелам привыкли.

— Хорошо... если вы так настаиваете. — Она нагнулась, чтобы взять мешочек, выхватила из муфты пистолет и выстрелила в грудь гластому. Тот, даже не вскрикнув, рухнул на дорогу. Его дружок с неожиданной резвостью сорвал с плеча винтовку и, вместо того чтобы стрелять, ударил Веру по руке. Она выронила браунинг, схватилась за винтовку и резко дернула на себя. Полицей не устоял на скользкой дороге и упал. Винтовка осталась у Веры. Она размахнулась ею, как палкой, ударила полицая, подхватила с дороги браунинг и бросилась в лес.

Утопая ботинками в рыхлом мартовском снегу, она не успела скрыться за деревьями, как услышала позади несколько выстрелов. Полицей бежал вслед и стрелял.

«Почему я не убила его, — с горечью подумала Вера, пробираясь по сугробам вдоль опушки. — Растерялась. А теперь кто знает, чем все это кончится».

Полицей не отставал.

«А что, если подождать его? Постоять здесь в укрытии и подождать... вон за той толстой сосной...» Вера шагнула дальше и провалилась по пояс.

Полицей сделал еще несколько выстрелов.

Вера рванулась из сугроба и ощутила острую боль в животе. Нет, она не была ранена. Это... Веру бросило в жар от мысли, что здесь, на глухой опушке, с ней может случиться то, чего она так ждала и так боялась. Обессиленная, утонувшая в снегу, она лежала и не двигалась. Полицей осмелел. Он шел к Вере без всякой опаски, стараясь ступать по ее следам. Он подходил все ближе и ближе. Вот уже каких-нибудь двадцать шагов, десять. Она видит раскрасневшееся вспотевшее лицо полицая.

Вера приподнялась и выстрелила. Без промаха. Как учил ее Сергей. А боли становились все резче и сильнее. Вера перешагнула через убитого и бросилась к дороге. Бежала, задыхаясь, прислушиваясь к острой боли, которая нарастала с каждой минутой.

Вот она повернула за высотку и увидела хаты Заречья. Они показались такими далекими, что Вера пришла в отчаяние. «Миленький мой, погоди, — шептала она незнакомому еще существу, причинявшему ей нестерпимую боль, которая, как волна, то приходила, то отступала на некоторое время. — Только бы успеть, только бы успеть, — кусая губы, шептала Вера. — Сереженька, родной, как ты был прав, боясь отпустить меня сегодня... Только бы успеть... только бы успеть...»

Она бежала все медленнее, спотыкаясь и скользя на дороге. Бежала и смотрела на заветную хату. Хорошо, что она стоит с краю, что не надо бежать через всю деревню... Она чувствовала, что задыхается, что еще немного и она упадет на снег...

Но тут дверь хаты открылась, и Степанида вышла во двор. Она сразу увидела Веру, потому что оставила на ступеньках какое-то ведро и бросилась в калитку...

Вера с размаху упала ей на шею и вскрикнула от нового прилива боли.

— Господи, да ты рожаешь!... — Степанида подхватила Веру на руки и понесла в хату...

Обедали в конторке, жарко натопленной углем. Сергей любил запах раскаленного чугуна, запах горящего угля. Он снял стеганку, сел, положил завернутый в газету кусок хлеба с отварной говядиной и только начал есть, как в конторку заглянул Ольгерд. Он многозначительно посмотрел на Сергея и закрыл дверь.

Сергей доел бутерброд, накинул стеганку, закурил и вышел. Горох ожидал его.

— Пройдемся немного. У меня дело, Сережка, — взволнованно прошептал он. — На станцию прибывает эшелон со снарядами. Предлагаю его взорвать.

— Как?

— Очень просто, — стараясь быть спокойным, говорил Ольгерд. — У нас нет мин. Но есть паровоз. Слушай меня внимательно. Эшелон примут на шестой путь. Для смены локомотива будет промежуток времени. Я беру маневровый паровоз, ты переводишь стрелки, и на полном ходу я направляю его на эшелон со снарядами.

— А машинист маневрового?

— Он уйдет в лес.

— Тогда пошли на шестой путь... — Горох показал ему одну и вторую стрелки, которые надо будет переводить, показал паровоз, который стоял у поворотного круга и пыхтел, словно собирався с духом...

Все было так, как обещал Горох. Минут через десять, погромыхая на стыках, прошел тяжелый, сильно охраняемый состав. С молотком за плечами Сергей направился в сторону маневрового. Это была знакомая труженица «овечка». Сергей остановился и несколько раз ударил молотком по костылю. На этот стук из будки маневрового выглянул Ольгерд.

«Отчаянный этот Горох, — подумал Сергей, — а я сомневался». Беспокойство, которое владело им с самого утра, прошло. Было ожидание чего-то значительного.

От эшелона со снарядами отцепили паровоз. Он проскрежетал по стрелкам и ушел в направлении депо. Наступил момент, когда рядом не было ни сцепщиков, ни стрелочников. Лишь вдоль эшелона ходили часовые.

Ольгерд выглянул в окно. «Овечка» чмыкнула паром и тронулась с места. Сергей подбежал к стрелке, быстро перевел ее и бросился ко второй. Едва успел перевести, как ее проскочил маневровый паровоз. Сергей видел — спрыгнул с подножки и скрылся за соседними составами Ольгерд. А он, словно заколдованный, стоял, ожидая взрыва. Ему на какое-то мгновение показалось, что вся эта затея Гороха авантюрная и из нее ничего не получится. Вместо того чтобы уходить от шестого пути подальше, он побежал вслед за паровозом, словно опасаясь, что он возьмет и остановится.

Когда раздался первый удар, Сергея горячей волной бросило на землю. Он поднялся и побежал. А вокруг все гремело, рвалось и горело. Он бежал изо всех сил, чтобы укрыться от этого грома за кирпичным зданием блокпоста. В это время что-то тяжелое и острое ударило его сзади по голове, и он упал на замасленные шпалы... На обед дядя Мотя принес несколько ложек квашеной капусты и завернутую в тряпочку печеную картошку. Шпаковский вынес из соседней комнаты бутылку самогона и поставил на верстак.

— Давай помянем твоего друга... — сказал он Эдику. К верстаку молча подошли Митька, Эдик, дядя Мотя,

и было в этой молчаливой торжественности что-то такое, отчего сердце Эдика сжалось. Выпили.

— У меня к вам просьба, дядя Мотя, — попросил Эдик. — В Заречье ушла жена Сергея и не вернулась.

— Знаю Заречье. За Жуковым сразу. Как звать жену?

— Вера.

— Съезжу. Обязательно...

А вечером пришла с новостью Маша — на базе больницы городская управа готовилась открыть медицинский институт. Из районов начали насильно привозить молодежь, якобы для учебы в этом институте.

— Неладно это. Узнай поподробнее, — попросил Эдик.

— Некогда мне, — отказалась Маша. — Друзья Кузнецова приглашают меня в госпиталь по Виленской. Там готовится восстание.

Эдик удивленно поднял брови.

— Да, да, — прошептала взволнованно Маша, — так и сказали — восстание. Там уже давно наладили связь с партизанами, чтобы в одну ночь и больные и персонал...

— А охрана? — заразившись настроением Маши, спросил Эдик.

— Большого у меня не выпытай. Я и сама не знаю. Завтра перехожу туда на работу.

— И я с тобой.

— А кто будет сводки принимать?

— Митька.

— Надо посоветоваться с Александром Степановичем, — предложила Маша.

Эдик задумался.

— Да, да, обязательно. А вдруг это провокация? Вдруг за это восстание вас всех перестреляют?...

Александр Степанович встретил Эдика и Машу с радостью. Налил чаю, пригласил к столу. Из заветных запасов достал несколько кусочков сахара. Маша сообщила, что ее зовут в госпиталь на Виленскую.

— Меня не зовут, но я буду проситься..... — добавил Эдик.

— В лес хотите уйти? — спросил Александр Степанович. — А я с кем останусь?

— Митька, Шпаковский, дядя Мотя...

Александр Степанович закурил, долго ходил из угла в угол, раздумывая.

— Ладно. Держитесь вместе... Любовь бывает только раз в жизни... только раз...

Эдик вернулся в привычную обстановку госпиталя. Правда, здесь было легче, чем в больнице. Большинство раненых уже ходило и не доставляло особых хлопот. Появлению Эдика никто не придавал значения, потому что главный врач набирал все новых людей, в которых по выправке и подтянутости можно было угадать бывших военных. Машу он почти не видел — целыми днями она была занята в палатах и у фармацевтов — накапливались медикаменты, необходимые для партизан. Была забота и у Эдика — вместе с топливом привозил он в госпиталь оружие, которое ему готовил на складе Гогия.

— Снова мы вместе, дорогой, — радовался Гогия. — Вот посмотришь, нас вспомнят с тобой после войны...

В ожидании волнующих событий Эдик забыл, что послал дядю Мотю в Заречье, и когда брат сообщил, что дядя Мотя приехал с хорошими вестями, он сразу даже не понял, о чем идет речь.

— Сын у твоего Сергея родился, — сказал Митька. — Дядя Мотя уговорил хозяйку, чтоб Вера не спешила в город. Там все-таки и молока и хлеба можно достать.

Эдик улыбнулся. Ах, какой замечательный этот дядя Мотя! Он и тут все понял, он и тут сделал все так, чтобы Вера пока ни о чем не догадывалась.

По пути в госпиталь Эдик забежал с новостью к Александру Степановичу. Тот долго обнимал Эдика и, кажется, плакал. То ли от горя, то ли от радости...

Весна была дружной. В конце марта пришло тепло с ясным неугомонным солнцем, и по улицам города зажурчали ручьи, унося в Дубровенку мусор и грязь, накопившиеся за зиму. На окраинах обнажились поля. Ветер приносил свежесть и запах нагретой влажной земли.

— Сегодня, — однажды сообщила Маша Эдику. — Сегодня в полночь. Командиры собирают боевые группы в палатах. Я буду с обозом медикаментов...

Собирались тихо, выставив дежурных, чтобы не привлечь внимания охраны. Эдик сидел в палате среди настороженных хмурых людей и слушал распоряжения какого-то военного в потертой телогрейке.

— Наша задача — в полночь убрать часовых и открыть центральные ворота. Маршрут движения — железнодорожный переезд и дальше по проселочной дороге.

Мерцала свеча. Эдик видел раненых, одетых во что попало. На одном был перетянутый ремнем фланелевый больничный халат, на другом поношенная, выдавшая виды шинель, на третьем пальто, неизвестно как попавшее на территорию госпиталя.

— Оружие все получили?

— Все, — ответил кто-то из пленных.

— Пора...

Командир один направился к центральным воротам, приказав группе подготовиться в коридоре барака. Вот он подошел к часовому. Тот что-то спросил. Командир ответил и полез в карман. Часовой не успел даже поднять винтовку, как был свален на землю. Вся группа высыпала из коридора и бросилась в проходную, где за столиком дремал полицай...

Благополучно миновали железнодорожный переезд. Редкие патрули на станции не придали значения этому ночному переходу. Зато на окраине города разгорелся бой — то ли гитлеровцы догадались, что произошло, то ли обнаружили бегство целого госпиталя и выслали заградительный отряд.

Командир группы, в которую входил Эдик, держал бойцов в хвосте колонны, опасаясь удара с тыла.

— Подтянись, подтянись! — подбадривал он раненых. — Нам только вырваться из города...

Скоро впереди стало тихо.

— Теперь жди, что навалятся на нас, — громко сказал командир. Однако вышли в поле, потом свернули в перелесок, а погони не было. Наверное, фашисты побоялись встречи с партизанами. Эдик ускорил шаг и в лощине догнал подводы с медикаментами.

Рассвет наступал медленно. Солнце, словно нехотя, посылало на землю розоватый далекий отблеск, и люди в колоннах торопились уйти от опасности.

Эдик обогнал одну повозку, другую, третью... Маши нигде не было. Он подумал, что она не усидела на медикаментах и ушла вперед. Он пробежал дальше, и когда обогнал колонну, его остановил голос главного врача:

— Вы куда, товарищ? Вернитесь на место...

Эдик шарил испуганным взглядом по молчаливой настороженной колонне. Может быть, второпях не заметил Машу среди персонала. С ним поравнялась санитарная повозка с ранеными. Эдик присмотрелся, и сердце его упало — укрытая старой шинелью, среди других, лежала Маша. Эдик некоторое время шел рядом, держась рукою за край старой шинели. Словно почувствовав взгляд Эдика, Маша открыла глаза и сказала:

— Вот видишь, как получилось..... Девочки перевязали... А у партизан, говорят, свой неплохой госпиталь...

— Машенька, — дрогнувшим голосом спросил Эдик. — Тебе больно?

— Больно, Эдичек... — призналась Маша, — Особенно, когда начинает трясти на дороге...

— Давай я тебя понесу...

— Ну что ты, что ты, нам еще, наверное, далеко... Эдик отвернул шинель и, несмотря на возражения пожилой сестры, взял Машу на руки и понес.

— Тебе больно? — спрашивал Эдик, прижимаясь губами к ее губам.

— Нет, милый, нет... — успокаивала его Маша, а Эдик выбирал дорогу ровнее, чтобы не споткнуться и не толкнуть Машу, и настойчиво шел вперед, надеясь, что Маше скоро полегчает.

А она не могла даже обнять его за шею и лежала у него на руках, как беспомощный ребенок.

— Машенька, ну как ты? — беспокоило спрашивал он.

— Ничего, ничего... — шептала Маша. Он опять касался губами ее губ.

— Скоро будем на месте, скоро. Потерпи, родная. Словно в подтверждение его слов, далеко впереди послышался шум, и по колонне прошло оживление:

— Партизаны...

Это придало Эдику новые силы.

— Машенька, — шептал он, — ты слышишь, мы почти пришли... вот еще немного. Ты слышишь?

Маша не отвечала. Эдик прижался губами к ее лицу — оно было холодным.

— Потерпи, потерпи, родная... — машинально шептал он, чувствуя, как потяжелела его ноша, самая близкая, самая родная, которую несет он последний раз в жизни.

О СЕБЕ

Родился я 6 ноября 1919 года в семье сельского учителя в белорусской деревне Баево Дубровенского района Витебской области. Помню, как переезжали мы семьей из деревни в деревню — то не было медпункта, где могла бы работать мать — акушерка по специальности, то не было школы, где мог бы работать отец, а жить порознь или ходить на работу за десятки километров в соседние деревни было трудно, хотя случалось и такое. Запомнились на Бобруйщине деревни Борки и Добасно. Там я с сельскими ребятами впервые погнал коней

в ночное.

В 1927 году наша семья переехала в деревню Рудобелка Октябрьского сельсовета Глусского района.

Жизнь в Рудобелке была для меня невероятно интересной, наполненной романтикой гражданской войны. В памяти людской были еще свежи события тех незабываемых дней, когда район Рудобелки и соседних с нею деревень был мужественным советским островком на оккупированной врагом территории. В Рудобелке жили воины известной рудобельской республики, и я вместе со своими сверстниками жадно впитывал все, что слышал от взрослых о подвигах бесстрашных партизан.

Я рано пристрастился к чтению. Помню, отец получал много литературы для школьной библиотеки. Ученик 2 класса, я читал все без разбора. Тут были детские журналы «Чиж и Еж», «Искры Ильича» и роман Зарецкого «Стежки-дорожки». Но больше всего меня поразила повесть Якуба Коласа «На просторах жизни». Мне казалось, что герои книги Степка и Аленка живут в нашем селе, я встречаюсь с ними каждодневно, только надо внимательнее посмотреть вокруг. Больше того. Я иногда сам перевоплощался в Степку и искал в своих одноклассниках ту, которую можно было принять за Аленку.

Я знал страницы повести почти наизусть. И поскольку в своем классе слыл человеком читающим, меня однажды пригласил учитель старших классов на урок литературы. Надо было прочесть вслух отрывок из моей любимой повести. С каким вдохновением я преподавал старшеклассникам урок любви к литературе! С той поры ребята из пятых и даже шестых классов начали относиться ко мне как к равному. Я гордился этой дружбой и очень ценил ее.

Подражал я не только литературным героям. Рядом со мной всегда, как пример, была моя старшая сестра Лида. Пионерка, а затем комсомолка, активная участница самодеятельности, страстная любительница литературы, она была всегда в центре жизни школы и села. Никогда не забуду детского впечатления от спектакля по пьесе белорусского драматурга Горбачевича «Красные цветы Беларуси». Лида играла в этом спектакле одну из главных ролей. Тема была слишком близка жителям Рудобелки. На спектакле неистово аплодировали, плакали, кого-то выводили из зала, отливали водой... Судьба партизан гражданской войны волновала до глубины души.

В начале лета 1931 года наша семья пережила трагедию — после выпускного вечера, на котором семиклассники праздновали окончание школы, умерла моя сестра Лида, как тогда говорили, от разрыва сердца. Ее похоронили на партизанском кладбище, недалеко от школы. Я видел, как трудно было родителям каждый день проходить мимо дорогой могилы.

Осенью 1931 года мы переехали в Могилев, где в железнодорожной больнице работал в то время врачом брат моего отца.

Впервые очутился я в большом городе. Грохот машин и повозок по булыжной мостовой, гудки паровозов, стук вагонных колес за стенами дома, в котором мы жили по Ульяновской улице, — все казалось необычным, незнакомым, пугающим.

Я пришел в четвертый класс железнодорожной школы. Поначалу мной, провинциалом, ребята заинтересовались. Они с удовольствием слушали мои рассказы о рудобельских партизанах, о жизни в деревне. А потом интерес их пропал, и они долго не принимали меня в свою компанию. Помню, однажды меня даже избили ни за что ни про что, просто так, для профилактики. Я долго не мог забыть эту обиду и однажды отплатил одному из своих обидчиков. И, странное дело, ко мне сразу изменилось отношение. Я стал своим, как говорили ребята, «вокзальным».

Я вошел в среду паровозников и вагонников, стрелочников и путевых рабочих, слесарей, обходчиков и сцепщиков. Я был знаком с каждой профессией, бывал в вагонах и бараках, где жили эти люди, пропадал в свободное время в депо, на маневровых паровозах. Поскольку в школу мне надо было шагать с километр по замасленным шпалам железнодорожной станции, я, при удобном случае, подъезжал на тендерной подножке маневрового паровоза и лихо соскакивал на ходу недалеко от школы.

Однажды, поздней осенью, такая поездка чуть не закончилась катастрофой. Соскочив, я зацепился полрой пальто за подножку, и паровоз долго тянул меня за собой по стрелкам и шпалам, пока машинист не заметил незадачливого «зайца». Испуганного и исцарапанного, меня

не только не пожалели, а еще и поддали коленом пониже спины. Два дня я пролежал дома, приходя в себя. Хотя я и рос среди железнодорожников, их профессии не привлекали меня. То ли дело речники! Одна форма чего стоит. Я твердо решил после семилетки поступать в Гомельский речной техникум. В том году впервые в школе организовывался восьмой класс, но я считал, что школьником быть неинтересно. Хотелось поскорее на свой хлеб, хотя дома жили неплохо и старались для меня, единственного в семье.

Родители не возражали против моей поездки в Гомель — техникум даст среднее образование, а там и в институт можно будет поступить.

Я выдержал экзамены, поселился вместе с другими в интернате — полуразрушенном бараке на окраине города, и стал учиться. Окна в своем общежитии мы почти не открывали — внизу, по дну оврага, протекал ручей, принадлежащий кожевенному заводу.

Перед Октябрьскими праздниками мы получили форму — бескозырки, матроски, брюки клеш. И все было бы хорошо, если бы дирекция техникума не лишила меня стипендии как ребенка обеспеченных родителей. Я занимался вместе с бывалыми речниками — каждый из них уже работал самостоятельно и жил самостоятельно, а я никак не мог выйти из-под родительской опеки. Самолюбие мое выиграло. Я бросил так некогда привлекавшую меня матроску, бросил техникум и, собрав нехитрые вещицы, сел в поезд на Могилев. Родительскому возмущению не было границ. Бросить среднее учебное заведение! Так поступить мог только последний глупец. На меня махнули рукой как на человека беспутного. Отец категорически отказался помочь мне вернуться в школу, и я без всяких документов (свидетельство об окончании семилетки осталось в Гомеле) пустился в поход по городу.

Правду говорят, что свет не без добрых людей. Завуч педагогического рабфака Александр Иванович Черняк, выслушав мой сбивчивый рассказ, принял меня на вечернее отделение и послал запрос в Гомельский техникум.

Заниматься надо было по вечерам. Поэтому я, ранее увлекавшийся радиолобительством (строил детекторные и ламповые радиоприемники), устроился учеником на радиоузел в клуб железнодорожников. Однако работать пришлось недолго. Уже после зимних каникул за отличную успеваемость меня перевели на дневное отделение.

В педрабфаке произошла встреча, которая определила весь мой дальнейший жизненный путь. Я познакомился и подружился с преподавателем литературы и языка Устином Адамовичем Шакалем. Это был талантливый ученый, способный литератор, отличный педагог. Он поддержал мои первые робкие шаги в литературном творчестве, был моим постоянным консультантом, критиком и другом. Никогда не забуду летнего дня, когда он с радостью и какой-то тревогой сообщил, что ему поручено написать учебник белорусского языка для средних школ республики. Мы гуляли по знаменитому Печорскому лесному парку. Устин Адамович жил уже будущей книгой, планировал, рассуждал, советовался. Помощником в этой трудной работе он решил взять преподавателя практического языка М. Жиркевича.

Летом 1938 года меня, студента пединститута, пригласили в Минск на курсы-конференцию молодых писателей. На курсах в то время были Иван Мележ, Кастусь Киреенко, Дмитрий Ковалев, Ми-кола Ткачев, Микола Гамолка, Эдуард Волосевич. Курсы явились для меня первой настоящей школой литературного творчества. На протяжении месяца мы встречались с известными поэтами и прозаиками, выносили на коллективное обсуждение свои первые стихи и рассказы.

Нельзя сказать, что после курсов я стал писать больше. Наоборот, это было время мучительных сомнений, хотя многие считают молодость самоуверенной и решительной.

Мне нравилась педагогическая работа. Я с удовольствием давал первые практические уроки в школе и хотел после института уехать в деревню вместе с молодой учительницей. Основания для таких планов были. Я встретил в институте девушку, с которой пытался познакомиться, когда она училась еще в 10 классе седьмой могилевской школы. Тогда она пренебрегла мною, а в институте... Это было бурное, веселое и вместе с тем тревожное время. Мы словно торопились отучиться, отпеть, отплясать свое, чтобы потом отдать для Родины все, если понадобится, и жизнь.

Помню, в первой половине сентября собрался хор нашего факультета на свою первую спевку. Я и Леонид Короткое слыли уже признанными солистами, а среди хористок я увидел ту,

которая некогда отвернулась от меня.

С этого вечера мы не разлучаемся всю жизнь. У нас два взрослых сына, и оба работают в кино — один оператором, второй — художником. Мы с Марией Григорьевной считаем себя счастливыми родителями.

Но вернусь в институт. Последний государственный экзамен по педагогике совпал с началом Великой Отечественной войны. Нельзя сказать, что это было для нас неожиданностью. Международная обстановка была накалена до предела. Мы ждали взрыва и, казалось, были готовы к нему. Но нам это только казалось...

Мы искали свое место в борьбе. Метались с охраны военных объектов на строительство оборонительных сооружений, с оборонительных сооружений в отряды по борьбе с лазутчиками и диверсантами. Из отрядов мы шли в военкомат. Полковник Воеводин терпеливо выслушивал и не менее терпеливо объяснял, что мы пользуемся отсрочкой от призыва и в отношении этой отсрочки никаких приказов не поступало, а посему он не имеет права мобилизовать нас в Красную Армию.

В горкоме комсомола узнали, что в Могилев переехало правительство, ЦК КП Белоруссии и ЦК комсомола. Решили просить содействия и помощи у нашего бывшего студента первого секретаря ЦК ЛКСМБ Михаила Васильевича Зимянина. И мы не ошиблись. Он сообщил, что при ЦК Компартии Белоруссии из партийных и советских работников республики формируется 1-й Коммунистический истребительный батальон и обещал зачислить в его состав комсомольский актив нашего института. Это было 27—28 июня 1941 года.

В составе батальона 5 июля мы выступили на Чаусы, а 6 июля повзводно были рассредоточены на восточном плацдарме могилевской обороны для борьбы с десантниками и лазутчиками врага. А через девять дней мы были отброшены от Чаус наступающими танками противника и в деревне Благовичи потеряли взвод, полностью состоявший из наших студентов. Так начались для нас тяжелые испытания войны.

На Брянском фронте батальон был расформирован. Командиры и политработники получили назначения в действующую армию. Как бывший спортсмен-мотоциклист получил назначение и я. Рядовым в автовзвод. За шесть лет был я шофером, заместителем политрука, курсантом Ново-Петергофского военно-политического училища, политруком гарнизона, комсоргом полка и инструктором дивизионной газеты.

В июне 1943 года был принят в члены КПСС.

Демобилизовался я в 1947 году и стал работать ответственным секретарем редакции могилевской областной газеты. Создалось литературное объединение: отделом культуры ведал Микола Ткачев, приехал с Кавказа инвалид войны бывший боец истребительного батальона молодой баснописец Эдуард Волосевич, работал корреспондентом республиканской газеты бывший боец истребительного батальона прозаик Петр Шестериков, присылал из районной редакции свои стихи Алексей Пысин, учился в могилевском педучилище Степан Гаврусев. Два раза в месяц мы проводили «среды», обсуждали новые стихи, рассказы. С разбором произведений молодых выступал Дмитрий Политыко. Регулярно выходила литературная страница. Вскоре в Могилеве было открыто отделение Союза писателей республики.

В 1949 году я переехал в Минск. Сначала работал редактором в Государственном издательстве БССР. Затем девять лет был ответственным секретарем литературно-художественного альманаха «Советская Отчизна», впоследствии преобразованного в журнал «Неман». Был начальником сценарного отдела киностудии «Беларусьфильм», заведующим литературной частью Государственного русского драматического театра БССР им. Горького, художественным руководителем Дворца культуры Белсовпрофа. С 1970 года работаю ответственным секретарем бюллетеня «Памятники истории и культуры Белоруссии». В минских издательствах вышли мои книги: очерк «Путь рационализатора» (1949 г.), сборник стихов «Сверстники» (1950 г.), повесть «Друзья-товарищи» (1954 г.), «Сыновья народа» — воспоминания Героя Советского Союза Н. Ф. Королева в моей литературной записи (1955 г.), сборник стихов «В пути» (1956 г.), пьесы «Взрыв» (1959 г.), «Второе знакомство» (1961 г.), «Если любишь» (1963 г.), «Моя дочь» (1966 г.), сборник пьес «Наследники», в который вошли пьесы «Друг или враг», «Москвич — 408», «Месть Половинкина» (1971 г.), повесть «Новый учитель» (1974 г.), избранные стихи

«Признание» (1976 г.), повесть и рассказы «Прощайте, любимые» (1977 г.). Повесть «Друзья-товарищи» переиздавалась массовым тиражом в 1957, 1962 и 1969 гг. Мною также написаны киноповесть «Наследники Матвея Марковца» («Неман», 1963 г.) и сценарии трех документальных фильмов «Марат Казей», «Рационализаторы», «Человек человеку...».

С удовольствием работаю в области художественного перевода. Перевел на русский язык «Теорию Каленбрун» Э. Самуйленка, «Свет над Липском» М. Последовича, «Вязьмо» М. Зарецкого, «Винуватый» и «Сполох на загонах» П. Головача и многие рассказы, а также стихотворения Я. Коласа, М. Танка, П. Панченко, А. Белевича и других белорусских поэтов.